

Эрих Фромм **Анатомия человеческой деструктивности**

Эрих Фромм. Биографическая справка

Эрих Фромм родился 23 марта 1900 г. во Франкфурте в ортодоксальной еврейской семье. Отец его торговал виноградным вином, а дед и прадед по отцовской линии были раввинами. Мать Эриха – Роза Краузе – по происхождению была из русских эмигрантов, переселившихся в Финляндию и принявших иудаизм.

Семья жила в соответствии с патриархальными традициями добуржуазной эпохи, отмеченной духом религиозности, трудолюбия и тщательного соблюдения обрядов.

Эрих получил хорошее начальное образование. Гимназия, в которой изучали латынь, английский и французский языки, пробудила в нем интерес к ветхозаветным текстам. Правда, он не любил сказаний о героических сражениях из-за их жестокости; зато ему нравились истории об Адаме и Еве, о предсказаниях Авраама и особенно пророчества Исаяи и других пророков. Картины универсального мира, в котором лев и овца живут рядом, очень рано привлекали внимание мальчика, а позднее стали толчком к раздумьям о жизни человеческого сообщества, к идеям интернационализма. В средних классах гимназии у Эриха Фромма формируется протест против массового безумия, ведущего к войне, начало которой юноша встретил с болью и недоумением (1914 г.).

Одновременно он переживает и первое личное потрясение, которое оказало на него очень серьезное влияние: прелестная молодая женщина, художница, друг семьи, совершила самоубийство после смерти своего старого, больного отца. Последняя ее воля состояла в том, чтобы ее похоронили вместе с отцом. Эрих мучительно размышляет над вопросами жизни и любви и, главное, стремится понять, насколько сильна была любовь этой женщины к отцу, что единение с ним (даже в смерти) она предпочла всем радостям жизни. Эти наблюдения и раздумья привели Фромма на путь психоанализа. Он стал пытаться понять мотивы человеческого поведения.

В 1918 г. он начинает изучать психологию, философию и социологию во Франкфуртском, а затем Гейдельбергском университетах, где среди прочих его учителей были Макс Вебер, Альфред Вебер, Карл Ясперс, Генрих Риккерт и другие философы мирового масштаба. В 22 года он стал доктором философии, а затем продолжил образование в Мюнхене и закончил его в известном Институте психоанализа в Берлине. Фромм рано познакомился с философскими работами К. Маркса, которые привлекли его прежде всего идеями гуманизма, понимаемого как полное освобождение человека, а также создание возможностей для его самовыражения.

Другим важнейшим источником личных и профессиональных интересов Фромма в 20-е гг. становится психоанализ Зигмунда Фрейда. Первой женой Фромма была Фрида Райхман – образованная женщина, психолог; и Эрих, который был значительно моложе Фриды, под ее влиянием увлекся клинической практикой психоанализа. Они прожили вместе всего четыре года, но на всю жизнь сохранили дружеское расположение и способность к творческому сотрудничеству.

Третьим духовным источником для Фромма был малоизвестный автор Иоганн Якоб Бахофен. Его учение о материнском праве впоследствии стало для Фромма важным аргументом, опровергающим фрейдовскую теорию «либидо».

В 20-е гг. Фромм познакомился с учением буддизма, которое воспринял как озарение, и был верен ему до глубокой старости.

В 1927-1929 гг. Фромм начинает много печататься. Известность ему принесло выступление с докладом «Психоанализ и социология», а затем публикация статьи под названием «О методе и задачах аналитической социальной психологии: замечания о психоанализе и историческом материализме».

Почти десять лет (1930-1939) его судьба связана с Франкфуртским институтом социальных исследований, который возглавлял Макс Хоркхаймер. Фромм руководит здесь отделом социальной психологии, проводит серию эмпирических исследований среди рабочих и служащих и уже к 1932 г. делает вывод о том, что рабочие не окажут сопротивления диктаторскому режиму Гитлера. В 1933 г. Фромм покидает Германию, переезжает в Чикаго, а затем в Нью-Йорк, куда вскоре перебазировается и Хоркхаймер со своим институтом. Здесь ученые вместе продолжают исследование социально-психологических проблем авторитарности, а также выпускают периодическое издание «Журнал социальных исследований».

В 40-е гг. конфронтация с Адорно и Маркузе приводит к отходу Фромма от франкфуртской школы. Оторвавшись от «немецких корней», он полностью оказывается в американском окружении: работает во многих учебных заведениях, участвует в различных союзах и ассоциациях американских психоаналитиков. Когда в 1946 г. в Вашингтоне создается Институт психологии, психиатрии и психоанализа, Фромм активно включается в систематическую подготовку специалистов в области психоанализа. Но Фромм никогда не был ординарным профессором какой-либо кафедры, он всегда читал свой курс на «междисциплинарном» уровне и, как никто, умел не только связать воедино данные антропологии, политологии и социальной психологии, но и проиллюстрировать их фактами из своей клинической практики.

В 50-е гг. Фромм отходит от теории Фрейда и постепенно формирует свою собственную концепцию личности, которую сам назвал «радикальным гуманизмом».

Причины пересмотра Фроммом концепции Фрейда достаточно очевидны. Это прежде всего бурное развитие науки, особенно социальной психологии и социологии. Это потрясение, которое Фромм сам перенес в связи с приходом к власти фашизма, вынужденной эмиграцией и необходимостью переключения на совершенно новую клиентуру. Именно практика психотерапии на Американском континенте привела его к выводу о том, что неврозы XX в. невозможно объяснить исключительно биологическими факторами, что влечения и инстинкты – это совершенно недостаточная детерминанта поведения людей в индустриальном обществе.

«Невозможно перечислить всех радикальных гуманистов со времен Маркса, – говорит Фромм, – но я хотел бы назвать следующих: Торо, Эмерсон, Альберт Швейцер, Эрнст Блох, Иван Ильич; югославские философы из группы „Праксис“: М. Маркович, Г. Петрович, С. Сто-янович, С. Супек, П. Вранички; экономист Э. Ф. Шумахер; политический деятель Эрхард Эпплер, а также многие представители религиозных и радикально-гуманистических союзов в Европе и Америке XX века».

Несмотря на все различия во взглядах радикальных гуманистов, их принципиальные позиции совпадают по следующим пунктам:

- производство должно служить человеку, а не экономике;
- отношения между человеком и природой должны строиться не на эксплуатации, а на кооперации;
- антагонизмы повсюду должны быть заменены отношениями солидарности;
- высшей целью всех социальных мероприятий должно быть человеческое благо и предотвращение человеческих страданий;
- не максимальное потребление, а лишь разумное потребление служит здоровью и благосостоянию человека;
- каждый человек должен быть заинтересован в активной деятельности на благо других людей и вовлечен в нее.

После окончания второй мировой войны Фромм принимает решение не возвращаться в Германию. Он поселяется в Мексике на берегу моря (в городе Куэрно-Вако), получает профессуру в Национальном университете в Мехико, сотрудничает с прогрессивно настроенными латиноамериканскими учеными, читает лекции в США.

50-е годы примечательны интересом к социально-теоретическим и

социально-политическим проблемам. Труды этих лет: лекции «Психоанализ и религия», анализ эпоса «Сказки, мифы и сновидения» (1951), две философские работы – «Здоровое общество» (1955) и «Современный человек и его будущее» (1959), а также много публичных выступлений, докладов и статей. Он участвует в политической деятельности, в разработке программы американской социал-демократической федерации (СДФ), в которую вступил ненадолго, пока не убедился, что социал-демократия сильно «поправела».

Трудно поверить, что в самом начале 60-х гг. (т. е. задолго до того, как кто-либо из политиков заговорил о возможности разрядки в отношениях между двумя сверхдержавами) Фромм писал о «деструктивном потенциале американского антикоммунизма» и о необходимости «здорового рационального мышления ради безопасности во всем мире». Кто-то, быть может, помнит, что осенью 1962 г. Фромм приезжал в Москву, где принимал участие в качестве наблюдателя в конференции по разоружению.

Анализ «кибернетического общества», проделанный Фроммом в 60-70-е гг., привел его к созданию самостоятельной «типологии социальных характеров»: общество отчуждения «опредмечивает» человека, заявляет Фромм, превращает его в песчинку, колесико с единственной задачей – вращать гигантскую машину вооружения... Такое общество, без сомнения, создает особый «деструктивный тип личности», который становится угрозой для самого существования человечества.

Последние 11 лет (с 1969 по 1980 г.) Фромм живет в Швейцарии (Локарно), пишет по-английски и по-немецки, печатается во всех странах мира и с удовольствием выступает перед немецкоязычной аудиторией после долгих лет разлуки с Европой.

70-летний ученый не только не чувствует себя стариком, но и в жизни и в творчестве переживает подлинный расцвет. Он пишет в эти годы свою «интеллектуальную биографию» под названием «По ту сторону от иллюзий»; две важнейшие работы, которые сам он называл «труды моей души»: «Психоанализ и дзэн-буддизм» и «Душа человека». В конце 60-х гг. он завершает работу над книгой «Революция надежды» и вплотную берется за исследование проблем агрессивности. Труд оказался безмерным, но спустя пять лет он принес весьма зримый результат: книгу объемом 450 страниц, которой автор намеренно дал очень строгое и точное название «Анатомия человеческой деструктивности». Непосредственно над книгой Фромм работал с 1968 по 1973 г., но подготовка к ней шла более трех десятилетий, ибо исходным пунктом своих научных размышлений об истоках агрессии сам автор считает собственные первые исследования авторитарности, а также изучение и описание характера Гитлера («Бегство от свободы», 1941). Позднее в ученом мире большая работа Фромма была оценена как оригинальная теория личности. Эта книга еще больше усилила интерес европейцев к творчеству Фромма, особенно после выхода в свет его книги «Иметь или быть». Последней публикацией при жизни стала давно задуманная книга о Фрейте.

Когда Фромма не стало, его ассистент подготовил к изданию в Германии Полное собрание сочинений в 10 томах, а швейцарский журналист Ханс Юрген Шульц воспроизвел запись 10 радиобесед с Фроммом и издал их в книге под названием «О любви к жизни».

Э. М. Телятникова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это издание представляет собой первый том обширного исследования в области теории психоанализа. Я занялся изучением агрессии и деструктивности не только потому, что они являются одними из наиболее важных теоретических проблем психоанализа, но и потому еще, что волна деструктивности, захлестнувшая сегодня весь мир, дает основание думать, что подобное исследование будет иметь серьезную практическую значимость.

Более шести лет назад, когда я начинал писать эту книгу, я недооценивал возможные трудности и препятствия. Вскоре мне стало ясно, что, оставаясь в профессиональных границах собственно психоанализа, я не смогу адекватно оценить проблемы человеческой деструктивности. Хотя такое исследование и имеет в первую очередь психоаналитический

аспект, мне были необходимы данные из других областей знания, особенно нейрофизиологии, психологии животных, палеонтологии и антропологии. Я был вынужден сравнивать свои выводы с важнейшими выводами других наук, чтобы убедиться, что эти выводы не противоречат моим гипотезам.

Поскольку в то время еще не было обобщающих работ по проблеме агрессивности, не было ни отчетов, ни обзоров, я был вынужден сам проделать эту работу. Так что я попытался оказать услугу моим читателям и рассмотреть проблему деструктивности с глобальных позиций, а не только с точки зрения отдельной научной дисциплины. Такая попытка, естественно, небезопасна. Ведь ясно, что я не мог быть достаточно компетентным во всех областях; меньше всего знаний у меня было в области неврологии. А теми знаниями, которые я приобрел, я обязан не столько своим собственным трудам, сколько дружескому участию нескольких специалистов по неврологии, которые дали мне ценные советы, ответили на многие мои вопросы, а также просмотрели значительную часть моей рукописи^[1]. При этом следует добавить, что нередко многие специалисты выступают с совершенно различных позиций, между ними нет единства – особенно в области палеонтологии и антропологии. После серьезного изучения всех точек зрения я остановился на тех, которые либо признаются большинством авторов, либо убеждают меня своей логикой, либо, наконец, на тех, которые, казалось, меньше подвержены воздействию господствующих предрассудков. Подробно изложить все полярные точки зрения невозможно в рамках одной книги; но я попытался, насколько возможно, привести противоположные воззрения и дать им критическую оценку. И если даже специалисты обнаружат, что я не могу предложить им ничего нового в их узкой области, они все равно, вероятно, будут приветствовать возможность расширить свои знания об интересующем их предмете за счет информации из других исследовательских сфер. Есть сложности с повторами из моих ранних работ. Ведь я работаю проблемами индивида и общества более 40 лет, и каждый раз, сосредоточивая свое внимание на новом аспекте этой проблемы, я одновременно уточнял, углублял и оттачивал свои идеи, проработанные в прежних исследованиях. Я не мог писать о деструктивности, не используя многих уже высказанных ранее идей, хотя и пытался по возможности избегать повторов, отсылая читателей к более подробному изложению в других публикациях, однако это не всегда удавалось. Это особенно касается моей книги «Душа человека»^[2], где в зародыше уже содержались мои нынешние идеи о некрофилии^[3]^[4] и биофилии^[5], которые мне сегодня удалось не только развернуть теоретически, но и подкрепить значительным числом клинических случаев.

Мне приятно поблагодарить тех, кто помог мне в создании этой книги. Это прежде всего доктор Жером Брамс, которому я многим обязан.

Я благодарю доктора Хуана де Диос Эрнандеса, который помог мне в области нейрофизиологии. В ходе наших дискуссий, длившихся часами, он дал мне информацию о литературе, а также просмотрел и откомментировал те части моей рукописи, которые посвящены проблемам нейрофизиологии.

Я благодарю таких специалистов в области неврологии, как покойный доктор Рауль Эрнандес Пеон, д-р Роберт Б. Ливингстон, д-р Роберт Г. Хит, д-р Хайнц фон Фёрстер и д-р Теодор Мельничук. Доктора Ф. О. Шмидта я благодарю за организацию конференции в Массачусетском технологическом институте, на которой ученые-нейрофизиологи ответили на многие мои вопросы. Я благодарю Альберта Шпеера, который сообщил неизвестные мне ранее сведения о Гитлере, а также Роберта Кемпнера, официального обвинителя с американской стороны на Нюрнбергском процессе, за предоставленную мне информацию. Я

должен поблагодарить также д-ра Дэвида Шехтера, Микаэля Маккоби, Гертруду Гунзикер-Фромм за прочтение рукописи, ценную критику и конструктивные предложения; д-ра Ивана Иллича и Рамона Ксирау – за поддерж-"ку моих философских идей; д-ра В. А. Мэзона – за советы в области психологии животных; д-ра Гельмута де Терра – за комментарии по палеонтологии, Макса Гунзикера – за ценные идеи в области сюрреализма, а Хайнца Брандта – за информацию в области нацистской практики. Я благодарю д-ра Калинковича за живой интерес к моей работе, д-ра Иллича и мисс Валентину Боресман – за дружескую поддержку при отборе литературы в Международном центре документации в Куэрнавака. Пользуюсь случаем поблагодарить мисс Беатрис Майер, которая 20 лет перепечатывает мои рукописи, внося в них необходимую и ценную литературную правку, а также компетентнейшего редактора Марион Одомирок и многих других.

Это исследование было поддержано Национальным институтом умственного здоровья Государственной службы здравоохранения (грант № МН 13144-01, МН 13144-02). Я признателен также Фонду Альберта и Мари Ласкер, благодаря которому я смог воспользоваться помощью ассистента.

Нью-Йорк, май 1973 г. Э.Ф.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Многозначность слова «агрессия» вызывает большую неразбериху в литературе. Оно употребляется и по отношению к человеку, который защищается от нападения, и к разбойнику, убивающему свою жертву ради денег, и к садисту^[6], пытающему пленника. Путаница еще более усиливается, поскольку этим понятием пользуются для характеристики сексуального поведения мужской половины человеческого рода, для целеустремленного поведения альпиниста, торговца и даже крестьянина, рьяно трудящегося на своем поле. Возможно, причиной такой путаницы является бихевиористское^[7] влияние в психологии и психиатрии. Если обозначать словом «агрессия» все «вредные» действия, т. е. все действия, которые наносят ущерб или приводят к разрушению живого или неживого объекта (растения, животного и человека в том числе), то тогда, конечно, поиск причины утрачивает свой смысл, тогда безразличен характер импульса, в результате которого произошло это вредное действие. Если называть одним и тем же словом действия, направленные на разрушение, действия, предназначенные для защиты, и действия, осуществляемые с конструктивной целью, то, пожалуй, надо расстаться с надеждой выйти на понимание «причин», лежащих в основе этих действий; ведь у них нет одной общей причины, так как речь идет о совершенно разнородных явлениях, и потому попытка обнаружить причину «агрессии» ставит исследователя в позицию, безнадежную с теоретической точки зрения^[8].

Возьмем, к примеру, К. Лоренца. Первоначально он понимал под агрессией необходимый биологический импульс, развивающийся в результате эволюции в целях выживания индивида и вида. Но поскольку он подвел под это понятие такие аффекты, как жажда крови и жестокость, то отсюда следует, что и данные иррациональные страсти в такой же мере являются врожденными. Тогда можно предположить, что причины войн коренятся в жажде убивать, т. е. что войны обусловлены склонностью человека к разрушению. При этом слово «агрессия» служит удобным мостиком для соединения биологически необходимой агрессии (не злонамеренной) с несомненно злонамеренной, злокачественной человеческой деструктивностью. По сути дела, такая «аргументация» основана на обыкновенном формально-логическом силлогизме:

Биологически необходимая агрессия – врожденное качество.

Деструктивность и жестокость – агрессия. Следовательно, деструктивность и

жестокость суть врожденные качества – *q. e. d.* [9]

Я в данной книге употреблял слово «агрессия» в отношении поведения, связанного с самообороной, с ответной реакцией на угрозу, и в конечном счете пришел к понятию доброкачественной агрессии. А специфически человеческую страсть к абсолютному господству над другим живым существом и желание разрушать (злокачественная агрессия) я выделяю в особую группу и называю словами «деструктивность» и «жестокость». Там, где я считал необходимым в определенном контексте использовать слово «агрессия» в другом смысле (не в смысле реактивной и оборонительной агрессии), я делал это, во избежание двусмысленности, имея в виду самый прямой смысл слова.

Далее: когда речь идет о человеке, я повсюду для упрощения текста употребляю местоимение «он»^[10]. Хотя я и придаю большое значение отдельному слову, но, с другой стороны, считаю, что не стоит фетишизировать слова, и предпочитаю больше внимания уделять не слову, а идее, которая им обозначена. А что такое словоупотребление не имеет ничего общего с патриархальными принципами – это явствует из всего содержания данной книги.

Ради соблюдения документальной точности основные цитаты сопровождаются указанием на имя автора и год издания его работы. Благодаря этому читатель может самостоятельно почерпнуть дальнейшую информацию из библиографии. Приведенные ссылки не всегда относятся к первому изданию, как, например, при цитировании Спинозы.

Сменяющие друг друга поколения
становятся хуже и хуже.

Наступит время, когда они будут
такими злыми, что начнут поклоняться
силе и могуществу.

Сила тогда станет самооправданием,
а добро больше не будет в почете.

В конце концов, когда люди *прекратят*
возмущаться бесчинствами или
утратят чувство стыда при виде униженных
и несчастных, Зевс уничтожит их всех.

И все же этого можно избежать, если
простой народ способен подняться и
сбросить тиранов, которые его угнетают.

Греческий миф о железном веке

Мысли об истории делают меня пессимистом... но мысли о предыстории делают меня оптимистом.

Ян. Смитс

Человек, с одной стороны, сродни многим видам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего собственного рода. Но, с другой стороны, среди многих тысяч биологических видов, борющихся друг с другом, только человек ведет разрушительную борьбу...

Человек уникален тем, что он составляет род массовых убийц; это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так?

Н. Тинберген

ВВЕДЕНИЕ: ИНСТИНКТЫ^[11] И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СТРАСТИ

Постоянно растущие во всем мире насилие и деструктивность привлекли внимание

специалистов и широкой общественности к теоретическому исследованию сущности и причин агрессии. Такое внимание к данной проблеме не может никого удивить; заслуживает удивления лишь то, что этот интерес возник так поздно, особенно если учесть, что такой выдающийся исследователь, как Фрейд, после пересмотра своей теории, центральной идеей которой была идея сексуальности, уже в 20-е гг. создал новую теорию, в которой страсть разрушения («инстинкт смерти») занимает точно такое же место, как и страсть любви («жажда жизни», «сексуальность»). Однако общественность по-прежнему рассматривала фрейдизм исключительно в духе сложившегося стереотипа, ограничивая его рамками учения о либидо^[12] как основополагающей страсти человека.

Эта ситуация изменилась лишь в середине 60-х гг. Одной из причин перемены был, вероятно, масштаб насилия и страх перед нарастающей угрозой войны во всем мире, который в это время достиг своего апогея. Этому способствовала также публикация нескольких книг, посвященных проблеме человеческой агрессивности, особенно книги Конрада Лоренца «Так называемое зло». Лоренц, известный ученый в области исследования поведения животных^[13] (особенно интересны его труды о рыбах и птицах), решил вступить в область, где обладал недостаточным опытом и недостаточной компетентностью, – в область человеческого поведения. Хотя его книга «Так называемое зло» была отвергнута большинством психологов и нейрофизиологов, она мгновенно стала бестселлером и произвела огромное впечатление на значительную часть весьма образованной публики, которая увидела в идеях Лоренца окончательное решение проблемы.

Большой успех идей Лоренца не в последнюю очередь был связан с предшествующей публикацией работ автора совершенно иного типа, Роберта Ардри, – «Адам пришел из Африки», «Адам и его территория». Ардри (талантливый сценарист, но не ученый) смешивает без разбору даты и факты о происхождении человека и связывает их с весьма тенденциозным мифом о врожденной человеческой агрессивности. За этой книгой последовали другие книги специалистов в области поведения животных, например «Голая обезьяна» Десмонда Морриса и «Любовь и ненависть», принадлежащая перу одного из учеников К. Лоренца, Ирениусу Эйбл-Эйбесфельду.

Все эти произведения содержат, по сути дела, один и тот же тезис: агрессивное поведение людей, проявляющееся в войнах, преступлениях, личной драчливости и прочих типах деструктивного и садистского поведения, имеет филогенетические корни*, оно запрограммировано в человеке, связано с врожденным инстинктом, который ждет своего места и часа и использует любой повод для своего выражения.

Возможно, успех Лоренца и его неоинстинктивизма связан не столько с безупречностью его аргументов, сколько с тем, что многие люди оказались предрасположены к восприятию такой аргументации. Что может быть приятнее для человека, испытывающего страх и понимающего свою беспомощность перед лицом неумолимого движения мира в сторону разрушения, что может быть желаннее, чем теория, заверяющая, что насилие коренится в нашей звериной натуре, в неодолимом инстинкте агрессивности и что самое лучшее для нас, как говорит Лоренц, – постараться понять, что сила и власть этого влечения являются закономерным результатом эволюции. Эта теория о врожденной агрессивности очень легко превращается в идеологию, которая смягчает страх перед тем, что может случиться, и помогает рационализировать* чувство беспомощности.

Есть еще и другие причины, в силу которых кое-кто отдает предпочтение упрощенному решению проблемы деструктивности в рамках инстинктивистской теории. Серьезное исследование причин деструктивности может поставить под сомнение основы крупнейших идеологических систем. Здесь невозможно избежать анализа проблемы иррациональности нашего общественного строя, здесь придется нарушить некоторые табу, скрывающиеся за священными понятиями «безопасность», «честь», «патриотизм» и т. д.

Достаточно провести серьезное исследование нашей социальной системы, чтобы сделать вывод о причинах роста деструктивности в обществе и подсказать средства для ее снижения. Инстинктивистская теория избавляет нас от нелегкой задачи такого глубокого анализа. Она успокаивает нас и заявляет, что даже если все мы должны погибнуть, то мы по меньшей мере можем утешать себя тем, что судьба наша обусловлена самой «природой» человека и что все идет именно так, как и должно было идти.

Принимая во внимание современное состояние психологической мысли, каждый, кто встречается с критикой в адрес лоренцовской теории агрессивности, ожидает, что она исходит со стороны бихевиоризма – другой теории, которая занимает доминирующее положение в психологии. В противоположность инстинктивизму, бихевиоризм не интересуют субъективные мотивы, силы, навязывающие человеку определенный способ поведения; бихевиористскую теорию интересуют не страсти или аффекты, а лишь тип поведения и социальные стимулы, формирующие это поведение.

Радикальная переориентация психологии с аффектов на поведение произошла в 20-е гг., и в последующий период многие психологи изгнали из своего научного обихода понятия страсти и эмоции, как не подлежащие научному анализу. Поведение само по себе, а не человек, ведущий себя так или иначе, стало предметом главного психологического направления. «Наука о душе» превратилась в науку о манипулировании поведением – животного и человека. Это развитие достигло своей вершины в необихевиоризме Скиннера, который представляет сегодня в университетах США общепризнанную Психологическую теорию.

Нетрудно обнаружить причины такого поворота внутри психологической науки. Ученый, занимающийся изучением человека, более всех других исследователей подвержен воздействию социального климата. Это происходит оттого, что не только он сам, его образ мыслей, его интересы и доставленные им вопросы детерминированы обществом (как это бывает и в естественных науках), но также детерминирован обществом и сам предмет его исследования – человек. Каждый раз, когда психолог говорит о человеке, моделью для него служат люди из его ближайшего окружения – и прежде всего он сам. В современном индустриальном обществе люди ориентируются на разум, их чувства бедны, эмоции представляются им излишним балластом, причем так обстоят дела и у самого психолога, и у объектов его исследования. Поэтому бихевиористская теория их вполне удовлетворяет.

Противостояние инстинктивизма и бихевиоризма не способствовало прогрессу психологической науки. Каждая позиция была проявлением «одностороннего подхода», обе опирались на догматические принципы и требовали от исследователей приспособления либо к одной, либо к другой теории. Но разве в действительности существует лишь такая альтернатива в выборе теории – или инстинктивистская, или бихевиористская? Неужели непременно надо выбирать между Скиннером и Лоренцом? Разве нет других вариантов? В этой книге я отстаиваю мнение, что существует еще одна возможность, и пытаюсь выяснить, в чем она состоит.

Мы должны различать у человека два совершенно разных вида агрессии. Первый вид, общий и для человека, и для всех животных, – это филогенетически заложенный импульс к атаке (или к бегству) в ситуации, когда возникает угроза жизни. Эта оборонительная «доброкачественная» агрессия служит делу выживания индивида и рода; она имеет биологические формы проявления и затухает, как только исчезает опасность. Другой вид представляет «злокачественная» агрессия – это деструктивность и жестокость, которые свойственны только человеку и практически отсутствуют у других млекопитающих; она не имеет филогенетической программы, не служит биологическому приспособлению и не имеет никакой цели. Большая часть прежних споров на данную тему была вызвана тем, что не существовало разграничения между этими двумя видами агрессии, которые различны и по происхождению, и по отличительным чертам.

Оборонительная агрессия действительно заложена в природе человека, хотя и в этом

случае речь не идет о «врожденном»^[14] инстинкте, как принято было считать.

Когда Лоренц говорит об агрессии как способе защиты, он прав в своем предположении, что речь здесь идет об агрессивном инстинкте (хотя теория спонтанности влечений и их способности к саморазрядке не выдерживает критики). Но Лоренц идет еще дальше. Он применяет целый ряд утонченных логических конструкций, чтобы представить любую человеческую агрессию, включая жажду мучить и убивать, как следствие биологически данной агрессивности, которая, с его точки зрения, под влиянием целого ряда различных факторов из необходимой защитной превращается в деструктивную силу. Против этой гипотезы говорят многочисленные эмпирические данные, и потому она практически несостоятельна. Изучение поведения животных показывает, что, хотя млекопитающие – особенно приматы – демонстрируют изрядную степень оборонительной агрессии, они не являются ни мучителями, ни убийцами. Палеонтология, антропология и история дают нам многочисленные примеры, противоречащие инстинктивистской концепции, отстаивающей три основных принципа:

1. Человеческие группы отличаются друг от друга степенью своей деструктивности – этот факт можно объяснить, только исходя из допущения о врожденном характере жестокости и деструктивности.

2. Разные степени деструктивности могут быть связаны с другими психическими факторами и с различиями в соответствующих социальных структурах.

3. По мере цивилизационного прогресса степень деструктивности возрастает (а не наоборот).

На самом деле концепция врожденной деструктивности относится скорее к истории, чем к предыстории. Ведь если бы человек был наделен только биологически приспособительной агрессией, которая роднит его с его животными предками, то он был бы сравнительно миролюбивым существом; и если бы среди шимпанзе были психологи, то проблема агрессии вряд ли беспокоила бы их в такой мере, чтобы писать о ней целые книги.

Но в том-то и дело, что человек отличается от животных именно тем, что он убийца. Это единственный представитель приматов, который без биологических и экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовлетворение. Это та самая биологически аномальная и филогенетически не запрограммированная «злокачественная» агрессия, которая представляет настоящую проблему и опасность для выживания человеческого рода; выяснение же сущности и условий возникновения такой деструктивной агрессии как раз и составляет главную цель этой книги.

Различение доброкачественно-оборонительной и злокачественно-деструктивной агрессии требует еще более основательной дифференциации двух категорий, а именно: *инстинкта* [15] и *характера*, точнее говоря, разграничения между естественными влечениями, которые коренятся в физиологических потребностях, и специфически человеческими страстями, которые коренятся в характере («характерологические, или человеческие, страсти»). Такая дифференциация между инстинктом и характером будет в дальнейшем подробно рассмотрена. Я попытаюсь показать, что характер – это «вторая натура» человека, замена для его слаборазвитых инстинктов; что человеческие страсти соответствуют *экзистенциальным потребностям* [16] человека, а последние в свою очередь определяются специфическими условиями человеческого существования. Короче говоря, инстинкты – это ответ на физиологические потребности человека, а страсти, произрастающие из характера (потребность в любви, нежности, свободе, разрушении, садизм, мазохизм, жажда собственности и власти), – все это ответ на экзистенциальные потребности, и они являются специфически человеческими. Хотя экзистенциальные потребности одинаковы для всех людей, индивиды и группы отличаются с точки зрения

14

15

16

преобладающих страстей. К примеру, человек может быть движим любовью или страстью к разрушению, но в каждом случае он удовлетворяет одну из своих экзистенциальных потребностей – потребность в «воздействии» на кого-либо. А что возьмет верх в человеке – любовь или жажда разрушения, – в значительной мере зависит от социальных условий; эти условия влияют на биологически заданную экзистенциальную ситуацию и возникающие в связи с этим потребности (а не на безгранично изменчивую и трудноуловимую психику, как считают представители теории среды).

Когда же мы хотим узнать, что составляет условия человеческого существования, то возникают главные вопросы: в чем состоит сущность человека? что делает человека человеком?

Вряд ли стоит доказывать, что обсуждение таких проблем в современном общественном сознании нельзя считать плодотворным. Эти проблемы по-прежнему считаются прерогативой философии и религии; а позитивистское направление рассматривает их в чисто субъективистском аспекте, игнорируя всякую объективность. Поскольку мне не хочется, забегая вперед, приводить развернутую аргументацию, опирающуюся на факты, я пока ограничусь несколькими замечаниями. Что касается меня, то в отношении этих проблем я исхожу из биосоциальной точки зрения. Главной предпосылкой является следующее: поскольку специфические черты *Homo sapiens* могут быть определены с позиций анатомии, неврологии и физиологии, мы должны научиться определять представителя человеческого рода с позиций психологии.

В попытке дать определение человеческой сущности мы опираемся не на такие абстракции, какими оперирует спекулятивная метафизика в лице, например, Хайдеггера и Сартра. Мы обращаемся к реальным условиям существования реального живого человека, так что понятие сущность каждого индивида совпадает с понятием экзистенция (существование) рода. Мы приходим к этой концепции путем эмпирического анализа анатомических и нейрофизиологических человеческих типов и их психических коррелятов (т. е. душевных состояний, соответствующих этим данным).

Мы заменяем фрейдовский физиологический принцип объяснения человеческих страстей на эволюционный социобиологический принцип историзма.

Лишь при опоре на такой теоретический фундамент становится возможным подробное обсуждение различных форм и личностных типов злокачественной агрессии, особенно таких, как садизм (страстное влечение к неограниченной власти над другим живым существом) и некрофилия (страсть к разрушению жизни и привязанность ко всему мертвому, разложившемуся, чисто механическому). Понимание этих личностных типов стало доступно, как я думаю, благодаря анализу характеров нескольких персон, известных своим садизмом и деструктивностью, как, например, Сталин, Гиммлер, Гитлер.

Итак, мы наметили построение данного исследования, и теперь имеет смысл назвать некоторые посылки и выводы, с которыми читатель встретится в последующих главах.

1. Мы намерены заниматься не поведением, как таковым, в отрыве от действующего человека; нашим предметом являются человеческие стремления, независимо от того, выражаются они непосредственно наблюдаемым поведением или нет. В случае с феноменом агрессии это означает, что мы будем исследовать происхождение и интенсивность агрессивного импульса, а не агрессивное поведение в отрыве от его мотивации.

2. Эти импульсы могут быть осознанными, но в большинстве случаев они неосознанны.

3. Чаще всего они интегрированы в сравнительно постоянную структуру личности.

4. В широком смысле данное исследование опирается на психоаналитическую теорию. Отсюда следует, что мы будем прибегать к методу психоанализа, который вскрывает неосознанную внутреннюю реальность путем истолкования доступных для наблюдения и внешне незначительных данных. Но выражение «психоанализ» употребляется у нас все же не в смысле классической теории Фрейда, а в смысле дальнейшего развития фрейдизма. На главных аспектах этого развития я позднее остановлюсь более подробно; здесь же следует лишь отметить, что мой психоанализ опирается не на теорию либидо и исходит не из

инстинктивистских представлений, которые, по общему мнению, составляют ядро и сущность теории Фрейда.

Отождествление теории Фрейда с инстинктивизмом и без того весьма проблематично. Фрейд в действительности был первым современным психологом, который (в противоположность прежде распространенной традиции) исследовал все богатство человеческих страстей – любовь, ненависть, тщеславие, жадность, ревность и зависть. Страсти, которые ранее были «доступны» лишь романтикам и трубадурам, Фрейд сделал предметом научного исследования^[17].

Возможно, этим объясняется то, что учение Фрейда нашло больше понимания и признания среди художников, чем среди психологов и психиатров, – по крайней мере до того момента, пока его метод не был взят на вооружение для психотерапевтического лечения все возрастающего потока больных. Что касается представителей искусства, то учение Фрейда воистину вызвало у них чувство, будто впервые появился ученый, который взял их кровную тему и постиг человеческую «душу» в самых ее сокровенных и значимых проявлениях.

Влияние Фрейда на художественное мышление явственнее всего обнаружилось в сюрреализме. В противоположность классическим формам искусства сюрреализм отказался от прежнего понимания «реальности», усмотрев в ней нечто неполноценное (нерелевантное); представителей сюрреализма перестали интересовать способы поведения – ценность мог представлять только субъективный опыт; поэтому совершенно естественно, что фрейдовское толкование сновидений стало одним из важнейших факторов развития этого направления.

Следует заметить, что Фрейд в формулировании своих идей неизбежно был ограничен рамками понятийного аппарата своей эпохи. Поскольку он никогда не собирался идти на разрыв с материализмом своих учителей, он вынужден был искать возможность объяснить человеческие страсти как выражение влечений. И это ему блестяще удалось благодаря теоретическому *tour de force*^[18]: он расширил понятие сексуальности (либидо) настолько, что все человеческие страсти (за исключением инстинкта самосохранения) он представил как формы проявления одного-единственного инстинкта. Любовь, ненависть, жадность, тщеславие, зависть, ревность, жестокость и нежность – все они оказались насильно втиснуты в тесные рамки теоретической схемы, где получили обоснование либо как сублимация^[19], либо как реализация сексуальности (в виде оральной, анальной, генитальной, нарциссистской и других форм либидо^[20]).

Во второй период своего творчества Фрейд попытался вырваться за пределы этой схемы и создал новую теорию, которая продемонстрировала значительный прогресс в понимании деструктивности. Он обнаружил, что жизнью правят не два эгоистических инстинкта – голод и сексуальность, а две главные страсти – любовь и деструктивность, и обе они служат делу физиологического выживания, хотя и не в том смысле, как физический и сексуальный голод. Но поскольку Фрейд все равно был связан цепями своих теоретических установок, он обозначил эти две страсти парными категориями «инстинкт жизни» и «инстинкт смерти», тем самым придав деструктивности столь серьезное значение, что она была признана одной из двух фундаментальных человеческих страстей.

В настоящем исследовании автор освобождает от принудительного брака с инстинктами такие важные человеческие страсти, как стремление к любви и свободе, тяга к разрушению, желание мучить, подчинять себе другого и господствовать над ним. Инстинкт – это чисто биологическая категория, в то время как страсти и влечения, коренящиеся в характере, – это биосоциальные, исторические категории^[21]. И хотя они не служат физическому выживанию, они обладают такой же (а иногда и большей) властью, как и

17

18

19

20

21

инстинкты. Они составляют основу человеческой заинтересованности жизнью (способности к радости и восхищению); они являются в то же время материалом, из которого возникают не только мечты и сновидения, но и искусство и религия, мифы и сказания, литература и театр – короче, все, ради чего стоит жить (что делает жизнь достойной жизни). Человек не может существовать как простой «предмет», как игральная кость, выскакивающая из стакана; он сильно страдает, если его низводят до уровня автоматического устройства, способного лишь к приему пищи и размножению, даже если при этом ему гарантируется высшая степень безопасности. Человек нуждается в драматизме жизни и переживаниях; и если на высшем уровне своих достижений он не находит удовлетворения, то сам создает себе драму разрушения.

Нынешнее состояние психологической мысли поддерживает известную аксиому, согласно которой мотивация лишь тогда может быть сильной, когда она служит органическим потребностям, т. е. только инстинкты обладают достаточно интенсивной мотивационной силой. Если же отказаться от этой механистической, редуccionистской^[22] точки зрения и обратиться к целостной концепции человека, то постепенно становится ясно, что человеческие страсти следует рассматривать в связи с их функцией в процессе жизни целостного организма. Их интенсивность коренится не в специфических физиологических потребностях, а в потребности целостного организма жить и развиваться как в телесном, так и в духовном смысле.

Эти страсти важны для нас не после того, как удовлетворены наши физиологические потребности. Нет. Их корни уходят в самые основания человеческого бытия, они отнюдь не относятся к разряду роскоши, которую кто-то может себе позволить после того, как удовлетворит свои нормальные «низшие» потребности. Люди кончали жизнь самоубийством из-за того, что не могли удовлетворить свою любовную страсть, жажду власти, славы или мести. Случаи самоубийства по причине недостаточной сексуальной удовлетворенности практически не встречаются. Именно эти, не обусловленные инстинктами, страсти волнуют человека, зажигают его, делают жизнь полноценной; как сказал однажды Гольбах, французский философ-просветитель: «Человек, лишенный желаний и страстей, перестает быть человеком».

Их влияние и роль тем и обусловлены, что без них человек перестает быть человеком^[23].

Человеческие страсти превращают человека из маленького, незаметного существа в героя, в существо, которое вопреки всем преградам пытается придать смысл собственной жизни. Он хочет быть творцом самого себя, хочет превратить свое неполноценное бытие в полноценное, осмысленное и целеустремленное, позволяющее ему в максимальной мере достигнуть целостности своей личности. Человеческие страсти – это отнюдь не психологические комплексы, которые можно объяснить путем обращения к событиям и впечатлениям раннего детства. Их можно понять, только разорвав узкие рамки редуccionистской психологии и изучая их в живой реальности, т. е. подвергнув анализу попытку человека придать смысл своей жизни; пережить самые острые, самые мощные потрясения бытия, которые только могут иметь место при данных условиях (или которые он сам считает возможными). Страсти – это его религия, его культ и его ритуал, а он вынужден скрывать их даже от себя самого, особенно если он не получает поддержки группы. Ценой вымогательства и подкупа его могут заставить отказаться от своей «религии» и стать адептом нового культа – культа робота. Но такой психологический подход отбирает у человека его последнее достояние – способность быть не вещью, а человеком.

В действительности все человеческие страсти, «хорошие» и «дурные», следует понимать не иначе как попытку человека преодолеть собственное банальное существование

во времени и перейти в трансцендентное^[24] бытие. Изменение личности возможно лишь в том случае, если человеку удастся «обратиться» к новым способам осмысливания жизни: если он при этом мобилизует все свои жизненно важные устремления и страсти и тем самым познает гораздо более острые формы витальности и интеграции, чем те, что были ему присущи прежде. А до тех пор, пока этого не происходит, его можно обуздать, укротить, но нельзя исцелить. Несмотря на то что жизнеспособные страсти ведут к самоутверждению человека, усиливают его ощущение радости жизни и гораздо больше способствуют проявлению его целостности и витальности, чем жестокость и деструктивность, тем не менее и те и другие в равной мере участвуют в реальном человеческом существовании; потому анализ тех и других страстей необходим для решения проблемы человека. Ведь и садист – тоже человек и обладает человеческими признаками так же, как и святой. Его можно назвать больным человеком, калекой, уродом, который не смог найти другого способа реализовать данные ему от рождения человеческие качества, – и это будет правильно; его можно также считать человеком, который в поисках блага ступил на неверный путь^[25].

Эти рассуждения вовсе не доказывают того, что жестокость и деструктивность – не суть пороки, они доказывают лишь то, что эти пороки свойственны человеку. Жестокость разрушает душу и тело и саму жизнь; она сокрушает не только жертву, но и самого мучителя. В этом пороке находит выражение парадокс: в поисках своего смысла жизнь оборачивается против себя самой. В этом пороке заключено единственное настоящее извращение. И понять его – вовсе не значит простить. Но пока мы не поняли, в чем его суть, мы не можем судить о том, какие факторы способствуют, а какие препятствуют росту деструктивности в обществе.

Такое понимание особенно важно в наше время, когда значительно снизился порог чувствительности к жестокости, когда на всех уровнях жизни заметны некрофильские тенденции: рост интереса нашего кибернетического индустриального общества ко всему мертвому, разложившемуся, механическому, автоматическому и т. д.

В литературе дух некрофилии впервые проявился в 1909 г. в «Манифесте футуризма» Ф. Т. Маринетти. Но в последние десятилетия эта тенденция стала заметна во многих сферах литературы и искусства, где объектом изображения все чаще становится механическое, безжизненное, деструктивное начало. Предвыборный лозунг фалангистов «Да здравствует смерть!» грозит превратиться в принцип жизни самого общества, в котором победа машин над природой стала символом прогресса, а сам живой человек становится всего лишь придатком машины.

В настоящей работе исследуется сущность некрофилии и социальные условия, способствующие формированию и проявлению этой страсти. В результате исследования я пришел к выводу, что в широком смысле избавление от этого порока возможно только ценой радикальных перемен в нашем общественном и политическом строе – таких перемен, которые вернут человеку его господствующую роль в обществе. Лозунг «Порядок и закон» (вместо «Жизнь и система»), призыв к применению более строгих мер наказания за преступления, равно как и одержимость некоторых «революционеров» жаждой власти и разрушения – это не что иное, как дополнительные примеры растущей тяги к некрофилии в современном мире. Мы должны создать такие условия, при которых высшей целью всех общественных устремлений станет всестороннее развитие человека – того самого несовершенного существа, которое, возникнув на определенной ступени развития природы, нуждается в совершенствовании и шлифовке. Подлинная свобода и независимость, а также искоренение любых форм угнетения смогут привести в действие такую силу, как любовь к жизни, – а это и есть единственная сила, способная победить влечение к смерти.

Часть первая.

Учения об инстинктах и влечениях; БИХЕВИОРИЗМ; ПСИХОАНАЛИЗ

I. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНСТИНКТИВИЗМА

Старшее поколение исследователей

Я не собираюсь представлять здесь читателю историю учений об инстинктах, ибо ее можно найти во многих учебниках^[26]. Истоки этой истории надо искать в философских трудах прошлого, но современное мышление в целом опирается на труды Чарлза Дарвина и его эволюционную теорию. Уильям Джеймс и Уильям Мак-Дугалл составили пространственные таблицы, полагая, что каждый отдельный инстинкт или влечение обуславливает соответствующий тип поведения. Так, Джеймс выделяет инстинкт подражания, инстинкты вражды, сочувствия, охоты, страха, соревнования, kleptomании, творчества, игры, зависти, общительности, скрытности, чистоты, скромности, любви, ревности – в целом этот список представляет странную смесь из общечеловеческих свойств и специфических социально обусловленных черт личности. И хотя сегодня перечни такого рода кажутся нам несколько наивными, все же следует отметить, что исследования инстинктов по сей день поражают обилием теоретических конструкций и высоким уровнем теоретического мышления. Джеймс, например, совершенно четко представлял себе, что самое элементарное инстинктивное действие может включать в себя элемент обучения, а Мак-Дугалл вовсе не отрицал многообразного формирующего влияния опыта и культуры. Его учение об инстинктах перекидывает мостик к теории Фрейда. Как подчеркивает Флетчер, Мак-Дугалл не отождествлял инстинкт с «механической моторикой» и не связывал его с двигательной реакцией. Для него инстинкт по сути своей представлял «склонность» к чему-либо, «потребность» в чем-то; и он допускал, что аффективно-коннативное ядро всякого влечения, «по-видимому, может существовать и функционировать в инстинктивной системе индивида сравнительно независимо от когнитивной и моторной ее части».

Прежде чем мы обратимся к крупнейшим современным исследователям этой проблемы, каковыми являются Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц, попробуем отметить то, что объединяет их с их предшественниками. Так, в концепции Мак-Дугалла существовала некая механогидравлическая модель действия инстинктов, по типу шлюза, в котором ворота сдерживают энергию воды, а затем при определенных условиях она прорывается и образует «водопад». Позднее он для образности сравнивал любой инстинкт с «газовым баллоном», из которого «постоянно высвобождается отравляющее вещество».

Фрейд в своей теории либидо также следует некой гидравлической схеме. Либидо нарастает – напряженность усиливается – недовольство ширится; сексуальный акт дает разрядку, снимает напряжение до тех пор, пока оно вновь не начнет усиливаться и нарастать. Сходные идеи мы видим и у Лоренца; он, например, сравнивает реактивную энергию со «сжатым газом, который долго хранится в специальном резервуаре», или с жидкостью, которая заключена в сосуд, имеющий вентиль в днище, и т. д. Р. А. Хинде считает, что, несмотря на мелкие различия, все эти теоретические модели имеют одну общую идею – идею субстанции, обладающей способностью стимулировать поведение. «Эта субстанция заключена в некий сосуд, а затем она выпускается, воздействует на субъект, заряжает его энергией, от которой тот приходит в действие».

Современное поколение исследователей: Зигмунд Фрейд и Конрад Лоренц

Понятие агрессии у Зигмунда Фрейда.[27]

Главный прогресс во взглядах Фрейда по сравнению с его предшественниками, особенно Мак-Дугаллом, состоял в том, что он свел все «влечения» к двум категориям: инстинкту самосохранения и инстинкту сексуальности; Поэтому теорию Фрейда можно считать последней ступенькой в истории развития учения об инстинктах. Но я хочу еще раз повторить мою мысль о том, что одновременно теория Фрейда была и первой ступенькой к преодолению прежних теоретических построений, хотя сам Фрейд этого и не сознавал. В дальнейшем я буду рассматривать только фрейдовскую концепцию агрессии, исходя из того, что его теория либидо многим читателям уже хорошо известна либо они могут познакомиться с ней по другим источникам, а лучше всего по первоисточнику, каковым являются лекции Фрейда под названием «Введение в психоанализ».

Фрейд уделял феномену агрессии сравнительно мало внимания, считая сексуальность (либидо) и инстинкт самосохранения главными и преобладающими силами в человеке. Однако в 20-е гг. он полностью отказывается от этого представления. Уже в работе «Я и Оно», а также во всех последующих трудах он выдвигает новую дихотомическую пару: влечение к жизни (эрос) и влечение к смерти. Сам он описывал новую стадию своего теоретизирования следующим образом: «Размышляя о происхождении жизни и о развитии разных биологических систем, я пришел к выводу, что наряду с жаждой жизни (инстинктом живой субстанции к сохранению и приумножению) должна существовать и противоположная страсть – страсть к разложению живой массы, к превращению живого в первоначальное неорганическое состояние. То есть наряду с эросом должен существовать инстинкт смерти».

Инстинкт смерти направлен против самого живого организма и потому является инстинктом либо саморазрушения, либо разрушения другого индивида (в случае направленности вовне). Если инстинкт смерти оказывается связан с сексуальностью, то он находит выражение в формах садизма или мазохизма*. И хотя Фрейд неоднократно подчеркивал, что интенсивность этого инстинкта можно редуцировать, основная его теоретическая посылка гласит: человек одержим одной лишь страстью – жаждой разрушить либо себя, либо других людей, и этой трагической альтернативы ему вряд ли удастся избежать. Из гипотезы о влечении к смерти следует вывод, что агрессивность по сути своей является не реакцией на раздражение, а представляет собой некий постоянно присутствующий в организме подвижный импульс, обусловленный самой конституцией человеческого существа, самой природой человека.

Большинство психоаналитиков, взявших на вооружение теорию Фрейда, воздержались от восприятия той части его учения, которая говорит об инстинкте смерти, возможно, потому, что она выходит за рамки механистического биологического мышления, согласно которому все «биологическое» автоматически отождествляется с физиологией инстинктов. И все же они не отбросили полностью новые идеи Фрейда, а пошли на компромисс, признав, что «жажда разрушения» существует как противоположность сексуальности. Это дало им возможность применить новый подход Фрейда к понятию агрессии и в то же время «не заметить» кардинальных изменений в его мировоззрении и не подпасть под его влияние.

Фрейд сделал очень важный шаг вперед от механистического физиологизма к биологическому воззрению на организм как целое и к анализу биологических предпосылок феноменов любви и ненависти. Однако его теория страдает серьезным недостатком: она опирается на чисто абстрактные спекулятивные рассуждения и не имеет убедительных эмпирических доказательств. Вдобавок к этому, хотя Фрейд и предпринял блистательную попытку объяснить с помощью своей новой теории человеческое поведение, его гипотеза оказалась непригодной для объяснения поведения животных. Для него инстинкт смерти – это биологическая сила, действующая в любом живом организме, а это значит, что и животные должны совершать действия, направленные либо на саморазрушение, либо на разрушение других особей. Из этого следует, что у менее агрессивных животных мы должны были бы обнаруживать более частые болезни и более раннюю смертность (и наоборот); но эта гипотеза, разумеется, не имеет эмпирических доказательств.

В следующей главе я постараюсь доказать, что агрессия и деструктивность не являются ни биологически данными, ни спонтанно возникающими импульсами. Здесь же следует подчеркнуть, что Фрейд не столько прояснил, сколько завуалировал феномен агрессии, распространив это понятие на совершенно разные типы агрессии, и таким образом свел все эти типы к одному-единственному инстинкту. И поскольку Фрейд наверняка не был приверженцем бихевиоризма, мы можем предположить, что причиной тому была его склонность к дуалистическому противопоставлению двух основополагающих сил в человеке.

При разработке этой дихотомической схемы сначала возникла пара, состоящая из либидо и стремления к самосохранению; позднее эта пара трансформировалась в противопоставление инстинкта жизни инстинкту смерти. Элегантность этой концепции потребовала от Фрейда определенной жертвы: ему пришлось расположить все человеческие страсти либо на одном, либо на другом из двух полюсов и таким образом соединить вместе те черты, которые в реальности не имеют ничего общего друг с другом.

Теория агрессии Конрада Лоренца

Хотя Фрейдова теория агрессии имела и по сей день имеет определенное влияние, она все же оказалась слишком трудной, многослойной и не получила особой популярности у широкого читателя. Зато книга Конрада Лоренца «Так называемое зло» сразу после выхода в свет стала одним из бестселлеров в области социальной психологии.

Причины такой популярности очевидны. Прежде всего «Так называемое зло» написана таким же простым и ясным языком, как и более ранняя, очаровательная книга Лоренца «Кольцо царя Соломона». Легкостью изложения эта книга выгодно отличалась от всех предыдущих научных исследований и книг самого Лоренца, не говоря уже о тяжеловесных рассуждениях Фрейда об инстинкте смерти. Кроме того, сегодня его идеи привлекают многих людей, которые предпочитают верить, что наша страсть к насилию (к ядерному противостоянию и т. д.) обусловлена биологическими факторами, не подлежащими нашему контролю, чем открыть глаза и осознать, что виною всему мы сами, вернее, созданные нами социальные, политические и экономические обстоятельства.

Согласно Лоренцу^[28], человеческая агрессивность (точно так же, как и влечения у Фрейда) питается из постоянного энергетического источника и не обязательно является результатом реакции на некое раздражение.

Лоренц разделяет точку зрения, согласно которой специфическая энергия, необходимая для инстинктивных действий, постоянно накапливается в нервных центрах, и, когда накапливается достаточное количество этой энергии, может произойти взрыв, даже при полном отсутствии раздражителя. Правда, и люди и животные обычно находят возбудитель раздражения, чтобы сорвать на нем зло и тем самым освободиться от энергетической напряженности. Им нет нужды пассивно дожидаться подходящего раздражителя, они сами ищут его и даже создают соответствующие ситуации. Вслед за В. Крэйгом Лоренц называет это «поведенческой активностью». Человек создает политические партии, говорит Лоренц, чтобы обеспечить себе ситуации борьбы, в которых он может разрядиться (освободиться от излишков накопившейся энергии); но сами политические партии не являются причиной агрессии. Однако в тех случаях, когда не удастся найти или создать внешний раздражитель, энергия накопившейся инстинктивной агрессивности достигает таких размеров, что сразу происходит взрыв, и инстинкт «срабатывает» *in vacuo*^[29]. «Даже самый крайний случай бессмысленного инстинктивного поведения, внешне ничем не обусловленного и не имеющего никакого объекта (своего рода бег на месте), дает нам картину таких действий, которые фотографически точно совпадают с биологически целесообразными действиями нормального живого организма, — и это является важным доказательством того, что в

инстинктивных действиях координация движений до мельчайших деталей запрограммирована генетически»[30].

Итак, для Лоренца агрессия, во-первых, не является реакцией на внешние раздражители, а представляет собой собственное внутреннее напряжение, которое требует разрядки и находит выражение, невзирая на то, есть для этого подходящий внешний раздражитель или нет. «Главная опасность инстинктов в их спонтанности» (Курсив мой. – Э. Ф.). Модель агрессии К. Лоренца, как и либидозную модель Фрейда, можно с полным правом назвать гидравлической моделью по аналогии с давлением воды, зажатой плотиной в закрытом водоеме.

Можно сказать, что теория Лоренца покоится на двух фундаментальных посылах: первая – это гидравлическая модель агрессии, которая указывает на механизм возникновения агрессии. Вторая – идея, что агрессивность служит делу самой жизни, способствует выживанию индивида и всего вида. В общем и целом Лоренц исходит из предположения, что внутривидовая агрессия (агрессия по отношению к членам своего же вида) является функцией, служащей выживанию самого вида. Лоренц утверждает, что агрессивность играет именно такую роль, распределяя отдельных представителей одного вида на соответствующем жизненном пространстве, обеспечивая селекцию «лучших производителей» и защиту материнских особей, а также устанавливая определенную социальную иерархию. Причем агрессивность может гораздо успешнее выполнять функцию сохранения вида, чем устрашения врага, которое в процессе эволюции превратилось в своего рода форму поведения, состоящую из «символических и ритуальных» угроз, которые никого не страшат и не наносят виду ни малейшего ущерба.

Однако дальше Лоренц утверждает, что инстинкт, служащий у животных сохранению вида, у человека «перерастает в гротесковую и бессмысленную форму» и «выбивает его из колеи». Агрессивность из помощника превращается в угрозу выживанию.

Лоренц, по-видимому, и сам не был полностью удовлетворен подобным истолкованием человеческой агрессивности; ему хотелось дополнить это объяснение аргументами, выходящими за рамки этологии. Он пишет:

Прежде всего надо отметить, что губительная энергия агрессивного инстинкта досталась человеку по наследству, а сегодня она пронизывает его до мозга костей; скорее всего, эта агрессивность была обусловлена процессом внутривидового отбора, который длился многие тысячелетия (в частности, прошел через весь раннекаменный век) и оказал серьезное влияние на наших предков. Когда люди достигли такого уровня, что сумели благодаря своему оружию, одежде и социальной организации избавиться в какой-то мере от внешней угрозы погибнуть от голода, холода или диких зверей, т. е. когда

эти факторы перестали выполнять свою селективную функцию, тогда, вероятно, вступила в свои права злая и жестокая внутривидовая селекция. Наиболее значимым фактором стала война между враждующими ордами людей, живущими по соседству. Война стала главной причиной формирования у людей так называемых «воинских доблестей», которые и по сей день, к сожалению, для многих людей представляют идеал, достойный подражания.

Такое представление о постоянной войне между «дикими» охотниками и собирателями плодов, земледельцами с момента появления «современного человека» (где-то около 40-50 тысячелетий до нашей эры) – одно из распространенных клише, которое К. Лоренц берет на вооружение, вовсе не принимая во внимание исследования, опровергающие этот стереотип[31].

Предположение Лоренца о 40 тысячах лет организованной войны – это не что иное, как старая формула Гоббса о войне как естественном состоянии человека, у Лоренца этот аргумент служит для доказательства врожденной агрессивности человека. Из этого

предположения Лоренца выводится силлогизм: человек является агрессивным, ибо он таковым был, а агрессивным он был, так как он таков есть.

Даже если тезис Лоренца о постоянной войне всех против всех действителен по отношению к раннему каменному веку, то все равно его генетические умозаключения вызывают сомнение. Если какая-то существенная черта приобретает преимущество при селекции, то это должно иметь серьезные основания и многократно повториться в нескольких поколениях носителей данной черты. А если учесть, что агрессивные индивиды раньше других погибают в войнах, то очень сомнительно, что распространенность какой-либо существенной черты можно связывать с процессом естественного отбора. На самом деле частота такого наследственного фактора должна была бы скорее убывать, если рассматривать высокие потери в войне как «негативную селекцию»^[32]. И действительно, плотность населения в те времена была крайне низкой и многим племенам после полного формирования *Homo sapiens* вряд ли было нужно соперничать и сражаться друг с другом за пищу и место под солнцем.

Лоренц соединил в своей теории два элемента. Первый состоит в утверждении, что звери, как и люди, наделены врожденной агрессивностью, которая способствует выживанию вида и особи. Дальше я еще покажу. Опираясь на нейрофизиологические данные, что оборонительная, защитная агрессивность не спонтанна и не постоянна, а представляет собой реакцию на угрозу витальным интересам соответствующего живого существа. Второй элемент: (тезис о гидравлическом характере накопившейся агрессии) помогает Лоренцу объяснить жестокие и разрушительные импульсы человека; правда, для доказательства этого предположения у него не так уж много аргументов и фактов. Как способствующая жизни, так и разрушительная агрессия подводятся под одну категорию, и единственное, что их объединяет, – это слово «агрессия». Ясность в проблеме, в противоположность Лоренцу, внес Тинберген: «Человек, с одной стороны, сродни многим видам животных, особенно в том, что он ведет борьбу с представителями своего собственного вида. Но с другой стороны, среди многих тысяч биологических видов, борющихся друг с другом, только человек ведет разрушительную борьбу... Человек уникален тем, что он составляет вид массовых убийц; это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так?»

Фрейд и Лоренц: сходство и различия

Отношения между теориями Фрейда и Лоренца довольно сложные. Объединяет их гидравлическая концепция агрессивности, хотя причины последней они объясняют по-разному. В других отношениях их взгляды кажутся порой диаметрально противоположными. Фрейд выдвигал гипотезу об инстинкте разрушения, а Лоренц эту гипотезу на биологическом уровне считает совершенно неприемлемой. Ибо, с его точки зрения, агрессивный инстинкт служит делу жизни, в то время как инстинкт у Фрейда находится «на службе у смерти».

Правда, это расхождение в значительной мере утрачивает свою роль, когда Лоренц говорит об изменениях

первоначально оборонительной и жизнеспособной агрессии. С помощью сложных и порой довольно сомнительных конструкций Лоренц пытается обосновать и упрочить свою гипотезу о том, что оборонительная агрессия у человека превращается в постоянно действующую и саморазвивающуюся интенцию, которая заставляет его искать и находить условия для разрядки или же ведет к взрыву, если нет возможности найти подходящий раздражитель. Отсюда следует, что, даже если в обществе с точки зрения социально-экономического устройства отсутствуют подходящие возбудители серьезных проявлений агрессии, все равно давление самого инстинкта столь сильно, что члены

общества вынуждены изменять условия или же – если они к этому не готовы – дело доходит до совершенно беспричинных взрывов агрессивности... Исходя из этого, Лоренц приходит к выводу, что человека от рождения ведет по жизни жажда разрушения. То есть практические последствия этого вывода совпадают с идеями Фрейда. Правда, у Фрейда страсть к разрушению противостоит столь же сильному влечению эроса (сексуальность и жизнь вообще), в то время как для Лоренца любовь является результатом агрессивных влечений.

Фрейд и Лоренц совпадают в одном: плохо, если агрессия не может воплотиться в действие. Фрейд в ранний период своего творчества выдвинул идею о том, что вытеснение^[33] сексуальных порывов может привести к психической болезни; позднее он подвел то же самое основание и под влечение к смерти и заявил, что вытеснение агрессии, направленной вовне, ведет к болезни. Лоренц констатирует, что «вообще каждый представитель современной цивилизации страдает от недостаточной возможности проявления инстинктивно-агрессивных действий». Оба исследователя разными путями приходят к одному и тому же представлению о человеке как о существе с постоянно возникающей агрессивно-деструктивной энергией, которая не может долго находиться под контролем. И если у животных энергия такого рода – всего лишь «так называемое зло», то у человека она превращается в настоящее зло, хотя, по Лоренцу, и не имеет злокачественных корней. "Доказательство" по аналогии

Черты сходства в теориях агрессии у Фрейда и Лоренца не могут скрыть фундаментальных расхождений между ними. Фрейд изучал человека. Он был любознательным и зорким наблюдателем фактического поведения людей, а также различных проявлений бессознательного^[34]. Его теория о влечении к смерти может казаться ошибочной или недостаточно завершенной и доказанной, но это никак не меняет того факта, что Фрейд разрабатывал эту теорию в процессе постоянного изучения реальных людей. В противоположность Фрейду Лоренц изучал животных, особенно низших, и в этой области был, без сомнения, в высшей степени компетентен. Однако его понимание человека не выходит за рамки знаний среднего буржуа. Он не расширял свой кругозор в этой области ни систематическими наблюдениями, ни изучением серьезной литературы^[35]. Он наивно полагал, что наблюдения за самим собой или за своими близкими знакомыми можно перенести на всех остальных людей. Но самый главный его метод – это отнюдь не самонаблюдение, а метод заключения по аналогии на материале сравнения поведения определенных животных и поведения человека.

С научной точки зрения подобные аналогии вообще не являются доказательством; они впечатляют и нравятся людям, которые любят животных. Многоплановый антропоморфизм Лоренца идет рука об руку с этими аналогиями. Однако они создают приятную иллюзию, будто человек понимает то, что чувствует животное, – и в этой иллюзии состоит главный секрет их популярности. Спрашивается, кто же не мечтал научиться говорить с рыбами, птицами и домашними животными?

Поскольку Лоренц поможет напрямую доказать свою гипотезу в отношении человека и других приматов, он выдвигает несколько аргументов, которые должны усилить его позицию. Все это он проделывает в основном методом аналогии; он обнаруживает черты сходства между человеческим поведением и поведением изучаемых им животных и делает вывод, что способ поведения в обоих случаях обусловлен одной и той же причиной. Многие психологи критиковали этот метод. Знаменитый коллега Лоренца Н. Тинберген предупреждал о ряде опасностей, «подстерегающих исследователя, который рассуждает, опираясь на аналогии; особенно если для сравнения берутся физиологические явления из низшей ступени эволюции, если выводы о простейших формах поведения организмов более низкого уровня нервной организации используются для обоснования теорий о механизмах

поведения высокоразвитых и сложноорганизованных структур».

Я мог бы для иллюстрации привести несколько примеров лоренцовских «доказательств по аналогии»^[36]. Лоренц рассказывает о своих наблюдениях над циклидами и бразильскими перламутровыми рыбами и утверждает, что рыба не нападает на свою женскую особь в том случае, если может разрядить свой здоровый гнев на особи своего пола («переориентированная агрессия»^[37]). И он сопровождает этот факт следующим комментарием:

Аналогичные ситуации встречаются у людей. В старое доброе время, когда еще существовала «Дунайская империя» и еще имело место «понятие и реальность служанки», я наблюдал в доме своей старой тетушки следующую ситуацию. У нее прислуга не задерживалась больше чем 8-10 месяцев. Каждую новую служанку она регулярно хвалила, восхищалась ею и клялась, что наконец-то нашла настоящую жемчужину. В последующие месяцы ее оценки становились более трезвыми, она сначала видела мелкие недостатки, затем переходила к упрекам, а в конце названного срока видела в несчастной девушке одни только отрицательные и достойные ненависти черты – и в конце концов девушку, как правило, увольняли раньше срока и с большим скандалом. После такой разрядки старая дама готова была в следующей служанке видеть чистого ангела.

Я далек от мысли посмеяться над моей любимой и давно почившей тетушкой. Ибо совершенно идентичные процессы происходят с серьезными и в высшей степени владеющими собой мужчинами (не исключая и меня самого). Пример тому – лагерь военнопленных. Так называемая полярная болезнь (или экспедиционная холера) охватывает главным образом малые группы мужчин, если последние вынуждены обстоятельствами быть рядом и лишены возможности общаться с чужими людьми, не имеющими отношения к кругу друзей. Из сказанного становится ясно, что накопление агрессивности растет и становится опаснее по мере того, как члены группы узнают друг друга, начинают лучше понимать и любить... Могу заверить вас, что в такой ситуации заложены всевозможные возбудители внутривидового агрессивного поведения. Субъективно это выражается в том, что на какое-либо малейшее проявление своего лучшего друга (как он дышит, сопит и т. д.) человек может выдать такую реакцию, как если бы он получил пощечину от пьяного хулигана.

Похоже, что Лоренцу не приходит вовсе в голову, что личный опыт его тетушки, его товарищей по плену и его собственные впечатления вовсе не обязательно доказывают общезначимость подобных реакций. Даже при объяснении поведения своей тетушки Лоренц, похоже, не думает, что вместо гидравлической интерпретации (согласно которой агрессивный потенциал нарастал, достигая своего апогея и нуждаясь в разрядке каждые 8 месяцев) можно было использовать более сложную психологическую концепцию для объяснения такого поведения.

С точки зрения психоанализа следует предположить, что тетушка была весьма нарциссической^[38] личностью, склонной использовать других людей в своих интересах. Она требовала от своей прислуги абсолютной «преданности», самоотдачи и отсутствия собственных интересов, требовала, чтобы та довольствовалась ролью твари и видела счастье в том, чтобы служить своей хозяйке. В каждой следующей служанке она видела ту, которая наконец-то будет соответствовать ее ожиданиям. После короткого «медового месяца», пока хозяйка еще не видела, что новая служанка – опять «не та, что требуется» (может быть, ввиду своих фантазий, а быть может, еще и оттого, что девушка вначале особенно старалась угодить хозяйке), вдруг тетушка просыпалась и обнаруживала, что девушка не готова играть придуманную для нее роль. Подобный процесс пробуждения тоже требует некоторого времени. А затем тетушку посещали резкое разочарование и гнев, которые наблюдаются в

каждом нарциссическом эксплуататоре в случае фрустрации^[39]. Поскольку она не осознает, что причина ее гнева в ее невозможных притязаниях, она рационализирует свое разочарование и возлагает вину на служанку. Поскольку она не может отказаться от исполнения своего желания, она выгоняет девушку и надеется, что новая будет «как раз та, что надо». И тот же самый механизм продолжает работать до самой ее смерти либо до того момента, пока больше никто не придет к ней работать. Подобное развитие событий можно встретить не только в отношениях между рабочим и работодателем. Нередко подобным образом развиваются и семейные конфликты. И поскольку служанку выгнать легче, чем развестись, то нередко дело доходит до пожизненных сражений, в которых стороны постоянно пытаются наказать друг друга за оскорбления, которые накапливаются, и несть им числа. Речь идет здесь о специфической проблеме собственно человеческого характера, а именно о нарциссически-эксплуаторской этичности, но вовсе не о проблеме накопившейся энергии инстинктов.

В главе «О типах поведения, аналогичных моральному» Лоренц выдвигает следующий тезис: «И все же тот, кто действительно улавливает эти связи, не может удержаться от нового удивления, когда видит на деле психологические механизмы, которые навязывают животным самоотверженное поведение, направленное на благо других, поведение, подобное тому, что нам, людям, предписано нравственным законом».

Но как обнаружить у животного «самоотверженное» поведение? То, что описывает Лоренц, есть не что иное, как инстинктивно детерминированная модель поведения. Выражение «самоотверженный» взято вообще из человеческой психологии и имеет отношение к тому факту, что человеческое существо может забыть про самого себя (вернее было бы сказать: про свое Я), когда выше всего оказывается желание помочь другим. Но разве у гуся, рыбы или собаки есть свое Я, которое она (он) может забыть? Разве самый факт человеческого самосознания не зависит от нейрофизиологических структур, имеющих место только в человеческом мозгу? Разве само понятие самосознания не является жестко связанным именно с человеческим способом отношения к миру (хотя и имеет в основе своей определенные нейрофизиологические процессы в мозгу)? И такие вопросы возникают многократно при чтении Лоренца, когда он употребляет для описания поведения животных такие категории, как «жестокость», «грусть», «смущение».

К важнейшим и интереснейшим этологическим находкам Лоренца относится та «связь», которая возникает между животными (на примере серых гусей) как реакция на внешнюю угрозу для всей группы. Однако его рассуждения по аналогии в отношении человеческого поведения иногда просто обескураживают: «дискриминационная агрессивность по отношению к чужим и союз с членами своей группы возрастают параллельно. Противопоставление „мы“ и „они“ создает резко отличающиеся друг от друга разнополярные общности. Перед лицом современного Китая даже США и СССР временно объединяются в одну категорию „мы“. Аналогичный феномен (впрочем, с некоторыми элементами борьбы) можно наблюдать у серых гусей во время церемонии победного гототания».

Лоренц идет в своих аналогиях между поведением животных и человека еще дальше, что особенно ярко проявляется в его рассуждениях о проблеме человеческой любви и ненависти. Вот каковы его представления об этом предмете: «Личную привязанность, индивидуальную дружбу можно встретить только у животных с высокоразвитой внутривидовой агрессивностью, и эта привязанность тем сильнее, чем больше агрессивности у данного вида». Ну что же, предположим, что Лоренц действительно наблюдал нечто подобное. Однако в этом месте он вдруг совершает скачок в область человеческой психологии. После того, как он констатирует, что внутривидовая агрессивность на миллионы лет старше, чем личная дружба и любовь, он делает из этого следующий вывод: *"Не существует любви... без агрессивности"* (Курсив мой. – Э. Ф.).

Это обобщение, касающееся человеческой любви, не только не подтвержденное, но и многократно опровергаемое фактами, Лоренц дополняет суждениями о «безобразном младшем брате большой любви» по имени «ненависть»: "Она ведет себя иначе, чем обычная агрессивность, она, как и любовь, направлена на индивида (вернее, против него), и, вероятно, ее (любви) наличие является предпосылкой для ненависти" (Курсив мой. – Э. Ф.).

Известно утверждение: от любви до ненависти – один шаг. Однако это не совсем верно сказано; на самом деле не любовь знает такое превращение, а разрушенный нарциссизм влюбленных, т. е., точнее говоря, причиной ненависти является не-любовь (отсутствие любви). Утверждать, что ненависть имеет место лишь там, где была любовь, – это значит привести элемент истины к полному абсурду. Угнетенный ненавидит своего угнетателя, мать – убийцу своего ребенка, а жертва пытки ненавидит своего мучителя. Так что же, эта ненависть связана с тем, что прежде там была любовь или, может быть, она все еще присутствует?

Следующее умозаключение по аналогии связано с феноменом «опьянения борьбой». Речь идет об «особой форме коллективной агрессии, которая явно отличается от простейших форм индивидуальной агрессии». Это «святой обычай», опирающийся на глубокие, генетически обусловленные модели поведения. Лоренц заверяет, что, «вне всякого сомнения, бойцовская страсть человека развилась из коллективной потребности наших дочеловеческих предков в самообороне». Речь идет о коллективной радости, разделяемой всеми членами группы при виде поверженного врага.

Каждый нормально чувствующий мужчина знает это особое субъективное переживание. Сначала это некое волнение, предчувствие победы, затем зрелище бегущего врага и «святое» восхищение при виде отступающей армии. Здесь наступает момент, когда человек забывает все и вся, он чувствует себя выше всех повседневных проблем, он слышит лишь один призыв, он готов идти на этот зов и выполнить святой долг воителя, а ведет его воля к победе. Любые препятствия, стоящие на этом пути, утрачивают свое значение, в том числе инстинктивный страх нанести ущерб своим собратьям, убить своего соплеменника. Разум умолкает, как и способность к критике, и все другие чувства, кроме коллективного воодушевления борьбой, отходят на задний план... короче, великолепно звучит украинская поговорка: «Когда развевается знамя, разум вылетает в трубу!»

Лоренц выражает «обоснованную надежду», что «первородный инстинкт можно взять под контроль моральной ответственности, однако это может быть достигнуто лишь в том случае, если мы смело признаемся, что опьянение борьбой – это генетическая инстинктивная реакция организма, автоматически отключающая все другие центры...» То, как Лоренц описывает нормальное человеческое поведение, совершенно обескураживает. Понимается, бывает, что «человек чувствует себя правым, даже совершая жестокий поступок», или, придерживаясь психологической терминологии, многие охотно совершают дурные поступки, не испытывая ни малейших угрызений совести. Однако с научных позиций недопустимо бездоказательно объявлять воинственность универсальным врожденным свойством «человеческой натуры», а жестокости, совершаемые во время войны, объяснять первородным инстинктом борьбы на базе весьма сомнительной аналогии с рыбами и птицами.

Фактически, индивиды и группы сильно отличаются друг от друга в проявлениях жестокости, даже когда их натравливают на представителей другой группы. Во время первой мировой войны британская пропаганда распространяла легенды о зверствах немецких солдат по отношению к бельгийским младенцам, ибо на самом деле было мало фактов жестокости и не доставало «горючего» для разжигания ненависти к врагу. Соответственно и у немцев было мало сообщений о жестокостях противника по той простой причине, что их и впрямь было мало. Даже во время второй мировой войны, несмотря на общий рост жестокости в мире, зверские поступки в целом ограничивались особой средой – нацистами. В среднем регулярные армейские части с обеих сторон не совершали военных преступлений в тех масштабах, которые следовало бы ожидать согласно теории Лоренца. То, что он называет

зверским поведением, связано с садистским, вампирским типом личности. Его «опьянение борьбой» – не что иное, как эмоционально примитивный национализм. Утверждать, что готовность совершать жестокости, «когда развеивается знамя», и объявлять эту готовность врожденной чертой человека – это классический прием защиты при обвинении в нарушении принципов Женевской конвенции. И хотя я совершенно уверен, что сам Лоренц не имел намерений защищать жестокость, все равно его теоретический аргумент оказывает практическую услугу такой защите. А его метод мешает пониманию структуры личности, индивидуальных и общественных условий и причин возникновения и развития преступности.

Лоренц идет еще дальше, утверждая, что без бойцовского азарта (этого «автономного человеческого инстинкта») были бы «невозможны ни наука, ни искусство, ни любые другие грандиозные человеческие свершения». Как это возможно? Ведь сам Лоренц называет главным условием проявления этого инстинкта «наличие внешней опасности, объединяющей людей в группу». Разве есть хоть один пример, подтверждающий, что искусство и наука процветают лишь там, где существует угроза нападения извне?

Объяснение Лоренцом причин любви к ближнему есть также смесь инстинктивизма с утилитаризмом. Человек спасает друга, ибо тот уже не раз спасал его самого... да еще и потому, что так поступали его предки еще в период палеолита... – все это звучит настолько легковесно, что избавляет нас от комментариев.

О войне: итог концепции Лоренца

В результате анализа агрессивного инстинкта у человека Лоренц приходит к выводу, весьма близкому размышлениям Фрейда, высказанным им в письме к Эйнштейну, на тему «Почему война?». Ни один человек не может почувствовать радость, узнав, что войны неизбежны, что искоренить войну в принципе невозможно, ибо она является следствием врожденно-инстинктивного поведения. И если Фрейда можно назвать «пацифистом» в широком смысле слова, то Лоренца вряд ли можно зачислить в этот разряд, хотя он и понимает, что ядерная война – это катастрофа небывалого масштаба. Он ищет средства, чтобы помочь обществу избежать трагических последствий агрессивного инстинкта: на самом деле в ядерный век он фактически вынужден искать возможности сохранения мира, коль скоро стремится сделать приемлемой свою теорию о врожденной человеческой деструктивности. Некоторые его предложения похожи на фрейдовские, но все же разница очень велика. Фрейд выдвигает свои предложения с большой долей скепсиса и скромности, Лоренц же заявляет: «В отличие от Фауста, я знаю способ и могу научить людей, как изменить себя в лучшую сторону. И мне кажется, что я здесь не преувеличиваю своих возможностей...» Если бы под этим заявлением были серьезные основания, то заслуги Лоренца и впрямь было бы трудно переоценить. Однако его советы не идут дальше широко известных штампов типа «простых предостережений об опасности полной дезинтеграции, которая грозит обществу, если в нем будут функционировать неправильные модели социального поведения».

1. Первая совершенно очевидная рекомендация состоит в том, чтобы... «познать самого себя». Под этим Лоренц понимает «требование углубить свои знания о причинных связях нашего собственного поведения», то есть о законах эволюции. Одним из главных звеньев в этой цепи, с точки зрения Лоренца, является «объективно-психологическое изучение возможностей перенесения агрессии с первоначально избранного объекта на эрзац-объект».

2. Второй путь – это исследование так называемой сублимации методом психоанализа.

3. «...Личное знакомство между людьми различных национальностей и партий».

4. Четвертое и, вероятно, важнейшее мероприятие, "проведение которого не терпит отлагательства... – это самокритичное и благоразумное овладение теми страстями, которые в предыдущей главе мы называли «опьянением борьбой» или «воинственным азартом»; это означает, что «необходимо помочь молодежи... найти подлинные цели, ради которых стоит

жить в современном мире».

Рассмотрим внимательно каждый пункт этой программы.

Классическую формулу «Познай самого себя» Лоренц применяет неправильно, причем не только в плане греческого смысла этой формулы, но и в плане употребления этого понятия Фрейдом, который всю свою науку и практическую психотерапию строит на принципе самопознания. Для Фрейда понятие самопознания означает, что человек осознает то, что существует на бессознательном уровне; и это крайне трудный процесс, ибо человек при этом встречает огромное сопротивление^[40], которое мешает осознать неосознанное. Самопознание в смысле Фрейда – это не только интеллектуальный, но одновременно и аффективный процесс, как его понимал еще Спиноза. Это познание, которое осуществляется не только с помощью разума, но и с помощью сердца. Познать самого себя означает интеллектуально и эмоционально проникнуть в самые потаенные уголки своей души. Это процесс, который может длиться годы, а то и целую жизнь (когда речь идет о душевнобольном, который серьезно хочет избавиться от своего недуга и стать самим собой). Исцеление проявляется в усилении энергии, которая высвобождается, когда у человека исчезает необходимость тратить силы на вытеснение; поэтому человек пробуждается и высвобождается по мере того, как он глубже проникает в свою субъективную реальность. В противоположность этому взгляду Лоренц понимает под «познанием самого себя» нечто совершенно иное, а именно теоретическое знание о фактах эволюции и особенно об инстинктивных корнях агрессивности. Пожалуй, Лоренцово понимание самопознания скорее можно сравнить с фрейдовской теорией о влечении к смерти. Если следовать аргументации Лоренца, то практика психоанализа полностью исчерпывается чтением собрания сочинений Фрейда. Невольно приходит на ум поговорка Маркса о том, что того, кто упал в воду, не умея плавать, не спасет знание законов гравитации. «Чтение рецептов никого не излечит», – гласит китайская мудрость.

Свой второй рецепт о сублимации Лоренц даже не раскрывает. Что касается третьего «требования личного знакомства представителей различных партий и национальностей», то сам Лоренц признает, что в этой формуле почти все очевидно, ибо даже любые авиакомпании в своей рекламе объявляют о том, что международные рейсы служат делу мира. К сожалению, представление о том, что личное знакомство выполняет функцию снижения агрессивности, не получило подтверждения. Гораздо больше примеров обратного. Англичане и немцы довольно хорошо были знакомы до 1914 г., но, когда началась война, обе нации были охвачены безмерной ненавистью.

Есть еще одно убедительное доказательство. Ни одна война, как известно, не вызывает больше ненависти и жестокости, чем гражданская, в которой стороны особенно хорошо знают друг друга. А разве ненависть между родственниками из одной семьи становится меньше оттого, что они отлично знают друг друга?

Трудно ожидать, что «знакомство» и «дружба» уменьшат агрессию, ибо в этом случае речь может идти лишь о самом поверхностном знании о другом человеке, т. е. о знании «объекта», наблюдаемого снаружи. Это знание не имеет ничего общего с глубинным эмпатическим проникновением в переживания другого человека, которые становятся мне понятны лишь тогда, когда я мобилизую весь свой опыт, вспоминая и сравнивая аналогичные или хотя бы мало-мальски сходные ситуации из своей жизни. Познание такого рода требует от познающего определенных усилий, чтобы он сам справился со многим вытесненным (из своего сознания) материалом; и в этом процессе постепенно реализуются новые пласты нашего бессознательного, которые раньше были помехой на пути самопознания. И если достигнуто такое понимание (которое не поддается рациональной оценке), то это ведет к снижению, а то и к полному устранению агрессивности; это зависит от того, насколько удалось данному субъекту преодолеть свою собственную неуверенность, жадность и нарциссизм, а вовсе не от максимального количества информации о других

людях^[41].

Последнее место в программе из четырех пунктов занимает предложение о «новой направленности опьянения борьбой (бойцовского азарта)». Особое место среди его рекомендаций занимает спорт. Никто не отрицает того факта, что спортивная борьба может вызвать слишком серьезную агрессивность. Недавно мы имели возможность убедиться в этом, когда во время международного футбольного матча в Латинской Америке взрыв эмоций привел к вспышке настоящей войны. И поскольку нет доказательств того, что спорт снижает агрессивность, то одновременно следует подчеркнуть и то, что мотивировка спорта необходимостью разрядки агрессивного потенциала также не имеет доказательств. То, что в спорте приводит к агрессии, – это дух соревнования и зрелищность, которая культивируется и стимулируется общей коммерциализацией спортивных мероприятий, когда главную роль играют деньги и популярность, а вовсе не гордость спортивными показателями. Многие видные наблюдатели несчастных Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене утверждают, что эти Игры были не столько проявлением доброй воли и миролюбия, сколько способствовали росту национализма и соревновательной агрессивности^[42].

Достаточно процитировать еще некоторые высказывания Лоренца о войне и мире, чтобы убедиться в непоследовательности и двойственности его позиции. Например, он говорит: «Допустим, я люблю свою родину (это так и есть на самом деле) и что я испытываю неодолимую враждебность по отношению к другой стране (что на самом деле мне совсем не свойственно), все равно я не смог бы всем сердцем желать ее уничтожения, если бы я представил себе, что в этой стране живут люди, которые увлечены естественными науками, или те, кто чтут Чарлза Дарвина и пропагандируют его открытия, или другие, которые, как и я, обожают искусство Микеланджело и „Фауста“ Гёте, или те, кто разделяют мое восхищение коралловыми рифами и другими объектами природы. Я не смогу вызвать в себе безграничную ненависть к врагу, если узнаю, что его ценностные ориентации в области культуры и морали совпадают с моими собственными привязанностями и вкусами» (Курсив мой. – Э. Ф.).

Лоренц вводит такое странное ограничение для разрушительности и ненависти, обозначив его словами «всем сердцем» или «безграничность». Тогда возникает вопрос: а разве бывает иное желание разрушить целую страну или, может быть, бывает «ограниченная» ненависть? Еще важнее то, что условие, при котором он отказывается от разрушения другой страны, состоит в том, что там живут люди с такими же, как у Лоренца, вкусами и привязанностями... А то, что речь идет просто о живых людях, которые могут погибнуть, – этого недостаточно. Иначе говоря: полное уничтожение противника нежелательно лишь тогда, когда и поскольку тот принадлежит к одной и той же культуре, что и Конрад Лоренц, и разделяет его интересы. Суть и характер этих заявлений несколько не меняются от того, что Лоренц требует «гуманистического воспитания», т. е. воспитания в духе максимального привития индивиду общечеловеческих ценностей и идеалов. Именно эти принципы преобладали в системе воспитания в немецких гимназиях перед первой мировой войной, однако большая часть учителей этих гуманистических гимназий, вероятно, была значительно воинственной настроена, чем простые немцы... Однако по-настоящему оказать сопротивление войне может лишь очень радикальный гуманизм, такой, для которого главные ценности – это жизнь, человеческое достоинство и саморазвитие индивида.

Обожествление эволюции

Невозможно до конца понять позицию Лоренца, если не знать о его фанатической приверженности дарвинизму. Такая позиция не редкость в наши дни и заслуживает серьезного изучения как важный социально-психологический феномен современной

культуры. Глубочайшая потребность человека в том, чтобы избавиться от чувства одиночества и заброшенности, прежде находила удовлетворение в идее Бога, который создал этот мир и заботится о каждом отдельном существе. Когда эволюционная теория разрушила образ Бога как высшего творца, одновременно утратила силу и вера в Бога как всемогущего отца (хотя многие сумели сохранить веру в Бога наряду с признанием теории Дарвина). Однако для тех, у кого вера в Царствие Божие пошатнулась, сохранилась потребность в какой-либо богоподобной фигуре. И некоторые из них провозгласили в качестве нового бога эволюцию, а Дарвина объявили ее пророком. Для Лоренца – и не только для него – идея эволюции стала ядром целой системы ценностных ориентации. Дарвин открыл для него окончательную истину в вопросе о происхождении человека. Все явления, связанные с экономическими, религиозными, этическими или политическими обстоятельствами человеческого бытия, отныне объяснялись исключительно с позиций теории происхождения видов.

Квазирелигиозное отношение к дарвинизму проявляется и в выражении «великие конструкторы», которым Лоренц обозначает естественный отбор и изменчивость. Он говорит о методах и целях этих «великих конструкторов» точно так же, как христианин говорит о творениях Господа Бога; употребляемое единственное число «великий конструктор» еще больше усиливает аналогию с Богом. Самое яркое свидетельство идолопоклонства в мышлении Лоренца мы обнаруживаем в последнем разделе его книги «Так называемое зло»:

Союз личной любви и дружбы, на котором основано наше социальное устройство, возникает на том этапе развития родового строя, когда нужно было ограничить агрессивность и обеспечить мирное сосуществование двух и более индивидов. Новые жизненные условия современного человечества, бесспорно, заставляют искать новые механизмы, препятствующие агрессивности всех против всех. Именно отсюда выводится естественное, чуть ли не природой заложенное требование братской любви человека ко всем людям. Это требование не ново, разумом мы понимаем его необходимость, сердцем ощущаем его красоту, но все же мы не в силах выполнить его, так уж устроен человек. Он может испытывать полноценное чувство любви и дружбы только к отдельным людям, и самая сильная и добрая воля ничего тут не может изменить! И все же великий конструктор может это. Я верю, что он это сделает, ибо я верю в мощь человеческого разума, я верю в – силу естественного отбора, и я верю, что разумная селекция совершается разумом. Я верю, что в недалеком будущем наши потомки обретут способность для исполнения этого величайшего и благороднейшего требования (Курсив мой. – Э. Ф.).

Великий конструктор свершит то, что не сумели сделать ни Бог, ни человек. Заповедь братской любви не может быть реализована, пока ее не пробудит к новой жизни великий конструктор. Абзац заканчивается настоящим признанием: я верю, я верю, я верю...

Социальный и моральный дарвинизм^[43] в творчестве Лоренца имеет тенденцию к вуалированию истинных причин человеческой агрессивности – биологических, психологических и социальных. В этом состоит фундаментальное расхождение между Лоренцом и Фрейдом. Фрейд был последним представителем философии Просвещения. Он искренне верил в разум как единственную силу, способную спасти человека от душевного и духовного краха. Он требовал настоящего самопознания человека через раскрытие его неосознанных влечений. Обратившись к разуму, он пережил утрату Бога – и он при этом болезненно четко сознавал свои недостатки. Но он не стал искать новых богов.

II. БИХЕВИОРИЗМ И ТЕОРИЯ СРЕДЫ

Теория среды у просветителей

Диаметрально противоположную инстинктивизму позицию занимают представители теории среды. Они утверждают, что человеческое поведение формируется исключительно под воздействием социального окружения, т. е. определяется не «врожденными», а социальными и культурными факторами. Это касается и агрессивности, которая является одним из главных препятствий на пути человеческого прогресса.

Уже философы-просветители рьяно отстаивали эту идею в самой радикальной ее форме. Они утверждали, что человек рождается добрым и разумным. И если в нем развиваются дурные наклонности, то причиной тому – дурные обстоятельства, дурное воспитание и дурные примеры. Многие считали, что не существует психических различий между полами (*l'ame n'a pas de sex*[32]) и что реально существующие различия между людьми объясняются исключительно социальными обстоятельствами и воспитанием. Следует отметить, что в противоположность бихевиористам эти философы имели в виду вовсе не манипулирование сознанием, не методы социальной инженерии, а социальные и политические изменения самого общества. Они верили, что «хорошее общество» обеспечит формирование хорошего человека или, по крайней мере, сделает возможным проявление его лучших природных качеств.

Бихевиоризм

Основателем бихевиоризма является Д. В. Уотсон. Главной предпосылкой этого психологического направления еще в 1914 г. стала идея о том, что «предметом психологии является человеческое поведение». Как и представители логического позитивизма*, бихевиористы выносят за скобки все «субъективные факторы, которые не поддаются непосредственному наблюдению, такие как: ощущение, восприятие, представление, влечение и даже мышление и эмоции, коль скоро они имеют субъективную природу».

На пути своего развития от чуточку наивных формулировок Уотсона до филигранных необихевиористских конструкций Скиннера бихевиоризм претерпел довольно заметные изменения. И все же речь идет скорее о совершенствовании первоначальной формулировки, чем о возникновении новых оригинальных идей.

Необихевиоризм[44] Б. Ф. Скиннера

Необихевиоризм опирается на тот же самый принцип, что и концепция Уотсона, а именно: психология не имеет права заниматься чувствами или влечениями или какими-либо другими субъективными состояниями[45]; он отклоняет любую попытку говорить о «природе» человека, либо конструировать модель личности, либо подвергать анализу различные страсти, мотивирующие человеческое поведение. Всякий анализ поведения с точки зрения намерений, целей и задач Скиннер квалифицирует как донаучный, ненаучный и как совершенно бесполезную трату времени. Психология должна заниматься изучением того, какие механизмы стимулируют человеческое поведение (*reinforcements*) и как они могут быть использованы с целью достижения максимального результата. «Психология» Скиннера – это наука манипулирования поведением; ее цель – обнаружение механизмов «стимулирования», которые помогают обеспечивать необходимое «заказчику» поведение.

Вместо условных рефлексов павловской модели Скиннер говорит о модели «стимул – реакция». Иными словами, это означает, что безусловно-рефлекторное поведение приветствуется и вознаграждается, поскольку оно желательно для экспериментатора. (Скиннер считает, что похвала, вознаграждение являются более сильным и действенным

стимулом, чем наказание.) В результате такое поведение закрепляется и становится привычным для объекта манипулирования. Например, Джонни не любит шпинат, но он все же ест его, а мать его за это вознаграждает (хвалит его, одаривает взглядом, дружеской улыбкой, куском любимого пирога и т. д.), т. е., по Скиннеру, применяет позитивные «стимулы». Если стимулы работают последовательно и планомерно, то дело доходит до того, что Джонни начинает с удовольствием есть шпинат. Скиннер и его единомышленники разработали и проверили целый набор операциональных приемов в сотнях экспериментов. Скиннер доказал, что путем правильного применения позитивных «стимулов» можно в невероятной степени менять поведение как животного, так и человека – и это даже вопреки тому, что некоторые слишком смело называют «врожденными склонностями».

Доказав это экспериментально, Скиннер, без сомнения, заслужил признание и известность. Одновременно он подтвердил мнение тех американских антропологов, которые на первое место в формировании человека выдвигали социокультурные факторы. При этом важно добавить, что Скиннер не отбрасывает полностью генетические предпосылки. И все же, чтобы точно охарактеризовать его позицию, следует подчеркнуть: Скиннер считает, что, невзирая на генетические предпосылки, поведение полностью определяется набором «стимулов». Стимул может создаваться двумя путями: либо в ходе нормального культурного процесса, либо по заранее намеченному плану.

Цели и ценности

Эксперименты Скиннера не занимают выяснением целей воспитания. Подопытному животному или человеку в эксперименте создаются такие условия, что они ведут себя вполне определенным образом. А зачем их ставят в такие условия – это зависит от руководителя проекта, который выдвигает цели исследования. Практика-экспериментатора в лаборатории в общем и целом мало занимает вопрос, зачем он тренирует, воспитывает, дрессирует подопытное животное (или человека), его скорее интересует сам процесс доказательства своего умения и выбора методов, адекватных поставленной цели. Когда же мы от лабораторных условий переходим к условиям реальной жизни индивида и общества, то возникают серьезные трудности, связанные как раз с вопросами: зачем человека подвергают манипуляции и кто является заказчиком (кто ставит, преследует подобные цели)?

Создается впечатление, что Скиннер, говоря о культуре, все еще имеет в виду свою лабораторию, в которой психолог действует без учета ценностных суждений и не испытывает трудностей, ибо цель эксперимента для него не имеет значения. Это можно объяснить по меньшей мере тем, что Скиннер просто не в ладах с проблемой целей, смыслов и ценностей. Например, он пишет: «Мы удивляемся, когда люди ведут себя необычно или оригинально, не потому, что подобное поведение само по себе достойно удивления, а потому, что мы не знаем, каким способом можно простимулировать оригинальное, из ряда вон выходящее поведение». Подобное рассуждение движется в порочном кругу: мы удивляемся оригинальности, ибо единственное, что мы в состоянии зафиксировать, – так это то, что мы удивляемся.

Однако зачем мы вообще обращаем внимание на то, что не является достойной целью? Скиннер не ставит этого вопроса, хотя минимальный социологический анализ способен дать на него ответ. Известно, что в различных социальных и профессиональных группах наблюдается различный уровень оригинальности мышления и творчества. Так, например, в нашем технологически-бюрократическом

обществе это качество является чрезвычайно важным для ученых, а также руководителей промышленных предприятий. Зато для рабочих высокий творческий потенциал является совершенно излишней роскошью и даже создает угрозу для идеального функционирования системы в целом.

Я не думаю, что наш анализ способен дать исчерпывающий ответ на вопросы об оригинальности мышления и творчества. С точки зрения психологии многое свидетельствует

о том, что творческое начало, а также стремление к оригинальности имеют глубокие корни в природе человека, и нейрофизиологи подтверждают гипотезу, что это стремление «вмонтировано» в структуру мозга. Я хотел бы подчеркнуть следующее: Скиннер попадает в сложное положение со своей концепцией потому, что не придает никакого значения поискам и находкам психоаналитической социологии, считая, что если бихевиоризм не знает ответа на какой-либо вопрос, то ответа и вовсе не существует.

Приведу пример, свидетельствующий о расплывчатости скиннеровских представлений о ценностях.

Большинство людей согласится, что решение о путях и способах создания атомной бомбы не содержит ценностных суждений, зато они не согласятся с утверждением, что решение о создании такого оружия в принципе было свободно от ценностных суждений. Главное различие между этими позициями, видимо, состоит в том, что ученые-практики, руководящие конструированием бомбы, – все на виду, в то время как создатели культуры, в рамках которой возникла бомба, остаются в тени. И мы не можем предсказать успешность или провал культурных открытий с такой же степенью точности, как это имеет место в отношении физических открытий. А потому в этих случаях мы прибегаем к ценностным суждениям, к догадкам, предположениям и т. д. Ценностные суждения лишь там выходят на верный след, где этот след оставила наука. А когда мы научимся планировать и измерять мелкие социальные взаимодействия и другие явления культуры с такой же точностью, какой мы располагаем в физической технологии, то вопрос о ценностях отпадет сам собой.

Главный тезис Скиннера сводится к следующему. Не вызывает сомнения тот факт, что целостные суждения отсутствуют как при решении построить атомную бомбу, так и при техническом решении этой проблемы. Разница состоит лишь в том, что мотивы построения бомбы не совсем «ясны». Может быть, профессору Скиннеру они и впрямь неясны, зато многим историкам эти мотивы понятны.

На самом деле решение о создании атомной бомбы имело под собою более чем одну причину (то же самое относится и к водородной бомбе). Первая – это страх, что Гитлер сделает такую бомбу, кроме того, – желание обладать сверхмощным оружием в будущих конфликтах с Советским Союзом; и наконец – внутренняя логика развития общественной системы, которая вынуждена постоянно наращивать вооружение, чтобы чувствовать уверенность перед лицом конкурирующих систем.

Однако кроме этих чисто военных стратегических и политических оснований, я полагаю, была еще одна не менее важная причина. Я имею в виду ту максиму, которая превратилась в аксиоматическую норму кибернетического общества: «Нечто должно быть сделано, если только это технически возможно». И когда возникает возможность производства ядерного оружия, оно не может не быть произведено, даже если это несет угрозу всеобщего уничтожения. Если появляется возможность полететь на Луну или другие планеты, то это должно произойти даже ценой многочисленных лишений людей, живущих на Земле. Этот принцип означает отрицание всех гуманистических ценностей, место которых занимает одна высочайшая ценностная норма «технотронного» общества^[46].

Скиннер не дает себе труда изучить причины создания бомбы и предлагает нам подождать, пока бихевиоризм раскроет эту тайну. В своих воззрениях на социальные процессы он проявляет такую же беспомощность, как и при обсуждении психических процессов: т. е. он совершенно неспособен понять скрытые (невербальные) мотивы тех или иных общественных явлений. А поскольку все то, что люди говорят о своих мотивах и в политической, и в личной жизни, фактически является фикцией, поскольку вербально выраженные мотивы лишь скрывают истину, то понимание социальных и психических процессов оказывается заблокировано, если исследователь довольствуется лишь словесным материалом. Но иногда, сам того не замечая, Скиннер потихоньку протаскивает ценностные категории. Например, он пишет: «Я уверен, что никто не хочет развития новой системы

отношений типа „хозяин-слуга“, никто не хочет искать новых деспотических методов подавления воли народа властью имущими. Это образцы управления, которые были пригодны лишь в том мире, в котором еще не было науки». Спрашивается, в какую эпоху живет профессор Скиннер? Разве сейчас нет стран с эффективной диктаторской системой подавления воли народа? И разве похоже, что диктатура возможна лишь в культурах «без науки»? Скиннер все еще верует в устаревшую идею «прогресса», согласно которой средневековье было «мрачным», ибо тогда еще не было наук, а развитие науки с необходимостью ведет к увеличению человеческой свободы. На самом деле ни один политический лидер и ни одно правительство никогда не признаются в своих намерениях подавить волю народа; у них на устах сегодня совсем другие слова, совершенно иная лексика, которая, казалось бы, имеет диаметрально противоположное значение. Ни один диктатор не называет себя диктатором, и каждая политическая система клянется выразить волю народа. К тому же в странах «свободного мира» в труде, в воспитании и в политике место явного авторитета занимают «анонимный авторитет» и система манипулирования.

Ценностные суждения Скиннера проявляются и в других его высказываниях. Например, он утверждает: «Если мы достойны нашего демократического наследия, то, естественно, мы будем готовы оказать противодействие использованию науки в любых деспотических или просто эгоистических целях. И если мы еще ценим демократические достижения и цели, то мы не имеем права медлить и должны немедленно использовать науку в деле разработки моделей культуры, при этом нас не должно смущать даже то обстоятельство, что мы в известном смысле можем оказаться в положении контролеров» (Курсив мой. – Э. Ф.). Что же является основанием для подобного ценностного понятия внутри необихевиеристской теории? И при чем здесь контролеры?

Ответ находим у самого Скиннера: «Все люди осуществляют контроль и сами находятся под контролем». Это звучит почти как успокоение для человека демократически настроенного, но вскоре выясняется, что речь идет всего лишь о робкой и почти ничего не значащей формулировке:

Когда мы выясняем, каким образом господин контролирует раба, а работодатель – рабочего, мы упускаем из виду обратные воздействия и потому судим о проблеме контроля односторонне. Отсюда возникает привычка понимать под словом «контроль» эксплуатацию или, по меньшей мере, состояние одностороннего преимущества; а на самом деле контроль осуществляется обоюдно. Раб контролирует своего господина в такой же мере, как и господин своего раба, – в том смысле, что методы наказания, применяемые господином, как бы определяются поведением раба. Это не означает, что понятие эксплуатации утрачивает всякий смысл или что мы не имеем права спросить *cui bono?*^[47] Но когда мы задаем такой вопрос, то мы абстрагируемся от самого конкретного социального эпизода и оцениваем перспективы воздействия, которые совершенно очевидно связаны с ценностными суждениями. Подобная ситуация складывается и при анализе любых способов поведения, которые производят инновации в практике культуры.

Я считаю это рассуждение возмутительным; мы должны верить, что отношения между рабом и господином взаимны, и это несмотря на то, что понятие эксплуатации «не лишено смысла». Для Скиннера эксплуатация не является частью самого социального эпизода, этой частью являются лишь методы контроля. Это позиция человека, для которого социальная жизнь ничем не отличается от эпизода в лаборатории, где экспериментатора интересуют только его методы, а вовсе не сам по себе «эпизод», ибо в этом искусственном мире совершенно не имеет значения, какова крыса – миролюбива она или агрессивна. И, словно этого еще было мало, Скиннер окончательно констатирует, что за понятием эксплуатации «легко просматриваются» ценностные суждения. Быть может, Скиннер полагает, что эксплуатация или грабеж, пытки, убийства – только слова, а не «факты», коль скоро эти явления связаны с ценностными суждениями? Это должно означать следующее: любые

психологические и социальные феномены утрачивают характер фактов, доступных научному исследованию, как только их можно охарактеризовать с точки зрения их ценностного содержания^[48].

Идею Скиннера о взаимности отношений раба и рабовладельца можно объяснить только тем, что он употребляет слово «контроль» в двояком смысле. В том смысле, в котором оно употребляется в реальной жизни, вне всякого сомнения рабовладелец контролирует раба, и при этом не может быть речи о «взаимности», если не считать, что при определенных обстоятельствах раб располагает минимумом обратного контроля – например, он угрожает бунтом. Но Скиннер не это имеет в виду. Он подразумевает контроль в самом абстрактном смысле лабораторного эксперимента, который не имеет ничего общего с реальной жизнью. Он вполне серьезно повторяет то, что часто рассказывают как анекдот, – это история про крысу, которая рассказывает другой крысе, как хорошо ей удается воспитывать своего экспериментатора: каждый раз, когда она нажимает на определенный рычаг, человек вынужден ее кормить.

Поскольку бихевиоризм не владеет теорией личности, он видит только поведение и не в состоянии увидеть действующую личность. Для необихевиориста нет никакой разницы между улыбкой друга и улыбкой врага, улыбкой хорошо обученной продавщицы и улыбкой человека, скрывающего свою враждебность. Однако трудно поверить, что профессору Скиннеру в его личной жизни это также безразлично. Если же в реальной жизни эта разница для него все же имеет значение, то как могла возникнуть теория, полностью игнорирующая эту реальность?

Необихевиоризм не может объяснить, почему многие люди, которых обучили преследовать и мучить других людей, становятся душевнобольными, хотя «положительные стимулы» продолжают свое действие. Почему положительное «стимулирование» не спасает многих и что-то вырывает их из объятий разума, совести или любви и тянет в диаметрально противоположном направлении? И почему многие наиболее приспособленные человеческие индивиды, которые призваны, казалось бы, блистательно подтверждать теорию воспитания, в реальной жизни нередко глубоко несчастны и страдают от комплексов и неврозов? Очевидно, существуют в человеке какие-то влечения, которые сильнее, чем воспитание; и очень важно с точки зрения науки рассматривать факты неудачи воспитания как победу этих влечений. Разумеется, человека можно обучить чуть ли не любым способом, но именно «чуть ли не». Он реагирует на воспитание по-разному и вполне определенным образом ведет себя, если воспитание противоречит основным его потребностям. Его можно воспитать рабом, но он будет вести себя агрессивно. Или человека можно приучить чувствовать себя частью машины, но он будет реагировать, постоянно испытывая досаду и агрессивность глубоко несчастного человека.

По сути дела, Скиннер является наивным рационалистом, который игнорирует человеческие страсти. В противоположность Фрейдю, Скиннера не волнует проблема страстей, ибо он считает, что человек всегда ведет себя так, как ему полезно. И на самом деле общий принцип необихевиоризма состоит в том, что идея полезности считается самой могущественной детерминантой человеческого поведения; человек постоянно апеллирует к идее собственной пользы, но при этом старается вести себя так, чтобы завоевать расположение и одобрение со стороны своего окружения. В конечном счете *бихевиоризм берет за основу буржуазную аксиому о примате эгоизма и собственной пользы над всеми другими страстями человека.*

Причины популярности Скиннера

Невероятную популярность Скиннера можно объяснить тем, что ему удалось соединить элементы традиционного либерально-оптимистического мышления с духовной и

социальной реальностью.

Скиннер считает, что человек формируется под влиянием социума и что в «природе» человека нет ничего, что могло бы решительно помешать становлению мирного и справедливого общественного строя. Таким образом, система Скиннера оказалась привлекательной для всех тех психологов, которые относятся к либералам и находят в этой системе аргументы для защиты своего политического оптимизма. Он апеллирует ко всем тем, кто верит, что такие возжеленные социальные цели, как мир и равенство, являются не просто утопией, а что их можно воплотить в жизнь. Сама идея создания более совершенного, научно обоснованного общественного строя волнует всех, кто раньше был в рядах социалистов. Разве не к этому же стремился Маркс? Разве не он назвал свой социализм «научным» в противоположность «утопическому» социализму предшественников? И разве метод Скиннера не выглядит особенно привлекательно в тот исторический момент, когда политические лозунги себя исчерпали, а революционные надежды захлебнулись?

Однако Скиннер привлекает не только своим оптимизмом, но и тем, что ему удалось умело вмонтировать в традиционно либеральные идеи элементы ярого негативизма. В век кибернетики индивид все чаще становится объектом манипулирования. Его труд, потребление и свободное время – все находится под воздействием рекламы, идеологии и всего того, что Скиннер называет положительным стимулированием. Личность теряет свою активную ответственную роль в социальном процессе; человек становится совершенно «конформным» существом и привыкает к тому, что любое поведение, поступок, мысль и даже чувство, отклоняющееся от стандарта, будет иметь для него отрицательные последствия; он результативен лишь в том, что от него ожидают. Если же он будет настаивать на своей уникальности, то в полицейском государстве он рискует потерять не только свободу, но и жизнь; в некоторых демократических системах он рискует своей карьерой, иногда – потерей работы, а важнее всего – он рискует оказаться в изоляции. Хотя большинство людей не осознают своего внутреннего дискомфорта, они все же испытывают неопределенное чувство страха перед жизнью, они боятся будущего, одиночества, тоски и бессмысленности своего существования. Они чувствуют, что их собственные идеалы не находят опоры в социальной реальности. Какое же огромное облегчение они должны испытать, узнав, что приспособление – это самая лучшая, самая прогрессивная и действенная форма жизни. Скиннер превращает кибернетический ад изолированного, манипулируемого индивида в райские кущи прогресса. Он избавляет нас от страха перед будущим, заявляя, что направление, в котором развивается наша индустриальная система, – это то самое направление, о котором мечтали великие гуманисты прошлого, да к тому же еще и научно обоснованное. Кроме того, теория Скиннера звучит очень убедительно, так как она (почти) точно «попадает» в отчужденного человека кибернетического общества. Короче, скиннеризм – это психология оппортунизма, выдающая себя за научный гуманизм.

Я вовсе не хочу этим сказать, что Скиннер захотел выступить в роли апологета «технотронного» века. Напротив, его политическая и социальная наивность нередко вынуждающего писать такие вещи, которые звучат гораздо убедительнее (хоть и тревожат душу), чем если бы он отдавал себе полностью отчет в том, к чему он пытается нас приспособить.

Бихевиоризм и агрессия

Знание бихевиористской методологии очень важно для изучения проблемы агрессии, поскольку в США большинство ученых, хоть как-то причастных к проблеме агрессии, являются приверженцами бихевиоризма. Их аргументация проста: если Джон обнаружит, что в ответ на его агрессивное поведение его младший брат (или мать) дает ему то, что он хочет, то он превратится в человека с агрессивными наклонностями; то же самое можно было бы сказать в отношении мужественного, низкопоклоннического или любвеобильного

поведения. Формула гласит: человек чувствует, думает и поступает так, как он считает правильным для достижения ближайшей желанной цели. Агрессивность, как и другие формы поведения, является благоприобретенной и определяется тем, что человек стремится добиться максимального преимущества.

Бихевиорист А. Басс определяет агрессию как «поведение, вызывающее раздражение и наносящее ущерб другим организмам». Приведу небольшой фрагмент из его рассуждений:

То, что в определение понятия агрессии совершенно не вошел такой элемент, как намерение (мотив), обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, намерение имплицитно включает телеологию – целенаправленное действие, устремленное к будущей цели; такое понятие намерения несовместимо с бихевиористскими взглядами. Во-вторых (что еще важнее), это понятие очень трудно применить к действиям, поступкам в бихевиористском смысле. Намерение, умысел – это индивидуальное действие, которое может получить вербальное выражение, а может и не получить... О намерении можно судить по истории процесса «стимулирования». Если агрессивная реакция систематически усиливалась и имела специфические последствия (например, бегство жертвы), то можно утверждать, что повторение агрессивного поведения содержит «намерение вызвать такую реакцию, как бегство». Однако подобное рассуждение совершенно излишне при анализе поведения, гораздо полезнее и продуктивнее будет изучить отношение между историей «стимулирования» агрессивной реакции и непосредственной ситуацией, подтолкнувшей эту реакцию.

В целом категория намерения очень сложна для анализа; к тому же агрессивное поведение в большей мере зависит от последствий «стимулирования», именно они определяют возникновение и интенсивность агрессивных реакций. То есть, иными словами, речь идет о том, чтобы определить, какие виды «стимулов» вызывают агрессивное поведение.

Мы видим, что под словом «намерение» Басс имеет в виду сознательный умысел. То есть Басс не отказывается полностью от психоаналитического подхода к проблеме. «Если гнев не является импульсом к агрессии, стоит ли видеть в нем вообще какой-либо импульс? Мы считаем, что это нецелесообразно»^[49].

Выдающиеся бихевиористы А. Басс и Л. Беркович демонстрируют гораздо больше понимания эмоциональных состояний человека, чем Скиннер, хотя в целом они поддерживают главный принцип Скиннера, гласящий, что объектом научного наблюдения является действие, а не действующий человек. Поэтому они не придают серьезного значения фундаментальным открытиям Фрейда, т. е. не учитывают того, что поведение определяют психические силы, что эти силы в основном находятся на бессознательном уровне и, наконец, что осознание («прозрение») как раз и является тем фактором, который преобразует энергетический потенциал и определяет направленность этих сил.

Бихевиористы претендуют на «научность» своего метода на том основании, что они занимаются теми видами поведения, которые доступны визуальному наблюдению. Однако они не понимают, что невозможно адекватно описать «поведение» в отрыве от действующей личности. Например, человек заряжает револьвер и убивает другого человека; само по себе действие – выстрел из револьвера – с психологической точки зрения мало что значит, если его взять в отрыве от «агрессора». Фактически бихевиоризм констатирует лишь то, что относится к действию револьвера; по отношению к револьверу мотив того, кто нажал на курок, не имеет никакого значения. А вот поведение человека можно понять до конца лишь в том случае, если мы будем знать осознанные и неосознанные мотивы, побудившие его к выстрелу. При этом мы обнаружим не одну-единственную причину его поведения, а получим возможность эксплицировать внутреннюю психическую структуру его личности и выявить многие факторы, которые, соединившись вместе, и привели к тому мгновению, когда револьвер выстрелил. И тогда мы констатируем, что можем через целую систему

личностных характеристик объяснить импульс, который привел к выстрелу. А сам выстрел зависит от массы случайных факторов, ситуативных элементов; например, от того, что у данного субъекта в этот момент оказался в руках именно револьвер, что вблизи не было других людей, наконец, от общего состояния его психики, а также от степени психологической напряженности в данный момент.

Поэтому основной бихевиористский тезис, согласно которому наблюдаемое поведение представляет собой надежную с научной точки зрения величину, совершенно ошибочен. На самом деле поведение различно в зависимости от различия мотивирующих его импульсов, а они-то часто скрыты от наблюдателя.

Это можно проиллюстрировать простым примером. Два отца с разным темпераментом бьют своих сыновей, полагая, что наказание полезно для нормального развития ребенка. Внешне оба отца ведут себя одинаково. Каждый дает своему сыну затрещину правой рукой. Однако, если мы сравним при этом, как ведет себя любящий отец и отец-садист, мы увидим в них много различий. Различны позы, выражения лиц, хватка, слова и тон разговора после наказания. Соответственно отличается и реакция детей. Один ребенок ощущает в наказании садистское, разрушительное начало; а другой не имеет никаких оснований усомниться в любви своего отца. И тем более, если эта уверенность дополняется другими бесчисленными примерами поведения отца, которые формируют ребенка с раннего детства. Тот факт, что оба отца убеждены в том, что наказывают детей для их же пользы, ничего не меняет, кроме того, что устраняет моральные преграды с пути отца-садиста. И даже если он, отец-садист, никогда не бил своего ребенка из страха перед женой, или из других соображений, или под влиянием прочитанных книг о воспитании, он все равно вызовет у ребенка те же самые реакции, ибо его взгляд также точно выдает его садистское нутро, как и его руки, дающие ребенку затрещину. Поскольку дети чувствительнее взрослых, они реагируют в целом на импульс, который исходит от отца, а вовсе не на отдельные, изолированные факты его поведения.

Возьмем другой пример. Мы видим человека, который сердится, гневается, у которого от злости краснеет лицо. Мы описываем его поведение, говоря: он в гневе, в бешенстве, он вне себя. Если мы спросим, почему он гневается, то можем услышать в ответ: «Потому что он боится». – «А чего он боится? Отчего этот страх?» – «Оттого, что он очень страдает от своей беспомощности». – «Откуда это чувство?» – «Все дело в том, что он никак не может порвать узы, привязывающие его к матери, и постоянно чувствует себя как малое дитя». (Это, разумеется, не единственно возможный вариант объяснения причинных связей.) Каждый из этих ответов содержит «истину». Разница лишь в том, что каждый из них отмечает причинную связь разной глубины; и чем глубже лежит причина, тем меньше она осознается. Чем глубже уровень осознания, тем больше мы получаем информации для понимания поведения. И не только для понимания мотивов, но и в том смысле, что поведение человека становится понятным до мелочей. В данном случае наблюдатель с тонким чутьем скорее заметит на «красном» лице выражение испуганной беспомощности, а не гнева. В другом случае поведение может быть внешне совершенно аналогичным, но от внимательного наблюдателя не ускользнет лежащая на лице человека печать жестокости и деструктивизма. Его гневное поведение – лишь результат того, что он держит под контролем свои разрушительные импульсы. И тогда два внешне одинаковых типа поведения на деле оказываются сильно отличающимися друг от друга, что научно можно объяснить, только обратившись к мотивационной сфере в структуре личности.

Поэтому на вопрос о «краснолицем» я дал необычный ответ: «Он гневается потому, что его оскорбили, или же он чувствует себя оскорбленным». Подобное объяснение акцентирует повод для гнева и упускает из виду, что раздражительность и гневливость могут быть и чертами характера данной личности. Группа людей будет по-разному реагировать на один и тот же раздражитель в зависимости от характеров индивидов. Так, например, субъекта А этот раздражитель задевает; субъект В испытывает к нему отвращение; субъект С может его испугаться, а субъект D просто проигнорирует его.

Басс прав, утверждая, что намерение – это личное дело каждого, которое может получить словесное выражение, а может и не получить. Однако как раз в этом и состоит дилемма бихевиоризма: поскольку он не располагает методом для анализа невербализованных данных, он вынужден ограничивать свои исследования теми данными, которые ему доступны и которые обычно слишком грубы и поверхностны, а потому недостаточны для проведения тонкого теоретического анализа.

О психологических экспериментах

Если психолог ставит перед собой задачу понять поведение человека, то он должен выбрать такие методы, которые пригодны для изучения человека *in vivo*[39⁵⁰], тогда как бихевиористские исследования практически проводятся *in vitro*[⁵¹] (я употребляю это выражение в собственном значении, т. е. для констатации того факта, что человек наблюдается в контролируемых, искусственно созданных условиях, а не в «реальном» жизненном процессе). Может возникнуть впечатление, будто психология стремилась обеспечить себе респектабельность посредством подражания естественным наукам, заимствуя у них некоторые методы, но, кстати сказать, это оказались методы, которые имели силу 50 лет назад, а не те «научные» методы, которые приняты в передовых отраслях науки сегодня[⁵²]. В результате недостаток теории часто скрывается за впечатляющими математическими формулами, которые не имеют ничего общего с фактами и нисколько не поднимают их значимость.

Разработать метод для наблюдения и анализа человеческого поведения вне лаборатории – весьма нелегкое дело, однако это является важнейшей предпосылкой для понимания человека. В сущности при изучении человека работают только два метода наблюдения:

1. Первый метод – это прямое и детальное изучение одного человека другим. Самый результативный вариант данного метода демонстрирует «психоаналитическая лаборатория», разработанная Фрейдом. Здесь пациенту предоставляется возможность выразить свои неосознанные влечения, одновременно выясняется связь этих влечений с доступными глазу «нормальными» и «невротическими»[⁵³] актами поведения[⁵⁴].

Менее сильным, но все же довольно продуктивным методом является интервью или серия опросов, к которым следует причислить также изучение некоторых сновидений, а также ряд прожективных тестов. Не следует недооценивать глубинные психологические данные, которые опытный наблюдатель добывает уже тем, что внимательно и долго следит за испытуемым, изучая его жесты, голос, осанку, руки, выражение лица и т. д. Даже не зная испытуемого и не имея в распоряжении ни писем, ни дневников, ни подробной его биографии, психолог может использовать наблюдение такого рода как важный источник для понимания психологического профиля личности.

2. Второй метод исследования человека *in vivo* состоит в том, чтобы, вместо «запихивания» жизни в психологическую лабораторию, превратить в «естественную лабораторию» определенные жизненные ситуации – Вместо конструирования искусственной социальной ситуации (как это делается в психологической лаборатории), исследователь изучает те эксперименты, которые предлагает сама жизнь. Надо выбрать такие социальные ситуации, которые поддаются сравнению, и с помощью специального метода превратить их в соответствующий эксперимент. Если одни факторы принять за константу, а другие изменять, то в такой естественной лаборатории появляется возможность для проверки

50

51

52

53

54

различных гипотез. Существует очень много похожих ситуаций, и можно проверить, соответствует ли та или иная гипотеза всем этим ситуациям, – и если это не так, то можно выяснить, существует ли убедительное объяснение для этого исключения, или надо изменить гипотезу. Простейшей формой подобного «естественного эксперимента» является анкетный опрос (с использованием большого списка открытых вопросов или же в ходе личного интервью), проводимый среди репрезентативных групп людей разного возраста, профессий (в тюрьмах, больницах и т. д.).

Само собой разумеется, в таких случаях мы не можем рассчитывать на абсолютную «точность» результатов, которая достигается в лаборатории, ибо два социальных объекта никогда не бывают совершенно идентичны. Но когда ученый имеет дело не с «подопытными индивидами», а с людьми, когда он изучает не артефакты*, а реальную жизнь, то вовсе не стоит ему гнаться за видимой (а иногда и сомнительной) точностью ради того, чтобы получить весьма тривиальные результаты. Я считаю, что для анализа агрессивного поведения с научной точки зрения наиболее пригодны либо психоаналитическое интервьюирование, либо опрос в естественной социальной «лаборатории» жизни. Правда, оба эти метода требуют от исследователя гораздо более высокого уровня комплексного теоретического мышления, чем самый изощренный, хитроумный лабораторный эксперимент[55].

Для наглядности хочу привести пример. Стенли Мильграм в своей "интеракционистской[56] лаборатории" в Йельском университете провел интересное исследование[57].

В исследовании участвовали 40 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет из Нью-Хейвена и его окрестностей. Мы подобрали людей с помощью рекламы и прямых предложений по почте. Общая совокупность включала самые различные профессии. Наиболее распространенные – это почтовые служащие, преподаватели вузов, продавцы, инженеры и рабочие. Образовательный уровень – от неполной средней школы до докторов наук. За участие в эксперименте каждый получал 4,5 доллара. Им сообщалось заранее, что деньги они получают только за свое появление в лаборатории, независимо от дальнейших событий.

В каждом эксперименте принимали участие как минимум один совершенно «невинный», неопытный представитель и одна «жертва» (по выбору руководителя исследования). Мы должны были выдумать причину, чтобы объяснить неопытным испытуемым необходимость применения электрического тока (на самом деле он не применялся, но подготовка была). Для прикрытия создавалась легенда об интересе исследователей к проблеме отношений между обучением и наказанием. Вот как звучала эта легенда:

"Мы очень мало знаем о воздействии наказания на обучение, ибо по этой проблеме практически нет научных исследований.

Так, например, мы не знаем, какая мера наказания дает наибольший результат в учебе; мы не знаем, существует ли различие в восприятии наказания: имеет ли значение для взрослого человека, кто его наказывает – тот, кто старше его или моложе, и многое другое.

Поэтому мы собрали здесь взрослых людей разных возрастов и профессий и предполагаем, что среди вас есть ученики и есть учителя.

Мы хотим узнать, каково влияние различных личностей друг на друга, когда одни выступают в роли обучающихся, а другие – в роли обучаемых, и, кроме того, какова роль наказания при обучении.

Я попрошу одного из вас сегодня вечером сыграть здесь роль учителя, а другого – быть учеником.

Может быть, кто-то хочет сам быть учителем, а кто-то предпочитает быть учеником?"

Дальше испытуемые тянули жребий (бумажки из шляпы): кто будет учителем, а кто –

учеником. Жеребьевка была так подстроена, что ничего не подозревающий всегда был учителем, а посвященные – всегда учениками. (На обеих бумажках было написано слово «учитель».) Сразу после жеребьевки учитель и ученик помещались в разные комнаты, причем ученика сажали на «электрический стул» и привязывали. Экспериментатор объяснял, что ремни должны удерживать обучаемого от слишком резких движений во время шока или даже от бегства в соответствующей ситуации. Затем накладывался электрод на запястье обучаемого, которое предварительно смазывалось специальным вазелином «во избежание ожога и волдыря». Испытуемому было сказано, что электрод подключен к генератору шока, который стоит в соседней комнате.

...Из соседней комнаты испытуемому учителю дается приказ за каждый неправильный ответ выдавать обучаемому «порцию шока». Кроме того, – и эта особенно важно – учителю предлагалось «после каждого неправильного ответа обучаемого передвигать регулятор силы тока вверх по шкале интенсивности на одно деление». Кроме того, перед тем как нажать на рычаг, он должен был вслух произнести число, соответствующее делению вольтметра. Таким образом, испытуемый учитель должен был четко сознавать постоянно растущую интенсивность электрошока, которым он «наказывает» обучаемого... Во всех случаях обучаемому заранее дается набор парных ответов, среди которых три ошибочных приходятся на один верный. При таких условиях обычно ученик не подает голоса или другого протестующего сигнала, пока уровень электрошока не достигнет 300 вольт. А когда сигнал достигает 300 вольт, ученик начинает бить кулаками в стенку. Экспериментатор слышит эти стуки. С этой минуты ответы обучаемого больше не идут по четырехответной схеме... Когда испытуемый дает знак, что не хочет больше работать, экспериментатор подбадривает его. Для этого у него есть целый набор просьб-требований – ровно столько, сколько нужно, чтобы заставить испытуемого продолжить работу.

Просьба 1. Пожалуйста, продолжайте.

Просьба 2. Эксперимент требует вашего дальнейшего участия.

Просьба 3. Ваше участие совершенно необходимо.

Просьба 4. У вас нет иного выбора, как продолжить работу.

Эти фразы предъявлялись последовательно по мере необходимости. Если даже четвертому требованию испытуемый не хотел подчиниться, эксперимент прекращался. Экспериментатор разговаривал одним и тем же размеренным, довольно вежливым тоном, и каждый раз, когда испытуемый начинал спотыкаться или медлить с выполнением приказа, экспериментатор снова начинал выдвигать вышеназванный ряд требований.

Были и подбадривания особого назначения. Например, если испытуемый спрашивал, не скажется ли эксперимент на здоровье «ученика», то экспериментатор отвечал: «Даже если уколы электрошока доставляют болезненные ощущения, все равно кожный покров от этого не пострадает, так что спокойно работайте дальше». (Это дополнение к просьбам 2, 3, 4.) Если испытуемый говорил, что ученик больше не хочет работать, то наблюдающий отвечал: «Хочет этого ученик или нет, Вы должны продолжать, пока ученик не выучит правильные ответы на все вопросы парного теста. Пожалуйста, продолжайте!»

Какие результаты дал этот эксперимент? Многие участники проявили признаки нервозности, особенно при увеличении доз электрошока. Во многих случаях *напряжение достигало такой степени, которая редко встречается в социально-психологических лабораторных испытаниях* (Курсив мой. – Э. Ф.). Испытуемые потели, заикались, дрожали, кусали губы, стонали и сжимали кулаки так, что ногти впивались в кожу. И это были скорее типичные реакции, чем из ряда вон выходящие.

Одним из признаков напряжения были периодические приступы смеха. У 14 из сорока человек этот нервный смех был регулярно повторяющимся, хотя смех в подобной ситуации кажется совершенно неуместным, почти безумным. У трех человек приступы смеха были "неуправляемыми, а у одного испытуемого начались такие конвульсии, что эксперимент пришлось прервать. Испытуемый 46 лет, книготорговец, был в явном смущении из-за своего неуправляемого и «непристойного» поведения. В последующей беседе почти каждый

выражал сожаление и заверял, что он не садист и улыбка вовсе не означала, что мучения жертвы доставляли ему хоть малейшее удовольствие.

Вопреки первоначальным ожиданиям ни один из сорока человек не прекратил работу прежде, чем уровень электротока достигал 300 вольт, а жертва начинала барабанить в стенку. Только пятеро из сорока отказались подчиниться требованию экспериментатора и включить ток свыше 300 вольт. Пятеро сами увеличили дозу сверх трехсот: двое до 330 вольт, а остальные трое – до 345, 360 и 375 вольт. Таким образом, 14 человек (35%) оказали сопротивление экспериментатору.

А «послушные» нередко слушались лишь под большим давлением и проявляли почти такой же страх, как я сопротивляющиеся. А после окончания эксперимента многие из послушных выпускали вздох облегчения, терли глаза и лоб, нервно хватались за сигареты, кое-кто виновато качал головой. И только несколько испытуемых в течение всего эксперимента не проявили никаких признаков беспокойства.

При обсуждении эксперимента автор констатировал два удивительных вывода:

Первый касается непреодолимой тенденции к повиновению. Испытуемые с детства привыкли, что наносить боль другому человеку – это тяжелый нравственный проступок. И все же 26 человек переступили через этот нравственный императив и послушно исполняли приказы авторитарной личности, хотя она и не обладала никакой формальной властью.

Второй непредусмотренный эффект связан с чрезмерным напряжением. Можно было ожидать, что испытуемые либо прекратят выполнять задание, либо будут продолжать – как кому подскажет совесть. Но произошло нечто совершенно иное. Дело дошло до крайней степени напряженности и огромных эмоциональных перегрузок. Один наблюдатель записал: «Я видел, как довольно развязный, уверенный в себе предприниматель средних лет, улыбаясь, вошел в лабораторию. Через 20 минут он превратился в дрожащее, заикающееся, жалкое существо, похожее на нервного больного. Он постоянно теребил мочку уха, потирал руки. А один раз ударил себя кулаком по лбу и пробормотал: „О Господи, когда же это кончится?!“ И тем не менее он прислушивался к каждому слову экспериментатора и подчинялся ему до конца».

На самом деле этот эксперимент чрезвычайно интересен не только для изучения конформизма, но и для изучения жестокости и деструктивности. Это напоминает ситуации реальной жизни, когда, к примеру, выясняется вина солдата, совершавшего чудовищные преступления по приказу командира. Может быть, это касается и немецких генералов, осужденных в Нюрнберге военных преступников или лейтенанта Келли и некоторых его подчиненных во Вьетнаме^[58]?

Я полагаю, что в большинстве случаев из эксперимента нельзя делать выводов относительно реальной жизни. Психолог был в эксперименте не просто авторитетом, а представителем науки и одного из ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами высшего образования в США. Принимая во внимание, что наука в современном индустриальном обществе ценится выше всего на свете, среднему американцу трудно представить, что от ученого может исходить безнравственный приказ. Если бы Господь Бог не запретил Аврааму убить сына, он бы это сделал, как это делали миллионы родителей, приносявшие своих детей в жертву. Для верующего ни Бог, ни его современный эквивалент, каким является наука, не могут совершить несправедливость. Поэтому повиновение, обнаруженное в эксперименте Мильграма, не должно вызывать удивления. Скорее можно было бы удивиться непокорности 35%.

Не должна удивлять и возникшая степень напряженности. Экспериментатор ожидал, «что испытуемые сами прекратят выполнять задание по велению своей совести». Но разве это тот способ, каким люди в жизни выходят из конфликтных ситуаций? Разве не в том состоит особенность и трагизм человеческого поведения, что человек пытается не ставить себя в конфликтную ситуацию? Это означает, что он не осознает свой выбор между тем, что

ему диктует жадность и страх, и тем, что ему запрещает его совесть? На деле человек с помощью рационализации устраняется от осознания конфликта, и конфликт проявляется неосознанно в форме сильного стресса, невротических симптомов или чувства вины по совершенно иным, придуманным причинам. И в этом отношении Мильграмовы подопечные вели себя вполне нормально.

Однако здесь возникают другие интересные вопросы. Мильграм считает, что его испытуемые находятся в конфликтной ситуации, ибо они не видят выхода из противоречия между авторитарным приказом и образцами поведения, внушенными им в раннем детстве, суть которых: «не навреди другому человеку».

Но разве так происходит на самом деле? Разве мы научились «не наносить ущерб другим людям»? Может быть, этой заповеди и учат в церковной школе, но в школе реальной жизни детей, напротив, учат понимать и отстаивать свои преимущества, даже в ущерб другим. И потому конфликт, который предполагает Мильграм в этой ситуации, не столь уж велик.

Я вижу важнейший результат Мильграмова эксперимента в том, что он обнаружил сильную реакцию против жестокости. Разумеется, 65% испытуемых удалось поставить в такие условия, что они вели себя жестоко, но при этом в большинстве случаев они отчетливо проявляли реакцию возмущения или неприятия садистского типа поведения. К сожалению, автор не приводит нам точные сведения о тех людях, которые в продолжение всего эксперимента не проявляли признаков беспокойства. Как раз очень интересно было бы для понимания человеческого поведения узнать об этих людях больше подробностей. Очевидно, они не испытывали ни малейших неудобств, совершая жестокие действия. И первый вопрос, возникающий здесь: почему? Возможен, например, такой ответ, что страдание других доставляло им удовольствие и они не чувствовали ни малейших угрызений совести, ибо их поведение было санкционировано авторитетом свыше. Есть и другая возможность: если речь идет о сильно отчужденном или нарциссическом типе личности, то такие люди вообще невосприимчивы ко всему, что касается других людей. А может быть, это были «психопаты», которые полностью лишены нравственных «тормозов». Те, у кого проявились различные симптомы стресса и страха, – вот это, должно быть, люди с антисадистским и антидеструктивным характером. (Если бы после эксперимента было проведено глубинно-психологическое интервьюирование, то была бы возможность выяснить характерологические различия этих людей и можно было бы дать обоснованные гипотезы о поведении этих людей в будущем.)

Важнейший результат эксперимента сам Мильграм оставляет почти без внимания, а именно наличие совести у большинства испытуемых и их переживание по поводу того, что послушание заставило их действовать вопреки их совести. А если кто-то захочет интерпретировать этот эксперимент как доказательство того, что человека легко сделать бесчеловечным, то я подчеркиваю, что реакции испытуемых говорят о прямо противоположном – т. е. о наличии серьезных внутренних сил личности, для которых жестокое поведение невыносимо. Это подводит нас к тому, что при изучении жестокости в реальной жизни очень важно учитывать не только жестокое поведение, но и (часто неосознанные) угрызения совести тех, кто подчинился авторитарному приказу. (Нацисты были вынуждены применить хитроумнейшую систему сокрытия своих преступлений, чтобы заглушить голос совести у простых немецких граждан.)

Эксперимент Мильграма хорошо иллюстрирует разницу между сознательными и бессознательными аспектами поведения, хотя сам он их и не принимает в расчет. Еще один эксперимент оказался в связи с этим весьма убедительной иллюстрацией к проблеме причин жестокости.

Первый отчет об этом эксперименте – совсем коротенькое сообщение д-ра Цимбардо в 1972 г. Позднее появилась более подробная публикация, но я буду цитировать по рукописи, любезно предоставленной мне д-ром Цимбардо.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы изучить поведение нормальных людей в

ситуациях, близких к тюремному заключению, где одни испытуемые выступали в роли заключенных, а другие – надзирателей. Автор считает, что ему удалось этим экспериментом подтвердить общий тезис, что под влиянием определенных обстоятельств любой человек может прийти до какого угодно состояния, вопреки всем своим представлениям о нравственности, вопреки личной порядочности и всем социальным принципам, ценностям и нормам. Короче говоря, в этом эксперименте большинство испытуемых, игравших роль «надзирателей», превращались на глазах в жесточайших садистов, а те, кто играл заключенных, демонстрировали жалкое зрелище несчастных, запуганных и подневольных людей. У некоторых «заключенных» так быстро развились серьезные симптомы психической неполноценности, что пришлось даже через несколько дней выводить их из эксперимента. На самом деле реакции обеих групп испытуемых были столь интенсивны, что запланированный на две недели эксперимент пришлось закончить через шесть дней. Я сомневаюсь, что данный эксперимент доказывает вышеназванный бихевиористский тезис, и приведу свои аргументы. Но сначала я должен сообщить читателю некоторые подробности эксперимента. Через газетную рекламу был организован конкурс студентов, желавших за 15 долларов в день принять участие в эксперименте с целью психологического исследования жизни в тюремных условиях.

Желающие должны были заполнить подробнейшую анкету о своем семейном положении, происхождении, здоровье, с сообщением биографических фактов, а также рассказом о психопатологических наклонностях и т. д. Каждый заполнивший анкету проходил затем собеседование с одним из двух руководителей исследования. В конце концов были отобраны 24 человека, которые выглядели наиболее здоровыми в физическом и духовном плане и казались менее всего способными на антисоциальные поступки. Половина из них наугад была определена на роль «надзирателей», а вторая – на роль заключенных.

Последняя выборка испытуемых за день до начала эксперимента была подвергнута тестовому испытанию. По мнению авторов проекта, все участники были нормальными и не имели никаких садистских или мазохистских наклонностей.

Тюрьма была устроена в длинном коридоре подвала института психологии Стенфордского университета. Всем испытуемым было объявлено, что они могут сыграть роль надзирателя или заключенного, и все добровольно согласились в течение двух недель играть одну из этих ролей и получать за это 15 долларов в день. Они подписали договор, в котором оговаривались условия их жизни – минимальная одежда, еда, питье, медицинское обеспечение и т. д. В договоре было четко оговорено, что те, кто согласился быть заключенным, будут находиться под надзором (не будут оставаться никогда в одиночестве) и что во время этого заключения они будут лишены некоторых гражданских прав и могут быть наказаны (за исключением телесных наказаний). Больше никакой информации о своем будущем пребывании в тюрьме они не получили. Тем, кто был окончательно выбран на Эту роль, было сообщено по телефону, что в определенное воскресенье (день начала эксперимента) они должны быть дома.

Лица, избранные на роль надзирателей, приняли участие в собеседовании с «директором тюрьмы» (дипломированным преподавателем вуза) и с «инспектором» (главным экспериментатором). Им сказали, что в их задачу входит «поддержание некоторого порядка в тюрьме». Важно знать, что понимали под «тюрьмой» авторы исследования. Они употребляли это слово не в прямом его значении, т. е. не как место пребывания правонарушителей, а в специфическом значении, которое отражает условия в некоторых американских тюрьмах.

Мы не собирались буквально воспроизводить все условия какой-либо американской тюрьмы, а скорее хотели показать функциональные связи. Из этических, нравственных и практических причин мы не могли запереть наших испытуемых на неопределенное время; мы не могли угрожать им тяжелыми физическими наказаниями, не могли допустить проявлений гомосексуализма или расизма и других специфических аспектов тюремной жизни. И все же мы думали, что нам удастся создать ситуацию, которая будет настолько

похожа на реальный мир, что нам через ролевую игру удастся в какой-то мере проникнуть в глубинную структуру личности. Для этой цели мы позаботились о том, чтобы в эксперименте были представлены разные профессии и судьбы – и тогда мы сможем вызвать у испытуемых вполне жизненные психологические реакции – чувства могущества или бессилия власти или подневольности, удовлетворения или фрустрации, права на произвол или сопротивления авторитарности и т. д.

Читателю должно быть понятно, что методы, примененные в эксперименте, были ориентированы на систематическое болезненное унижение личности – это было запланировано заранее.

Каково было обращение с «заключенными»? С самого начала их предупредили, чтобы они готовились к эксперименту.

«Арест» происходил без предупреждения на квартире с помощью государственной полиции. Полицейский объявил каждому, что он подозревается в краже или вооруженном нападении. Каждого тщательно обыскали (нередко в присутствии любопытных соседей), надели наручники, проинформировали об их законных правах и предложили спуститься вниз, чтобы в полицейской машине проехать в полицию. Там состоялась обычная процедура: снятие отпечатков, заполнение анкеты, и сразу арестованные были помещены в камеры. Каждому при этом завязали глаза и проводили в сопровождении экспериментатора и «охранника» в экспериментальную тюрьму. Во всей процедуре официальные власти занимали самую серьезную позицию и не отвечали ни на один из возникавших у испытуемых вопросов.

По прибытии в экспериментальную тюрьму каждого арестованного раздели до нитки, в голом виде поставили во дворе и побрызгали дезодорантом, на котором было написано: «Средство от вшей». Затем каждый был одет в арестантскую одежду, сфотографирован в профиль и в фас и отправлен в камеру под спокойно отданный приказ вести себя тихо.

Поскольку «арест» был произведен руками настоящей полиции, испытуемые должны были думать, что они и впрямь подозреваются в каком-то деянии, особенно после того, как на заданный вопрос об эксперименте чиновники не дали никакого ответа. Что должны были при этом думать и чувствовать испытуемые? Откуда им было знать, что «арест» был «понарошку», а полицию привлекли для того, чтобы применением силы и ложными обвинениями придать эксперименту больше правдоподобности?

Одежда арестованных была своеобразной, она состояла из хлопчатобумажной куртки с черным номерным знаком на груди и на спине. Под «костюмом» не было никакого нижнего

белья. На щиколотку надевалась тонкая цепочка, застегнутая на замок. На ноги выдавались резиновые сандалии, а на голову – тонкая, плотно прилегающая и закрывающая все волосы шапочка из нейлонового чулка... Эта одежда не только лишала арестованных всякой индивидуальности, она должна была унижить, ибо она была символом зависимости. О подневольности постоянно напоминала цепочка на ноге, она и во сне не давала покоя... А шапочка из чулка делала всех людей на одно лицо, как в армии и тюрьме, когда мужчин стригут наголо. Безобразные куртки не по размеру стесняли движения, а отсутствие белья вынуждало арестованных менять походку и походить скорее на женщин, чем на мужчин...

Как же вели себя «заключенные» и «надзиратели», каковы были их реакции на протяжении шести экспериментальных дней?

Самое ужасное впечатление произвело на всех участников тяжелейшее состояние пяти заключенных, которые кричали, буйствовали или демонстрировали приступы жесточайшей депрессии, животного страха и в результате были выведены из эксперимента. У четырех из них симптомы ненормального состояния начались на второй день заключения. Пятый же весь покрылся аллергической сыпью нервного происхождения. Когда через 6 дней эксперимент прекратился раньше срока, все оставшиеся заключенные были безмерно счастливы.

Итак, все «заключенные» проявили приблизительно одинаковые реакции на ситуацию, в то время как «надзиратели» дали более сложную картину:

Казалось, что решение об окончании эксперимента их буквально огорчило, ибо они так вошли в роль, что им явно доставляла удовольствие неограниченная власть над более слабыми и они не хотели с ней расставаться.

Авторы эксперимента так описывают поведение «надзирателей»:

Никто из них ни разу не опоздал на смену, а некоторые даже добровольно соглашались на вторую смену без оплаты.

Патологические реакции в обеих группах испытуемых доказывают высокую степень зависимости личности от социально-профессиональной среды. Но были и отчетливые индивидуальные отклонения от средней нормы адаптации к новым условиям. Так, половина заключенных нормально переносила угнетающую атмосферу тюрьмы, и не всех надзирателей захватил дух враждебности по отношению к заключенным. Некоторые держались строго, но «в рамках инструкции». Однако некоторые проявили такое рвение, которое далеко выходило за рамки предписанной им роли: они мучили заключенных с изощренной жестокостью... совсем немногие проявили пассивность и лишь изредка применяли к заключенным минимально необходимые меры принуждения.

Жаль, что у нас нет более точной информации, чем «некоторые», «несколько», «совсем немногие». Мне это представляется совершенно лишней скрытностью и недостатком точности, легче было бы назвать число. Тем более что в первой краткой публикации в «Trans-Action» были приведены более точные данные, существенно отличающиеся от того, что мы только что прочли. Там процент садистски настроенных «надзирателей», применяющих изощренные методы унижения заключенных, составлял чуть ли не одну треть. А остаток был поделен на две категории: 1) строгие, но честные; 2) хорошие надзиратели, с точки зрения заключенных, ибо они были доброжелательны, не отказывали в мелких услугах.

Эти характеристики очень сильно отличаются от того, что «немногие оставались пассивными и редко применяли меры принуждения».

Подобные расхождения и недостаток точности данных и формулировок тем досаднее, что с ними авторы связывают главный и решающий тезис эксперимента. Они надеялись доказать, что сама ситуация всего за несколько дней может превратить нормального человека либо в жалкое и ничтожное существо, либо в безжалостного садиста. Мне кажется, что эксперимент как раз доказывает обратное, если он вообще что-нибудь доказывает. Хотя общая атмосфера тюрьмы, по мысли исследователей, должна была быть унижающей человеческое достоинство (что наверняка сразу поняли «надзиратели»), все-таки две трети «надзирателей» не проявили никаких симптомов садистского поведения – и для меня это кажется вполне убедительным доказательством того, что человек не так-то легко превращается в садиста под влиянием соответствующей ситуации.

Все дело в том, что существует огромная разница между поведением и характером. И необходимо различать между тем, что кто-то ведет себя соответственно садистским правилам, и тем, что этот кто-то, проявляя жестокость к другим людям, находит в этом удовольствие. Тот факт, что в данном эксперименте такое различие не проводилось, существенно снижает его ценность.

На самом деле разграничение это имеет значение и для второй половины основного тезиса: ведь предварительное тестовое обследование показало, что испытуемые не имели ни садистских, ни мазохистских наклонностей, т. е. тесты не выявили таких черт характера. Что касается психологов, делающих ставку на явное поведение, то для них эта констатация может считаться истинной. А психоаналитику она представляется не очень-то убедительной. Ведь черты характера зачастую совершенно не осознаются и не могут быть раскрыты с помощью обычных психологических тестов. Что касается проективных методик, как, например, тест Роршаха, то все зависит от их интерпретации; в действительности с помощью этих тестов докопаться до неосознанных пластов психики в состоянии лишь те исследователи, которые имеют большой опыт изучения бессознательных процессов.

Есть еще одна причина для того, чтобы считать выводы о «надзирателях» спорными.

Данные индивиды только потому и были избраны, что в соответствующих тестах проявили себя как более или менее нормальные, обычные люди, не обнаружившие садистских наклонностей. Но этот результат находится в противоречии с утверждением, что среди обычного населения процент потенциальных садистов не равен нулю. Некоторые исследования доказали это, а опытный наблюдатель может установить это и без всяких тестов и анкет. Но каков бы ни был процент личностей с садистскими наклонностями среди нормального населения, полное отсутствие данной категории, установленное в предваряющих эксперимент тестам, скорее свидетельствует о том, что применены были тесты, не подходящие для выяснения этой проблемы.

Некоторые неожиданные результаты описанного эксперимента можно объяснить другими факторами. Авторы утверждают, что испытуемым было трудно отличить реальность от роли, и на этом основании делают вывод, что виновата сама ситуация. Это, конечно, верно, но ведь такая ситуация была заранее запланирована руководителями эксперимента. Сначала «арестованные» были сбиты с толку и запутаны. Условия, сообщенные им при подписании договора, резко отличались от того, что они увидели позже. Они были совершенно не готовы оказаться в атмосфере, унижающей человеческое достоинство. Но еще важнее для понимания возникшей путаницы привлечение к работе полиции. Поскольку полицейские власти чрезвычайно редко принимают участие в экспериментальных психологических играх, постольку «заключенным» было в высшей степени трудно отличить действительность от игры.

Из отчета следует, что они даже не знали, связан ли арест с экспериментом или нет, а чиновники отказались отвечать на этот вопрос. Спрашивается, есть ли хоть один нормальный человек, которого подобная ситуация не привела бы в полное смятение? После этого любой бы приступил к эксперименту с мыслью, что его «подставили» и «заложили».

Почему «арестованные» не потребовали немедленного прекращения игры? Авторы не дают нам ясного объяснения того, как они объяснили участникам эксперимента условия выхода из тюрьмы. Я, по крайней мере, не нашел каких-либо свидетельств того, что их предупредили об их праве выхода из эксперимента, если он станет для них невыносимым. И действительно, «надзиратели» силой заставляли оставаться на местах тех, кто хотел сбежать. У них, вероятно, было такое впечатление, что они должны для этого получить разрешение от специальной комиссии по освобождению... Однако авторы пишут следующее:

Одно из наиболее запоминающихся событий произошло в тот момент, когда мы услышали ответы пяти досрочно освобождаемых заключенных. На вопрос руководителя об отказе от денежного вознаграждения трое сразу сказали, что согласны отказаться от всех заработанных денег. Если вспомнить, что единственным мотивом участия в эксперименте с самого начала был заработок, то, конечно, удивительно, что уже через четыре дня они готовы были полностью отказаться от денег ради свободы. Однако еще удивительнее было то, что после такого заявления каждый из них встал и позволил «конвоиру» увести себя в камеру, ибо им сообщили, что возможность их освобождения необходимо обсудить с руководством. Если бы они считали себя только «испытуемыми», которые за деньги участвуют в эксперименте, то для них инцидент был бы исчерпан и они считали бы себя вправе просто уйти. Однако к тому времени ощущение подневольности стало таким сильным, а реквизит театральной тюрьмы так здорово походил на реальную, что они не могли вспомнить в этот момент, что единственный мотив их пребывания здесь больше не имеет силы; и потому они послушно вернулись в камеру, чтобы там терпеливо дожидаться, когда тюремщики решатся досрочно отпустить их домой.

Разве они могли действительно с легкостью выйти из игры? Почему же им сразу четко не сказали: «Кто из вас захочет выйти из игры, может сделать это в любой момент, только тогда он потеряет свой заработок»? Если бы они были об этом информированы и все-таки оставались бы ждать решения властей, то автор имел бы право говорить об их конформности. Но этого не было. Им дали ответ в типично бюрократической формулировке, когда ответственность перекладывается на кого-то наверху, из чего однозначно следовало,

что «арестованные» *не имеют права уйти* .

Знали ли «арестованные» в действительности, что речь идет только об эксперименте? Это зависит от того, что здесь надо понимать под словом «знать» и какое воздействие на сознание испытуемых оказала ситуация ареста, когда все умышленно запутали настолько, что можно было запросто забыть, кто есть кто и что есть что. Помимо недостатка точности и критической самооценки, у эксперимента есть еще один недостаток, а именно тот, что результаты его не были перепроверены в обстановке реальной тюрьмы. Разве большинство заключенных в самых плохих американских тюрьмах содержатся в рабских условиях, а большинство надзирателей являются жесточайшими садистами? Авторы приводят всего лишь одно свидетельство бывшего заключенного и одного тюремного священника, в то время как для доказательства столь важного тезиса, на который они замахнулись, не грех было бы провести целую серию проверок, может быть, даже систематический опрос многих бывших заключенных. Не говоря уже о том, что они обязаны были вместо общих рассуждений о «тюрьмах» привести точные данные о процентном соотношении обычных тюрем и тех, которые известны особо унижительными условиями и обстановку которых хотели воспроизвести экспериментаторы.

То, что авторы не потрудились перепроверить свои выводы на реальных жизненных ситуациях, тем более досадно, что существует обширнейший материал о самой чудовищной тюрьме, которую можно увидеть только в самом страшном сне: я имею в виду гитлеровский концлагерь.

Что касается проблемы спонтанности садизма эсэсовских надзирателей, то она еще не была систематически исследована. При моих ограниченных возможностях в получении данных о проявлении спонтанного садизма у надзирателей (т. е. такого поведения, которое выходит за рамки инструкций и мотивировано личным садистским наслаждением), судя по опросам бывших заключенных, разброс оценок очень велик – от 10 до 90%; причем более низкие цифры даны по показаниям бывших политзаключенных^[59]. И чтобы внести ясность в эту шкалу оценок, надо было бы провести систематическое исследование садизма надзирателей в концлагерях. Для такого исследования можно использовать разнообразный материал, например:

1. Систематическое интервьюирование бывших узников концлагерей и ранжирование их высказываний по возрасту заключенных, причинам и длительности ареста и другим характерным показателям, а также интервьюирование бывших надзирателей^[60],

2. «Косвенные» показатели; например, введение с 1939 г. системы «подготовки» заключенных во время длительных железнодорожных перевозок по пути в концлагерь (система приручения и дрессировки, когда их морили голодом, били, подвергали чудовищным унижениям...). Надзиратели из СС выполняли эти и другие садистские приказы, не испытывая ни малейшего сострадания. Но позже, когда заключенных перевозили по железной дороге из одного лагеря в другой, их уже никто не трогал, ибо они попадали в разряд «старых узников». Если кто-то из надзирателей хотел удовлетворить свои садистские наклонности, он мог это делать сколько душе угодно, не страшась ни в коей мере наказания^[61]. И то, что это случалось не очень часто, говорит лишь о невысоком в норме проценте людей с садистскими наклонностями. Что касается поведения заключенных, то данные из концлагерей опровергают главный тезис Хейни, Бэнкса и Цимбардо о том, что индивидуальные различия в воспитании, представления о нравственных нормах и ценностях утрачивают всякое значение перед лицом обстоятельств и под влиянием окружения. Наоборот, сравнение положения аполитичных заключенных из среднего класса (особенно евреев) и заключенных с твердыми политическими или религиозными убеждениями показало, что ценностные представления и убежденность решающим образом определяли

различные реакции заключенных на совершенно идентичные условия жизни в лагере.

Бруно Беттельхайм приводит очень живой и глубокий анализ этих различий:

Неполитические заключенные из среднего класса составляли в концлагере небольшую группу и были менее всех остальных в состоянии выдержать первое шоковое потрясение. Они буквально не могли понять, что произошло и за что на них свалилось такое испытание. Они еще сильнее цеплялись за все то, что раньше было важно для их самоуважения. Когда над ними издевались, о ни рассыпались в заверениях, что никогда не были противниками национал-социализма. Они не могли понять, за что их преследовали, коль скоро они всегда были законопослушными. Даже после несправедливого ареста они разве что в мыслях могли возразить своим угнетателям. Они подавали прошения, ползали на животе перед эсэсовцами. Поскольку они были действительно чисты перед законом, они принимали все слова и действия СС как совершенно законные и возражали только против того, что они сами стали жертвами; а преследования других они считали вполне справедливыми. И все это они пытались объяснить, доказывая, что произошла ошибка. Эсэсовцы над ними потешались и издевались жестоко, наслаждаясь своим превосходством. Для этой группы в целом всегда большую роль играло признание со стороны окружающих, уважение к их социальному статусу. Поэтому их больше всего убивало, что с ними обращаются, как с «простыми преступниками».

Поведение этих людей показало, насколько неспособно было среднее сословие немцев противопоставить себя национал-социализму. У них не было никаких идейных принципов (ни нравственных, ни политических, ни социальных), чтобы оказать хотя бы внутреннее сопротивление этой машине. И у них оказался совсем маленький запас прочности, чтобы пережить внезапный шок от ареста. Их самосознание покоилось на уверенности в своем социальном статусе, на престижности профессии, надежности семьи и некоторых других факторах...

Почти все эти люди после ареста утратили валеные для своего класса ценности и типичные черты, например самоуважение, понимание того, что «прилично», а что нет, и т. д. Они вдруг стали совершенно беспомощными – и тогда вылезли наружу все отрицательные черты, характерные для этого класса: мелочность, склочность, самовлюбленность. Многие из них страдали от депрессии и отсутствия отдыха и без конца хныкали. Другие превратились в жуликов и обкрадывали своих товарищей по камере (обмануть эсэсовца было делом почетным, а вот обокрасть своего считалось позором). Казалось, они утратили способность жить по своему собственному образу и подобию, а старались ориентироваться на заключенных из других групп. Некоторые стали подражать уголовникам. Очень немногие взяли себе в пример политических заключенных, которые, как правило, вели себя наиболее пристойно, хотя и не во всем были бесспорно правы. Некоторые попытались приспособиться к заключенным из высшего сословия. Но больше всего было тех, кто рабски подчинился власти СС, даже не гнушаясь порой такими поручениями, как доносительство и слежка, что обычно было делом уголовников. Но и это не помогло им, ибо гестапо хоть и вынуждало людей к предательству, но предателей в то же время презирало.

Беттельхайм дает здесь очень тонкий анализ чувства собственного достоинства типичных представителей среднего класса и их потребности в идентификации: их самосознание питалось престижностью их социального положения, а также правом отдавать приказы. Когда же эти опоры у них были отняты, они сразу утратили весь свой моральный дух (как воздух, выпущенный из воздушного шарика). Беттельхайм показывает, почему эти люди были так деморализованы и почему многие из них стали покорными рабами и даже шпионами на службе у СС. Но необходимо назвать еще одну важную причину такого превращения: эти неполитические заключенные не могли уловить, полностью понять и оценить ситуацию; они не могли понять, за что они оказались в концентрационном лагере, они не были преступниками, а в правоверном сознании умещается лишь одна мысль: только «преступники» заслуживают наказания. И это непонимание ситуации приводило их в полное смятение и как следствие – к душевному надлому.

Политические и религиозные заключенные реагировали на те же самые условия совершенно иначе.

Для политических, которые подвергались преследованиям СС, арест не был громом среди ясного неба, они были к нему психологически готовы. Они проклинали свою судьбу, но при этом принимали ее как нечто соответствующее самому ходу вещей. Они, естественно, были озабочены тем, что их ждет, и, конечно, судьбой своих близких, однако они, без сомнения, не чувствовали себя униженными, хотя, как и другие, страдали от ужасных условий лагеря.

Свидетели Иеговы все оказались в концлагере за отказ служить в армии. Они держались едва ли не еще более стойко, чем политические. Благодаря сильным религиозным убеждениям, они не утратили своей личности, поскольку единственная их вина в глазах СС состояла в нежелании служить с оружием в руках, им часто предлагали свободу, если они все-таки согласятся служить вопреки своим убеждениям, но они стойко отвергали такие предложения.

Иеговисты, как правило, были людьми достаточно ограниченными и стремились только к одному – обратить других в свою веру. В остальном же они были хорошими товарищами, надежными, воспитанными и всегда готовыми прийти на помощь. Они почти не вступали в споры и ссоры, были примерными работниками, и потому из них нередко выбирали надзирателей, и тогда они добросовестно подгоняли заключенных и настаивали, чтобы те выполняли работу качественно и в срок. Они никогда не оскорбляли других заключенных, всегда были вежливы, и все равно эсэсовцы предпочитали их в качестве старших за трудолюбие, ловкость и сдержанность.

Хотя Беттельхайм дает очень краткое, схематичное описание личных качеств политзаключенных^[62], из него все равно видно, что заключенные с твердыми убеждениями совершенно иначе реагировали на условия существования в концлагере, чем те, у кого таких убеждений не было. Этот факт находится в противоречии с бихевиористским тезисом, который Хейни, Бэнкс и Цимбардо пытались доказать своим экспериментом.

Естественно, возникает вопрос: какой смысл в подобных «искусственных» экспериментах, когда есть столько материала для «естественных» экспериментов? Этот вопрос звучит еще более остро не только потому, что такие эксперименты страдают неточностью, но еще и потому, что экспериментальная ситуация всегда имеет тенденцию к искажению «реальной жизни».

Но что мы подразумеваем под «реальной жизнью»? Быть может, будет лучше, если я приведу какие-то примеры, вместо того чтобы давать формальное определение и уводить наш разговор в философское и эпистемологическое русло.

Во время маневров объявляют, что имеется определенное число «убитых» солдат и несколько «подбитых» орудий. Это соответствует правилам игры, но для солдат как личностей и для орудий как предметов из этого ничего не следует; «убитый» солдат рад, что он получает некоторую передышку, да и «подбитое» орудие будет продолжать свою службу. Самое страшное, что может грозить проигравшей стороне, – это то, что у генерала могут быть трудности в служебной карьере. Иными словами: то, что яроисходит на учениях, не имеет никаких последствий для реальной жизни большинства участников.

Игра на деньги – другой вариант того же явления. Большинство увлекающихся картами, рулеткой или скачками людей очень четко разделяют «игру» и «жизнь»; они поднимают ставки лишь до того уровня, который не угрожает серьезными последствиями их благосостоянию, т. е. не имеет серьезных последствий.

Зато меньшинство, реальные «игроки», поднимают ставки до уровня, где проигрыш серьезно угрожает их экономическому положению. Но «игрок» «играет» не в прямом смысле; на самом деле он осуществляет на практике одну из реальных и весьма драматических форм жизни.

Данная концепция соотношения «игры» и «реальности» касается такого вида спорта, как фехтование: никто из партнеров не рискует жизнью. Если же ситуация поединка организована таким образом, что кто-то должен погибнуть, то мы говорим уже не о спорте, а о дуэли^[63].

Если бы «испытуемые» в психологическом эксперименте абсолютно ясно представляли себе, что все это только игра, все было бы очень просто. Но во многих экспериментах (включая и эксперимент Мильграма) их обманывают. Что же касается эксперимента с тюрьмой, то все было подстроено так, чтобы испытуемые как можно меньше знали о правилах эксперимента, более того, чтобы они вообще не могли понять, что арест – это всего лишь начало эксперимента. А то, что многие исследователи ради удобства проведения эксперимента вообще работают с совершенно ложными фактами, служит еще одним доказательством их чрезвычайно низкой результативности: участники эксперимента пребывают в полном смятении, что очень сильно снижает критическую способность их суждений^[64].

В «реальной жизни» мы знаем, что наше поведение всегда влечет за собой какие-то последствия. У кого-нибудь может возникнуть фантазия убить человека, но такая фантазия редко приводится в исполнение. У многих подобные фантазии появляются во сне, ибо сон не имеет последствий. Эксперимент, в котором испытуемые не обязательно ощущают жизненную реальность происходящего, скорее может вызвать реакции, которые обнаруживают бессознательные тенденции, но вовсе не является однозначно симптомом того, как поведут себя эти люди в действительной жизни^[65]. Есть еще одна немаловажная причина, по которой необходимо точно знать, является ли данное событие реальностью или игрой. Как известно, реальная опасность мобилизует «аварийную энергию» организма – физическую силу, ловкость, выносливость и т. д., причем нередко они достигают такой степени, о которой человек и не подозревает у себя. Но эта аварийная энергия мобилизуется лишь тогда, когда весь организм ощущает реальность опасности на нейрофизиологическом уровне; это не имеет ничего общего с повседневными человеческими страхами, которые не вызывают никаких защитных сил, а только оставляют озабоченность и усталость.

Сходная ситуация возникает, например, когда человеку приходится мобилизовывать все свои моральные силы, совесть и силу воли, – здесь тоже очень большое значение имеет различие между реальностью и фантазией, ибо названные качества вовсе не проявятся, если не будет уверенности, что все происходящее очень серьезно и имеет место на самом деле.

Кроме всего сказанного, в лабораторном эксперименте вызывает сомнение роль руководителя. Он руководит фиктивной реальностью, которую сам сконструировал, и теперь осуществляет свою власть над ней. В известном смысле он сам является для испытуемого представителем реальности; уже поэтому он действует на испытуемых точно так же, как гипнотизер на своих клиентов. Ведь руководитель до известной степени освобождает испытуемых от собственной воли и от ответственности и тем самым гораздо быстрее формирует их готовность подчиняться ему, чем это имело бы место в любой другой негипнотической ситуации.

И, наконец, последнее. Разница между мнимым заключенным и настоящим настолько велика, что, по сути дела, невозможно провести мало-мальски приемлемую аналогию и делать серьезные выводы на основе эксперимента. Для заключенного, который попал в тюрьму за определенное деяние, ситуация в высшей степени реальна. Он знает, за что арестован (вопрос о справедливости или несправедливости наказания – это уже другая проблема), знает свою беспомощность и знает тот минимум прав, которыми может воспользоваться, знает свои шансы на досрочное освобождение. И ни у кого не вызывает

63

64

65

сомнения, что очень значимым фактором для заключенного является срок: идет ли речь всего о двух неделях пребывания в тюрьме (даже в самых ужасных условиях) или же о двух месяцах, двух годах или двадцати годах лишения свободы. Этот фактор решающий, именно он вызывает состояние безнадежности и полной деморализации, он же (в исключительных случаях) может привести к мобилизации новой энергии – для реализации плохих или хороших целей. Кроме того, заключенный – это ведь, в конце концов, не только «заключенный». У каждого своя индивидуальность, и реагирует он в соответствии со своей индивидуальной структурой характера. Это, правда, не означает вовсе, что все его реакции исключительно функция одной лишь личности и не имеют никакого отношения к реальным внешним условиям. Было бы наивно пытаться решить данную альтернативу по типу или-или. Самое сложное в этой проблеме заключается в том, чтобы выяснить (у каждого отдельного индивида и у каждой группы), в чем состоит специфика взаимодействия между структурой конкретной личности и структурой конкретного общества. Только здесь начинается настоящее научное исследование; и гипотеза, будто единственным фактором, объясняющим человеческое поведение, служит ситуация, является для такого исследования серьезной помехой.

Теория фрустрационной агрессивности

Существует еще немало бихевиористски ориентированных исследований проблемы агрессивности^[66], но единственной общей теорией агрессии и насилия является теория фрустрации Джона Долларда и других, претендующая на объяснение причины любой агрессии. Точнее говоря, эта теория утверждает следующее: «Возникновение агрессивного поведения всегда обусловлено наличием фрустрации, и наоборот – наличие фрустрации всегда влечет за собой какую-нибудь форму агрессивности».

Спустя два года один из авторов этой теории, Н. Э. Миллер, высказал вторую половину гипотезы, сделав допущение, что фрустрация может вызывать множество различных реакций и что агрессивность есть лишь одна из них.

Как утверждает Басе, эта теория была признана за малым исключением почти всеми психологами. Сам Басе подводит критический итог: «К сожалению, исключительное внимание к фрустрации привело к тому, что целый большой класс antecedentий (вредных раздражителей) был выброшен за борт вместе с концепцией агрессии как инструментальной реакции. На самом деле фрустрация – это лишь одна из многих antecedentий агрессивности, и притом не самая сильная».

К сожалению, невозможно более подробно обсудить фрустрационную теорию агрессии в рамках этой книги из-за огромного объема справочной литературы^[67]. Поэтому я ограничусь рассмотрением лишь нескольких важнейших положений.

Первоначальная простая формулировка этой теории сильно пострадала от многочисленных толкований понятия «фрустрация». Главными остаются два значения: 1) прекращение начатой целенаправленной деятельности (пример с мальчиком, которого вошедшая в комнату мать застала в тот момент, когда он залез в коробку с печеньем; или пример с прерванным сексуальным актом); 2) фрустрация как отрицание желания, вожделения, страсти, «отказ» в терминах Басса (пример с мальчиком, который просит у матери печенье, а она ему отказывает; или с мужчиной, который делает женщине предложение, и она его отвергает).

Многозначность толкований понятия фрустрации связана, во-первых, с тем, что Доллард и другие недостаточно четко и точно сформулировали свои идеи. Вторая причина, вероятно, заключается в том, что в обыденном языке слово «фрустрация» употребляется чаще всего во втором значении, к которому можно было бы добавить еще и

психоаналитическое толкование (например, потребность ребенка в любви оказывается «фрустрирована» его матерью).

Каждому из значений понятия «фрустрация» соответствуют две совершенно различные теории. Фрустрация в первом смысле, видимо, встречается довольно редко, ибо для нее необходима такая ситуация, когда преднамеренная деятельность уже началась. В любом случае серьезного подтверждения или опровержения этой теории можно ожидать только от новых научных данных нейрофизиологии.

Что касается другой теории, опирающейся на второе значение слова «фрустрация», то складывается впечатление, что она не выдерживает проверки эмпирическими фактами. Вспомним хотя бы простейший жизненный факт: ни одно важное дело в жизни не достигается без фрустрации. Как ни симпатична идея о возможности обучения чему-либо без всяких усилий, без труда (т. е. без фрустрации), но она явно недостижима, особенно если речь идет о получении высокой квалификации. И если бы человек не обнаружил способности справляться с фрустрациями, то он бы, вероятно, вообще не смог совершенствоваться. А разве опыт жизни не показывает нам, что люди ежедневно страдают, получая отказы, но при этом вовсе не проявляют агрессивных реакций? Люди, простаивающие в очереди ради получения билета в театр, верующие во время поста, люди на войне, вынужденные мириться с отсутствием качественной пищи, – эти и сотни подобных случаев фрустрации не ведут к росту агрессивности. На самом деле важнейшую роль играет психологическая *значимость* фрустрации для конкретного индивида, которая в зависимости от общей обстановки может быть различной.

Если, например, ребенку запрещают есть конфеты, то такая фрустрация может и не вызвать никаких агрессивных реакций, если родители любят ребенка. Если же этот запрет является одним из проявлений родительского волюнтаризма или если младшей сестренке в его присутствии дали печенье, а ему – нет, то такая ситуация может привести к настоящему взрыву гнева. Таким образом, агрессивность вызывается не фрустрацией, как таковой, а ситуацией, в которой присутствует элемент несправедливости.

Важнейшим фактором для прогнозирования последствий фрустрации и их интенсивности является *характер* индивида. Например, обжора будет негодовать, если не получит вдоволь еды, жадный становится агрессивным, если ему не удастся выторговать что-то и купить по дешевке. Нарциссическая личность испытывает фрустрацию, если не получает ожидаемых похвал, признания и восхищения. Итак, от характера человека зависит, во-первых, *что* вызывает в нем фрустрацию и, во-вторых, насколько *интенсивно* он будет реагировать на фрустрацию.

Поэтому, какова бы ни была ценность бихевиористских исследований проблемы агрессивности, им все же не удалось сформулировать общую гипотезу о причинах особо острой агрессивности, ведущей к насилию. Мегарже в конце своего блистательного обзора психологической литературы пишет: "Лишь считанные исследователи попытались перепроверить существующие теории насилия. Эмпирические исследования частных проблем в общем и целом *не служили делу проверки теорий*. А серьезные теоретики чаще всего изучали сравнительно мягкие формы агрессивного поведения или же брали за объект исследования инфраструктуры, а не человека" (Курсив мой. – Э. Ф.).

Принимая во внимание талант этих исследователей, огромное количество материалов, которые были в их распоряжении, а также многочисленных помощников-студентов, результаты можно оценить как весьма умеренные, что дает основание считать, что бихевиористская психология непригодна для создания систематической теории источников агрессивности и насилия.

III. БИХЕВИОРИЗМ И ИНСТИНКТИВИЗМ: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ [68]

Черты сходства

Согласно представлениям инстинктивистов, человек живет прошлым своего рода, бихевиористы же полагают, что человек живет сегодняшним днем своего общества. Первый – это машина, в которую заложены только унаследованные модели прошлого, последний – машина» способная воспроизводить только социальные модели современности. Обе теоретические ориентации опираются на одну общую предпосылку: человек не имеет души с ее особой структурой и специфическими законами.

Для всех теорий в духе Лоренца характерен подход, который наиболее радикально сформулировал ученик Лоренца – Пауль Лайхаузен. Он критикует всех психологов-"гуманистов" (Human-psychologen), утверждающих, что все психическое можно объяснить только с помощью психологии, т. е. на базе собственно психологических предпосылок. Вот что им возражает Лайхаузен: «Где мы определенно не находим объяснения психических явлений и состояний, так это в психическом, как таковом. И по той же причине, по которой невозможно объяснить пищеварение, исходя лишь из самого процесса пищеварения, а необходимо привлечение огромного материала об экологических условиях существования огромного числа организмов и тысячелетнем естественном отборе, который привел к усвоению не только неорганических, но и органических продуктов питания. И психические процессы так же точно возникли в результате естественного внутривидового отбора, и потому объяснить их можно, только исходя из предшествующих явлений». Проще говоря, Лайхаузен считает, что психологические факты можно объяснить исключительно на основе эволюционного процесса. И при этом важно уяснить, что следует понимать под словом «объяснить». Если, например, мы хотим узнать, как смог развиваться аффект страха в ходе развития мозга от низших существ к высшим, то это дело тех ученых, которые занимаются эволюцией мозга. А если мы хотим узнать, почему человек боится, то данные эволюции в этом случае мало чем помогут, потому что здесь объяснению может помочь в первую очередь психология. Или человеку угрожает более сильный противник, или он пытается справиться со своей собственной внутренней агрессивностью, или он страдает от чувства беспомощности, или страх есть симптом паранойи^[69], иными словами, только на базе изучения множества аналогичных психологических факторов можно объяснить синдром страха. А пытаться объяснять аффект страха какого-либо конкретного человека процессом эволюции – это с самого начала бессмысленная идея.

Лайхаузен делает ставку на теорию эволюции: по его мнению, мы можем объяснить все психические процессы лишь благодаря тому, что изучим происхождение человека и то, как он стал тем, что он есть. Правда, он и по поводу процессов пищеварения считает, что их можно объяснить, зная условия их развития миллионы лет тому назад. Как же помочь больному, страдающему желудочным заболеванием, если врач будет озабочен эволюцией пищеварения, а не конкретными симптомами у конкретного пациента? По-моему, даже Лоренц не был таким ярым, крайне односторонним поборником бескомпромиссного дарвинизма, хотя и опирался в своей теории на его предпосылки^[70].

Несмотря на все различия, и бихевиоризм и инстинктивизм имеют одну важную общую черту: и тот и другой упускают из поля зрения личность, самого действующего человека. Является ли человек продуктом эволюции животных предков или результатом воспитания, он в обоих случаях определяется исключительно внешними условиями; он не принимает участия в своей жизни, не несет никакой ответственности и не имеет ни капли свободы. Человек – это марионетка, которой управляют либо инстинкты, либо воспитатели.

Новые подходы

Несмотря на ряд общих моментов в оценке человека, а также общую философскую ориентацию, инстинктивизм и бихевиоризм фанатично сражаются друг с другом, отстаивая свои позиции. Каждая из сторон собирает под свои знамена сторонников и выдвигает лозунги типа «Природа ИЛИ воспитание», «Инстинкт ИЛИ среда».

В последние годы стала заметной тенденция к преодолению острого конфликта между этими направлениями. В качестве одного из путей примирения противоречий было предложено изменить терминологию. Кое-кто надумал термин «инстинкт» закрепить за животным миром, а при характеристике человеческой мотивации говорить о «естественных влечениях». Так возникли следующие формулировки: "Поведение человека *большой частью* определяется обучением, в то время как поведение птицы *большой частью* не подлежит научению". Подобная неуклюжая формулировка ярко характеризует новую тенденцию отхода от метафизического «или—или» в сторону осторожной формулы «более или менее». Представители этого направления надеются таким образом постепенно подвести дело к смене акцентов на тех или иных факторах. Моделью для подобных рассуждений является идеальный континуум, на одном конце которого находятся факторы (почти) исключительно врожденного происхождения, в то время как на другом – факторы (почти) полностью приобретенные.

Так, один из известных противников инстинктивизма, Ф. А. Бич, пишет:

Идея, будто любое поведение должно определяться либо наследственностью, либо обучением, совершенно неправомерна. Конкретная реакция есть результат взаимодействия огромного числа переменных, из которых только две детерминированы генами или воспитанием. И психологи обязаны анализировать все эти факторы без исключения. А когда они правильно поймут свою задачу, не будет необходимости вести дискуссии по поводу туманных концепций инстинктивного поведения.

Во многом сходные идеи можно найти и у таких авторов, как Майер и Шнайрла, которые пишут:

Поскольку в поведении высокоразвитых живых существ обучение играет значительно более важную роль, чем в поведении низших форм жизни, врожденные модели поведения у высших существенно модифицируются опытом, чего у низших форм почти не наблюдается. Благодаря такой модификации животное может приспособиться к новым обстоятельствам. Поэтому выживание высших животных в меньшей степени зависит от внешних условий.

Однако взаимодействие и взаимовлияние врожденных и приобретенных факторов дает такое многообразие моделей поведения, которое очень сильно затрудняет их классификацию и требует изучения каждого типа поведения отдельно от других.

В книге этих авторов представлены взгляды, сглаживающие противоречия между лагерем «инстинктивистов» и сторонниками теории «обучения». Главная проблема, с их точки зрения, заключается в том, что принято разграничивать «органические» и «неорганические» влечения. Первые – голод, борьба, бегство, сексуальность – обеспечивают выживание индивида и вида. А вторые, «неорганические» влечения (страсти, обусловленные характером)^[71], не заложены в филогенетическую программу и у всех людей проявляются по-разному: как стремление к свободе и любви, как деструктивность, нарциссизм, садизм или мазохизм.

Эти «неорганические» влечения, которые являются второй натурой человека, нередко путают с органическими влечениями. В первую очередь это касается секса. Практика психоанализа показала, что интенсивность переживания, которое сам субъект считает сексуальным желанием, часто имеет в основе своей совершенно иные несексуальные страсти, как, например, нарциссизм, садизм, мазохизм, властолюбие и даже страх, одиночество и скуку.

Например, мужчина-нарцисс может испытать сексуальное волнение при виде женщины лишь потому, что ему представилась возможность доказать свою собственную привлекательность, а садиста может взволновать самый шанс завоевать женщину (или мужчину) и подчинить себе. Многие люди на долгие годы оказывались эмоционально привязанными друг к другу под влиянием такой мотивации, особенно в тех случаях, когда садизм одного партнера соответствует мазохизму другого. Известно, что слава, власть и богатство делают их обладателя сексуально привлекательной фигурой при минимальных физических предпосылках. Во всех этих случаях физическое желание тела мобилизуется за счет совершенно иных, несексуальных, стремлений. Вот и посудите сами, сколько детей появилось на свет благодаря тщеславию, садизму и мазохизму, а вовсе не в результате подлинного физического притяжения, не говоря уж о любви... Однако люди (особенно мужчины) предпочитают даже скорее признать свою чрезмерную «сексуальную возбудимость», чем «чрезмерное тщеславие»^[72].

Подобный феномен многократно наблюдался при изучении обжорства. Этот симптом вызван не «физиологическим», а «психическим» голодом, причиной которого может быть чувство депрессии, страха, «пустоты» и т. д.

Мой тезис (который я хочу доказать в последующих главах) звучит так: деструктивность и жестокость – это не инстинктивные влечения, а страсти, которые корнями уходят в целостную структуру человеческого бытия. Они относятся к разряду тех возможностей, которые придают жизни смысл; их нет и не может быть у животного, ибо они по природе своей коренятся в «человеческой сущности». Главное заблуждение Лоренца и других исследователей инстинктов состоит в том, что они перепутали два вида влечений – те, которые обусловлены инстинктами, и те, которые определяются характером. Садист, словно ожидающий момента, чтобы совершить злодеяние и «разрядить» свой садизм, на первый взгляд очень напоминает «гидравлическую» модель накопившейся инстинктивной энергии». Но на самом деле это разные вещи. Только люди с садистским характером ожидают возможности проявить себя в этом качестве, так же как люди с любвеобильным характером ищут возможность выразить свою любовь.

О политической и социальной подоплеке обеих теорий

Попробуем поточнее разобраться в социальных и политических предпосылках разногласий между представителями теории воспитания и сторонниками теории влечений. Теория воспитания отмечена духом французской буржуазной революции XVIII в. Феодализм опирался на предположение, что его общественный порядок и есть естественный порядок. Буржуазия, желая свергнуть этот «естественный» порядок, взяла на вооружение теорию, согласно которой человеческий статус определяется не какими-то врожденными или естественными факторами, а полностью зависит от обстоятельств общественной жизни. Революция как раз и ставила цель изменения и улучшения социальных обстоятельств. Все недостатки и глупости объяснялись теперь не человеческой природой, а дурными условиями жизни общества. Так появилась возможность для неограниченного оптимизма в отношении человеческого будущего.

В то время как теория воспитания тесно связана с революционными надеждами восходящей буржуазии XVIII в., основанное на дарвинизме учение об инстинктах отражает мировоззрение капитализма XIX в. Капиталистическая система идет к гармонии через жесточайшую конкурентную борьбу всех против всех. Для утверждения капитализма в качестве нового естественного строя очень важно было доказать, что и человек – самый удивительный и самый сложный феномен природы – является результатом конкурентной борьбы «всех против всех» – всех живых существ, всех биологических видов с самого начала существования жизни. Тогда развитие жизни от одноклеточного организма до человека

можно было объявить величайшим примером свободного предпринимательства, когда в конкурентной борьбе побеждают сильнейшие и вымирают те, кто неспособен идти в ногу с развивающейся экономической системой^[73].

В 20-е гг. XX в. против теории инстинктов выступила целая группа ученых (К. Данлап, Цинг Янг Куо, Л. Бернارد и др.). Это была настоящая революция, и успех ее объяснялся прежде всего изменившимся характером самого капитализма. Дело в том, что развитие капитализма в XIX в. шло под знаком ожесточенной борьбы между предпринимателями, которая разоряла слабых и менее способных. В XX в. для капитализма стала более характерна не столько конкуренция, сколько кооперация крупных концернов. И тогда отпала необходимость доказывать, что непримиримая конкурентная борьба соответствует естественному закону природы. Кроме того, XX в. отличается от XIX в. методами господства. В прошлом веке власть базировалась в целом на патриархальных принципах подчинения авторитету Бога и короля. В эпоху кибернетики капитализм, благодаря гигантской концентрации предприятий, а также оказавшись способным дать рабочим хлеб и зрелища, получает совершенно новые возможности контроля: в арсенал средств контроля входят психологическое манипулирование человеком, а также методы человеческой инженерии. Сегодня капиталистическому производству гораздо нужнее человек гибкий, внушаемый и легко обучаемый, нежели тот, кто задавлен страхом перед авторитетом. И наконец, третье отличие: современное индустриальное общество имеет совершенно иные представления о целях. Идеалом XIX в. (для буржуа, по крайней мере) была независимость и частная инициатива, возможность быть «хозяином самому себе». Сегодня, напротив, достойной целью считается неограниченное потребление и неограниченное господство над природой. Человечество одержимо идеей овладеть природой настолько, чтобы в один прекрасный день человек почувствовал себя Богом: зачем же в самой человеческой натуре должно сохраниться нечто недоступное для контроля и манипулирования?

Таким образом, понятно, что бихевиоризм стал выражением духа индустриализма XX в. Но чем тогда объяснить возрождение инстинктивистских идей и огромную популярность книг Конрада Лоренца? Я думаю, одной из причин этого стало чувство безнадежности и страха, поселившееся в сердцах миллионов людей перед лицом все возрастающей опасности мировой катастрофы. Многие из тех, кто разуверились в идее прогресса и в том, что можно что-то изменить в человеческой судьбе, сегодня ищут причины своих разочарований. Однако вместо того, чтобы тщательно изучать социальные процессы, они пытаются во всем обвинить человека, неизменную человеческую природу. Ну и самая последняя причина возникновения неоинстинктивизма связана с личными и политическими взглядами конкретных авторов.

Некоторые из них сами не вполне осознали философские и политические последствия своих теорий. Комментаторы их теорий также не придали значения этой связи. Но есть и исключения. Например, Н. Пасторе провел сравнительный анализ общественно-политических воззрений двадцати четырех психологов. Одиннадцать из двенадцати «либералов» или радикалов оказались сторонниками теории среды и один – сторонником учения о наследственности; зато из двенадцати «консерваторов» одиннадцать представляли теорию наследственности и только один – теорию среды. Даже если сделать скидку на малочисленность выборки, все равно результаты довольно впечатляющие.

Другие авторы руководствуются эмоциональными факторами – так, по крайней мере, считают их противники. Пример такого одностороннего подхода мы находим у одного из известнейших представителей ортодоксального психоанализа – Р. Вэльдера.

Известны две полярные позиции, критикующие друг друга: праведные марксисты и западные либералы. Но в одном их мнения совпадают: и те и другие страстно убеждены, что человек от природы «добр» и что все зло и беды в человеческих отношениях происходят по причине дурных обстоятельств: для марксистов главное зло в частной собственности,

сторонники умеренной версии объявляют причиной так называемую «невротическую культуру»...

Однако ни эволюционисты, ни революционеры, убежденные в природной доброте человека, не могут отрицать, что теория деструктивности (и влечения к смерти) приводит их в смятение. Ибо если эта теория верна, то возможность страданий и конфликтов исконно заложена в человеческое бытие и уничтожить или облегчить страдания оказывается гораздо сложнее, чем это предполагали социальные революционеры.

Критические замечания Вэльдера, как видим, касаются только противников теории инстинктов.

IV. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ АГРЕССИВНОСТИ

Устраняет ли психоаналитическое учение недостатки бихевиоризма и инстинктивизма? На первый взгляд – нет. Даже более того, кажется, будто психоанализ сам обременен недостатками обоих направлений, ибо в своих теоретических построениях он опирается на учение об инстинктах^[74], а в своей терапевтической практике учитывает воздействие внешнего мира на пациента.

Мне нет нужды излагать здесь взгляды З. Фрейда^[75], ибо всем известно, что фрейдизм в объяснении человеческого поведения исходит из противостояния двух фундаментальных страстей – инстинкта самосохранения и сексуальности (позже он назовет эту антиномию влечением к жизни и влечением к смерти). Что его теория одновременно уделяет серьезное внимание проблеме социального окружения – это тоже очевидно: ведь все знают, что в лечебной практике психоанализ всегда пытался объяснить развитие личности специфическими условиями жизни ребенка в раннем детстве, т. е. воздействием на него семейного окружения.

Характерно, что на практике пациенты, а нередко и сами психотерапевты лишь на словах признают роль сексуальных влечений, на деле же полностью находятся на позициях теории воспитания. Ведь аксиома фрейдизма гласит: все отрицательное в развитии пациента является результатом вредных воздействий на него в раннем детстве. И потому сплошь и рядом родители занимаются напрасным самобичеванием, полагая, что каждая нежелательная черта в характере ребенка, обнаруженная после его рождения, обусловлена тем или иным родительским влиянием. Сами же пациенты во время анализа проявляют склонность снимать с себя всякую ответственность за свое поведение и во всем винить родителей.

В свете этих фактов психологи, быть может, правы, зачисляя психоанализ как теорию в разряд учений об инстинктах, и тогда их аргументы против Лоренца *eo ipso*^[76] есть аргументы против психоанализа. Но здесь следует соблюдать осторожность. И прежде всего ответить на вопрос: что собой представляет психоанализ? Что это, полная совокупность всех теорий Фрейда или же творчество Фрейда (как и любого пионера науки) многослойно и в нем надо уметь, с одной стороны, видеть главные продуктивные идеи (сохранившие свое значение и по сей день), а с другой стороны, различать вспомогательные, второстепенные элементы его системы, которые заняли в ней место лишь как дань своей эпохе? Если проводить такое деление, то следует спросить, составляет ли теория либидо ядро фрейдовского творчества, или она только форма, в которую он облачил свои новые воззрения, ввиду того что не мог иначе сформулировать свою концепцию в рамках традиционной научно-философской мысли.

Сам Фрейд никогда не претендовал на научную доказательность теории либидо. Он обозначил ее словами «наша мифология» и позднее заменил теорией Эроса и «влечением» к

74

75

76

смерти. Большое значение имеет также тот факт, что основополагающими категориями психоанализа Фрейд считал вытеснение и сублимацию, а вовсе не либидо.

Но еще важнее для нас не высказывания Фрейда, а то, в чем мы видим сегодня уникальное историческое значение его открытий, – и это, конечно, не его учение об инстинктах, как таковое. Действительно, начиная с XIX в. это учение получило довольно широкое распространение. Когда он назвал сексуальное влечение (наряду с инстинктом самосохранения) источником всех страстей, это звучало неожиданно и революционно, ибо то была все еще эпоха господства викторианской буржуазной морали. Но дело даже не в этой новой концепции влечений, не она произвела такое неизгладимое впечатление на современников и потомков. По-моему, подлинно историческое значение сделанного Фрейдом состоит в открытии бессознательного, и притом не на философском или спекулятивном уровне, а на уровне эмпирического исследования – так, как он изложил это в отдельных лекциях и особенно в своем фундаментальном труде «Толкование сновидений». Так, например, если вы желаете показать, что некий, на сознательном уровне миролюбивый и совестливый человек одержим тайным желанием убивать, то вопрос об истоках этого импульса – явно не первостепенный. Вряд ли так уж важно выяснять – лежит ли в его основе «Эдипов комплекс»^[77] ненависти к отцу, или нарциссизм, или это проявление инстинкта смерти. Революция Фрейда состояла в том, что он помог нам обнаружить бессознательный аспект человеческого мышления и ту энергию, которая необходима человеку для того, чтобы не допустить осознания нежелательных влечений. Он показал, что добрые намерения не имеют никакого значения, если они прикрывают неосознанные желания. Он разоблачил «честную» бесчестность, показав, что недостаточно иметь «благие порывы» и действовать «из добрых побуждений» на сознательном уровне. Он был первый ученый, который проник в преисподнюю человеческой души, и потому его идеи имели такой колоссальный успех у художников и писателей тогда, когда психиатры еще не принимали его всерьез.

Но это еще не все, Фрейд пошел дальше. Он не только показал, что в человеке действуют силы, которых он не сознает, и путем рационализации защищает себя от их осознания; он объяснил, что эти неосознанные силы интегрируются в единую систему по имени «характер» (в новом, фрейдовском динамическом^[78] смысле этого слова^[79]). Фрейд начал развивать свою концепцию еще в первой работе об «анальном характере»^[80]. Он заметил, что такие черты, как самолюбие, пунктуальность и бережливость, соединенные в одной личности, часто выступают как характерологический синдром. В добавление к этому синдрому были подмечены такие моменты, которые связаны с формированием у ребенка понятия личной гигиены (воздержание при позывах к освобождению прямой кишки и т. д.). Так впервые Фрейд сделал шаг к установлению связи между типом поведения вообще и поведением ребенка при необходимости освободить желудок (или его реакцией на осознание этого). Следующий блистательный шаг состоял в том, что он сопоставил обе группы моделей поведения и теоретически обосновал их взаимосвязь, опираясь на более раннюю свою гипотезу о развитии либидо.

Согласно этой гипотезе, ребенок в раннем детстве проходит через различные фазы своего развития, когда сначала главным органом удовлетворения желаний является рот, а затем анус, который становится важной эрогенной зоной^[81], и большинство либидозных желаний связано с процессом воздержания или освобождения от экскрементов. И Фрейд сделал вывод, что способ поведения можно квалифицировать либо как синдром сублимации сексуального удовлетворения анального желания, либо как отрицательную реакцию на невозможность такого удовлетворения.

77

78

79

80

81

Согласно этой гипотезе, ребенок в раннем детстве проходит через различные фазы своего развития, когда сначала главным органом удовлетворения желаний является рот, а затем анус, который становится важной эрогенной зоной, и большинство либидозных желаний связано с процессом воздержания или освобождения от экскрементов. И Фрейд сделал вывод, что способ поведения можно квалифицировать либо как синдром сублимации сексуального удовлетворения анального желания, либо как отрицательную реакцию на невозможность такого удовлетворения.

Тогда самолюбие и бережливость можно рассматривать как сублимацию первоначального желания «удержать стул»; а чрезмерную аккуратность считать отрицательной установкой на детское «недержание». Фрейд показал, что эти три первоначальных признака, которые раньше считались совершенно независимыми, являются частями единой системы (или единой структуры), ибо все они уходят корнями в анальную сексуальность, а либидо находит выражение в данных чертах характера (преимущественно в форме психологической установки или же в виде сублимации). Так Фрейд объяснил, почему перечисленные черты личности имеют такой мощный заряд, что почти не поддаются трансформации извне^[82].

Одним из важнейших элементов теории стало понятие «орально-садистского»^[83] типа личности, который я обозначаю как эксплуататорскую личность. Есть и другие обозначения личностных типов, соответствующие тому, какой из аспектов стараются подчеркнуть: например, авторитарный^[84] (садо-мазохистский), бунтарский и революционный, нарциссический и инцестуозный. Последние названия большей частью не относятся к классической психоаналитической терминологии, эти характеристики очень близки друг к другу, нередко перекрещиваются, а их комбинации позволяют создавать более подробный психологический портрет конкретной личности.

Теоретическая концепция структуры личности у Фрейда была построена на основе того, что либидо (в оральной, анальной или генитальной форме) является источником, питающим энергией различные черты личности. Но даже если отвлечься от теории либидо, открытие Фрейда не утрачивает своего значения для практики клинических наблюдений; и факт остается фактом, что характерологические синдромы питаются из одного и того же источника энергии.

Я попытался показать, что синдром характера коренится в определенных формах ориентации индивида, демонстрирующих его отношение к внешнему миру и к себе самому, и является главным источником, питающим личность. Далее, я пытался показать, что социальный тип личности формируется под влиянием одинаковых социально-экономических условий жизни всех членов группы^[85].

Понятие характера играет чрезвычайно большую роль в нашей теории, поскольку оно устраняет прежнее противопоставление между внешним миром и влечением. Сексуальное влечение в системе Фрейда занимает важное место как фактор формирования личности, но при этом воздействие данного фактора осуществляется большей частью через призму внешнего мира. Так возникло предположение, что личность является продуктом взаимодействия влечений и внешнего мира. Это стало возможно потому, что Фрейд все влечения привел в систему и подчинил одному (сексуальному, наряду с инстинктом самосохранения). Прежде исследователи инстинктов имели обыкновение жестко разграничивать мотивы поведения, приписывая каждому из них какой-нибудь врожденный инстинкт. Фрейд же все различия между мотивами объяснял, исходя из влияния внешнего мира на сексуальную сферу человека. Парадокс состоял в том, что как раз расширение понятия сексуальности дало Фрейду возможность распахнуть двери для такого фактора

82

83

84

85

формирования личности, как внешний мир (что было совершенно невозможно в дофрейдовских теориях влечений и инстинктов). Отныне любовь, нежность, садизм, мазохизм, тщеславие, зависть, страх, ревность и многие другие страсти больше не закреплялись каждая за своим единственным врожденным инстинктом, а все рассматривались под углом зрения воздействия окружающей среды на сексуальную сферу (особенно со стороны значимых фигур раннего детства). Сам Фрейд считал, что он никогда не менял своего мировоззрения, но на самом деле он перерос инстинктивистский уровень мышления, что проявилось в его гипотезе о супервлекании. И все же развитию его идей очень сильно мешали ограничения, связанные с теорией сексуальности, и тогда настало время окончательно освободиться от этого груза с помощью теории влечений. Однако здесь я хочу особо обратить внимание на тот факт, что Фрейдово «учение о страстях» резко отличается от традиционных исследований этой проблемы.

До сих пор мы говорили о том, что «характер определяет поведение», что та или иная черта характера (например, любвеобильность или деструктивность) заставляет человека вести себя так, а не иначе, и что человек чувствует удовлетворение, когда ведет себя в соответствии с характерной чертой своей натуры. Даже более того, мы можем по одной какой-то черте характера предсказать наиболее вероятное поведение человека: точнее, мы можем сказать, как он *захочет* себя повести, если ему *представится возможность*.

Что означает это ограничение: «если представится возможность»? Здесь нам приходится вернуться к одному из самых существенных понятий Фрейда, каким является «принцип реальности»^[86], который опирается на инстинкт самосохранения (в противовес «принципу удовольствия», который связан с инстинктом сексуальности). Все черты характера имеют свои корни либо в сексуальных, либо в несексуальных аффектах, но, независимо от того, какие страсти преобладают у конкретного индивида, всегда существует противоречие между тем, что мы хотели бы делать, и тем, что нам положено делать (даже если это ограничение проистекает из наших собственных интересов). Мы не можем всегда поступать так, как нам диктуют наши страсти, ибо вынуждены, чтобы сохранить себе жизнь, до известной степени модифицировать свое поведение. Обычный человек всегда идет на компромисс между тем, как он хотел бы поступить «от души» (в соответствии со своим характером), и тем, как он вынужден себя вести, чтобы его поведение по меньшей мере не повлекло за собой отрицательных последствий для него самого. Конечно, есть разные степени приверженности инстинкту самосохранения (эго-интерес). Пример такой крайности представляет поведение фанатичного убийцы, у которого показатель «эго-интереса» равен нулю. А другую крайность составляет тип «приспособленца», для которого «эго-интерес» охватывает все, что может принести ему любовь, богатство или жизненные удобства. Между этими двумя полюсами можно расположить всех людей, которые являются носителями смешанных характеров с разным процентным соотношением страстей.

А вопрос о том, насколько человеку удастся подавлять свои страсти, зависит не только от внутренних факторов, но и от соответствующей жизненной ситуации; когда ситуация меняется, вытесненные желания осознаются и обеспечивают себе реализацию. Это относится, например, к людям с садо-мазохистским характером. Всем знаком этот тип личности, который раболепно подчиняется своему шефу, зато терроризирует жену и детей. Другой случай изменения характера встречается, когда меняется общая социальная ситуация. Так, садистская личность, которая может при желании вести себя как тихий и даже милый человек, в тоталитарном обществе (где террор и садизм получают не осуждение, а одобрение) может превратиться в настоящего дьявола. Другой может подавлять в себе все явные формы садистского поведения, но его характер все равно проявится в мелочах: в позах, мимике, жестах, внешне безобидных словах.

Даже самые честные порывы могут служить вытеснению черт характера. Так, человека, который живет в соответствии с христианскими ценностями, в обществе, как правило,

считают дураком или «невротиком», хотя учение Иисуса Христа составляет часть нашего нравственного сознания. Поэтому многие прибегают к рационализации и мотивируют свою любовь к ближнему эгоистическим интересом.

Эти рассуждения показывают, что черты характера с точки зрения силы мотивации лишь до некоторой степени обусловлены субъективным интересом. Они показывают далее, что человеческое поведение в первую очередь мотивируется характером, но субъективный интерес в различных условиях вносит свои модификации и коррективы. Огромной заслугой Фрейда является то, что он не только обнаружил характерологические черты, лежащие в основе поведения, но открыл пути и средства их изучения: например, при помощи толкования сновидений и свободных ассоциаций^[87], на материале изучения ошибок речи и письма и т. д.

В этом состоит главное различие между бихевиоризмом и психоаналитической характерологией. Воспитание (условных рефлексов) осуществляется путем апелляции к субъективному интересу, к страху перед болью, к естественным потребностям в пище и питье, к безопасности и признанию и т. д.

У животных этот субъективный интерес проявляется так сильно, что в оптимальных условиях повторения сигналов, сопровождающихся вознаграждением или наказанием, интерес в самосохранении оказывается самым сильным и превосходит все другие влечения, включая сексуальность и агрессивность. Конечно, и человек ведет себя соответственно своему субъективному интересу, но не всегда и не неизбежно. Часто он действует и по велению своих страстей (высоких или низменных), а нередко готов (и вполне способен) поставить на карту свой интерес, имущество, свободу и даже жизнь во имя любви, во имя правды и сохранения своей чести; но так же точно он может пожертвовать всем из ненависти, алчности, садизма и деструктивности. И вот эта разница является главной причиной того, что человеческое поведение не поддается объяснению, если его рассматривать как следствие исключительно только обучения и воспитания.

Выводы

Среди открытий конца XIX в. эпохальным событием стало то, что Фрейд обнаружил ключ к пониманию целой системы сил, определяющих структуру личности, а также то, что некоторые из этих сил противоречат друг другу-Открытия бессознательных процессов, а также динамической структуры личности позволили Фрейду высветить радикально новые, глубинные корни человеческого поведения. Правда, они вызвали определенную тревогу, ибо с этого момента стало невозможно прикрываться добрыми намерениями; они были опасными, ибо общество было до самого основания потрясено тем, что каждый мог узнать о себе и других все, что угодно.

По мере того как психоанализ добивался успеха и признания, он постепенно отказывался от своего радикального ядра и делал ставку на то, что было общеприемлемым. Аналитики сохранили лишь одну часть фрейдовского бессознательного – сексуальность. Общество потребления распрощалось со многими викторианскими табу (и не только под влиянием психоанализа, но и по многим другим причинам). Никто больше не «падал в обморок», обнаружив в себе склонность к самоубийству, «боязнь кастрации» или «зависть к пенису». Но открыть такие вытесненные свойства личности, как нарциссизм, садизм, жажда неограниченной власти, отчуждение, раболепство, индифферентность, бессознательный отказ от своей личной целостности и т. д., обнаружить все это в себе, в политических лидерах, в общественной системе – означало подложить под это общество мощный «социальный динамит». Сам Фрейд, живя в эпоху, когда все человеческие страдания объяснялись только инстинктами, никогда не выражал недовольства обществом, он

занимался безличной категорией «Оно»^[88]. Но времена меняются, и то, что тогда было революционным, сегодня кажется совершенно нормальным. И теория влечений из гипотезы превратилась в ядро и смиренную рубашку ортодоксального психоанализа. Таким образом, фрейдский интерес к проблеме человеческих страданий и страстей не получил дальнейшего развития.

По этой причине я считаю, что наименование психоанализа теорией влечений, которое с формальной точки зрения является корректным, не отражает самой сути дела. Психоанализ представляет собой главным образом теорию неосознанных импульсов, направленных на сопротивление или искажение реальности в соответствии с субъективными потребностями и ожиданиями («перенос» = сублимация); психоанализ – это учение о характере и о конфликтах между характерологическими страстями, органично присущими данной личности, и необходимостью самоограничения. Именно в этом ревизованном значении и применяет психоанализ автор данной работы. Я использую психоаналитический метод для исследования проблемы человеческой агрессивности и деструктивности (оставляя в стороне ядро фрейдского открытия).

Тем временем все большее число психоаналитиков отказывается от фрейдской теории либидо, хотя, как правило, они не способны заменить ее такой же точной и стройной теоретической конструкцией, поскольку «влечения», которые они изучают, не имеют достаточно глубоких корней ни в физиологии, ни в социальных условиях, ни в общественном сознании. Часто психоаналитики весьма поверхностно употребляют категории, которые мало чем отличаются от стереотипов, принятых в американской антропологии. (Ну хотя бы встречающаяся у Карен Хорни категория «потребность в конкуренции».) Правда, некоторые психоаналитики (в основном под влиянием Адольфа Майера), отказавшись от фрейдской теории либидо, создали новую теорию, которая, по-моему, является более продуктивной и многообещающей. Они изучали сначала только шизофреников^[89] и на этом материале достигли глубокого понимания бессознательных процессов в человеческих отношениях. Поскольку они больше не испытывают неудобств и не замыкаются в узкие рамки теории либидо (с ее обязательным набором действующих лиц: Я, Оно и Сверх-Я)^[90], они свободно описывают все, что происходит в отношениях между двумя людьми, которые оказываются в роли партнеров. К выдающимся представителям этой школы относятся, наряду с Адольфом Майером, Гарри Стэк Салдиван, Фрида Фромм-Райхман и Теодор Лидц. Блестательно удается анализ Р. Д. Лейин-гу, потому что он не только глубоко исследует личные и субъективные факторы, но и выявляет и непредвзято описывает картину нашей социальной жизни (абстрагируясь от некритических оценок нашего общества как психически здорового). Представителями творческого психоанализа являются также Винникот, Фэрбрэйн, Балинт и Гая-трип – люди, которые превратили этот метод из способа лечения либидозных фрустраций в «теорию и практику возрождения человеческой личности и восстановления ее подлинного „Я“». Они делают то, чего избегают некоторые так называемые «экзистенциалисты» (например, Л. Бинсвангер), заменяющие точные клинические данные абстрактно-философскими рассуждениями о межличностных отношениях.

Часть вторая.

Открытия, опровергающие инстинктивистов

V. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

88

89

90

Здесь будет показано, как точные научные данные нейрофизиологии, психологии животных, палеонтологии и антропологии опровергают гипотезу о том, что в человеке от рождения заложен спонтанный саморазвивающийся инстинкт агрессивности.

Отношения между психологией и нейрофизиологией

Прежде чем начать обсуждение нейрофизиологических данных, необходимо сказать несколько слов о взаимоотношениях между психологией – наукой о душе и нейрофизиологией – наукой о нервной системе.

Каждая наука имеет свой предмет и свои методы, и направление исследований часто определяется возможностью применения этих методов для анализа конкретных данных. Трудно ожидать, что нейрофизиолог пойдет тем путем, который является наиболее приемлемым с точки зрения психолога, и наоборот. И все же можно ожидать, что обе науки сотрудничают в тесном контакте и поддерживают друг друга. Но сотрудничество возможно только в том случае, если обе стороны располагают хотя бы минимумом необходимых знаний, позволяющих им понять язык другой науки и правильно оценить факты. Если бы ученые из разных областей знания работали в тесном контакте друг с другом, они бы увидели, что данные, добытые в лабораториях, могли бы принести гораздо больше пользы, если бы были доступны также и представителям смежных областей и увязаны в одну систему. Сказанное относится и к проблеме оборонительной агрессивности.

Однако чаще всего психологические и нейрофизиологические исследования «варятся каждое в своем соку», и специалист по неврологии в настоящее время даже не в состоянии удовлетворить потребность психолога в информации: он не может, например, ответить на вопрос, какие нейрофизиологические показатели эквивалентны таким страстям, как деструктивность, садизм, мазохизм или нарциссизм; да и психолог мало чем может быть полезен нейрофизиологу^[91]. Складывается впечатление, что каждой науке лучше идти своим путем и решать свои проблемы, пока в один прекрасный день они не сойдутся в одной точке, исследовав одну и ту же проблему – каждый своим методом. И тогда можно будет сравнить результаты и подвести итоги. Конечно, было бы странно, если бы каждая наука для подтверждения или опровержения своих гипотез дожидалась результатов исследований других наук. И пока психологическая теория не получила ясных и убедительных опровержений со стороны нейрофизиологии, психолог не должен сомневаться в своих знаниях, если они опираются на правильное наблюдение и верную интерпретацию данных. Об отношениях этих двух научных дисциплин есть хорошее высказывание у Р. В. Ливингстона.

Пора прекратить соревнование между обеими дисциплинами. С кем нам бороться? Только с собственным невежеством. Есть много областей, в которых необходима совместная работа исследователей мозга и специалистов в области поведения. Но мы не достигнем большего понимания, пока не внесем изменения в наши нынешние концепции. А для этого также нужны талантливые исследователи и теоретики.

Многочисленные научно-популярные издания создали иллюзию того, что нейрофизиологи нашли объяснения многих проблем человеческого поведения. Однако большинство специалистов из этой области знания придерживаются совершенно иной точки зрения. Так, Т. Баллок, специалист в области нервной системы беспозвоночных, электрических рыб и морских млекопитающих, начинает свой труд «О развитии нейрофизиологических механизмов» со слов об «отрицании нашей способности на сегодняшний день сделать серьезный вклад в решение реальных проблем» и утверждает, что «мы, по существу, не имеем ни малейшего представления об участии нейронов в механизме процесса обучения, о физиологическом субстрате инстинктивного поведения или других

более сложных проявлениях поведенческих реакций».

Аналогичные мысли мы находим у Биргера Каады:

Наши знания и представления о механизмах формирования агрессивного поведения в центральной нервной системе ограничены тем, что информацию мы получаем в основном из экспериментов над животными, и потому мы почти ничего не можем сказать об отношении центральной нервной системы к «аффективным» аспектам эмоций. А интерпретировать поведение только на основе анализа внешних феноменов и периферийных телесных изменений явно недостаточно.

К такому же выводу приходит и У. Пенфилд – один из крупнейших неврологов Запада.

Тот, кто надеется решить проблему духа и души с позиции нейрофизиологии, похож на человека, стоящего у подножия горы. Человек стоит на полянке и смотрит вверх, готовый взобраться на гору. Но вершина всегда закрыта облаками, и поэтому многие считают, что она вообще недостижима. И если настанет день, когда человек дойдет до полного понимания устройства своего мозга и своего сознания, то это можно будет считать его величайшим завоеванием и окончательной победой.

Но в исследовательской работе ученого существует только один метод – наблюдение явлений природы и сравнительный анализ экспериментальных результатов на базе тщательно разработанной гипотезы. И нейрофизиологи, для которых этот метод единственный, должны честно признать, что на основе собственных исследовательских данных они вряд ли смогут дать ответ на поставленные вопросы^[92].

Некоторые неврологи в целом более или менее пессимистически оценивают перспективы сближения неврологии и психологии, а также возможный вклад современной нейрофизиологии в объяснение механизмов человеческого поведения. Этот пессимизм выражают Х. фон Ферстер и Т. Мельничук^[93], Н. Р. Матурана и Ф. С. Варела. Критически высказывается по этому поводу и Ф. Г. Ворден^[94].

Из многочисленных устных и письменных высказываний исследователей мозга я понял, что многие разделяют это мнение: мозг все чаще рассматривается как целое, как система – и ясно, что ни один из элементов этой системы в отдельности не в состоянии объяснить поведение человека. Убедительные данные в подтверждение этой мысли приводит Э. Валенштайн. Он показал, что врожденные и связанные с гипоталамусом^[95] «центры» голода, жажды, сексуальности и другие (если они вообще существуют) не размещены в чистом виде в каких-то точках мозга, как это предполагалось раньше, когда думали, что раздражение одного «центра» может вызвать поведение, предписанное Другому центру, если окружение будет давать стимулирующие раздражители, созвучные второму центру.

Д. Плуг показал, что «агрессия» (точнее, невербальная реакция на угрозу) маленькой обезьянки не принимается всерьез другими обезьянами, если угроза исходит от обезьяны, которая социально стоит ниже второй. Эти факты совпадают с холистской точкой зрения, которая утверждает следующее: когда мозг решает, каким приказом вызвать то или иное поведение, он принимает во внимание не только сигналы прямого стимулирования, но и общее состояние природного и социального окружения, которое в этот момент является для объекта дополнительным раздражителем и может вносить в его поведение свои коррективы.

Скептицизм по поводу возможностей нейрофизиологии дать адекватное объяснение человеческому поведению вовсе не означает, что тем самым ставится под сомнение истинность (и пригодность для сравнительного анализа) многих экспериментальных данных последних десятилетий.

Эти данные имеют достаточно важное значение хотя бы потому, что предоставляют

92

93

94

95

богатый материал для понимания одной из форм агрессии (*оборонительной*), особенно если такой материал умело классифицировать, привести в систему и описать при помощи новой терминологии.

Мозг как основа агрессивного поведения[96]

Исследование проблемы отношений между функцией мозга и поведением индивида с самого начала было определено дарвиновским тезисом о том, что структура и функция мозга подчинены принципу сохранения индивида и вида.

С тех пор нейрофизиологи главным образом сосредоточили свое внимание на том, чтобы обнаружить участки мозга, ответственные за элементарные рефлексy, а также за необходимые для выживания способы поведения. Общеизвестным является утверждение Мак-Лина, который обозначил основные механизмы (направления) работы мозга аббревиатурой из четырех букв "Ф", означающих четыре вида деятельности: «питаться (feeding), драться (fighting), убежать (fleeing) и... заниматься сексом». Ясно, что эти четыре рода деятельности жизненно необходимы для сохранения индивида и вида. (О том, что для функционирования человека и человечества необходимо реализовать еще и другие потребности, выходящие за рамки простого выживания, будет дальше отдельный разговор.)

Сначала об агрессии и бегстве. Как утверждают исследователи (В. Р. Гесс, Д. Олдс, Р. Р. Хит, Х. М. Р. Дельгадо и др.), эти импульсы «контролируются» разными участками мозга^[97]. Так, например, экспериментально установлено, что, стимулируя определенные участки мозга, можно усилить аффект гнева (и соответствующую модель поведения), а можно и затормозить. Например, активизация зависит от промежуточного мозга, латерального^[98] гипоталамуса, центрального серого вещества, а раздражение таких структур, как Septum, Cingulum-Windung или Nucleus caudatus, препятствует возникновению подобных аффектов^[99]. Некоторые исследователи достигли утонченного хирургического мастерства при операциях вживления электродов в определенные участки мозга. Это Гесс, Олдс, Мильнер, Дельгадо^[100]. Они имели возможность проводить наблюдения в двух направлениях: например, фиксировать яркое проявление агрессивного поведения в результате прямого электрического раздражения определенных участков, с одной стороны, и с другой – фиксировать торможение агрессивности путем раздражения других зон. Одновременно они научились измерять электрическую активность этих различных участков мозга, когда испытуемые демонстрировали эмоциональные реакции на внешний раздражитель: гнев, страх, желание и т. д. Кроме того, им удалось наблюдать далеко идущие последствия повреждений отдельных участков мозга.

В самом деле, ни один свидетель не может забыть свои впечатления, когда сравнительно небольшое увеличение электрического заряда в электроде (вживленном в зону агрессии) могло вызвать внезапный взрыв неконтролируемой убийственной ярости, а включение стимула торможения вызывало реакцию мгновенного исчезновения агрессии. Значительный интерес к испытаниям подобного рода вызвал «театральный» эксперимент Дельгадо, в котором он удерживал на арене быка (под потоком стрел) с помощью дистанционного воздействия на мозговые зоны, тормозящие агрессивность.

Тот факт, что в одних зонах реакция активизируется, а в других сдерживается, сам по себе не является какой-либо особой приметой агрессивности. Такая двойственность (биполярность) характерна и для других рефлексов. Мозг вообще организован по типу биполярных систем. Когда не работают специальные раздражители (внутренние или

96

97

98

99

100

внешние), агрессивность находится в состоянии подвижного равновесия, ибо зона возбуждения и зона торможения довольно стойко уравнивают друг друга. Это особенно четко проявляется, когда одна из зон оказывается поврежденной. Генрих Клювер и П. Буци в своем классическом эксперименте впервые показали, что у резусов, диких кошек, крыс при повреждении определенных участков головного мозга (Amygdala) наступали такие серьезные изменения, что они (на некоторое время) – даже при сильной провокации – полностью утрачивали способность к проявлению агрессивных реакций. С другой стороны, повреждение участков, тормозящих агрессию (например, маленькой зоны вентромедиального ядра гипоталамуса), ведет к состоянию перманентной агрессивности кошек и крыс.

Вследствие дуальной (биполярной) организации полушарий мозга возникает важный вопрос: какие факторы нарушают равновесие и провоцируют открытую ярость и соответствующее разрушительное (агрессивное) поведение. Мы видели, что нарушения такого рода могут наступить, с одной стороны, от электрического раздражителя, а с другой – вследствие выведения из строя тормозящих центров (не считая гормональных и метаболических^[101] изменений). Марк и Эрвин обращают внимание на то, что нарушения равновесия могут быть вызваны еще и разного рода мозговыми заболеваниями.

А какие условия нарушают равновесие в сторону мобилизации агрессивности, не считая двух экспериментальных ситуаций и одной патологической? Каковы причины «врожденной» агрессивности у зверей и у людей?

Защитная функция агрессивности

Когда читаешь литературу по проблеме агрессивности людей и животных, то вывод кажется однозначным и неизбежным: агрессивное поведение животных является реакцией *на любую угрозу жизни* или, другими словами, *на угрозу витальным интересам живого существа* как индивида и как члена своего вида. Это общее определение годится для самых различных ситуаций. Самая явная ситуация – это прямая угроза жизни индивида или угроза его жизненно важным потребностям (в пище и в сексе); комплексная форма такой угрозы – «Crowding» (скученность), сужение пространства, ограничение свободы передвижения или сужение социальной структуры (ближайшего окружения, группы). Собственно говоря, для всех ситуаций, провоцирующих, возбуждающих агрессивное поведение, характерна одна общая черта: они представляют угрозу витальным интересам. Поэтому мобилизация агрессии в соответствующих зонах мозга происходит во имя жизни, как реакция на угрозу жизни индивида и вида; это означает, что *филогенетически заложенная агрессия, встречающаяся у людей и животных, есть не что иное, как приспособительная, защитная реакция*. Подобное суждение никого не удивит, если вспомнить дарвиновскую посылку о развитии мозга. Поскольку функция мозга состоит в том, чтобы обеспечивать сохранение жизни, то естественно, что он заботится о непосредственных реакциях на любую угрозу жизни. Но ведь агрессия – это отнюдь не единственная реакция на угрозу. Животное на угрозу своему существованию реагирует либо яростью и нападением, либо проявлением страха и бегством. Причем в действительности, кажется, бегство является более распространенной формой реагирования (не считая тех случаев, когда возможность бегства исключена и животное вступает в бой ради выживания).

Гесс первым открыл, что кошка при электрическом возбуждении определенных зон гипоталамуса либо нападает, либо спасается бегством. Он свел обе эти формы поведения в одну и назвал ее «защитной реакцией», чтобы подчеркнуть, что обе реакции помогают животному защитить свою жизнь. Нервные волокна, а также нервные центры нападения и бегства находятся очень близко друг к другу, но все-таки четко разделены. После работ Гесса, Магоуна и других пионеров экспериментального изучения мозга эта тема привлекла

внимание многих исследователей (это прежде всего Гунспергер и его группа в лаборатории Гесса, а также Романюк, Левинсон и Флинн[73]). И хотя разные ученые пришли к различным результатам, но в целом они все-таки подтвердили основные посылы Гесса.

Вот как подводят итоги нынешнего состояния исследований Марк и Эрвин:

Инстинкт «бегства»

Данные о борьбе и бегстве как защитных реакциях проливают неожиданный свет на инстинктивистские теории агрессии. Получается, что рефлекс бегства (в плане нейрофизиологии и поведения) играет ту же самую, если не более важную, роль в поведении животных, что и рефлекс борьбы. На уровне физиологии мозга оба импульса имеют совершенно одинаковую степень интеграции, и нет никаких оснований предполагать, что агрессивность является более «естественной» реакцией, чем бегство. Почему же исследователи инстинктов и влечений твердят об интенсивности врожденных рефлексов агрессивности и ни словом не упоминают о врожденном рефлексе бегства?

Если рассуждения этих «теоретиков» о рефлексе борьбы перенести на рефлекс бегства, то едва ли не придется констатировать следующее: «Человека ведет по жизни врожденный рефлекс бегства; он может попытаться взять его под контроль, но это даст лишь незначительный эффект, даже если он найдет способы для приглушения этой „жажды бегства“».

Воистину странное и неожиданное впечатление производит подобная концепция, ядром которой является «неконтролируемая жажда (инстинкт) бегства», особенно в свете расхожих представлений об угрозе для социума врожденной человеческой агрессивности (а такие представления на протяжении веков внушали пастве десятки мыслителей и ученых – от раннехристианских проповедников до экспериментатора Конрада Лоренца). И все же с точки зрения физиологии мозга она имеет такие же точно основания, как и концепция «неконтролируемой агрессивности». Более того, с биологических позиций бегство даже надежнее служит самосохранению, чем драка. Кого не удивит этим выводом – так это политических и военных лидеров. Они-то давно знают, что по природе своей человек не склонен к героизму; они на опыте убедились, как много усилий требуется, чтобы заставить его идти в бой и удержаться от бегства. Если бы историку пришел в голову такой вопрос: «Какой из инстинктов проявил себя больше в человеческой истории – инстинкт бегства или инстинкт борьбы?», вероятно, ответ был бы однозначный: история определялась не столько агрессивными инстинктами, сколько попыткой подавить в человеке инстинкт бегства. Если вдуматься, то скоро поймешь, что именно этой цели служит большинство социальных институтов и весь идеологический арсенал. Только под страхом смерти удавалось внушить солдатам чувство уважения к мудрости вождя и веру в понятие «чести». Их обманывали и подкупали, спаивали и обольщали, терроризировали, угрожая приклеить ярлык труса или предателя.

Исторический анализ данной проблемы мог бы показать, что подавление рефлекса бегства и видимость доминирующего положения рефлексов борьбы – все это в основном связано не с биологическими, а с культурными факторами. По поводу этих размышлений я хотел бы еще напомнить о том, что этологи не раз высказывались в пользу понятия *Homo aggressivus* (человек агрессивный); но как бы там ни было, а факт остается фактом, что в мозг человека и животного вмонтирован специальный (нейро-) механизм, мобилирующий агрессивное поведение (или бегство) в качестве реакции на угрозу жизни индивида или вида, и что эта разновидность агрессивности имеет биологически адаптационную функцию и служит делу жизни.

Поведение хищников и агрессивность

Существует еще одна разновидность агрессивности, которая породила много

путаницы, – это агрессивность животных-хищников. В зоологии они четко определены; к ним относятся семейства кошек, гиен, волков и медведей^[102]. Существует довольно много экспериментальных доказательств того, что нейробиологическая основа агрессивности хищников отличается от защитной агрессивности^[103]. Лоренц с этологической точки зрения занимает такую же позицию:

Внутренние физиологические мотивы у охотника и бойца совершенно различны. Буйвол, которого свалил лев, настолько же мало вызывает его агрессивность, как во мне может вызвать гнев индюк, которого я только что видел подвешенным в кладовой. Даже движения и мимика очень четко демонстрируют это различие. Собака в погоне за зайцем, полная охотничьего азарта, делает такое же напряженно-радостное выражение «лица», как и в момент приветствия хозяина или в преддверии другого радостного события. Так и на «лице» льва (на хороших фотографиях это отчетливо просматривается) в драматический миг перед прыжком мы видим выражение, которое совершенно не похоже на злость. А ворчит он, прижимает уши и делает другие движения, символизирующие боевое поведение, тогда, когда очень напуган или столкнулся с невероятно сильной жертвой.

К. Мойер на основании доступных ему данных о нейрофизиологических основах агрессивности выделяет агрессивность хищников из всех других ее типов и утверждает, что это различие все больше получает экспериментальное подтверждение.

Специфика поведения хищников состоит не только в различном состоянии самого субстрата мозга (мозг нападающего зверя и мозг обороняющегося дают различную картину), но и поведение у них разное. Поведение хищника не следует путать с воинственным поведением: он не проявляет гнева, но точно и четко направлен на свою добычу, и его напряженность проходит, только когда цель – пища – достигнута. Инстинкт хищника несколько не похож на оборонительный рефлекс, который существует практически у всех животных, инстинкт хищника относится только к добыванию пищи и присущ определенным видам животных, которые имеют соответствующее строение. Мы не станем, разумеется, отрицать, что поведение хищников агрессивно^[104], но нельзя не видеть, что эта агрессивность отличается от яростной и злобной агрессивности, которая вызывается наличием угрозы. Ее можно было бы назвать «инструментальной», ибо она служит достижению желаемой цели. У других животных – не хищников – такой вид агрессивности не встречается.

Разграничение оборонительной агрессивности и агрессивности хищников имеет значение для изучения проблемы человеческой агрессивности. Ведь человек в своем филогенезе не был хищником, и потому в своей агрессивности (в смысле нейрофизиологических процессов) он отличается от хищников. Не следует забывать, что человеческие челюсти («прикус») «плохо приспособлены к мясоедству, ибо человек до сих пор сохранил форму зубов своих вегетарианских предков. Кстати, интересно, что и система пищеварения у человека имеет все физиологические признаки вегетарианства, а не мясоедства». Как известно, даже у первобытных охотников и земледельцев пища на 75% была вегетарианской и лишь на 25% – мясной^[105].

Как утверждает И. Де Вор, «пища первобытных людей в основном состояла из растений. То же самое относится и к современным человеческим сообществам с примитивными формами хозяйства (за исключением эскимосов)... Бушмены, например, на 80% питались орехами, которые сами добывали и обрабатывали, поэтому в их захоронениях археологи часто рядом с колчаном для стрел находят камни, похожие на жернов. Некоторые археологи, правда, интерпретировали эти находки совсем иначе: предполагали, что жернова применялись для размалывания костей, из которых добывался мозг». И все же именно образ

102

103

104

105

хищника сыграл основную роль в формировании представлений о врожденной агрессивности животного, а косвенно и человека. Ведь человек испокон веков общается с бывшими хищниками – кошкой и собакой. Потому-то он их и приручил; они ему и нужны в этом качестве: собака – для охоты на других зверей (и людей), кошка – для охоты на мышей и крыс. Кроме того, человеческие племена вечно страдали от таких хищников, как волк и лиса^[106]. Таким образом, человек так давно окружил себя хищниками, что он, конечно, был не в состоянии увидеть разницу между хищнической и оборонительной агрессивностью, поскольку результатом обеих форм поведения было убийство. Кроме того, он не мог наблюдать этих животных в их собственной среде обитания и заметить их дружелюбное отношение к своим собратьям.

Итак, вывод, к которому мы пришли, в основном подтверждает точку зрения крупнейших исследователей проблемы агрессивности – Дж. П. Скотта и Леонарда Берковича, хотя у них есть и некоторые различия. Скотт, в частности, пишет: «Человек, счастливым образом оказавшийся в таком социальном окружении, которое не провоцирует на борьбу, не получает никаких физиологических или нервных перегрузок, ибо он никогда ни с кем не сражается. Борьба – это ведь совершенно особая ситуация, ее не сравнишь с физиологией питания, где внутренние процессы метаболизма ведут к определенным физиологическим изменениям, которые затем вызывают голод и вновь стимулируют потребность в еде без всяких внешних к тому стимулов». А Беркович говорит о «Schaltplan», или «готовности», предрасположенности к агрессивной реакции на известные раздражители, а не об «агрессивной энергии», передающейся с генами по наследству.

Данные нейрофизиологии, таким образом, помогли нам очертить некий круг понятий, связанных с таким видом агрессивности, который способствует биологической приспособляемости организма, сохранению рода, – я ее назвал оборонительной агрессивностью. Мы привлекли эти данные, чтобы показать, что у человека потенциально существуют предпосылки агрессивности, которые мобилизуются перед лицом витальной угрозы. Но никакие нейрофизиологические данные не имеют отношения к *той форме агрессивности, которая характерна только для человека и отсутствует у других млекопитающих: это склонность к убийству самоцели, желание мучить без всякой на то «причины» не ради сохранения своей жизни, а ради доставления себе удовольствия* ^[107].

Невропатологи еще не занимались этими аффектами (не считая тех случаев, которые были вызваны болезнями мозга), однако можно с уверенностью утверждать, что инстинктивистски-гидравлическая модель Конрада Лоренца не подходит для описания того механизма функционирования мозга, который представлен в экспериментальных данных нейрофизиологии.

VI. ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Вторая важная область для эмпирической проверки правомерности инстинктивистской теории агрессивности – это *поведение животных*. В агрессии животных можно выделить три типа: 1) агрессия хищников; 2) агрессивность внутривидовая и 3) агрессивность межвидовая (против животных других видов).

Все исследователи мира животных (включая К. Лоренца) едины в том, что образцы поведения и мозговые процессы хищников не совпадают с другими типами агрессивности и потому должны обсуждаться отдельно.

Что касается *межвидовой* агрессивности, то здесь большинство исследователей утверждают, что животные очень редко убивают представителей другого вида, за исключением случаев самозащиты при невозможности спастись бегством. Это сужает

феномен «животной» агрессивности до одного-единственного типа – агрессивности между животными одного и того же вида. Исключительно этим аспектом и занимается всю жизнь Конрад Лоренц.

Внутривидовая агрессивность имеет следующие признаки:

а) У большинства млекопитающих она не носит кровавого характера и не имеет цели мучить или убить «сородича»; агрессивность выполняет в основном роль угрожающего предупреждения. У большинства млекопитающих имеется много зубов; между особями бывают ссоры и стычки, но дело редко доходит до кровавых и смертельных драк, как у людей.

б) Деструктивное поведение наблюдается только у ряда насекомых, рыб и птиц, а из млекопитающих – только у крыс.

в) Угрожающая поза – это реакция на то, что животное воспринимает как угрозу своим витальным интересам; и поэтому с позиций неврологии такое поведение можно считать «оборонительной агрессивностью».

г) Нет ни одного доказательства того, что у большинства млекопитающих якобы существует спонтанный агрессивный импульс, который накапливается и сдерживается до того момента, пока «подвернется» подходящий повод для разрядки.

Пока речь идет об оборонительной агрессивности, можно утверждать, что она опирается на определенные филогенетические нейронные структуры, и потому не было бы никаких оснований спорить с Лоренцом, если бы не его «гидравлическая модель» и не его убежденность в том, что жестокость и деструктивность человека являются врожденными качествами и по происхождению восходят к оборонительной агрессивности.

Человек – это единственная особь среди млекопитающих, способная к садизму и убийству в огромных масштабах. В последующих главах я попытаюсь найти объяснение этому факту. А в данной главе о поведении животных я только хочу, в частности, показать, что многие из них вступают в борьбу со своими собственными сородичами, но при этом их поведение не имеет ничего общего с деструктивностью, а также что наши данные о жизни млекопитающих вообще (и приматов, в частности) не позволяют обнаружить никаких следов врожденной «деструктивности», которые бы человек мог приобрести по наследству. И если бы человеческий род на самом деле был наделен «врожденной агрессивностью» лишь в той мере, в какой она проявляется у шимпанзе (в их среде обитания), то мы жили бы на сравнительно мирной Земле.

Агрессивность в неволе

При изучении агрессивности животных, особенно приматов, с самого начала важно отличать их поведение в среде обитания от поведения в неволе (в основном – в зоопарке). Наблюдения показывают, что приматы на воле малоагрессивны, хотя в зоопарке их поведение нередко деструктивно.

Это обстоятельство имеет огромное значение для понимания агрессивности человека, ибо на протяжении всей своей истории, включая современность, человека вряд ли можно считать живущим в «естественной среде обитания». Исключение составляют разве что древние охотники и собиратели плодов, да первые земледельцы до V тысячелетия до н. э. «Цивилизованный» человек всегда жил в «зоопарке», т. е. в условиях несвободы или даже заключения разной степени строгости. Это характерно и для самых развитых социальных систем.

Я хотел бы для начала привести несколько примеров с приматами, ибо их жизнь в условиях зоопарка описана достаточно подробно. Лучше всех изучены, пожалуй, павианы, которых в течение нескольких лет наблюдал Солли Цукерман, работая в зоопарке Лондонского королевского парка (1929-1930). Их жилище (на Обезьяньей Горе) имело 30 м в длину и 18 м в ширину и для зоопарка казалось довольно большим, но в сравнении с естественными условиями оно конечно же было чрезвычайно скромным. Цукерман

иаблюдал у этих животных проявления сильного напряжения и озлобленности. Более сильные особи жестоко подавляли более слабых, и даже матери отнимали пищу у своих детенышей. Особенно страдали самки и детеныши, которые в схватках получали травмы, а иногда и погибали. Цукерман наблюдал, как один самец дважды намеренно атаковал юнца, а вечером того нашли мертвым. Восемь из 61 самца умерли насильственной смертью, а многие другие прошли через «лазарет».

Поведение приматов в условиях зоопарка в 50-е гг. исследовали и другие видные ученые: Ханс Куммер (Цюрих) и Верной Рейнольде (Англия)[¹⁰⁸]. Куммер содержал павианов в большом загоне (размером 14 на 25 м). И там происходили серьезные драки с тяжелыми ранениями (укусами). Куммер провел серию очень точных сравнительных исследований в зоопарке и в диких условиях (в Эфиопии) и установил, что агрессивность в зоопарке проявляется у самок в 9, а у самцов в 17,5 раза чаще, чем на свободе.

Верной Рейнольде изучал 24 резуса, помещенных в небольшой восьмиугольный загон-клетку (со стенками 9 м).

Хотя помещение было меньше, чем на Обезьяньей Горе, обезьяны реже проявляли агрессивность. И все же насилие и здесь наблюдалось чаще, чем на свободе.

Многие животные получали ранения – одну тяжелораненую самочку даже пришлось пристрелить. Особенно интересные факты о влиянии экологических условий на агрессивность можно найти в исследованиях о макаках у таких авторов, как С. Саусвик, М. Бег и М. Сидди-ки. Саусвик установил, что окружение и социальные условия у лишенных свободы макак-резусов оказывали серьезное влияние на форму и повторяемость «агонистического» (т. е. конфликтного) поведения. Это исследование позволяет нам провести различие между изменением окружающих условий (например, количество животных в одном и том же помещении) и социальными изменениями (например, включение новых животных в уже устоявшуюся группу). Выяснилось, что уменьшение «жилплощади» часто вызывает усиление агрессивности, но гораздо более резкое увеличение агрессивных столкновений было связано с изменением социальной структуры (введение новеньких в группу). Было установлено, что и у других млекопитающих сужение «жизненного пространства» ведет к агрессивному поведению. Так, Мэтьюз отмечал, что ему не известно ни одного случая драки млекопитающих со смертельным исходом, кроме тех ситуаций, когда животные жили в тесноте.

Выдающийся этолог Пауль Лайхаузен указывает, что у кошек полностью нарушается относительное соподчинение, если они оказываются в тесном помещении. Чем теснее клетка, тем меньше подчинения. В конечном счете одна кошка превращается в деспота, другие становятся объектом безжалостных издевательств, и в конце концов у всех обнаруживаются различные симптомы неврозов. Обитатели клетки превращаются в злобную массу: напряженность в ней никогда не ослабевает, никто никогда не выглядит довольным, постоянно слышны шипение, рычание и даже бывают стычки. Никаких игр, всякое движение и деятельность сводятся к минимуму[¹⁰⁹].

Даже временное скопление животных в местах кормления вызывает усиление агрессивности. Зимой 1952 г. трое американских ученых – Кабо, Коллиас и Гуттингер – вели наблюдение за оленями вблизи реки Флэг в Висконсине. Они сделали однозначный вывод, что частота драк зависит от числа животных в загоне, т. е. от плотности населения. Когда на площадке находилось от пяти до семи оленей, то наблюдалась одна драка в час. А если на этом же участке оказывались 23-30 животных, то в час случалось в среднем около 4,4 драки на одно животное. Аналогичные выводы сделал американский биолог Д. Колхаун, наблюдая за дикими крысами.

Важное значение имеет тот факт, что наличие большого количества пищи при большой тесноте «проживания» не снижает агрессивности. Это подтверждено наблюдениями в

Лондоне: теснота была явно главной причиной агрессивного поведения, хотя питание и остальные условия были хорошими.

Интересно наблюдение Саусвика, касающееся уменьшения рациона: снижение дневной порции пищи у резусов на 25% не повлекло за собой никаких изменений в их «соревновательных» взаимодействиях, а сокращение рациона на 50% даже привело к уменьшению соревновательного поведения^[110].

Данные об усилении агрессивности приматов в неволе (а это подтверждается и на примере поведения других млекопитающих) весьма убедительно доказывают, что скученность является главной предпосылкой усиления озлобленности и вражды. Но «перенаселение», скученность (crowding) – это только название, штамп, который довольно просто уводит нас в сторону от выяснения конкретной причины, от вычленения тех факторов, которые несут главную ответственность за рост агрессивности.

Может быть, у каждого индивида существует какая-то «естественная» потребность в минимальном жизненном пространстве?^[111] Может быть, скученность мешает животному реализовать врожденную потребность в свободном движении и т. д.? А может быть, в тесноте животное всем телом чувствует угрозу и выдает агрессивную реакцию?

Для ответа на все эти вопросы нужны еще многие исследования. Но результаты Саусвика показывают, что в феномене перенаселения надо различать как минимум два элемента, а именно: *сокращение пространства и разрушение социальной структуры*. Важность второго фактора подтверждает тот же Саусвик, когда, введя в группу одного или нескольких «чужаков», он удостоверился в том, что это приводит к страшной вспышке агрессивности, гораздо более сильной, чем при перенаселении. Конечно, нередко присутствуют оба фактора, и тогда трудно решить, какой из них в ответе за агрессивное поведение.

Каково бы ни было сочетание обоих этих факторов, ясно одно, что каждый из них может вызвать агрессивное поведение. Ибо сужение пространства ущемляет животное в его жизненно важных функциях – в функциях движения и игры, а также в реализации других его способностей. Поэтому «ущемленное в пространстве животное» чувствует некоторую угрозу своим витальным интересам и выдает агрессивную реакцию. А разрушение социальной структуры в группе представляет, с точки зрения Саусвика, еще более страшную угрозу. Ведь каждое животное живет в характерном для его рода социуме, к которому оно так или иначе приспособлено. Социальное равновесие является неизменной предпосылкой для его существования. Нарушение равновесия наносит существованию животного серьезную угрозу, в результате чего, принимая во внимание наличие оборонительной функции агрессивности, должен последовать взрыв агрессивности, особенно если отсутствует возможность бегства.

В зоопарке скученность случается нередко (как она описана Цукерманом в случае с павианами). Причем чаще звери в зоопарке страдают не столько от замкнутости пространства, сколько от тесноты. Находясь в плену, они при любом уходе и отличной кормежке «не находят себе места». Кто думает, что для ощущения благополучия животному (или человеку) достаточно удовлетворения всех физиологических потребностей, тот может считать жизнь в зоопарке счастьем. Но паразитический образ жизни лишает ее всякой привлекательности, ибо исчезает возможность для проявления физической и психической активности, – а следствием этого становится скука, безучастность и апатия. Вот наблюдение А. Кортланда: «В отличие от шимпанзе из зоопарка, которые чаще всего с годами выглядят все грустнее и „равнодушнее“, старые шимпанзе, живущие на воле, выглядят более оживленными, любопытными и более человеческими»^[112].

Сходные выводы делают Гликман и Срогес, отмечающие монотонность жизни зверей в

110

111

112

клетках зоопарка, которая приводит к «депрессии».

Перенаселенность и агрессивность у людей

После того, что мы узнали о влиянии тесноты на животных, возникает вопрос, не является ли этот фактор таким же значимым источником и человеческой агрессивности? Многие отвечают на этот вопрос однозначным «да». Лайхаузен, в частности, считает, что для лечения «неврозов», «бунтарства» и другой «агрессивности» лучший способ – это «обеспечение равновесия в человеческих объединениях, нахождение того оптимального численного состава группы, при котором возможно обеспечить контроль». Такого же мнения придерживаются братья Рассел.

Весьма распространенное отождествление «перенаселения», «скученности» (crowding) с «плотностью населения» привело к значительным заблуждениям. Так, Лайхаузен, с его упрощенным консервативным мышлением, совершенно не улавливает того факта, что проблема современного перенаселения имеет две стороны:

– нарушение жизнеспособной социальной структуры (особенно в индустриализованной части мира) и

– нарушение соответствия между плотностью населения и социальными основами жизни (особенно в неиндустриальных обществах).

Человек нуждается в такой социальной системе, в которой он имеет свое место, сравнительно стабильные связи, идеи и ценности, разделяемые другими членами группы. «Достижение» современного индустриального общества состоит в том, что оно пришло к существенной утрате традиционных связей, общих ценностей и целей. В массовом обществе человек чувствует себя изолированным и одиноким даже будучи частью массы; у него нет убеждений, которыми он мог бы поделиться с другими людьми, их заменяют лозунги и идеологические штампы, которые он черпает из средств массовой информации. Он превратился в А-том (греческий эквивалент латинского слова «in-dividuum», что в переводе значит «неделимый»). Единственная ниточка, которая связывает отдельных индивидов друг с другом, – это общие денежные интересы (которые одновременно являются и антагонистическими).

Эмиль Дюркгейм обозначил этот феномен словом «аномия» и пришел к выводу, что аномия стала основной причиной роста самоубийств на фоне мощного процесса индустриализации. Дюркгейм понимал под аномией разрушение традиционных социальных связей, обусловленное тем, что роль настоящего коллектива отошла на второй план перед мощью государственной машины и всякая подлинная социальная жизнь просто исчезла. По мнению Дюркгейма, люди, живущие в современной политической системе, представляют собой «дезорганизованную пыль из разрозненных индивидов»^[113].

Другой выдающийся социолог, Фердинанд Теннис, анализируя социальные системы, провел разграничение между традиционной «общиной» (Gemeinschaft) и современным обществом (Gesellschaft), указывая, что последнее отличается полной утратой всех настоящих социальных связей.

Итак, есть множество примеров, доказывающих, что не высокая плотность населения сама по себе является причиной человеческой агрессивности, а ущербность социальной структуры, утрата настоящих человеческих связей и жизненных интересов. Особенно впечатляющий пример – это израильский кибуц; каждый кибуц густо населен и дает индивиду очень мало места для своей частной жизни. (Много лет тому назад, когда кибуцы жили еще очень бедно, это в еще большей степени было так.) Но у членов этого сообщества почти не наблюдалось симптомов агрессивности. То же самое относится ко многим объединениям по интересам в самых разных странах.

Еще один яркий пример представляют Голландия и Бельгия – две страны, жители

которых вообще никогда не отличались агрессивностью, несмотря на самую высокую в мире плотность населения.

Трудно представить себе большую степень перенаселенности, чем та, которая имела место в Вудстоке или на острове Уайт во время молодежных фестивалей, однако никто не сталкивался там с проявлениями агрессивности. А 30 лет назад на острове Манхэттен плотность населения была одной из самых высоких в мире, однако тогда там не было таких страшных проявлений насилия, как сегодня.

Каждый, кто жил в многоэтажном доме на несколько сотен квартир, знает, что в таком доме семья может великолепно жить своей частной жизнью, не чувствуя ни малейших неудобств от соседей по лестничной клетке. И наоборот, в маленькой деревушке гораздо труднее спрятать свою личную жизнь, хотя дома отстоят друг от друга на достаточно большом расстоянии и плотность населения значительно меньше. Но здесь люди более внимательны друг к другу, они любят наблюдать и обсуждать жизнь соседей, и каждый постоянно чувствует себя в поле зрения других людей. Почти то же самое можно сказать и о небольших городских предместьях.

Эти примеры показывают, что агрессивность людей вызывается не высокой плотностью населения, как таковой, а скорее социальными, экономическими и культурными сопутствующими условиями.

Очевидно и другое: та перенаселенность (или плотность населения), которая идет рука об руку с нищетой, не только может, но и ведет к стрессовым ситуациям и агрессивности. Пример тому – большие города в Индии, а также гетто в американских городах. Перенаселение, а также теснота в быту могут вести к отрицательным последствиям в тех случаях, когда человек лишен элементарной «социальной ниши», возможности укрыться от нежелательного общения. Перенаселенность в прямом смысле означает, что число людей, относящихся к определенному сообществу, превышает возможности экономического базиса, т. е. общество не в силах обеспечить своих членов достаточным количеством пищи, нормальными жилищными условиями, а также условиями труда и разумного досуга. Нет сомнения, что такое перенаселение может иметь самые горестные последствия и что число жителей должно быть сокращено до того уровня, который соответствует экономическому базису. Если же общество способно экономически обеспечить большое число людей на небольшой территории, то сама по себе высокая плотность населения не лишает отдельного гражданина возможности спокойно жить личной жизнью и не страдать от нежелательных контактов.

Однако обеспечение соответствующего жизненного стандарта – это только предпосылка для нормальной жизни человека и его защищенности от постоянного вторжения посторонних, оно еще не решает проблему анонии, понимаемой как недостаток общности. Оно не снимает потребности человека жить в мире с нормальными человеческими пропорциями и при этом осознавать себя личностью среди других личностей. От анонии индустриального общества можно будет избавиться лишь при условии радикального изменения всей социальной и духовной структуры общества; т. е. когда индивид не только получит возможность жить в приличной квартире и нормально питаться, но когда его интересы будут совпадать с интересами общества, т. е. когда основными принципами нашей общественной и личной жизни станут не потребительство и враждебность, а дружелюбие и творческая самореализация. А это возможно также и в условиях большой плотности населения, но при этом нужна другая идеология и другая общественная психология.

Отсюда следует, что все аналогии между миром людей и миром животных имеют свои ограничения. Животному «инстинктивное» знание подскажет, какое ему нужно жизненное пространство и какая социальная организация. Он и агрессивность проявляет инстинктивно, просто реагируя на «нарушение своих границ»... У него ведь нет другого способа отреагировать на угрозу своим витальным интересам. А у человека есть масса других возможностей. Он может изменить социальную структуру, может сам установить новые связи на основе общих ценностей. Поэтому позволительно сказать, что решение проблем,

связанных с перенаселением, у животного имеет биологические основания, а у человека – социальные и политические.

Агрессивность животных в естественных условиях обитания

О поведении животных в естественных условиях, к счастью, имеется довольно много «свежих» исследований. Все они утверждают, что наблюдаемая в неволе агрессивность у тех же самых животных в естественных условиях не проявляется^[114].

Среди обезьян в первую очередь павианы пользуются дурной славой насильников. Однако Уошберн и Де Вор, которые в 1961 г. очень серьезно изучали этих животных, утверждают, что они практически не проявляют агрессивности, если не нарушается их общая социальная структура. А проявление агрессивности не идет дальше угрожающей мимики и поз. В опровержение рассуждений о скученности (crowding) очень интересны наблюдения Уошберна, который говорит, что ни у водопоя, ни в других местах скопления павианов стычек или драк между семьями не было зафиксировано. При этом автор насчитал более 400 обезьян, которые одновременно находились около одного-единственного водооя и при этом не проявляли никаких признаков вражды. Эту картину успешно дополняет исследование К. Холла, которое было посвящено южноафриканским бабуинам.

Особый интерес представляет исследование агрессивного поведения у шимпанзе, поскольку эти приматы более всего похожи на человека. Еще несколько лет назад нам почти ничего не было известно о жизни шимпанзе в Экваториальной Африке. И вот трое ученых почти одновременно проводят серию наблюдений за их жизнью в естественной среде обитания. Результаты оказались весьма впечатляющими и чрезвычайно интересными в аспекте нашей темы.

Братья Рейнольде, изучавшие жизнь шимпанзе в лесах Будонго, сообщают, что с их агрессивным поведением они встречались чрезвычайно редко: «За 300 часов наблюдения мы были всего 17 раз свидетелями ссор, да и то до настоящих схваток дело не дошло, а стычки длились не более нескольких секунд». Только два раза из этих семнадцати случаев в столкновении участвовали взрослые самцы. Сходные наблюдения дает и Джейн Лавик-Гудолл: «Только четыре раза удалось заметить возмущение и угрожающую стойку, когда младший по рангу самец попробовал „отведать пищи раньше, чем это сделал старший“... Лишь один раз мы видели стычку взрослых самцов». С другой стороны, замечено «много различных способов установления и поддержания хороших отношений (целый ряд жестов, ужимок, знаков внимания – от ловли блох до заигрываний)». Иерархия в чистом виде с лидером во главе здесь не представлена, хотя в 72 ситуациях взаимодействия речь явно шла о соблюдении «Табели о рангах».

А. Кортланд сообщает о том, как у шимпанзе проявляется нерешительность – ситуация, важная для понимания человеческой рефлексии, «раздвоения личности» и т. д. Приведу цитату:

На воле шимпанзе, которых мы наблюдали, были осторожными и медлительными. На это обращают внимание все исследователи. За очень живым и любопытным взглядом чувствуется неуверенность сомневающейся личности, которая постоянно пытается понять смысл нашего безумного мира. Складывается впечатление, что у шимпанзе вместо уверенности, диктуемой инстинктом, появилась неуверенность, подсказанная интеллектом, – и это при отсутствии решимости, характерной для человека.

В экспериментах с обезьянами в условиях зоопарка было установлено, что шимпанзе демонстрируют меньше врожденно-генетических образцов поведения, чем маленькие обезьяны^[115].

Хочется еще процитировать Джейн Лавик-Гудолл, ибо она подтверждает важное

наблюдение Кортланда о нерешительности в поведении шимпанзе. Вот что она пишет:

Однажды Голиаф появился очень близко от нас вместе с неизвестной нам рыжеватой самочкой. Мы с Хуго мгновенно бросили кучу бананов на то место, которое было в поле зрения обезьян. Затем мы спрятались в палатку и стали вести наблюдение. Когда самочка увидела нашу палатку, она быстро вскарабкалась на дерево и уставилась оттуда на бананы. Голиаф тоже сразу остановился и посмотрел сначала на самочку, а затем – на бананы. Он спустился немного вниз по лиане, остановился и снова посмотрел на свою подружку. Оба не трогались с места. Голиаф медленно съезжал вниз по лиане, самочка тоже молча спускалась с дерева, и мы потеряли ее из виду. Когда Голиаф оглянулся и увидел, что она исчезла, он рванулся назад. Через несколько минут самочка снова влезла на дерево. Голиаф помчался за ней следом с взъерошенной шерстью. Он посидел с ней рядом (поискал блох) и стал снова кидать взгляды вниз, на наш лагерь. Даже если он не видел в этот миг бананов, он все равно знал, что они есть, а поскольку 10 дней его не было в лагере, у него, наверное, «слюнки потекли» от голода и жажды. Через некоторое время он спустился и снова направился к нам, но через каждые два шага останавливался, чтобы оглянуться на самочку. Она сидела, не двигаясь, но мы с Хуго увидели явно выражение страха и желание сбежать. Когда Голиаф спустился еще ниже, он из-за деревьев, видимо, перестал видеть самочку, потому что оглянулся и сразу снова прыгнул на дерево и стал смотреть вверх. Она все еще сидела, не шевелясь. Увидев ее, он снова стал спускаться вниз; «проехав» несколько метров, он прыгнул опять вверх на другое дерево. Снова посмотрел на подружку, она была на месте. Так прошло минут пять, прежде чем Голиаф направился в сторону бананов.

Когда он оказался на полянке у палатки, перед ним встала новая проблема: здесь не было деревьев, а с земли не видно было самочку. Трижды он выходил на полянку и снова возвращался, чтобы прыгнуть на первое попавшееся дерево и снова проверить, не исчезла ли подруга. Она была на месте. И вот у Голиафа, видимо, созрело решение – он галопом кинулся к бананам. Но, оторвав всего один банан, повернулся и снова стал взбираться на дерево. Самка по-прежнему сидела на ветке. Голиафа это, видимо, успокоило. Он уже съел свой

Как видно из этого отрывка, шимпанзе-самец проявляет довольно странную нерешительность; он не может сделать выбор между бананами и самкой. Когда мы встречаем подобное поведение у человека, мы говорим о невротической неуверенности... ибо нормальный человек не имеет затруднений в подобной ситуации, а действует в соответствии с доминантой своей личности. Личность «орально-рецептивная» предпочтет еду сексу, а личность с «генитальным характером» подождет с едой, пока не удовлетворит свой сексуальный голод. И в том и в другом случае человек будет действовать, не сомневаясь и не медля понапрасну. Поскольку в случае с самцом шимпанзе мы вряд ли можем предположить наличие невроза, ответ на вопрос о причинах такого поведения надо искать у Кортланда, ибо Лавик-Гудолл, к сожалению, не ставит этих вопросов.

Кортланд великолепно описывает терпимость шимпанзе к детям и почтение к старшим, даже после того, как те уже утратили свою физическую силу. Лавик-Гудолл также обращает внимание на эту характерную черту:

Взрослые шимпанзе обычно очень терпимы в отношениях друг с другом. Самцы проявляют больше выдержки, чем самки. Типичный пример такого терпения со стороны старшего по рангу самца мы наблюдали, когда в его присутствии «юноша» вскочил на пальму и стал быстро пожирать спелые плоды. Взрослый самец не проявил ни малейшего желания согнать оттуда юнца: он тоже вскарабкался на это дерево, сел рядом с младшим и стал лакомиться плодами, срывая их с другой стороны.

Особенно поражает терпимость самцов при спаривании. Однажды удалось наблюдать такую сцену, когда семеро самцов по очереди «занимались любовью» с одной и той же самкой, ни один не проявил никаких признаков агрессивности, спокойно ожидая, когда придет его черед. Один из самцов был еще совсем юным.

О поведении горилл в естественных условиях мы читаем у Шаллера: «Обычно они

миролюбивы. Я видел, как самец проявлял некоторое подобие агрессивности в отношении самки и молоденького самца: оба случая были реакцией на попытку вторжения „пришельца“ из чужой группы. Но затем мы убедились, что даже в отношениях между разными группами агрессивность не идет дальше настойчивого разглядывания и чавканья».

Особого внимания заслуживают описания поведения шимпанзе при кормлении, которые дает Джейн Лавик-Гудолл. Вот что она пишет: «...шимпанзе почти что всеядны... Но в основном они вегетарианцы, т. е. большая часть рациона питания состоит из растений». Но были и исключения из правила. Так, Джейн Лавик-Гудолл и ее ассистент наблюдали 28 случаев, когда шимпанзе поедали мясо других млекопитающих. Лабораторный анализ кала, проводившийся систематически на протяжении пяти лет, позволил установить следы от 36 различных млекопитающих, кроме тех, кого они видели воочию в процессе их пожирания. Много чрезвычайных случаев описала наблюдательная исследовательница. Например, трижды она своими глазами видела, как самец шимпанзе поймал и убил молодого павиана, а один раз – краснозадую обезьяну, предположительно женского пола. Кроме того, она обнаружила и описала поведение группы шимпанзе из 50 особей, которые съели за 45 месяцев 68 млекопитающих (преимущественно приматов), т. е. в среднем по полторы «штуки» в месяц.

Эти цифры подтверждают приведенное выше суждение исследовательницы о том, что в основном пища шимпанзе состоит из растений и что мясная пища – исключение. Но в своей научно-популярной книге «В тени человека»^[116] писательница пишет, что они с мужем «часто видели шимпанзе, пожирающих мясо», не приводя при этом никаких количественных данных, из которых можно было бы сделать вывод о сравнительной частоте употребления мяса. Я специально привлекаю внимание читателей к данному противоречию популярной писательницы, поскольку после 1971 г. в многочисленных публикациях других авторов указывалось на «хищный» характер шимпанзе, при этом ссылки делались на данные исследований Джейн Лавик-Гудолл. А на самом деле, как считает большинство специалистов, шимпанзе является всеядным существом, хотя преимущественно потребляет растительную пищу. А то, что иногда (явно редко) они едят мясо, не делает их ни мясоедами, ни тем более хищниками. Поэтому употребление этих слов «хищник», «мясоед») есть лишь попытка обосновать и извинить тот факт, что человек от природы деструктивен.

Проблема территории и лидерства

Распространенное представление об агрессивности животных в значительной мере возникло под влиянием понятия «территориальные претензии». Роберт Ардри своими книгами «Территориальный императив» и «Адам и его окружение» произвел такое огромное впечатление на широкого читателя, что никто теперь не сомневается, что человек унаследовал инстинкт охраны территории от своих дочеловеческих предков. И этот инстинкт многие преподносят нам как один из главных источников агрессивности и человека, и животного. Люди любят проводить аналогии, и многим очень удобной кажется идея, что причина войн также коренится во власти именно этого инстинкта.

Данная идея по многим причинам оказалась совершенно неприемлемой. Прежде всего есть много видов животных, у которых инстинкт охраны территории не зафиксирован. Дж. Скотт утверждает, что «этот защитный инстинкт проявляется лишь у высокоразвитых видов – у членистоногих и позвоночных, и то довольно хаотично». Другие исследователи «склонны считать», что так называемая защита территории – выдумка, на самом деле это фантастическое название для обычной поведенческой реакции на чужака, с элементами дарвинизма и антропоморфизма XIX в. А для доказательства этой гипотезы необходимы более развернутые систематические исследования.

Н. Тинберген различает территориальный инстинкт вида и индивида. «Я уверен, что

территорию выбирают по признакам, на которые животное ориентировано генетически. Это проявляется в том, что животные одного вида (или одной и той же популяции) выбирают себе среду обитания, соответствующую одному и тому же типу. Что касается отдельной особи и ее связей со своей территорией (со своим „гнездом“, жилищем, местом выращивания потомства), то эти связи вырабатываются в процессе обучения».

При описании жизни приматов мы уже видели, что территории разных видов часто перекрещиваются. И если мы можем чему-то научиться, наблюдая человекообразных обезьян, так это тому, что различные группы приматов достаточно спокойно относятся к своей территории и что они не дают никаких оснований к тому, чтобы переносить на них образцы человеческого общества, которое ревностно охраняет свои границы и силой преграждает путь вторжению любого «чужака». Гипотеза о том, что принцип территориальности стал основой агрессивности, ошибочна и еще по одной причине. Ведь защита собственной территории предполагает выполнение функции уклонения от серьезных сражений, которые были бы неизбежны, если бы на территорию проникало так много посторонних особей, что вызывало бы перенаселение. На самом деле угрожающее поведение, которое принято квалифицировать как «территориальную агрессивность», является всего лишь инстинктивной программой поведения, направленной на равномерное распределение жизненного пространства и тем самым – на сохранение мира. Эта инстинктивная программа животного выполняет ту же самую функцию, что и правовое регулирование у человека. И потому, когда появляются другие, символические методы обозначения территориальных границ, предупреждающие, что «Вход воспрещен!», – инстинкт становится излишним. И конечно, не стоит забывать, что большая часть войн была развязана ради получения преимуществ какого-либо рода, а не ради охраны границ от угроз нападения (если не брать всерьез подстрекателей войны).

Не менее ошибочны и популярные в широких кругах представления о понятии лидерства. Многие животные виды (хотя и не все) живут иерархически организованными группами. Наиболее сильный самец доминирует (является лидером); он раньше других самцов получает пищу, сексуальные и другие радости, например, ему первому чешут шерсть и выбирают блох...^[117]

Однако лидерство, как и территориально-охранительный инстинкт, встречается вовсе не у всех животных, да и у позвоночных и млекопитающих – тоже нерегулярно. Что касается лидерства у приматов, то здесь существуют большие различия между видами: так, у макак и павианов наблюдается довольно развитая, строго иерархическая система, а у человекообразных обезьян иерархия представлена менее четко. Вот что пишет о горных гориллах Шаллер:

110 раз я наблюдал взаимодействия, явно носящие характер иерархии с лидером во главе. Положение лидера обнаруживалось чаще всего в мелочах: ему уступали дорогу при входе, оставляли лучшее место или же он сам выбирал это место и «сгонял» с него нижестоящего самца. Для доказательства своего доминирующего положения горилла не предпринимает почти никаких действий. Обычно нижестоящий просто уходит с дороги при приближении лидера, или достаточно бывает одного взгляда последнего в его сторону. Самый явный жест лидера – это легкое похлопывание нижестоящего животного тыльной стороной ладони по плечу.

А братья Рейнольде в отчете о поведении шимпанзе в лесах Будонго сообщают следующее:

Если и были какие-то различия в статусе между отдельными шимпанзе, то они составляли, может быть, какую-то долю процента от остальных моделей наблюдаемого поведения. Мы не встречали признаков линейной иерархии ни среди самцов, ни среди самок; мы не видели, чтобы кто-то из самцов имел исключительные права на бегущую самку, и постоянного лидера в группе тоже не обнаружили.

Т. Роуэлл в книге о павианах высказывается против общей концепции лидерства. Он утверждает, что «иерархическое поведение тесно связано с возникающими стрессовыми ситуациями различного рода; в подобных ситуациях нижестоящее по иерархии животное первым проявляет неблагоприятные психологические симптомы (например, более слабую выносливость в случае болезни). И коль скоро иерархическую структуру (ранг) определяет подчиненное поведение, а не доминирующее, как это принято считать, то можно рассматривать стресс как фактор, влияние которого зависит от индивидуальной конституции животного, и тогда понятно, что стресс одновременно вызывает такие изменения в поведении (покорность), которые и определяют установление иерархической социальной организации».

На основании своих исследований Роуэлл пришел к убеждению, что «иерархическая система устанавливается и сохраняется главным образом благодаря проявлениям покорности нижестоящих животных, а не как результат целенаправленных действий вышестоящих по укреплению своего лидерства».

Сходную мысль мы обнаруживаем у В. А. Мэзона, который вел наблюдения за шимпанзе.

Я хочу заметить, что выражениями «лидерство» и «подчинение» просто принято обозначать тот факт, что шимпанзе часто относятся друг к другу, как пугливые к пугающим. Конечно, можно предполагать, что внутри группы более крупные, сильные, неутомимые и воинственные особи (которые любого могут утешить) имеют в целом групповой лидерский статус. Может быть, это объясняет тот факт, что на воле взрослые самцы обычно занимают командное, доминирующее положение по отношению к взрослым самкам, которые, в свою очередь, «командуют» молодыми. Но, кроме этих наблюдений, ничто больше не доказывает, что абсолютно все шимпанзе живут в иерархически организованных структурах. И тем более нет убедительных доказательств того, что у животных существует самостоятельное стремление к социальному лидерству. Шимпанзе отличаются своенравием, они импульсивны и жадны, и уже эти черты дают достаточно оснований для развития отношений лидерства—подчинения (так что вряд ли есть необходимость искать еще какие-то собственно социальные мотивы формирования иерархической структуры).

Таким образом, лидерство—подчинение следует считать всего лишь одним из аспектов взаимоотношений между двумя индивидами, а в социальных отношениях — естественным сопутствующим явлением.

Итак, на лидерство, если оно вообще имеет место, распространяется тот же самый вывод, который я сделал в отношении проблемы территориальности. Оно имеет функцию сохранения мира и единства в группе и препятствует ссорам, грозящим перейти в серьезную схватку. Человек, у которого этот инстинкт отсутствует, заменяет его договорами, правилами приличий и законами. Человек часто описывал иерархическую организацию животных как пародию на свою собственную систему: «властвующий босс» ведет себя как вождь, освещая своим блеском всех нижестоящих. Это правда, что у обезьян авторитет лидера часто держится на страхе, который он внушает другим членам стаи. Но у человекообразных (какими являются шимпанзе) авторитет вожака часто опирается вовсе не на страх перед наказанием со стороны сильнейшего, а на его компетентность и умение повести за собой всю стаю. Мы уже приводили пример из книги Корт-ланда, когда старый седовласый шимпанзе, благодаря опыту и мудрости, играл роль лидера, несмотря на физическую слабость.

Какое бы место ни занимало лидерство в жизни животных, ясно одно: право на эту роль лидер должен заслужить и постоянно подтверждать — это значит, что он снова и снова должен доказывать сородичам свое превосходство в силе, уме, ловкости или других качествах, которые сделали его лидером.

Хитроумный эксперимент Дельгадо с маленькими обезьянами показал, что лидер утрачивает свое доминирующее положение, если он хоть на мгновение потеряет те качества, которыми отличался от других.

Зато в человеческой истории все наоборот: как только в обществе был легитимирован

институт лидерства, которое не опирается на личную компетентность, стало необязательным, чтобы властвующий (вождь) постоянно проявлял свои выдающиеся способности; более того – пропала необходимость, чтобы он вообще был наделен какими-либо выдающимися качествами. Социальная система воспитывает людей таким образом, что они оценивают компетентность лидера по званию, униформе или еще бог знает по каким признакам; и пока общество опирается на подобную символику, средний гражданин не осмелится даже усомниться в том, что король не голый.

Агрессивность других млекопитающих

Не только приматы малоагрессивны, но и другие млекопитающие, хищники и нехищники, проявляют не столь высокий уровень деструктивности, как следовало бы ожидать, если бы гидравлическая теория Лоренца была верна.

Даже у наиболее агрессивных – крыс – агрессивность не достигает того уровня, на который нас настраивают примеры Лоренца. Салли Каригар привлекает наше внимание к другому эксперименту с крысами, который (в отличие от эксперимента Лоренца) четко показывает, что суть дела надо искать не во врожденной агрессивности крыс, а в определенных внешних обстоятельствах, от которых зависит большая или меньшая степень разрушительного характера отдельной особи.

После Лоренца Штайнигер проделал следующий эксперимент. В огромный загон он посадил подвальных крыс, собранных из разных мест, создав им почти естественную среду обитания. Сначала было такое впечатление, что отдельные особи побаиваются друг друга; у них не было воинствующих настроений, но при случайных встречах они могли покусать друг друга, особенно если их сгоняли к одной стене и они торопились, налетая друг на друга^[118].

Крысы у Штайнигера вскоре разбились на два лагеря и начали кровавую битву; бой был смертельным, пока не осталась одна-единственная пара. Их дети и внуки создали большую семью (или социум), которая уничтожала любую чужую крысу, запущенную в их среду обитания.

Одновременно и параллельно с этим экспериментом Джон Б. Колхаун из Балтимора также изучал поведение крыс. Первоначальная популяция Штайнигера состояла из 15 крыс, а Колхаун взял 14 крыс, также чужих, не связанных друг с другом. Но их загон был в 16 раз больше, чем у Штайнигера, и вообще лучше обустроен. Например, в нем были норы, лазы и другие убежища, которые бывают в естественных условиях жизни крыс.

27 месяцев шло наблюдение из башни, установленной в середине загона, и все факты подробно записывались в дневник. После нескольких стычек в период обживания пространства все крысы разделились на две большие семьи и никто больше не пытался ущемить другого. Нередко кое-кто начинал без причины бегать взад-вперед, а у некоторых это случалось так часто, что приходилось «охлаждать их пыл»^[119].

Выдающийся исследователь агрессивности животных Дж. П. Скотт писал, что в противоположность позвоночным членистоногие очень агрессивны. Это доказывается на примере жесточайших схваток между омарами, а также на многочисленных примерах коллективно живущих насекомых, у которых самки набрасываются на самцов и поедают их (как у некоторых видов пауков, а также у ос и др.). Среди рыб и рептилий также часто встречаются агрессоры. Вот что пишет Скотт:

Сравнение физиологических оснований агрессивного поведения животных дает интересные результаты; главный вывод состоит в том, что первичный стимул к бою поступает извне – а это означает, что не существует никаких спонтанных внутренних стимулов, которые побуждали бы животное к нападению, независимо от условий его

окружения. Следовательно, «агонистическое» поведение характеризуется совершенно иными специфическими факторами (физиологическими и эмоциональными), чем сексуальное поведение или поведение, связанное с приемом пищи...

В естественных условиях жизни животных вражда и агрессия в смысле *деструктивного, трудно корректируемого сопернического* поведения практически не встречаются (Курсив мой. – Э. Ф.).

А в отношении специфической проблемы внутренней спонтанной стимуляции агрессивности, которую провозгласил К. Лоренц, у Скотта мы читаем:

Все добытые в исследованиях данные указывают, что у более высокоразвитых позвоночных, включая человека, источник, стимулирующий агрессивность, находится снаружи; и нет никаких доказательств существования спонтанной внутренней стимуляции. Эмоциональные и физиологические процессы, состояния организма лишь усиливают и продлевают реакцию на стимул, но сами ее не вызывают^[120].

Есть ли у человека инстинкт «Не убивай!»?

Одним из важнейших звеньев в цепи рассуждений Конрада Лоренца о человеческой агрессивности является его гипотеза о том, что у человека, в отличие от хищника, нет никаких инстинктивных преград против убийства себе подобных; в объяснение этому он предполагает, что человек, как и все прочие нехищники, не располагает опасным естественным оружием (как когти, яд и другие средства) и потому внутреннее противостояние убийству ему было не нужно; и лишь создание искусственного оружия поставило в повестку дня вопрос о том, что отсутствие инстинкта «Не убивай!» представляет серьезную угрозу для мира. Однако надо проверить эту гипотезу. Действительно ли у человека нет внутренних преград против убийства?

Человек на протяжении своей истории так часто убивал, что на первый взгляд действительно трудно представить, что какие-то преграды убийству вообще существуют. Поэтому вопрос надо сформулировать более корректно: есть ли у человека нечто внутри, что мешает ему убить живое существо (человека или животное), с которым он более или менее знаком или связан какими-нибудь эмоциональными узами, т. е. кого-то не совсем «чужого».

Есть много доказательств того, что на этот вопрос следует ответить утвердительно: да, у человека есть такое внутреннее «Не убивай!», и доказано, что акт убийства влечет за собой угрызения совести.

Нет сомнения, что в формировании внутренней преграды к убийству определенную роль играет человеческая привязанность к животным и сочувствие к ним; это легко подметить в повседневной жизни. Очень многие заявляют, что не в состоянии убить и съесть животное, которое они вырастили и полюбили (кролика, курицу и т. д.). Есть люди, которым подобная мысль кажется отвратительной (убить и съесть), но те же самые люди, как правило, спокойно и с удовольствием съедят такое животное, если не были с ним знакомы. Так что существует еще и другой вид преграды к убийству животного: трудно убить его не только в том случае, когда есть какая-то личная связь с ним, но и в том, когда человек идентифицирует его просто с живым существом^[121].

Возможно, что возникает осознанное или неосознанное чувство вины в связи с разрушением жизни, особенно если убитое животное до этого было нам знакомо, – эта тесная связь с животным и потребность проститься проявляется весьма ярко в ритуальном культе медведя у охотников эпохи палеолита. Чувство единства всего живого нашло выражение в нравственном сознании индийцев, а затем и в известной заповеди индуизма, запрещающей убивать животных.

Не исключено, что внутренний запрет на убийство человека также опирается на

ощущение общности с другими людьми и сочувствие к ним. И здесь не следует забывать, что примитивный человек не идентифицировал себя с «чужим» (т. е. с индивидом, не принадлежавшим к его группе), он в нем не видел собрата, а воспринимал его как «что-то постороннее». Поэтому в примитивных обществах, как известно, убить своего, члена своей группы – это было тяжелейшее нравственное испытание, никто на это не соглашался; здесь одна из причин, по которой даже за тяжелейшее преступление человека не убивали, а изгоняли из общества. (Пример тому дает наказание Каина в Библии.)

Но нам нет необходимости ограничивать себя примерами из жизни примитивных народов. Даже в высокоцивилизованной культуре Древней Греции рабы не считались людьми в полном смысле слова.

И такой же феномен имеет место в современном обществе. В период войны каждое правительство пытается вызвать в своем народе такое отношение к врагу, как к «нечеловеку». Их называют кличками, приклеивают ярлыки. Так, в первую мировую войну англичане в пропаганде называли немцев «гуннами», а французов – «бошами». Такое отмежевание от врага достигает своей высшей точки, когда у противника – другой цвет кожи. Массу примеров этому мы находим во вьетнамской войне, когда американские солдаты чаще всего не испытывали никакого сочувствия к вьетнамцам, называли их «gooks» и даже слово «убивать» заменили на слово «устранить». Лейтенант Келли, который обвинялся в уничтожении десятков мирных жителей (стариков, женщин и детей) и был признан виновным, заявил в свое оправдание, что он и не считал вьетнамцев людьми, что никто его не учил видеть в солдатах «Вьетконга» человеческие существа, что в армии существовало лишь понятие «противник». Является ли такой аргумент достаточным оправданием – уже не наш вопрос. Ясно одно: это сильный аргумент, потому что он правдив и выражает основное отношение американских солдат к вьетнамским крестьянам. То же самое делал Гитлер, когда обозначал политических противников словом «Untermenschen» (низшие, люди второго сорта).

Итак, это стало почти правилом: чтобы облегчить своим воинам душу и дать им «право» на уничтожение противника, им прививают чувство отвращения к нему, как к «не-человеку».

Другой способ «деперсонализации» человека – это разрыв всех активных отношений с ним. Такое случается постоянно, когда речь идет о психической патологии, но ведь то же самое может случиться и с человеком, который не болен. В этом случае объектом агрессии может стать кто угодно; агрессору это безразлично, он просто эмоционально отделяет себя от него. Другой перестает быть для него человеком, а становится «предметом с другой стороны», и при этих обстоятельствах исчезает преграда даже для самой страшной формы деструктивности. Клинические исследования часто подтверждают гипотезу, что деструктивная агрессивность в большей части случаев бывает связана с хронической или секундарной атрофией чувств. Каждый раз, когда другое человеческое существо перестает восприниматься как человек, может иметь место акт жестокости или деструктивности в любой форме. Вот простой пример. Если бы индуист или буддист (искренне и глубоко верящий и чувствующий сопричастность ко всему живому) увидел, как обычный современный человек, не моргнув глазом, убивает муху, он мог бы оценить это поведение как акт настоящей бесчувственности и деструктивности. Но он был бы при этом не прав. Ибо люди чаще всего не считают муху чувствующим существом и потому воспринимают ее как противную «вещь», помеху. Такие люди не являются жестокими, хотя и имеют, быть может, ограниченные представления о «живых существах».

VII. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Является ли человек особым видом?

Нельзя забывать, что данные Конрада Лоренца имеют отношение к внутривидовой агрессивности, т. е. сам Лоренц имеет в виду вражду между животными одного и того же вида. Тогда возникает вопрос: можем ли мы быть уверены, что в межличностных отношениях люди действительно чувствуют себя как «собратья» по виду и потому проявляют реакции, определенные генетическим кодом как «реакции на представителя своего вида»? Или же все обстоит совсем иначе? Разве мы не знаем, что у примитивных народов любой человек из другого племени или даже из соседней деревушки считался совершенно чужим, почти нечеловеческим существом и не заслуживал никакого сочувствия? Только в процессе социальной и культурной эволюции расширилось число тех, кого принято считать живыми существами. Так что явно есть основания полагать, что человек вовсе не считает представителями своего вида всех себе подобных, ибо способность распознать в другом существе человека не дана ему от рождения; инстинкты и безусловные рефлексы не помогают ему мгновенно распознать собрата, как это делают животные (по запаху, цвету или форме тела). А ведь эксперименты показывают, что даже животные иногда ошибаются в таких случаях.

Именно потому, что человек хуже всех живых существ вооружен инстинктами, ему не так легко удастся распознать, идентифицировать своих братьев, как животных. Для него играют роль другие признаки – речь, одежда, обычаи и нравы. То есть отделить «своего» от «чужого» человеку позволяют критерии скорее психического, чем физического, характера. Следствием этого становится тот парадокс, что ввиду отсутствия соответствующего инстинкта у человека вообще слабо развито «чувство рода», «сопричастности», «братства», ибо чужого он ощущает как представителя другого биологического вида. Иными словами, сама принадлежность к человеческому роду делает человека таким бесчеловечным.

Если эти рассуждения верны, то теория Лоренца «трещит по швам», ибо все ее утонченные конструкции и умозаключения имеют в виду агрессивные взаимодействия между членами одного и того же биологического вида. А в таком случае перед нами стояла бы совсем другая проблема – проблема врожденной агрессивности живых существ по отношению к представителям других видов. Но в смысле этой межвидовой агрессивности существуют неопровержимые и многочисленные доказательства, что она не имеет генетической программы и проявляется у хищников лишь в тех случаях, когда животное чувствует опасность. Может быть, тогда стоит поддержать гипотезу о генетической связи человека с хищниками? Что лучше звучит: «человек человеку – овца» или «человек человеку – волк»?

Является ли человек хищником?

Что указывает на наличие у человека хищников-предков? Первый человекообразный (Hominid), которого мы могли бы отнести к своим предкам, – это рамапитек, живший более 14 млн. лет тому назад в Индии^[122]. По форме черепа рамапитек близок к другим гоминидам и гораздо больше похож на человека, чем на современную человекообразную обезьяну. И хотя мы знаем, что он не был чистым вегетарианцем, а в дополнение к растительному рациону потреблял также и мясо, тем не менее вряд ли кому придет в голову считать его хищником.

Самые ранние человекообразные останки, которые нам известны по рамапитеку, принадлежали виду *Australopithecus robustus* и более развитому *Australopithecus africanus*, которого нашел Раймонд Дарт в Южной Африке в 1924 г.; считается, что его возраст – более двух миллионов лет. Этот австралопитек стал предметом многочисленных споров. Большинство палеоантропологов согласилось, что все австралопитеки являются гоминидами, хотя некоторые, например Пилбим и Симоне, полагают, что в случае с *Australopithecus africanus* речь уже идет о первом человеке.

В дискуссии об австралопитеках огромную роль играет тот факт, что они уже применяли орудия труда, а это является главным доказательством того, что речь идет о человеке или, по крайней мере, о его предке. Правда, Льюис Мэмфорд очень убедительно настаивает, что для идентификации человека, как такового, недостаточно обнаружить орудия труда и что эта ошибочная точка зрения, скорее всего, связана с нашей современной переоценкой роли техники. После 1924 г. были обнаружены новые останки, но по вопросу об их классификации среди ученых так же мало единства, как и по вопросу о том, был ли австралопитек мясоедом-охотником или производителем орудий труда^[123]. И все же мнение большинства исследователей совпадает в одном: что австралопитек был всеядным, о чем свидетельствует разнообразие его пищи. Кэмпбелл приходит к выводу, что австралопитек ел все: рептилий, птиц, маленьких млекопитающих (например, грызунов), червей и фрукты. Он раздирал маленьких животных, которых мог добыть без оружия (и без специальных усилий). Охота же предполагает совместные усилия, наличие соответствующей техники, следы которой относятся к гораздо более позднему времени; и с этим временем как раз совпадает появление человека в Азии (около 500 тысяч лет до н. э.).

Однако был ли австралопитек охотником или не был, это не может изменить того безусловного факта, что гоминиды (как и их предки из человекообразных обезьян) не были хищниками с физиологическими и морфологическими признаками хищных мясоедов (как волки или львы). Но, несмотря на бесспорные факты, кое-кто из ученых предпринял попытку представить австралопитека как своего рода палеонтологического «Адама», который привнес в человеческий род первородный грех деструктивности; эту идею отстаивает не только склонный к драматизму Ардри, но и такой серьезный исследователь, как Д. Фриман, который говорит об австралопитеках как об этапе «приспособления к мясоедству, кровопролитию, а также к хищническим, каннибальским наклонностям и привычкам... Так, палеоантропология в последнее десятилетие создала филогенетические основания для выводов, о которые споткнулись психоаналитики в своих исследованиях человеческой природы». И в заключение Фриман подводит итог: «В целом антропологи могут согласиться, что натура человека, а в конечном счете и вся человеческая цивилизация своим существованием обязаны необходимости приспособляться к хищникам, как это имело место с австралопитеком-мясоедом в Южной Африке в период плейстоцена».

В дискуссии, которая развернулась после его сообщения, Фриман несколько утратил свою уверенность, говоря: «В свете новых палеоантропологических открытий возникла гипотеза, что некоторые аспекты человеческой натуры (в том числе, вероятно, жестокость и агрессивность) находятся в какой-то связи со специфически хищнической адаптацией к мясоедству, которая была характерна для эволюции гоминидов, а в период плейстоцена имела решающее значение. Эта гипотеза, по-моему, заслуживает серьезной проверки (и именно научной, а не эмоциональной аргументации), ибо она касается вещей, о которых мы пока еще почти ничего не знаем» (Курсив мой. – Э. Ф.). То, что в докладе фигурировало как факты (которые с точки зрения палеоантропологии позволяют делать ретроспективные выводы о человеческой агрессивности), в дискуссии превратилось в довольно скромную «гипотезу, которая заслуживает проверки».

Исследования такого рода с самого начала имели недостаточную точность и ясность из-за смешения понятий «хищник», «мясоед», «охотник» и других, по поводу которых Фриман и многие другие авторы допускали массу путаных рассуждений."

В зоологии понятие «хищник» имеет строгую научную дефиницию. К ним относятся семейства кошачьих, гиен, собак и медведей; их признаки – сильные клыки, а также острые когти. Хищник добывает себе пропитание, убивая и поедая других животных. Его поведение генетически запрограммировано, а обучение играет второстепенную роль. Кроме того, агрессивность у хищников имеет, как уже упоминалось, совершенно иную неврологическую

основу, нежели защитная (оборонительная) агрессивность^[124].

Хищники едят только мясо. Но не все мясоеды – хищники. Поэтому всеядные, которые едят и растительную, и мясную пищу, не относятся к разряду *Carnivora*. И Фриман отдает себе отчет в том, что понятие «употребляющий в пищу мясо» в отношении поведения гоминидов имеет совершенно иное значение, чем по отношению к тем видам, которые принадлежат к разряду *Carnivora* (Курсив мой. – Э. Ф.). Но тогда зачем называть гоминидов мясоедами вместо того, чтобы отнести их к всеядным? А смешение понятий ведет к тому, что в голове читателя возникает следующее отождествление: тот, кто ест мясо, = мясоед = хищник.

Следовательно, гоминидный предок человека был хищником, который был наделен агрессивным рефлексом в отношении всех живых существ, включая человека. Следовательно, человеческая деструктивность имеет генетическое (врожденное) происхождение, и Фрейд был прав. *Quod erat demonstrandum!*^[125]

Наши знания об австралопитеке не идут дальше того, что он был всеяден, что в его рационе более или менее важную роль играло мясо, для добывания которого он убивал маленьких животных. Однако питание мясом еще не превращает животное (в том числе гоминида) в хищника. Кроме того, в последнее время большинство специалистов (в том числе и сэр Джулиан Хаксли) признали тот факт, что способ питания (растительный или мясной) не имеет никакого отношения к проблеме возникновения агрессии.

Во всяком случае, нет ни единого основания считать, что ответственность за «хищнические» наклонности человека можно возложить на гены австралопитека, ибо не доказан ни тот факт, что у него самого были инстинкты хищника, ни тот, что именно он является предком человека.

VIII. АНТРОПОЛОГИЯ^[126]

В этой главе я поместил подробнейший материал о представителях человечества разных времен и народов: от примитивных охотников и собирателей до современных инженеров, от земледельцев эпохи неолита до представителей урбанистических цивилизаций XX в. Таким способом я решил предоставить читателю возможность самому судить, что верно, а что нет, подтверждают ли данные исходный тезис: чем примитивнее человек, тем он агрессивнее. Во многих случаях речь идет об открытиях младшего поколения антропологов, сделанных в последнее десятилетие, и это очень важно подчеркнуть, ибо большинство дилетантов довольствуется устаревшими и весьма противоречивыми представлениями по этим вопросам.

«Человек-охотник» – это ли Адам антропологии?

Если ответственность за врожденную агрессивность человека нельзя возложить на хищнический характер гоминидов, то, быть может, существует какой-нибудь человеческий предок – доисторический Адам, несущий ответственность за «грехопадение» человека? Эту идею выдвинул и свято в нее верит Уошберн – крупнейший авторитет в этой области знания; и все сотрудники его института считают, что таким «Адамом» был человек-охотник.

Уошберн опирается на следующую предпосылку: раз человек 99% своей истории занимался охотой, то и сегодня все в нем может быть соотнесено с тем древним человеком-охотником: не только физиология, но и психология и даже привычки.

Весь наш интеллект, наши эмоции, интересы, а также основы нашей социальной жизни

124

125

126

– все это в известном и даже весьма реальном смысле является результатом эволюции и приспособления человека к процессу охоты. И когда антропологи говорят о единстве человечества, то это означает, что законы естественного отбора среди охотников и собирателей действовали повсюду одинаково, и вследствие этого популяции *Homo sapiens*, по сути дела, повсюду сохранили общие черты^[127].

Поэтому главный вопрос состоит в следующем: в чем суть «психологии охотника»? Уошберн называет ее «психологией мясоеда» и считает совершенно сложившейся к середине эпохи плейстоцена, т. е. около 500 тысяч лет назад.

Мировоззрение первых людей-мясоедов, вероятно, сильно отличалось от их вегетарианских собратьев. Вегетарианцев почти не интересовали другие животные (не считая тех, которые составляли для них угрозу), поэтому круг их знаний был невелик. А потребность в мясе заставляет зверя осваивать больше знаний, изучая привычки многих животных. Так, психология и территориальные привычки человека сильно отличаются от психологии обезьян всех видов.

За 300 тысяч лет (а может быть, этот срок гораздо больше) любопытство и агрессивность мясоеда привели к любознательности и определили его стремление к лидерству. Такая психология мясоедства уже в полной мере была развита к периоду среднего плейстоцена, и, вероятнее всего, «точкой отсчета» хищничества можно считать австралопитека.

Уошберн отождествляет «психологию мясоеда» с тягой к убийству и способностью получать от этого удовольствие. Он пишет: «Человек получает удовольствие, охотясь на других животных. И если это естественное влечение не перекрывается настойчивым и целенаправленным воспитанием, то люди получают истинную радость от охоты и убийства. Многие цивилизации (культуры) делают из пыток и страданий спектакль и развлечение для публики» (Курсив мой. – Э. Ф.).

Уошберн настаивает, что «человек обладает психологией мясоеда. И потому его легко приучить к убийству и трудно отучить убивать или развить привычку избегать убийства. Многим людям доставляет наслаждение убивать животных, смотреть на страдания других людей и т. д. Потому у многих народов распространены публичные наказания, казни, пытки».

Оба последних суждения молчаливо предполагают, что в психологию охотника входит не просто убийство, но и жестокость. Какие же, интересно, аргументы приводит Уошберн в доказательство якобы врожденной тяги к жестокости и убийству? Один из его аргументов приравнивает убийство к спорту (при этом он говорит «убивать» из спортивного интереса, а не «охотиться», что было бы корректнее). Он пишет: «Вероятно, легче всего это доказывается тем, что человек тратит массу сил, чтобы сохранить убийство ради спортивного интереса. В былые времена король и его придворные содержали специальные парки, где проводили время, занимаясь „убийством“ для развлечения; и сегодня правительство США тратит миллионы долларов, чтобы раздобыть дичь и предоставить ее в распоряжение охотников».

Еще один подобный пример: «Люди применяют легчайшие спиннинги, чтобы продлить безнадежную битву рыбы, а рыболову продлить ощущение собственного превосходства и умения».

Уошберн многократно подчеркивает, что война имеет свою притягательную силу:

И до недавнего времени к войне относились точно так же, как к охоте. В других человеческих существах человек просто видел опасную дичь. Война в истории человека занимала слишком большое место, чтобы она не могла быть удовольствием для участвующих в ней мужчин. Лишь в новое время в свете кардинальных изменений в условиях и характере войн люди начали протестовать против этого института, как такового, заявляя о недопустимости такого пути решения политических вопросов.

И, подводя итоги, Уошберн констатирует:

О том, насколько глубоко заложена в человеке биологическая тяга к убийству и насколько эта тяга естественна для человеческой психологии, красноречиво свидетельствует опыт воспитания мальчиков и тот интерес, который они проявляют к охоте, рыбной ловле и военным играм. Ведь эти способы поведения не обязательны, но они легко усваиваются, доставляют удовлетворение и во многих культурах имеют высокий социальный статус. Проявить ловкость в убийстве и получить от этого удовольствие – такие образцы поведения прививаются детям в играх, которые готовят их к их взрослым социальным ролям.

Утверждение Уошберна о том, что жестокость и убийство доставляют многим людям удовольствие, означает только одно: существуют садистские личности и садистские цивилизации; однако это вовсе не значит, что нет других, несадистов, так что речь может идти о необходимости изучения этого феномена. Например, установлено, что садизм встречается чаще среди людей, переживающих фрустрацию, а также в социальных классах, которые чувствуют свое бессилие и получают мало радости в жизни (как это, к примеру, наблюдалось в Древнем Риме, когда низшие классы компенсировали свое социальное бессилие и материальную нищету, наслаждаясь жесточайшими зрелищами). И такой же психологический механизм определил поведение среднего класса Германии, из которого рекрутировались самые фанатичные последователи Гитлера. Садизм встречается и в среде господствующего класса, особенно когда он чувствует угрозу своему положению и своей собственности. Садистское поведение характерно и для угнетенных групп, жаждущих мести.

Но представление о том, что охота формирует потребность мучить жертву, ничем не обосновано и мало что проясняет. Как правило, охотнику страдание зверя не доставляет никакой радости, и, более того, садист, получающий удовольствие от чужих мучений, будет плохим охотником. Не соответствует действительности и утверждение Уошберна, что примитивные народы занимались охотой из садистских побуждений. Напротив, многое свидетельствует о том, что отношение охотников к убитым животным было сочувственным и что они испытывали чувство вины. Так, охотники эпохи палеолита обращались к медведю, называя его «дедушкой»; возможно, они видели в медведе своего мифического предка. Когда медведя убивали, у него просили прощения. Одним из обычаев была священная трапеза, на которой медведь был «почетным гостем», которому подносили лучшие угощения...[128]

Психология охоты и охотника нуждается в серьезном изучении, но даже в этом контексте можно сделать несколько замечаний.

Прежде всего, необходимо отличать охоту как спорт и развлечение элитарных групп (например, дворянство при феодализме) от всех других форм охоты – от первобытных охотников, крестьян, защищающих своих овец и кур, до отдельных людей, увлекающихся охотой.

«Элитарная охота» удовлетворяет лишь потребность в проявлении своей власти и известной доли садизма, характерного для властвующих элит. Из материалов о такой охоте мы скорее получаем знание о психологии: феодалов, чем о психологии охоты.

Говоря о мотивах первобытных профессиональных охотников и современных охотников-любителей, следует как минимум видеть в них два разных типа. Один уходит корнями в глубину человеческого переживания. В акте охоты человек, хоть на короткое время, чувствует себя снова частью природы. Он возвращается к своему естественному состоянию, чувствует свое единство с животным миром и освобождается от экзистенциального комплекса разорванности бытия: быть частью природы и одновременно в силу своего сознания оказаться по ту сторону природы. Когда человек «гонит зверя», то зверь становится ему своим, они как бы из одной стихии, даже если затем применение оружия разрушит это единство и покажет превосходство человека. И у первобытного человека такое переживание вполне осознанно. Он идентифицирует себя со зверем, когда передевается в его шкуру, когда видит в нем своего предка и т. д. Современному человеку

ввиду его рационально-прагматической ориентации очень трудно достигнуть состояния единства с природой и выразить его словами; но во многих людях потребность в этом ощущении еще жива.

Однако для страстного охотника на первое место выдвигается совершенно иной, хотя и столь же сильный, мотив, а именно получить наслаждение своей собственной ловкостью. В высшей степени странно, что многие современные авторы совершенно упускают из виду этот элемент и сосредоточивают внимание только на акте убийства. Но ведь для охотника важен не только навык владения оружием, но масса других умений и знаний.

Вильям С. Лафлин подробно освещает этот аспект проблемы. Его исходный тезис состоит в том, что охота – это образцовая модель поведения человеческого рода. Правда, Лафлин никогда не называет жестокость или радость убийства частью этой модели доведения, а описывает ее следующим образом: "На охоте все зависит от находчивости и сообразительности, а кто этого не имеет, тот *de facto*^[129] получает наказание. Поэтому охота сыграла такую роль в развитии человеческого рода и его сохранении в границах одного и того же (меняющегося) вида".

Лафлин делает еще одно замечание, имеющее важное значение в свете возможной переоценки роли орудий труда и оружия (для формирования агрессивности):

Охота – это определенно инструментальная система в прямом смысле слова, т. е. в этом акте выполняется целый набор предписанных действий, которые должны привести и ведут к окончательному результату. Вся техническая сторона дела, все эти копья, стрелы, топоры и многие другие предметы, выставленные в музейных экспозициях, не играют существенной роли вне контекста, в котором они применялись. Причем сам контекст важнее, чем эти предметы...^[130]

Причины совершенствования охотничьего дела следует искать не в развитии технологий, а в возрастании искусства охотника.

Хотя систематических исследований этой проблемы поразительно мало, все же многое свидетельствует о выдающихся познаниях первобытного человека в области природы. Эти познания охватывали практически весь животный мир: млекопитающие и сумчатые, рептилии и птицы, рыбы и насекомые, а также всевозможные растения – все это входило в сферу интересов древнего человека. В это время были хорошо развиты уже и знания метеорологических явлений, астрономии и многих других аспектов природы (хотя у разных народов приоритетное положение получали разные аспекты знаний...). Я хотел лишь подчеркнуть большое значение этих знаний для структуры поведения охотника, а также для человеческой эволюции в целом... Охотнику просто необходимы были знания о животных (об их физиологии, психологии и привычках); преследуя зверя, он параллельно изучал и запоминал реакции своего собственного организма. Он сначала приручил самого себя, а затем уже обратился к другим живым существам и растениям. В этом смысле охота была настоящей школой обучения всего человеческого рода.

Короче говоря, мотивом для охоты первобытных людей было не желание убивать, а желание учиться и совершенствовать свои умения и навыки, т. е. саморазвитие человека^[131]. Аргументация Уошберна, апеллирующая к детским играм в войну и охоте, упускает из виду тот факт, что дети вообще восприимчивы к любым формам деятельности, принятым данной культурой. И считать, что интерес к общепринятым образцам поведения доказывает врожденную радость убийства, – значит продемонстрировать завидную наивность в вопросах социального поведения. Кроме того, следует напомнить, что есть целый ряд видов спорта (от борьбы на мечах дзэн до фехтования, дзюдо и карате), где главная заслуга и радость победы состоят не в том, чтобы убить партнера, а именно в том, чтобы продемонстрировать (развернуть) все свои возможности и умения.

129

130

131

Не выдерживает критики и другое утверждение Уошберна и Ланкастера: что каждое человеческое сообщество якобы считало допустимым и желательным убивать представителей других сообществ. Это всего лишь повтор известного клише, взятого из работы Фримана. Как мы увидим далее, на самом деле для первобытных охотников характерны были бескровные войны, целью которых вовсе не было убийство противников. А утверждать, что возмущение институтом войны началось лишь недавно, – значит оставлять без внимания один крупный раздел в истории философии и религии – учение пророков.

Мы, безусловно, отрицаем аргументы Уошберна, но все-таки остается один вопрос: чему могла научить человека охота, какие образцы поведения он вынес для себя из охотничьей жизни. Очень похоже, что именно из охотничьей жизни человек унаследовал такие две модели поведения, как кооперация и распределение. Кооперация (объединение) была практической необходимостью в большинстве охотничьих обществ, и то же самое относится к разделению пищи. В большинстве климатических зон (за исключением Арктики) мясо не выдерживало длительного хранения, да и охота не всегда завершалась удачей. Поэтому сложился обычай делить добычу одного удачливого охотника на все племя. Если согласиться с гипотезой о том, что охотничья жизнь привела к генетическим изменениям, то придется сделать вывод, что у современного человека скорее надо искать врожденный рефлекс к кооперированию и распределению (всем поровну), чем к убийству и жестокости.

К сожалению, история «цивилизации» свидетельствует, что склонность к сотрудничеству и справедливому распределению проявляется у человека, мягко говоря, нерегулярно. И это как раз и объясняется тем, что охотничья жизнь не оставила в человеке генетических следов и рефлекс к совместному труду и распределению во многих культурах был вытеснен рефлексом безмерного эгоизма. И тем не менее еще стоит подумать, а не является ли врожденной тенденция к совместному труду, а также потребность поделиться с другими, которые можно найти во многих обществах (кроме современного индустриального). Ведь даже в условиях современной войны, когда отдельный солдат в общем не чувствует ненависти к врагу, случаи жестокости являются достаточно редкими^[132]. Характерно, что большинство людей, которые в мирной жизни не станут рисковать собой ради других или делиться куском хлеба, в условиях войны проявляют эти качества в полной мере. Можно даже пойти еще дальше и предположить, что одним из «привлекательных» факторов войны является возможность проявления тех врожденных человеческих импульсов, которые в нашем современном обществе реально считаются глупостью (хотя на идеологическом уровне эти качества и восхваляются).

Идеи Уошберна о психологии охотника – лишь один пример ангажированности исследователя в пользу теории врожденной деструктивности и жестокости. И в целом, надо сказать, в сфере социальных наук наблюдается высокая степень ангажированности, когда дело касается эмоциональных и актуальных политических проблем. Там, где задеты интересы какой-то социальной группы, объективность уступает место «классовости». А современное общество с его почти безграничной готовностью к уничтожению жизни (ради экономических или политических целей) склонно ставить под сомнение самую возможность добродетели, и потому оно с радостью поддерживает любую версию о врожденной деструктивности и жестокости (лишь бы не говорить о том, что эти качества являются продуктом социального строя).

Первобытные охотники и агрессивность

К счастью, наши знания о поведении охотников основаны не на абстрактных домыслах; мы располагаем большой информацией о примитивных охотниках и собирателях, которые живут и сегодня. И эти материалы показывают, что охота не влечет за собой ни жестокости, ни деструктивности и что примитивные народы гораздо менее агрессивны, чем их

цивилизированные собратья.

Спрашивается, можно ли эти знания использовать при анализе жизни первобытных охотников доисторического времени, по крайней мере тех, кого мы знаем как первых представителей нашего вида *Homo sapiens sapiens*, которые существовали примерно 40-50 тысяч лет назад.

К сожалению, мы очень мало знаем о людях на первой фазе их появления (в том числе о *Homo sapiens sapiens* на стадии охоты и собирательства). И многие авторы вполне справедливо предостерегают от прямых аналогий между современными примитивными племенами и их доисторическими предками. Но все же, как полагает Д. Мердок, жизнь современных примитивных охотников может пролить некоторый свет на поведение человека эпохи плейстоцена. Этот взгляд Мердока поддержали многие участники симпозиума на тему «Человек-охотник». И даже если мы не допускаем полного отождествления доисторических и современных примитивных охотников, то все равно следует признать:

1. С точки зрения анатомии и нейрофизиологии *Homo sapiens sapiens* не отличается от современного человека.

2. Наши знания о ныне живущих примитивных народах должны помочь нам разобраться по крайней мере в одной важной проблеме – во влиянии «охотничьего поведения» на социальную организацию и личность. С этой точки зрения анализируя имеющиеся данные о первобытных охотниках, мы неизбежно приходим к выводу, что многие качества, которые были приписаны природе человека, в том числе жестокость, деструктивность и асоциальное поведение, менее всего свойственны «доцивилизованному» человеку. Короче говоря, все то, что составляет суть «естественного человека» Гоббса, у первобытных людей встречается значительно реже!

Прежде чем перейти к анализу этих материалов, хочу привести еще несколько замечаний об охотниках эпохи палеолита. В частности, М. Д. Салинс пишет следующее:

В ходе селективного приспособления к опасностям каменного века человеческое общество преодолело (или оттеснило назад) склонность приматов к эгоизму, лидерству и также к жесточайшему соперничеству. На место вражды пришли кровнородственные отношения, кооперация; солидарность стала важнее сексуальности, а мораль – важнее власти. Преодоление природного начала человеческих приматов имело грандиозное значение на заре человечества, ибо оно обеспечило эволюционное будущее всего вида.

У нас есть прямые данные о жизни доисторических охотников: культ животных, в частности, говорит о том, что приписываемая им врожденная деструктивность – это чистой воды миф. Так, еще Мэмфорд обратил внимание на то, что в наскальной живописи (на рисунках в пещерах), посвященной жизни охотников, не встречается сюжет сражения между людьми^[133].

И хотя к аналогиям следует прибегать с известной осторожностью, все же данные о существующих примитивных охотниках и собирателях производят очень большое впечатление. Вот что сообщает нам крупнейший специалист в этой области Колин Тёрнбал:

У двух известных мне групп почти полностью отсутствует физическая или эмоциональная агрессивность, что объясняется отсутствием войн, вражды, наветов, колдовства или шаманства. Я также не убежден, что охота сама по себе является агрессивной деятельностью. Чтобы научиться делать что-то, надо это увидеть. А сам процесс охоты не носит агрессивного характера. И когда человек осознает, что в этом процессе он истощает природные ресурсы, он фактически сожалеет о совершаемом «убийстве». И кроме того, при убийстве такого типа нередко наблюдается явное сочувствие. Лично я из общения с охотниками вынес впечатление, что это очень дружелюбные люди и что, бесспорно, суровый образ жизни, который они ведут, вовсе не позволяет делать вывод об их агрессивности^[134].

Никто из участников дискуссии не смог возразить Тёрнбалу. Самое подробное

изложение антропологических данных о примитивных охотниках и собирателях мы находим в работе Э. Р. Сервиса «Охотники». В этой монографии рассмотрены все подобные общности за исключением оседлых групп на северо-западном побережье Северной Америки, которые жили в особо благоприятных условиях (с точки зрения природы). Не вошли в монографию также такие объединения охотников и собирателей, которые вымерли после контакта с цивилизацией, и притом так быстро, что мы располагаем весьма ограниченными знаниями о них^[135].

Главный признак племени охотников и собирателей – это их кочевой образ жизни, обусловленный способом добычи пропитания и ведущий к слабой интеграции семейных связей внутри социальной группы (племени). В отличие от цивилизованного человека (которому необходимы дом, машина, электричество, одежда и т. д.) у примитивных охотников потребности минимальные: «пища и минимум предметов домашнего обихода».

В каждой семье работа распределяется сообразно возрасту и полу, но постоянного разделения труда нигде не наблюдается. Пища состоит частично из мяса (вероятно, на 1/4), а основную часть составляют семена, корни, фрукты, орехи и ягоды; их собирают женщины. Меггит пишет: «Преобладание растительной пищи – один из главных признаков хозяйственной жизни охотников, рыболовов и собирателей». Только эскимосы питаются исключительно мясом и рыбой, причем рыбу ловят чаще всего женщины.

Для охоты мужчины объединяются, что является естественным следствием весьма низкой технической оснащенности племенных общностей. «Ввиду простоты технологий и необходимости контроля за окружающей средой многие охотничьи племена имеют в буквальном смысле слова очень много свободного времени». Об экономических отношениях Сервис пишет следующее:

По опыту своей собственной экономической системы мы привыкли считать, что человеческие существа имеют «естественную склонность к торговле и спекуляции». Мы считаем, что отношения между индивидами или группами строятся на принципе получения максимальной прибыли при посредничестве («дешево купить и дорого продать»). Однако примитивным народам это совершенно несвойственно, скорее наоборот. Они «отказываются от вещей», восхищаются щедростью, рассчитывают на гостеприимство и осуждают бережливость, как эгоизм.

Но самое удивительное состоит в том, что чем труднее их положение (чем больше ценность или дефицит товаров), тем меньше они «экономят» и тем больше поражают своей щедростью. Мы в этом случае имеем в виду формы обмена между людьми, живущими внутри одной общности и находящимися в каких-то родственных связях. В такой социальной общности гораздо теснее поддерживаются узы родства, которыми охвачено значительно больше людей, чем в нашем обществе. Если провести сравнение этих отношений с принципами жизни современной семьи, то мы увидим разительный контраст. Хотя мы «кормим» своих детей, не так ли? Мы «помогаем» нашим братьям и «заботимся» о престарелых родителях. А другие делают то же самое по отношению к нам...

Тесные социальные связи в целом обуславливают дружелюбные чувства, правила приличия в семейной жизни, а нравственная заповедь щедрости определяет способ отношения к вещам, которые играют (сравнительно с нами) малозначительную роль в жизни индивида и племени. Антропологи сделали попытку обозначить такой тип взаимодействия словами «чистый подарок» или «добровольный дар», чтобы подчеркнуть, что речь идет не о сделке, а о таком обмене, в основе которого лежит чувство совсем иного рода, чем в ситуациях торговли. Но эти обозначения не отражают подлинного характера подобного взаимодействия, а, может быть, даже вводят в заблуждение.

Петер Фройхен однажды получил от эскимоса кусок мяса и сердечно поблагодарил его в ответ. Охотник, к удивлению Фройхена, явно огорчился, а старый человек объяснил европейцу, что «нельзя благодарить за мясо. Каждый имеет право получить кусок. У нас не

принято быть в зависимости от кого-либо. Поэтому мы не дарим подарков и не принимаем даров, чтобы не оказаться в зависимом положении. Подарками воспитывают рабов, как кнутом воспитывают собак». Слово «подарок» носит оттенок «умиротворения, убажания, задабривания», а не взаимности. А в племенах охотников и собирателей никогда не произносят слов благодарности, поэтому неприлично назвать кого-либо «щедрым», когда он делится добычей со своими товарищами по стойбищу. В других ситуациях можно назвать его добрым, но не в том случае, когда он делится с другими пищей. Так же точно воспринимаются и слова благодарности, они производят обидное впечатление, словно человек и не рассчитывал на то, что с ним поделятся. Поэтому при подобных обстоятельствах уместно похвалить человека за ловкость в охоте, а не делать намеков на его щедрость.

Особенно большое значение (с экономической и психологической точки зрения) имеет вопрос о собственности. Одно из самых расхожих представлений по этому поводу состоит в том, что любовь к собственности – это врожденная и сущностная черта человека. Но обычно при этом происходит смешение понятий: индивидуальная собственность на орудия труда и личные вещи и частная собственность на средства производства, которая является основой эксплуатации чужого труда. В индустриальном обществе средства производства в основном составляют машины и капитал, вложенный в машинное производство. А в примитивных обществах средства производства – земля и охотничьи угодья.

У примитивных племен никому не закрыт доступ к природным ресурсам – у них нет владельца...

Природные ресурсы, которые находятся в распоряжении племени, представляют коллективную или коммунальную собственность в том смысле, что в случае необходимости вся группа встанет на защиту этой территории. А внутри племени все семьи имеют равные права на свою долю собственности. Кроме того, соседние племена также могут по желанию охотиться на этой территории. Ограничения, видимо, касаются лишь плодоносных деревьев (с фруктами и орехами). Такие деревья обычно закрепляются за отдельными семьями данного племени. Но практически этот факт скорее свидетельствует о разделении труда, чем о разделе собственности, ибо такая мера должна предостеречь от пустой траты времени и сил, которая могла иметь место, если рассредоточенные по большой территории семьи устремились бы все к одному пункту сбора плодов. Ведь плодовые деревья, в отличие от дичи и дикорастущих ягод и трав, имеют достаточно устойчивую «прописку». Но все собранные фрукты и орехи все равно подлежат разделу с теми семьями, которые не собирали урожай, так что никто не должен голодать.

И наконец, к частной собственности относятся предметы индивидуального пользования, принадлежащие отдельным лицам. Оружие, ножи, платье, украшения, амулеты – вот что считается у охотников и собирателей частной собственностью. Но некоторые считают, что даже эти предметы личного пользования не являются частной собственностью в собственном смысле слова, поскольку обладание этими вещами скорее носит функцию разделения труда, чем владения «средствами производства». Обладание подобными вещами только тогда может быть осмыслено как частная собственность, если одни ими владеют, а другие – нет, т. е. когда это обладание может стать основой для эксплуатации. Но в этнографических отчетах такие случаи не описаны, и трудно себе представить, чтобы кто-то из членов рода, нуждаясь в оружии или одежде, не получил бы их от другого более счастливого члена рода.

Социальные отношения между членами охотничьего сообщества отличаются отсутствием «Табели о рангах», даже такого «лидерства», как у зверей, здесь не наблюдается.

Племена охотников и собирателей в плане лидерства более всех других социальных систем отличаются от человекообразных обезьян. Здесь нет ни принуждения, основанного на принципе физического превосходства, нет также и иерархической организации, опирающейся на другие основания (богатство, военная или политическая сила,

унаследованные классовые привилегии и т. д.). Единственное устойчивое превосходство связано с признаками возраста и мудрости.

Даже когда отдельные члены племени обладают более высоким статусом и престижем, они выражают свое преимущество совершенно иначе, чем обезьяны. От лиц с более высоким статусом охотники ожидают скромности и доброты (щедрости), а главной наградой для них является любовь и внимание со стороны других членов племени. Например, мужчина может проявить себя как самый сильный, храбрый, ловкий и умный во всем племени. Получает ли он при этом самый высокий групповой статус? Не обязательно. Он получит его только в том случае, если эти качества он поставит на службу интересам племени. Например, если на охоте он убивает больше дичи (и затем сможет отдать ее другим); если он умеет себя вести, а главным достоинством поведения считается скромность. Для простоты можно провести такую параллель. В племени человекообразных обезьян превосходство в физической силе ведет к преимуществу в социальной иерархии, которое дает вожаку больше пищи, «самок» и других благ. А в первобытном человеческом обществе физическое преимущество должно быть поставлено на службу всем остальным членам племени, и тот, кто стремится к лидерству, должен в истинном смысле слова приносить жертву (и получать меньше пищи за более напряженный труд). А в отношении сексуальных радостей он, как и другие мужчины, обычно ограничивается одной женой.

Складывается впечатление, что самые ранние человеческие сообщества одновременно являются и самыми равноправными. Возможно, это связано с тем, что общество первобытного типа ввиду рудиментарного уровня технологий больше других социальных общностей нуждается в кооперации труда. Обезьяны нерегулярно применяют совместные усилия и нерегулярно делятся друг с другом, а люди делают это постоянно – в этом состоит существенное различие между ними.

Сервис описывает характерные для охотников формы авторитета; главная из них – регулирование коллективных действий.

Авторитет осуществляется в форме координации коллективных действий или установления порядка при решении спорных вопросов. Здесь речь идет как раз о «лидерстве». В охотничье-собираетельской общности потребности в регулировании коллективных действий многочисленны и многообразны. Как правило, они касаются таких повседневных дел, как перенос стойбища на новое место, совместная охота, а также различного рода столкновения с врагами. Но и здесь, как и в других областях, лидерство охотников отличается от лидерства в более поздних культурах тем, что оно не имеет официального закрепления. Нет постоянного места лидера (конторы), руководство переходит из одних рук в другие сообразно ситуации и характеру необходимых действий. Так, например, старик благодаря своей мудрости и знанию ритуала будет планировать и возглавлять проведение соответствующей церемонии, в то время как на охоте лидером-распорядителем будет обычно более молодой, ловкий и удачливый охотник.

Но самое главное, что в племени отсутствует в обычном смысле слова руководитель, которого мы обычно связываем со словом «главный» [136].

Данные об отсутствии иерархической системы во главе с вожаком заслуживают особого внимания в связи с тем, что практически во всех цивилизованных обществах господствуют стереотипные представления о том, что учреждения социального контроля опираются на исконные формы регулирования жизни, унаследованные человеком от животного мира. Но мы видели, что у шимпанзе существуют отношения лидерства и подчинения, хотя и в очень мягкой форме. А социальные отношения первобытных народов показывают, что человек генетически не является носителем командно-подчиненной психологии. Исследования исторического развития человечества на протяжении пяти-шести тысячелетий убедительно доказывают, что командно-административная психология является не причиной, а следствием приспособления человека к социальной системе. Для апологетов

элитной системы социального контроля (когда все контролируется элитным слоем общества) очень удобно считать, что социальная структура возникла как следствие врожденной потребности человека и потому она неизбежна. Однако эгалитарное общество* первобытных народов свидетельствует, что дело обстоит совсем иначе. Возникает острый вопрос: каким образом первобытный человек защищается от асоциальных и опасных членов общины, если в ней отсутствует авторитарная или командно-бюрократическая система? На этот вопрос есть несколько ответов. И прежде всего важно, что поведение регулируется обычаем и этикетом. Ну а если эти регуляторы окажутся недостаточными, какие могут быть применены санкции против асоциального поведения? Обычно наказание состоит в том, что все члены группы отстраняются от виновника ситуации, при встречах не оказывают ему никаких знаков внимания и вежливости; его поведение обсуждают вслух, над ним смеются и в самом крайнем случае его изгоняют из общины. А если кто-либо систематически дурно поступает, нарушая покой не только своей, но и соседней группы (племени), то его собственная группа может принять коллективное решение и убить нарушителя. Такие случаи, разумеется, чрезвычайно редки; обычно, когда возникает сложная проблема, ее решение передается на усмотрение самого старшего и самого мудрого мужчины.

Все эти факты говорят об ошибочности нарисованной Гоббсом картины всеобщей врожденной агрессивности, которая неизбежно привела бы к войне всех против всех, если бы государство не взяло в свои руки монополию власти и наказания и таким образом хотя бы косвенно не удовлетворило индивидуальную жажду мести (расплаты с преступником). Вот что об этом думает Сервис:

Факт остается фактом, что групповые общности не распадаются, даже когда они никак официально не институированы...

И хотя столкновения и войны в таких сообществах сравнительно редки, но их угроза всегда остается (например, когда бывают ссоры между индивидами), и потому все равно нужно иметь средства для сдерживания или предотвращения войны.

В данной общине конфликты между двумя лицами, как правило, улаживает старший родственник соперников. В идеале этот старший должен быть в одинаковой степени родства к обоим (например, дядя или дед), чтобы каждый был уверен в его объективности. Но так, конечно, не всегда получается, и вообще не всегда старший родственник соглашается быть миротворцем. И тогда вся община берет на себя роль третейского судьи, и дело считается решенным, когда объявляется общественное мнение.

Есть еще способ разрешения конфликта – это состязание. Чаще всего оно проходит в форме спортивной борьбы... Так, эскимосская «дуэль» проходит «на рогах» в прямом и переносном смысле, т. е. соперники ударяют друг друга собственными головами. Особенно интересно известное эскимосское соревнование на «словах», или певческая дуэль. Главное оружие здесь – «острословие».

Певческие дуэли имеют цель напрочь искоренить любые конфликты и споры (за исключением убийства). В Восточной Гренландии певческая дуэль может дать человеку полную «сатисфакцию» (равную убийству), если он не отличается физической силой, но обладает таким голосом, что уверен в своей победе. Чтобы понять ситуацию, следует знать, что у эскимосов искусство пения ценится даже выше, чем физическая сила и ловкость: восточные гренландцы, наслаждаясь прекрасным пением, могут забыть даже о причине конфликта.

Певческие соревнования имеют свои правила и ритуалы. Опытные претенденты обычно придерживаются традиционных музыкальных образцов, которые мастер пения умеет донести до слушателей столь совершенно, что вызывает бурю аплодисментов. «Победителя» так и выбирают – им становится тот, кто получил больше «слушательских симпатий» (аплодисментов). Победа в певческом соревновании не дает никакого вознаграждения, кроме престижа. Главное преимущество такого соревнования состоит в том, что оно длится долго и слушатели за это время успевают прийти к единому мнению: кто прав, а кто виноват в конфликте. Обычно каждый знает заранее, какую сторону он поддерживает, но единство

общины считается (у этих народов) столь важной целью, что во время длительного соревнования каждый успевает понять, на чьей стороне большинство. Слушательские симпатии проявляются в таких реакциях, как смех, которым встречают стихи соревнующихся. Постепенно смех становится более громким и дружным. И тогда ясно видно, кто победил, а побежденный удаляется «со сцены».

У других охотничьих племен личные соревнования не отличаются такой «куртуазностью», как эскимосские. Некоторые племена предпочитают пускать в ход копье. Дуэль происходит следующим образом:

Спорящие стороны располагаются на площадке на строго установленном расстоянии друг от друга; обвинитель внезапно кидает копье в обвиняемого, а тот пытается избежать ранения (отклониться, отскочить). Публика награждает аплодисментами либо быстроту, силу и точность нападающего, либо ловкость и находчивость обвиняемого. Спустя некоторое время становится ясно, на чьей стороне зрительские симпатии. Когда обвиняемый понимает, что зрители считают его виновным, он перестает увертываться и получает смертельный удар. Если же нападающий видит, что общественное мнение против него, он просто опускает оружие^[137].

Можно ли первобытных охотников считать обществом благоденствия?

Серьезные аргументы для понимания проблемы низкого экономического уровня жизни первобытных охотников и для современных взглядов на проблему бедности мы находим у М. Д. Салинса. Его аргументация представляет интерес и для анализа современного индустриального общества. Салинс выступает против распространенного суждения, которое в свое время привело к ошибочной концепции относительно агрессивности первобытных охотников. Ведь долгое время считалось, что в каменном веке жизнь человека была настолько тяжелой, что люди постоянно подвергались опасности голода. Салинс утверждает обратное. Он считает, что первобытные охотники жили в «первом в истории обществе благосостояния (благоденствия)».

Обычно под обществом благосостояния понимается такое устройство жизни, при котором все потребности удовлетворяются легко и без проблем. И хотя мы считаем это состояние исключительным достижением индустриальной цивилизации, на самом деле образцом такого общества может служить община первобытных охотников и собирателей. Но об этом знают только этнографы. Ясно, что потребности удовлетворяются двояким способом: либо ценой увеличения производства, либо ценой снижения потребления... И потому есть два пути к изобилию... например, народ, исповедующий учение Дзэн, может испытать радость не сравнимого ни с чем богатства, каким бы низким ни был официальный уровень жизни. И, по-моему, то же самое можно сказать о первобытных охотниках^[138].

И еще одно меткое умозаключение Салинса я не могу не процитировать:

Скудное потребление – это специфическая навязчивая идея эпохи бизнеса, условие, которое все обязаны иметь в виду. Рынок предлагает невероятное изобилие «хороших товаров», но человек не в состоянии их приобрести, ибо на все никаких денег не хватит. Жить в условиях рыночной экономики – это значит переживать двойную трагедию, которая начинается с недостатка, а заканчивается нехваткой... И потому мы обречены на тяжкий труд. И с высоты нашего нынешнего положения мы смотрим назад, на нашего предка-охотника, и думаем: если современный человек, имея такие технические преимущества, не может заработать необходимый для жизни минимум, то каковы же были шансы у голых дикарей с их жалкими луками и стрелами? Поскольку мы, исходя из своих позиций и ценностей, наделили охотников каменными орудиями труда и одновременно буржуазными инстинктами, то их положение изначально кажется нам безнадежным^[139].

Скудное потребление не является сущностным признаком технических средств. Скорее

137

138

139

это слово употребляется для характеристики отношения между средствами и их использованием (и целями их применения). Например, мы можем предположить, что практической целью охотничьего общества было здоровье племени и для достижения этой цели вполне достаточным вооружением были лук и стрелы. Есть много доказательств того, что охотники трудились значительно меньше нас и что обеспечение рода пропитанием было для них не мукой, а нормальным занятием, которое доставляло им радость и оставляло много свободного времени для сна и отдыха, чем не может похвастаться ни одна другая общественная система...

Поэтому можно предположить, что охотники были избавлены от погони за изобилием и пребывали в убежденности, что могут «легко удовлетворить» потребности всех своих собратьев. И эта уверенность не покидала их в самых суровых обстоятельствах (эту позицию выражает философия племени пинан с о-ва Борнео: «Если сегодня у нас нет пищи, то мы получим ее завтра»).

Выводы Салинса имеют особое значение потому, что он представляет среди антропологов меньшинство, которое не считает обязательным держаться ценностных суждений современного общества. Он показывает, до какой степени социологи искажают картину жизни изучаемых ими племен, а причиной этих искажений является то, что они делают выводы на основе своих представлений о сущности экономики. Так же точно выводы современных антропологов о природе человека ведут к ошибкам, ибо они основаны большей частью на данных из истории цивилизованного человечества.

Война у первобытных народов

Хотя оборонительная агрессивность и жестокость не являются, как правило, причиной войны, но эти черты все же находят выражение в способе ведения войны. Поэтому данные о ведении войн первобытными народами помогают дополнить наши представления о сущности первобытной агрессивности.

Подробный рассказ о войне племени уолбири в Австралии мы находим у Меггита; Сервис считает, что это описание представляет весьма меткую характеристику первобытных войн у охотничьих племен.

Племя уолбири не отличалось особой воинственностью – в нем не было военного сословия, не было профессиональной армии, иерархической системы командования; и очень редко совершались завоевательные походы. Каждый мужчина был (и остается) потенциальным воином: он вооружен постоянно и всегда готов защищать свои права; но в то же время каждый из них был индивидуалистом и предпочитал сражаться в одиночку, независимо от других. В некоторых столкновениях случалось так, что родственные связи ставили мужчин в ряды вражеского лагеря и к одной из таких групп могли случайно принадлежать все мужчины некоторой общины. Но никаких военных командиров, выбранных или передаваемых по наследству должностей, никаких штабов, планов, стратегии и тактики там не было. И если даже были мужчины, отличившиеся в бою, они получали уважение и внимание, но не право командовать другими. Но бывали обстоятельства, когда сражение развивалось так стремительно, что мужчины точно и без промедления вступали в бой, применяя именно те методы, которые вели к победе. Это правило и сегодня распространяется на всех молодых неженатых мужчин.

Во всяком случае, не было причин для того, чтобы одно племя вынуждено было ввязаться в массовую войну против других. Эти племена не знали, что такое рабство, что такое движимое или недвижимое имущество; завоевание новой территории было только обузой для победителя, ибо все духовные узы племени были связаны с определенной территорией. Если и случались изредка небольшие завоевательные войны с другими племенами, то, я уверен, они отличались разве что по масштабу от конфликтов внутри племени или даже рода. Так, например, в битве при Варингари, которая привела к завоеванию водоема Танами, участвовали только мужчины из племени ванаига, и притом не

более двадцати человек. И вообще мне не известно ни одного случая заключения военных союзов между племенами ради нападения на другие вальбирийские общины или другие племена.

С технической точки зрения такого рода конфликты между первобытными охотниками можно называть словом «война». И в этом смысле можно прийти к выводу, что человек испокон веков вел войны внутри своего вида и потому в нем развилась врожденная тяга к убийству. Но такое заключение упускает из виду глубочайшие различия в ведении войн первобытными сообществами разного уровня развития и полностью игнорирует отличие этих войн от войн цивилизованных народов. В первобытных культурах низкого уровня не было ни централизованной организации, ни постоянных командиров. Войны были большой редкостью, а о захватнических войнах не могло быть и речи. Они не вели к кровопролитию и не имели цели убить как можно больше врагов.

Войны же цивилизованных народов, напротив, имеют четкую институциональную структуру, постоянное командование, а их цели всегда захватнические: либо это завоевание территории, либо рабов, либо прибыли. К тому же упускается из виду еще одно, быть может самое главное, различие: для первобытных охотников и собирателей эскалация войны не имеет никакой экономической выгоды.

Прирост населения охотничьих племен так незначителен, что фактор народонаселения очень редко может оказаться причиной завоевательной войны одной общины против другой. И даже если бы такое случилось, то, скорее всего, это не привело бы к настоящей битве. Вероятнее всего, дело обошлось бы даже без борьбы: просто более многочисленная и сильная община предъявила бы свои претензии на «чужую территорию», реально начав там охотиться или собирать плоды. А кроме этого, какая прибыль от охотничьего племени, там и взять-то нечего. У него мало материальных ценностей, нет стандартной меновой единицы, из которых складывается капитал. Наконец, такая распространенная в новое время причина войн, как обращение в рабство военнопленных, на стадии первобытных охотников не имела никакого смысла из-за низкого уровня производства. У них просто не хватило бы сил и средств на содержание военнопленных и рабов.

Общая картина первобытных войн, нарисованная Сервисом, подтверждается и дополняется многими исследователями, которых я еще постараюсь дальше процитировать^[140]. Пилбим подчеркивает, что это были столкновения, но не войны. Дальше он указывает на то, что в охотничьих сообществах пример играл более важную роль, чем сила и власть, что главным принципом жизни были щедрость, взаимность и сотрудничество.

Стюарт делает интересные выводы относительно ведения войны и понятия территориальности:

Прошло немало дискуссий по вопросу о собственности на территорию у первобытных охотников (кочевников): были ли у них постоянные территории или источники питания, и если да, то как они обеспечивали защиту этой собственности. И хотя я не могу утверждать однозначно, но считаю, что это было для них нетипично. Во-первых, малые группы, входящие в более крупные общности племени, обычно вступают в перекрестные браки, смешиваются между собой, если они слишком маленькие, или разделяются, если становятся слишком большими. Во-вторых, первичные малые группы не проявляют тенденции к закреплению за собой каких-то специальных территорий. В-третьих, когда говорят о «войне» в таких общностях, то чаще всего речь идет не более чем об акциях мести за колдовство или что-либо в этом роде. Или же имеются в виду длительные семейные распри. В-четвертых, известно, что главный промысел на больших территориях состоял в сборе плодов, но я не знаю ни одного случая, чтобы территорию с плодами кто-либо защищал от нападения. Первичные группы не дрались друг с другом, и трудно себе представить, каким образом племя могло бы созвать своих мужчин, если бы потребовалось объединенными усилиями

защитить свою территорию, и что могло бы послужить для этого причиной. Правда, известно, что некоторые члены группы брали в индивидуальное пользование отдельные деревья, орлиные гнезда и другие специфические источники пропитания, но остается совершенно непонятно, каким образом эти «объекты» могли охраняться, находясь друг от друга на расстоянии нескольких миль.

К аналогичным выводам приходит и Н. Н. Терни-Хай. В работе 1971 г. он замечает, что хотя страх, гнев и фрустрация представляют собой универсальные переживания человека, но искусство ведения войны развилось на позднем этапе человеческой эволюции. Большинство первобытных общностей были неспособными к ведению войны, так как у них отсутствовал необходимый уровень категориального мышления. У них не было такого понятия организации, какое совершенно необходимо, если кто-то хочет захватить соседнюю территорию. Большинство войн между первобытными племенами – это вовсе не войны, а рукопашные схватки. Как сообщает Рапопорт, антропологи встретили работы Терни-Хая без особого воодушевления, ибо он раскритиковал всех профессиональных антропологов за отсутствие в их отчетах достоверной информации «из первых рук» и назвал все их выводы о первобытных войнах недостаточными и дилетантскими. Сам он предпочитал опираться на любительские исследования этнологов прошлого поколения, ибо они содержали достоверную информацию из первых рук^[141].

Монументальный труд Кейнси Райта содержит 1637 страниц текста, включая обширную библиографию. Здесь дается глубокий анализ первобытных войн, основанный на статистическом сравнении данных о 653 первобытных народах. Недостатком этой работы является преимущественно описательно-классификационный ее характер. И все же ее результаты дают статистику и показывают тенденции, совпадающие с выводами многих других исследователей. А именно: «Простые охотники, собиратели и земледельцы – это наименее воинственные люди. Большую воинственность обнаруживают охотники и крестьяне более высокой ступени, а самые высокопоставленные охотники и пастухи – это наиболее агрессивные люди из всех древних».

Эта констатация подтверждает гипотезу о том, что драчливость не является врожденной чертой человека, и потому о воинственности можно говорить лишь как о функции цивилизационного развития. Данные Райта ясно показывают, что общество становится тем агрессивнее, чем выше в нем разделение труда, что самыми агрессивными являются социальные системы, в которых уже есть деление на классы. И наконец, эти данные свидетельствуют, что воинственности в обществе тем меньше, чем устойчивее равновесие между различными группами, а также между группой и ее окружающей средой; чем чаще нарушается это равновесие, тем скорее формируется готовность воевать.

Райт различает четыре типа войн: оборонительные, социальные, экономические и политические. Под оборонительной войной он понимает такое поведение, которое неизбежно в случае реального нападения. Субъектом такого поведения может оказаться даже народ, для которого война является совершенно нехарактерной (не является частью его традиции): в этом случае люди спонтанно «хватаются за любое оружие, которое подвернется под руку, чтобы защитить себя и свой дом, и при этом рассматривают эту необходимость как несчастье».

Социальные войны – это те, в ходе которых, как правило, «не льется много крови» (похоже на описанные Сервисом войны между охотниками). Экономические и политические войны ведут народы, заинтересованные в захвате земли, сырья, женщин и рабов, или ради сохранения власти определенной династии или класса.

Почти все делают такое умозаключение: если уж цивилизованные люди проявляют такую воинственность, то насколько воинственнее, вероятно, были первобытные люди^[142]. Но результаты Райта подтверждают тезис о минимальной воинственности первобытнейших

народов и о росте агрессивности по мере роста цивилизации. Если бы деструктивность была врожденным качеством человека, то должна была бы наблюдаться противоположная тенденция.

Мнение Райта разделяет М. Гинсберг:

Складывается впечатление, что угроза войн в этом смысле усиливается по мере экономического развития и консолидации групп. У первобытных народов можно скорее говорить о стычках на почве оскорбления, личной обиды, измены женщины и т. п. Следует признать, что эти общности по сравнению с более развитыми первобытными народами выглядят очень миролюбивыми. Но насилие и страх перед силой имеют место, и бывают драки, хотя и небольшие. У нас не так уж много знаний об этой жизни, но те факты, которыми мы располагаем, говорят если и не о райской идиллии первобытных людей, то, во всяком случае, о том, что агрессивность не является врожденным элементом человеческой природы.

Рут Бенедикт делит войны на «социально-летальные» и «нелетальные». Последние не имеют целью подчинение других племен и их эксплуатацию (хотя и сопровождаются длительной борьбой, как это было с разными племенами североамериканских индейцев).

Мысль о завоеваниях никогда не приходила в голову североамериканским индейцам. Это позволило индейским племенам сделать нечто экстраординарное, а именно отделить войну от государства. Государство было персонифицировано в некоем мирном вожде – выразителе общественного мнения в своей группе. Мирный вождь имел постоянную «резиденцию», был достаточно важной персоной, хотя и не был авторитарным правителем. Однако он не имел никакого отношения к войне. Он даже не назначал старшин и не интересовался поведением воюющих сторон. Каждый, кто мог собрать себе дружину, занимал позицию, где и когда ему было угодно, и нередко становился командующим на весь период войны. Но как только война кончалась, он утрачивал всю полноту власти. А государство никак не было заинтересовано в этих кампаниях, которые превращались в демонстрацию необузданного индивидуализма, направленного против внешних племен, но не наносящего никакого ущерба политической системе.

Аргументы Рут Бенедикт затрагивают отношения между государством, войной и частной собственностью. Социальная война «нелетального» типа – это выражение авантюризма, желания покрасоваться, завоевать трофеи, но без всякой цели порабощения другого народа или уничтожения его жизненных ресурсов. Рут Бенедикт делает следующий вывод: «Отсутствие войны – не такая уж редкость, как это изображают теоретики доисторического периода... И совершенный абсурд – приписывать этот хаос (войну) биологическим потребностям человека. Нет уж. Хаос – дело рук самого человека».

Другой известный антрополог, Э. А. Хэбл, характеризуя войны самых ранних североамериканских племен, пишет: «Эти столкновения скорее напоминают „моральный эквивалент войны“, как выражается Уильям Джеймс. Речь идет о безобидном отражении любой агрессии: здесь и движение, и спорт, и удовольствие (только не разрушение); да и требования к противнику никогда не выходят за рамки разумных границ». Хэбл приходит к такому же выводу, что склонность человека к войне ни в коем случае нельзя считать инстинктивной, ибо в случае войны речь идет о феномене высокоразвитой культуры. А в качестве иллюстрации он приводит пример с миролюбивыми шошонами и драчливыми команчами, которые еще в 1600 г. не представляли собой ни национальной, ни культурной общности.

Революция эпохи неолита [143]

Подробное описание жизни первобытных охотников и собирателей показывает, что на рубеже 50 тысяч лет тому назад человек, вероятнее всего, не был жестоким деструктивным

существом, и потому неправомерно говорить о нем как о прототипе того «человека-убийцы», которого мы встречаем на более поздних стадиях эволюции. Но этого недостаточно. Чтобы понять постепенное превращение человека в эксплуататора и разрушителя, необходимо проследить его развитие в период раннего земледелия, а затем изучить все его превращения: в градостроителя, торговца, воина и т. д.

В одном отношении человек остался неизменным (от *Homo sapiens* (1/2 млн. лет назад) до человека периода 9 тыс. до н. э.): он жил тем, что добывал в лесу или на охоте, но ничего не производил. Он был в полной зависимости от природы, ничего не меняя вокруг себя. Эти отношения с природой кардинально изменились с появлением земледелия (и скотоводства), которое археологи относят к началу неолита (точнее говоря, к периоду «протонеолита», датируемому 9-7 тыс. до н. э.). Археологи считают, что в этот период земледелие начало развиваться на огромной территории (более тысячи миль) от Западного Ирана до Греции, включая ряд областей Ирака, Сирии, Ливана, Иордании и Израиля, а также Анатолийское плато в Турции. В Средней и Северной Европе развитие земледелия началось гораздо позже.

Впервые человек почувствовал в какой-то мере свою независимость от природы, когда сумел применить находчивость и ловкость для того, чтобы произвести нечто, отсутствующее в природе. Теперь стало возможно по мере роста населения увеличивать площадь обрабатываемой земли и поголовье скота.

Первым большим нововведением названного периода стало культивирование пшеницы и ячменя, которые в этом крае были дикорастущими. Открытие состояло в том, что люди случайно обнаружили: если зерно данного злака опустить в землю, то вырастают новые колосья, а кроме того, для посева нужно выбирать лучшие семена. В дополнение к этому наблюдательный глаз заметил, что случайное скрещивание разных видов зерна приводит к появлению нового сорта, которого не было до сих пор среди дикорастущих злаков. Мы не в состоянии в деталях описать путь развития зерна от дикорастущих злаков до современной высокоурожайной пшеницы. Ибо это был длительный процесс мутации, гибридизации, удвоения хромосом, и потребовались тысячелетия, прежде чем человек достиг сегодняшнего уровня искусственной селекции в сельском хозяйстве. Для человека индустриального века, который привык рассматривать доиндустриальное сельское хозяйство как примитивное, открытия эпохи неолита, вероятно, кажутся ничтожными и не выдерживающими никакого сравнения с техническими новациями наших дней. На самом деле трудно переоценить значение тех первых открытий человека. Когда ожидание первого урожая увенчалось успехом, это вызвало целый переворот в мышлении: человек увидел, что он по своему усмотрению и по своей воле может воздействовать на природу, вместо того чтобы ждать от нее милости. Без преувеличения можно утверждать, что открытие земледелия стало основой научного мышления в целом, в том числе технологического процесса всех будущих эпох.

Вторым нововведением было скотоводство, которое вошло в жизнь почти одновременно с земледелием. Уже в 9 тыс. до н. э. в Северном Ираке стали разводить овец, а около 6 тыс. до н. э. свиней и коров. Скотоводство стало важным источником питания, давая мясо и молоко. Этот богатый и постоянный источник пищи позволил людям перейти от кочевого образа жизни к оседлому, что привело к строительству деревень и городов^[144].

В период протонеолита в охотничьих племенах формируется новый тип оседлого хозяйствования, основанный на культивировании растений и приручении животных. Если прежде было принято самые первые следы культурных растений относить к периоду 7 тыс. до н. э., то новые данные говорят о том, что корни их уходят еще дальше (к самому началу протонеолита, около 9 тыс. до н. э.); вывод сделан на основе того, что к 7 тыс. до н. э. культура земледелия и животноводства уже достигла высокого уровня.

Прошло еще два или три тысячелетия, пока человечество сделало еще одно открытие, вызванное необходимостью сохранения продуктов питания, – это гончарное ремесло; люди научились делать горшки (корзины стали плести еще раньше). С изобретением горшка было

сделано первое техническое открытие, для которого понадобились знания химических процессов. Трудно отрицать, что «создание первого сосуда стало высоким примером творческого потенциала человека»^[145]. Таким образом, в границах раннего каменного века можно вычленил докерамическую стадию, когда еще не было известно гончарное дело, и керамическую стадию. Некоторые старые поселения в Анатолии (например, раскопки Хакилара) относятся к доке-рамическому периоду, а Чатал-Хююк – город с богатой керамической посудой.

Чатал-Хююк – самый развитой анатолийский город эпохи неолита. Когда в 1961 г. археологи раскопали сравнительно маленькую часть города, раскопки сразу дали информацию, чрезвычайно важную для понимания экономических, социальных и религиозных аспектов общества эпохи неолита^[146].

С начала раскопок было вскрыто десять пластов, самый глубокий относился к 6500 г. до н. э.

После 5600 г. до н. э. старое поселение Чатал-Хююк было покинуто по неизвестным причинам и на другой стороне реки возник новый город Чатал-Хююк Западный. По-видимому, он просуществовал 700 лет, а затем люди также ушли из него, не оставив никаких следов разрушения или насилия.

Самое удивительное в этом городе – высокий уровень цивилизации. В захоронениях были найдены очень красивые гарнитуры украшений для женщин, а также мужские и женские браслеты. По мнению Мелларта, многообразие найденных камней и минералов говорит о том, что важными факторами экономической жизни города были торговля и разработка полезных ископаемых.

Несмотря на эти признаки высокоразвитой культуры, в социальной структуре отсутствуют элементы, характерные для более поздних стадий развития общества. Так, в частности, там явно отсутствовали классовые различия между богатыми и бедными. Хотя не все дома одинаковы, и конечно, по их размерам и по характеру захоронений можно в определенной степени судить о социальных различиях, Мелларт утверждает, что эти различия «нигде не бросаются в глаза». И когда смотришь чертежи раскопанной части города, то видишь, что здания мало отличаются по размеру (в сравнении с более поздними урбанистическими обществами). Мы встречали у Чайлда указание на то, что в деревнях раннего неолита не было института, старейшин; Мелларт также обращает внимание на этот факт в связи с раскопками Чатал-Хююка. Там явно было много жриц (возможно, и жрецов), но нет никаких признаков иерархического устройства.

Вероятно, в Чатал-Хююке благодаря высокому уровню земледелия были излишки продуктов питания, что и способствовало развитию торговли и появлению предметов роскоши. В более ранних и менее развитых деревнях Чайлд отмечает отсутствие признаков изобилия и полагает, что там было больше равенства (экономического прежде всего). Он указывает, что в эпоху неолита были ремесла; вероятно, можно говорить о домашнем производстве, и притом ремесленническая традиция была не индивидуальной, а коллективной. Члены общины постоянно обменивались опытом друг с другом; так что можно говорить об общественном производстве, возникшем как результат коллективного опыта. Например, посуда определенной неолитической деревни имеет явный отпечаток коллективной традиции.

Кроме того, следует помнить, что в те времена не было проблемы с землей. Если население увеличивалось, молодые люди могли уйти и в любом месте основать самостоятельное поселение. То есть экономические условия не создавали предпосылок для раскола общества на классы и для создания института постоянной власти, в функцию которой входило бы руководство хозяйством. Отсюда – не было организаторов, которые бы за этот труд получали вознаграждение. Это стало возможно значительно позже, когда

многочисленные открытия и изобретения привели к такому росту производства, что излишки продукции смогли быть обращены в «капитал», а вслед за этим пришла и эксплуатация чужого труда.

В плане проблемы агрессивности для меня особенно важны два момента. За 800 лет существования города Чатал-Хююк ничто не указывает на то, что там совершались грабежи и убийства (согласно свидетельствам археологов). Но еще более впечатляющим фактом является полное отсутствие признаков насилия (среди сотен найденных скелетов ни один не имел следов насильственной смерти).

Одним из самых характерных признаков неолитических поселений, включая Чатал-Хююк, является центральное положение матери в социальной структуре, а также большая роль религии.

Согласно первобытному разделению труда, мужчины уходили на охоту, а женщины собирали корни и фрукты. Соответственно открытие земледелия принадлежит женщине, а приручение животных, вероятно, было делом мужчин (в свете того, какую огромную роль играло земледелие на всех этапах цивилизационного развития человечества, можно смело утверждать, что современная цивилизация была основана женщинами).

Только женщина и земля имеют уникальную способность рожать, создавать живое. Эта способность (отсутствующая у мужчин) в мире первобытного земледелия была безусловным основанием для признания особой роли и места женщины-матери. Мужчины получили право претендовать на подобное место, лишь когда они смогли производить материальные вещи с помощью своего интеллекта, так сказать, магическими и техническими способами. Мать была божеством, которое идентифицировалось с матерью-землей; это была высшая богиня религиозного мира, и потому земная мать, естественно, была признана центральной фигурой и в семейной, и в социальной жизни.

Прямым показателем центральной роли матери в Чатал-Хююке является тот факт, что в захоронениях дети всегда лежат рядом с матерью, а не с отцом. Скелет женщины обычно находят под домом, в том месте, где раньше была комната матери и ее кровать. Эта комната была главной и была больше по размеру, чем комната отца. Характерным признаком матриархата является то, что детей всегда хоронили рядом с матерью. Здесь родственные узы связывали детей в первую очередь с матерью, а не с отцом, как это имеет место в патриархальных общественных системах.

Гипотеза о матриархальной структуре палеолита находит окончательное подтверждение благодаря данным о состоянии религии в Чатал-Хююке и других неолитических поселениях в Анатолии^[147].

Результаты раскопок произвели подлинный переворот в наших представлениях о первобытной религии. В центре этой религии – и это ее главный признак – стоит образ матери-богини. Мелларт пишет: «Чатал-Хююк и Хакилар доказывают преемственность религии от палеолита до периода древнего мира (в том числе классического), где центральное место занимает образ матери-богини, а затем труднодостижимые образы богинь Кибелы, Артемиды и Афродиты».

Центральная роль матери-богини проявляется в сюжетах барельефов и фресок, найденных при раскопках священных мест. В отличие от находок в других неолитических поселениях, в Чатал-Хююке были не только матери-богини, но и божество мужского рода, символом которого был бык или голова быка (или одни рога). Но это не меняет сути дела, которая состоит в том, что верховное положение как центральное божество занимала Великая Мать. Среди скульптур богов и богинь, обнаруженных при раскопках, большинство составляли женские фигуры. Из 41 скульптуры 33 были, безусловно, женскими, а 8 скульптур с мужской символикой практически все равно следует понимать в их отношении к богине: это либо ее муж, либо сыновья. (А в более глубоких пластах при раскопках были обнаружены исключительно скульптурные фигуры богинь.) И не вызывает сомнения тот

факт, что роль матери-богини была центральной: во всяком случае, ни одно изображение женщины не может быть интерпретировано как подчиненное мужчине. И это подтверждают изображения женщин, беременных или рождающих, а также изображения богинь, рождающих быка. (Ср. с типично патриархальным мифом о женщине, сотворенной из ребра мужчины, как Ева и Афина.)

Богиня-Мать часто изображается в сопровождении леопарда, или в одежде из леопардовых шкур, или символически в образе леопарда. Это объясняется тем, что леопард был самым хищным зверем того времени. И такие изображения должны были сделать богиню владычицей диких зверей. Кроме того, это указывает на двойную роль богини: она одновременно была покровительницей и жизни, и смерти. Мать-земля, которая рождает детей, а затем принимает их обратно в свое лоно, когда заканчивается их цикл жизни, вовсе не обязательно мать-разрушительница. Хотя очень редко это имело место (индийская богиня Кали), но подробное исследование этого вопроса увело бы нас в сторону и отняло бы много времени и места.

Мать-богиня в религии неолита не только владычица диких зверей, она и покровительница охоты и земледелия, и защитница всей живой природы.

И наконец, я хочу процитировать конечные выводы Мелларта о роли женщины в обществе эпохи неолита (включая Чатал-Хююк):

В анатолийской религии эпохи неолита весьма примечательно полное отсутствие эротики в барельефах, статуэтках и живописных сюжетах. Половые органы никогда не встречаются в изображениях, и это заслуживает особого внимания, тем более что эпоха позднего палеолита (а также неолит и постнеолит за пределами Анатолии) дает много примеров таких изображений^[148]. На этот внешне трудный вопрос очень легко ответить. Когда в искусстве мы обнаруживаем акцентирование эротики, это всегда связано с переносом в искусство половых инстинктов и влечений, присущих мужчине. А коль скоро неолитическая женщина была и создателем религии, и ее центральным действующим лицом, совершенно очевидны причины целомудренности, которыми отмечены художественные изображения, относящиеся к этой культуре. И потому возникла своя символика, при которой изображение груди, пупка и беременности символизировало женское начало, в то время как мужественность имела такие признаки, как рога и рогатые головы животных. В эпоху раннего неолита (как, например, Чатал-Хююк), очевидно, в процентном отношении было больше женщин, чем мужчин (это подтверждают раскопки). К тому же в новых формах хозяйственной жизни женщина выполняла очень много функций (это до сих пор имеет место в анатолийских селениях) – в этом, безусловно, причина ее высокого социального статуса. Женщина была главным производителем жизни – как земледelec и продолжатель рода, как мать-кормилица детей и домашних животных, как символ плодородия и изобилия. Здесь берет свое начало религия, в прямом смысле слова благословляющая сохранение жизни во всех ее формах. Эта религия говорила о размножении и плодородии, о жизни и смерти, рождении и кормлении – т. е. о возникновении тех ритуалов, которые были органической частью жизни женщины и не имели никакого отношения к мужчине. Так что, вероятнее всего, все культовые действия во славу богини были разработаны женщинами, хотя при этом нельзя исключать и присутствие жрецов-мужчин...^[149]

Есть интересные факты, свидетельствующие о социальном устройстве общества эпохи неолита, не имеющем явных следов иерархии, подавления или ярко выраженной агрессивности. Гипотеза о том, что неолитическое общество (по крайней мере, в Анатолии) было в основе своей миролюбивым, становится еще более вероятной в свете того факта, что анатолийские поселения имели матриархальные (матрицентристские) структуры. И причину этому следует искать в жизнеутверждающей психологии, которая, по убеждению Бахофена, характерна для всех матриархальных обществ.

Результаты археологических раскопок неолитических поселений в Анатолии дают исчерпывающий материал для доказательства действительного существования матриархальных культур и религий, о которых заявил Бахофен в своем труде «Материнское право», опубликованном впервые в 1869 г. Только гений мог сделать то, что удалось Бахофену на основе анализа греческой и римской мифологии, ритуалов, символов и снов; практически при полном отсутствии фактических данных он, благодаря своей аналитической интуиции, сумел реконструировать совершенно неизвестную фазу развития общества и религии. (Совершенно независимо от Бахофена к аналогичным выводам пришел американский этнолог Л. Г. Морган при исследовании жизни североамериканских индейцев.) И почти все антропологи (за редким исключением) заявили, что рассуждения и выводы Бахофена не имеют никакой научной значимости. Действительно, только в 1967 г. был впервые опубликован английский перевод его избранных трудов.

Для отрицания теории Бахофена было, вероятно, две причины. Первая состояла в том, что для антропологов, живущих в патриархальном обществе, было почти невыносимо преодолеть социальный и психологический стереотип и представить, что первенство мужчины не является «естественным» и не всегда в истории господствовало и повелевало было исключительной привилегией мужчин (Фрейд по той же самой причине даже додумался до своей концепции женщины как кастрированного мужчины). Во-вторых, антропологи так привыкли доверять только вещественным доказательствам (скелеты, орудия труда, оружие и т. д.), что их невозможно было убедить, что мифы и сказания имеют не меньшую достоверность, чем артефакты. Эта позиция и привела к тому, что силу и глубину теоретического мышления Бахофена попросту не оценили по заслугам. Приведу отрывок, который дает представление о том, как Бахофен понимал дух матриархата:

Чудо материнства – это такое состояние, когда женщину заполняет чувство причастности ко всему человечеству, когда точкой отсчета становится развитие всех добродетелей и формирование благородной стороны бытия, когда посреди мира насилия и бед начинает действовать божественный принцип любви, мира и единения. В заботе о своем еще не родившемся ребенке женщина (раньше, чем мужчина) научается направлять свою любовь и заботу на другое существо (за пределами собственного Я), а все свои способности и разум обращать на сохранение и украшение чужого бытия. Отсюда берут свое начало все радости, все блага жизни, вся преданность и теплота и всякое попечение и жалость... Но материнская любовь не ограничивается своим внутренним объектом, она становится всеобщей и охватывает все более широкий круг... Отцовскому принципу ограничения противостоит материнский принцип всеобщности; материнское чувство не знает границ, как не знает их сама природа. В материнстве берет свои истоки и чувство братства всех людей, сознание и признание которого исчезли с образованием патриархата.

Семья, построенная на принципах отцовского права, ориентируется на индивидуальный организм. В семье же, опирающейся на материнское право, превалируют общие интересы, сопереживание, все то, что отличает духовную жизнь от материальной и без чего невозможно никакое развитие. Мать земли Деметра предназначает каждой женщине вечно рожать детей – родных братьев и сестер, чтобы родина всегда была страной братьев и сестер, – и так до тех пор, пока с образованием патриархата не разложится единство людей и нерасчлененное будет преодолено принципом членения.

В государствах с материнским «правлением» принцип всеобщности проявляется весьма многогранно. На него опирается принцип всеобщего равенства и свободы (который стал основой законодательства многих народов); на нем строятся правила филотии (гостеприимства) и решительный отказ от стесняющих рамок любого рода...; этот же принцип формирует традицию вербального выражения симпатий (хвалебные песни родичей, одобрение и поощрение), которая, не зная границ, равномерно охватывает не только родственников, но и весь народ. В государствах с «женской» властью, как правило, нет места раздвоению личности, в них однозначно проявляется стремление к миру, отрицательное отношение к конфликтам... Не менее характерно, что нанесение телесного ущерба

соплеменнику, любому животному жестоко каралось... Нет сомнения, что черты мягкой человечности, которые мы видим на лицах египетских статуй, глубоко проникли во все обычаи и нормы жизни матриократического мира^[150].

Доисторическое общество и природа человека

Описание образа жизни первобытных охотников и земледельцев (их способа производства, социальной организации и т. д.) представляет интерес в плане понимания психологии людей. Существует целый ряд психологических характеристик, которые занимают важное место в человеческой натуре и которые, по общему мнению, уходят корнями в доисторическую эпоху.

Итак, у первобытных охотников и земледельцев не было ни малейшей нужды накапливать имущество и завидовать тем, кто «имеет больше добра», ибо они не знали частной собственности, а имущественные различия были столь незначительными, что вряд ли могли способствовать формированию чувства зависти. Зато потребность в сотрудничестве, мирном совместном труде диктовалась самими условиями жизни. Не было ни малейшей основы, на которой могло бы развиваться желание использовать чужой труд. Абсурдной кажется самая мысль, что в обществе, где отсутствует экономическая и социальная почва для эксплуатации, кто-то может стремиться использовать в своих целях физические и духовные силы другого человека.

Сомнительно, чтобы в таком обществе могла развиваться потребность в господстве. Одной из главных черт, фундаментально отличающих первобытные племенные союзы (и, вероятно, также доисторических охотников, отстоящих от нас на 50 тысяч лет) от цивилизованных обществ, является как раз то, что там жизнь людей не определялась отношениями власти (господства и подчинения). Человеческие связи возникали на основе взаимодействия. И если бы там появился человек, обуреваемый жадностью повелевать, он не добился бы никакого успеха в социальной жизни. Даже для развития чувства жадности в ту эпоху не было никаких оснований: ведь производство и потребление оставались всегда на определенном уровне^[151]. Можно ли сказать, что факты о жизни первобытных охотников и земледельцев бесспорно доказывают, что в те времена еще полностью отсутствовали такие страсти, как жадность и зависть? Что желание нажиться за чужой счет – это исключительный продукт цивилизации? Я считаю, что для такого обобщенного вывода у нас нет достаточно доказательных эмпирических данных. Да и на уровне теоретических рассуждений вряд ли такое заключение было бы корректным, ибо даже самые благоприятные условия социальной жизни не исключают полностью возможность проявления вышеназванных дурных черт характера на индивидуальном уровне. Однако существует очень большая разница между культурами: в одних системах общественные структуры сами по себе способствуют формированию в людях зависти, жадности и желания жить за чужой счет, а в других эти черты встречают осуждение. В первых системах эти черты становятся частью структуры «социального характера»^[152], это типичный синдром, встречающийся у большинства населения, а в другом типе общества речь идет об индивидуальных отклонениях от нормы, которые вряд ли имеют шанс на влияние. Вероятность этой гипотезы возрастает в результате анализа последней стадии истории человечества, период развития городов дает возможность иллюстрировать возникновение таких человеческих страстей, которые вряд ли можно встретить в цивилизациях нового времени, и потому многие делают вывод о том, что эти страсти являются свойством человеческой природы.

150

151

152

Революция городов [153]

Новый тип общества сложился в 3-4 тысячелетии до н. э.; его блистательную характеристику мы находим у Мэмфорда, я хочу ее процитировать:

На базе комплекса раннего неолита возник новый тип социальной организации. Она больше не была разделена на маленькие единицы по стране, а представляла собой некую целостность; эта организация не была более «демократической», т. е. она опиралась не на доверительные отношения соседей, общие обычаи и взаимопонимание. Это была авторитарная система, с центральной властью и подчинением большинства правящему меньшинству. Это общество не довольствовалось некоторой ограниченной территорией, а энергично осуществляло «передел границ» с целью распространения своего господства на другие земли, захвата источников сырья, порабощения людей и получения дани. Эта новая культура не служила делу продолжения жизни, а лишь способствовала внедрению коллективных форм труда. Правители этого общества, применяя новые методы и средства принуждения, около 3 тыс. до н. э. создали невиданную военную и индустриальную машину власти, организованность которой не имеет себе равных по сей день.

Как это произошло?

В течение сравнительно короткого времени (по историческим меркам) человек научился использовать энергию ветра и силу рычага. Он придумал плут и колесо, построил парусник и проник в секреты химических процессов; он изучил физические свойства металлов, научился плавить медь и начал разработку солнечного календаря. Так была подготовлена почва для искусства письма, а также создания системы мер и весов. «Ни один период истории – вплоть до Галилео Галилея – не дал миру такое количество открытий и такое гигантское приращение знаний».

Но и социальные перемены были не менее революционными. Маленькие деревушки свободных крестьян разрослись в многонаселенные города, которые развивались за счет обрабатывающей промышленности и внешней торговли. Эти новые города и получили новую форму организации, которая так и называлась: города-государства. Человек в буквальном смысле слова поднимал целину.

Большие вавилонские города возводились на специальных настилах из тростника, который укладывался крест-накрест на илистую почву и утрамбовывался, создавая прочный грунт. Строились каналы для орошения полей, и осушались болота, создавались искусственные озера и плотины для защиты от наводнений. Руками тысяч людей была создана система плодородного земледелия – «капитал в форме человеческого труда, вложенного в плодородную почву».

Следствием этого процесса стала необходимость включения дополнительной рабочей силы, а это повлекло за собой необходимость обрабатывать больше земли, чтобы прокормить всех этих ремесленников, рабочих и торговцев. Все они были как-то приписаны к общине земледельцев, а управление, контроль и защита обеспечивались элитарной группой. Но это означало, что теперь необходимо было запастись гораздо больше продуктов, чем в селениях эпохи раннего неолита. Избыточные продукты необязательно было хранить в форме пищевых запасов на черный день или на случай прироста населения. Можно было обращать эти продукты в капитал, который служил делу расширения производства. Чайлд обращает внимание еще на одну характерную черту этой системы – огромную власть общества над индивидами. Неугодному члену общины создавались невыносимые условия жизни: ему могли даже отказать в пользовании водой (перекрыть канал, орошающий его поле, и т. д.). Принудительная система мер стала основой власти королей, священнослужителей и всей элитарной верхушки с того момента, как ей удалось занять

положение «выразителей общественной воли» (на языке идеологии стать «представителями народа»).

Новые формы производства привели к радикальным переменам в жизни человечества. Продукты и предметы, окружающие человека, теперь не ограничивались только тем, что он произвел и добыл собственным трудом. Правда, и раньше, еще в неолитическое время, человеку удавалось иногда произвести чуть больше продуктов, чем было необходимо. Но это лишь давало ему немного больше уверенности в завтрашнем дне. Однако увеличение производства в больших масштабах могло быть использовано в совершенно новых целях. Можно было накормить людей, которые сами не производили продуктов питания, а служили в войске, или занимались осушением болота или же были заняты на строительствах зданий, дворцов и пирамид. Это стало, естественно, возможно после того, как техника и разделение труда достигли достаточно высокого уровня. В этот момент произошел невероятный скачок в производительности труда. Чем лучше работала ирригационная система (осушение болот и орошение полей), тем выше был урожай, тем больше создавалось готовой продукции (избыточный продукт). Эти новые возможности привели к самым фундаментальным переменам в истории человечества. *Было обнаружено, что человека можно использовать в хозяйстве как орудие труда, т. е. что его можно обратить в раба и эксплуатировать* [154].

Итак, попробуем более тщательно проследить экономические, социальные, религиозные и психологические последствия этого процесса. Основопологающими экономическими факторами нового общества были – как мы отметили выше – усилившееся разделение труда, превращение прибыли в капитал, а также потребность в централизованном учете готовой продукции. Первым следствием стало возникновение классов. Привилегированные классы, сосредоточившие в своих руках руководство и организацию, получали значительно большую часть продукции; таким образом, им удавалось обеспечить себе такой уровень жизни, какой был для большинства населения недоступен. Ниже стояли классы крестьян и ремесленников. Еще ниже находились рабы и военнопленные.

Привилегированные классы имели свою иерархическую пирамиду, на вершине которой поначалу располагался постоянный вождь, а затем его заменили титулованным наместником Бога на земле – королем или царем.

Следующим следствием нового типа производства надо считать такой феномен, как захватничество, которое было весьма важной предпосылкой для накопления общинного капитала, столь необходимого для проведения городской революции. Но была еще более важная причина для институционализации войн – противоречие между хозяйственной системой, интересы которой требовали единства и централизации, и политической и династической раздробленностью, которая шла вразрез с потребностями экономики. Таким образом, институт войн можно считать открытием эпохи 3 тыс. до н. э. Ровесниками этого открытия были такие институты, как королевская власть и бюрократия. Тогда, как и сегодня, в основе войн не могли лежать никакие психологические факторы, в том числе и такой фактор, как человеческая агрессивность. Абстрагируясь от стремления королей и их челяди к власти и славе, следует признать, что войны были вызваны объективными причинами, которые делали необходимым сам этот институт, а уж деструктивность и жестокость выступали вторичными факторами, которые война только усиливала [155].

Социальные и политические перемены жизни сопровождались глубочайшей трансформацией роли женщины в обществе и фигуры матери в религии. Отныне плодородие почвы перестало быть главным источником жизни и всякого творчества; это место теперь занял разум, абстрактное мышление, сделавшие возможными разнообразные изобретения, технические открытия, да и само государство с его законами и нормами жизни. Не материнское лоно, а разумное мышление (дух) стало символом творческого начала – и тем

самым господствующее положение в обществе перешло к мужчине.

В поэтической форме эта трансформация выразилась в вавилонском гимне о сотворении мира. Этот гимн рассказывает о победоносном восстании богов (мужчин) против «Великой Матери» Тиамет, Правительницы Вселенной. Мужчины объединяются, вступив в сговор, и выбирают себе в лидеры Мардука. Они затевают жестокую войну, в которой совместными усилиями одерживают победу, а тело Великой Матери они расчленяют и создают из него Небо и Землю. С тех пор Мардук властвует как Верховный Бог.

Но прежде чем выбрать его в вожди, его подвергают испытанию, которое современному человеку может показаться либо незначительным, либо загадочным. Однако в нем-то и кроется ключ к расшифровке мифа.

Тогда они в середине круга
Какую-то одежду положили —
Накидку или плащ...
И своему избраннику, Мардуку, сказали:
О, Господин, для нас ты выше всех Богов!
Ты можешь словом лишь одним предмет разрушить
И словом же – заставить возродиться вновь!
Так пусть твои уста – вот эту вещь разрушат,
А коль прикажешь – вещь должна быть целой вновь!
Он приказал – и ткань вдруг на глазах распалась;
Он снова приказал – и вещь восстановилась вновь.
И, увидав, какую силой слова Мардука обладают,
Возрадовались Боги, возликовали
И объявили Мардука своим царем.

Смысл этого испытания состоит в том, чтобы показать, что мужчина преодолевает свою неспособность к естественному творчеству (которой обладает только женщина-мать и мать-земля), изобретая иной вид творчества, а именно сотворение с помощью слова (или мысли). Мардук, который этим способом сумел сотворить нечто, преодолел естественное превосходство Матери и смог занять ее место.

Конец вавилонского гимна является началом библейской истории: Бог-отец создает мир с помощью Слова.

Одной из важнейших черт общественной жизни города является опора на патриархальное (мужское) господство. Сущностным признаком господства является принцип контроля – контроль над природой, над рабами, над женщинами и детьми. Новый человек патриархального общества в буквальном смысле слова «делает» землю. Его технические средства не только представляют собой некую разновидность естественных (природных) процессов, но и означают овладение природой и контроль человека над всеми силами природы и, наконец, производство таких продуктов, которые в природных условиях не встречаются. Иссами люди также оказались жертвой контроля, они попали под власть организаторов производства, которые превратились в лидеров и власть имущих.

Для достижения целей нового общества (строга) все и вся должно быть управляемо – и человек, и природа – и каждый имеет отношение к власти: одни ее осуществляют, другие – боятся. Чтобы управление было эффективным, люди должны были научиться послушанию (подчиняться). А чтобы подчиняться, они должны были поверить в превосходство своих правителей, каким бы оно ни было – физическим или магическим. Если в неолитической деревне и у первобытных охотников лидеры направляли «массу» словом и делом, советом и примером, а люди добровольно принимали это руководство, то можно говорить, что доисторический авторитет относится к разряду «рациональных» авторитетов, опирающихся на компетентность. Новая система (патриархат) с самого начала была эксплуататорской, а власть опиралась исключительно на силу, страх и подчинение. Это был «иррациональный авторитет».

Новый принцип жизни города отлично описан у Льюиса Мэмфорда: «Сущность

цивилизации проявляется в механизмах власти. В городе существовали десятки способов для нападения, развязывания борьбы, завоевания и порабощения». Мэмфорд подчеркивает, что новые городские методы отличались «жесткостью, строгостью и даже садизмом», а египетские правители (как и месопотамские цари) оставили после себя памятники, где «хвастливо сообщали о собственноручной расправе с важными пленными...» Я и сам в своей психотерапевтической практике имел возможность убедиться, что садизм, по сути дела, коренится в страстном желании неограниченной власти над людьми и вещами. Идея Мэмфорда о садистском характере этой социальной системы подтвердила мое собственное воззрение.

В новой городской цивилизации наблюдается еще одна тенденция, которая, по-видимому, как-то связана с садизмом, – это страсть к разрушению жизни и развивающаяся привязанность ко всему мертвому (некрофилия). Мэмфорд цитирует Патрика Геддеса, у которого сказано, что каждая историческая цивилизация "с живым городским ядром, полисом" начинается «массовым захоронением, полным пыли и костей, в некрополе или на кладбище», а заканчивается «закопченными руинами, разрушенными строениями, пустыми мастерскими и кучами бессмысленного мусора, в то время как население было истреблено или угнано в рабство, – вот таковы следы любой цивилизации». И действительно, духом беспощадной нечеловеческой разрушительности пропитана история арабских завоеваний и в не меньшей мере – история вавилонских войн. Вот одна иллюстрация – оставленная Сеннахерибом запись о полном разрушении Вавилона:

Город и постройки я опустошил, разрушил до основания и сжег. Стены и ограды, дворцовые башни, храмы и статуи богов – все было разрушено и сброшено в воды канала Арахту. Через центр города я приказал прорыть канал, наполнил его водой и разрушил город до основания. Это было полнейшее разрушение, сравнимое разве что с мощным наводнением.

История цивилизации от разрушений Карфагена и Иерусалима до разрушения Дрездена, Хиросимы и уничтожения людей, земли и деревьев Вьетнама – это трагический документ садизма и жажды разрушения.

Агрессивность в первобытных культурах

До сих пор мы рассматривали проявление агрессивности в доисторических обществах и у сохранившихся первобытных охотников. А что мы знаем о других, более развитых, но все же еще первобытных культурах?

Сначала кажется, что на этот вопрос ответить нетрудно: достаточно изучить какой-нибудь серьезный научный труд об агрессивности, опирающийся на множество антропологических данных, но тут я столкнулся с невероятным явлением: такого труда не существует. Очевидно, антропологи сочли феномен агрессивности недостаточно важным, чтобы собирать для его изучения эмпирический материал. Есть маленькая брошюра Дерека Фримана, в которой он пытается дать обзор антропологических данных относительно агрессивности, чтобы подкрепить тем самым теорию Фрейда.

И есть небольшая работа антрополога Гельмута, который придерживается противоположной позиции, считая, что в первобытных обществах агрессивность сравнительно невелика.

Поэтому мне пришлось сделать самостоятельный анализ этой проблемы, изучив большое число других работ. Сначала я взял более доступные публикации антропологов, но поскольку собранные в них данные не были ориентированы на проблему агрессивности, то их можно считать в широком смысле слова случайной выборкой.

Я вовсе не претендую на то, что результаты моего анализа о распространении агрессивности в первобытных культурах имеют строгую статистическую валидность (достоверность). Я и не ставил перед собой статистические цели, а просто хотел показать,

что неагрессивные общественные системы не так уж редки, как это считает Фриман и другие представители фрейдистского подхода. И кроме того, я полагаю, что агрессивность не следует рассматривать изолированно, что это не отдельно взятая характеристика, а часть совокупности, составная часть некоего целостного синдрома, ибо агрессивность обнаруживается всегда рядом с целым набором вполне определенных признаков системы, таких как строгая иерархичность, лидерство, классовые противоречия и т. д. Другими словами, я считаю агрессивность составной частью целостной характеристики общества, а не отдельной чертой поведения изолированного индивида^[156].

Анализ тридцати первобытных племен

С точки зрения агрессивности (или миролюбия) я изучил тридцать первобытных культур.

Три из них еще в 1934 г. были описаны Рут Бенедикт^[157], тринадцать – исследованы Маргарет Мид^[158], пятнадцать – Джорджем Мердоком^[159] и одна – Тёрнбалом^[160].

При изучении этих 30 обществ сразу обнаруживаются системы трех разных типов (А, В, С).

Они отличаются друг от друга не только наличием или отсутствием агрессивности, но и структурой характеров: так, в разных типах обществ мы встречаем разные отличительные черты индивидов (личностные характеристики), причем некоторые из них не обнаруживают связи с агрессивностью^[161].

Система А: жизнеутверждающие общества

В этой системе все идеалы, институты, обычаи и нравы направлены на сохранение и развитие жизни во всех ее сферах.

Враждебность, насилие и жестокость встречаются в минимальных проявлениях, практически отсутствуют репрессивные институты: нет ни преступлений, ни наказаний, институт войны отсутствует полностью либо играет минимальную роль. Детей воспитывают в духе дружелюбия, телесные наказания не практикуются. Женщины и мужчины пользуются равными правами, уж во всяком случае женщины не эксплуатируются и не унижаются. Отношение к сексу положительное и в целом толерантное. В обществе почти не обнаруживаются зависть, тщеславие и жадность; не заметен индивидуализм, нет соперничества. Зато очень заметны черты кооперации (коллективности). Личная собственность распространяется лишь на предметы индивидуального обихода. В межличностных отношениях в целом преобладают надежность, доверие и обязательность – то же самое можно сказать и об отношении к природе. В целом в обществе преобладает хорошее настроение, депрессивные состояния составляют редкое исключение.

К данной категории жизнеутверждающих обществ я причисляю индейцев зуни, горных арапешей и батонгов, арандов, семангов, тодов, эскимосов Севера и племена мбуту.

В системе группы А встречаются и охотники (например, мбуту), и земледельцы, и скотоводы (как зуни). Среди них могут быть общества, сравнительно хорошо обеспеченные продуктами питания, а бывают и довольно-таки бедные. Это вовсе не означает, что характерологические различия не зависят от социально-экономических особенностей соответствующих обществ или, наоборот, целиком обусловлены этими особенностями. Это

156

157

158

159

160

161

лишь указывает на то, что простые, очевидные экономические факторы (богатство или бедность, охота или земледелие и т. д.) не являются достаточным основанием для объяснения путей формирования характера общества. Чтобы понять связь между экономикой и социальным характером, необходимо исследовать социально-экономическую систему каждого общества.

Система В: недеструктивное, но все же агрессивное общество

Эту систему роднит с системой А один важный элемент – отсутствие деструктивности. Но при этом существенное различие состоит в том, что в обществе сплошь и рядом встречаются индивидуализм, соперничество и иерархичность, а агрессивность, война считаются нормальными явлениями (хотя и не занимают центрального места). Такие общества отнюдь не отличаются чрезмерной подозрительностью, жестокостью или разрушительностью, но тем не менее в них нет того дружелюбия и доверия, которые бросаются в глаза в системе группы А. Можно утверждать, что система В пронизана духом мужской агрессивности, индивидуализма, желанием делать и доставать вещи и решать поставленные задачи. В моей картотеке в эту категорию попадают следующие племена: эскимосы Гренландии, бачиги, манусы, самоа, племена с острова Маори, тасманцы, айны, индейцы, инки и готтентоты.

Система С: деструктивные общества

У обществ этого типа весьма характерные особенности. Они отмечены агрессивностью, жестокостью, разрушительными наклонностями своих членов (как внутри племени, так и по отношению к другим племенам). В обществе царит воинственный дух, враждебность и страх; широко распространены коварство и предательство. Большую роль в целом играет частная собственность (если не на материальные ценности, то хотя бы на символы), потому в значительной степени развито соперничество (конкуренция).

Общество строго иерархично, часто ведет войны. Под эту категорию подпадают добу и квакиутлы, хайда, ацтеки, витоты и ганды.

Я понимаю, что мне могут быть предъявлены претензии по поводу моей классификации обществ. Но, насколько со мной согласны в классификации того или иного общества, для меня не играет большой роли, ибо мне важен не количественный, а качественный аспект дела. А в этом отношении я могу констатировать, что главное качественное различие между общественными системами типа А, В, С состоит в том, что первые две системы являются жизнеутверждающими, в то время как система С по сути своей является жестокой или деструктивной, т. е. может быть названа садистской или некрофильской.

Иллюстрации к трем системам

Чтобы дать читателю более наглядное представление об этих трех системах, я хочу подробно описать по одному обществу каждого типа.

Индейцы зуни (система А)

Индейцы племени зуни подробно изучены и описаны такими этнографами, как Рут Бенедикт, Маргарет Мид, Ирвинг Голдман, Рут Бунцель и другими. Зуни живут в юго-западной части США и занимаются земледелием и овцеводством. Как и все остальные общества пуэбло-индейцев, они в XIII-XIV в. заселяли многочисленные города, но история их уходит в глубь веков, когда они жили в небольших каменных домах, состоявших из одного помещения и подземелья для церемоний. Можно считать, что они жили «в достатке»

(с точки зрения их потребностей), хотя материальные ценности не имели для них существенного значения. Что касается их социального положения, то бросается в глаза отсутствие соперничества, хотя территория племени зуни невелика, а орошаемых земель и вовсе мало. Общество матрицентрично, но мужчины занимают посты церковных и светских служащих. Того, кто ведет себя недружелюбно или агрессивно, считают ненормальным. Все виды работ, как правило, выполняются совместно, лишь овцеводство является исключительно мужским делом. Индивидуальным достижениям в общем и целом не уделяется особого внимания. Если случаются ссоры, то чаще всего их причиной является не экономическое соперничество и не интересы собственности, а любовные интриги.

Проблема накопления капитала практически отсутствует. Это не значит, что все абсолютно равны материально: кто-то – богаче, кто-то – беднее, но границы этих различий очень подвижны. Отношение зуни к материальным ценностям наглядно характеризует такой пример: каждый с удовольствием одолжит свое украшение другу или любимому соплеменнику, если тот его об этом попросит. Браки, как правило, очень стабильны, хотя развод не является проблемой. Это не значит, что отсутствуют ссоры на почве ревности. Женщина, естественно, не подчиняется мужчине. Люди часто делают друг другу подарки, но (в отличие от известных обществ, где царит дух соперничества) это делается не ради демонстрации своего имущественного превосходства и уж конечно не для того, чтобы унижить того, кому преподносится дар. При этом совершенно отсутствует сравнение подарков или расчет на взаимность. Благосостояние семьи поддерживается прилежным индивидуальным трудом каждого из ее членов; использование чужого труда здесь неизвестно. Имеется частная собственность на недвижимое имущество, но ссоры являются большой редкостью и быстро улаживаются.

Систему зуни можно понять, если исходить из того факта, что материальные вещи здесь сравнительно низко ценятся, а основные жизненно важные интересы имеют религиозную природу. Другими словами, главной ценностью в обществе считается сама жизнь и все живое, а отнюдь не вещи и не обладание собственностью. Важнейшее место в этой системе занимают песни, молитвы, ритуалы и танцы. Священнослужители пользуются огромным уважением, хотя они и не выполняют функций цензора или судьи. Религиозная сфера считается гораздо более важной, чем светская (чем экономика, хозяйство, прибыль). Это доказывает тот факт, что судебные тяжбы по имущественным вопросам разбирает чиновник, который по сравнению со священником имеет довольно низкий социальный статус.

Наименьшую ценность для зуни представляет, вероятно, такая категория, как личный авторитет. Хорошим человеком считается человек «дружелюбный, мягкий, уступчивый и добросовестный». Мужчины никогда не применяют свою силу. Даже в том случае, если жена изменила мужу, о насилии не может быть и речи. Во время инициации юношей подвергают испытанию (страхом), но эти обряды никогда не превращаются в настоящую пытку, как это бывает в других культурах. Убийство в принципе исключено. Как сообщает Рут Бенедикт, за все время ее исследований она не встретила ни одного человека, кто мог бы вспомнить случай убийства. Самоубийство осуждается. Мифы и легенды никогда не рассказывают об ужасах и опасностях. В связи с проблемами секса здесь не возникает никаких неприятностей: никто не испытывает угрызений совести по поводу своей сексуальности, а целомудрие не встречает одобрения. Половая сфера составляет часть счастливой жизни, но лишь только часть ее, а вовсе не является единственным источником удовольствия (как это считается в некоторых агрессивных обществах). Иногда кажется, что с сексуальной сферой связаны некоторые страхи, но при ближайшем рассмотрении это оказывается страхом мужчины перед женщиной и половыми связями. Так, Голдман обращает внимание на роль мужского страха в матриархальных системах (особенно боязни кастрации).

При этом речь идет скорее о том страхе, который мужчина испытывает по отношению к женщине, чем о страхе перед карающим отцом (как считал Фрейд).

Воистину замечательная картина счастливой жизни, в которой отсутствует насилие;

этой жизни чужд дух агрессивности, а радость сотрудничества и дружелюбия является нормой. Может ли такую картину изменить тот факт, что в этом обществе все же встречаются ревность и ссоры? Если требовать от общества абсолютно идеального состояния, при котором реализуется полный отказ от воинственности и враждебности, то ни одно общество нельзя будет назвать миролюбивым и свободным от насилия. Правда, подобные требования можно, вероятно, охарактеризовать как достаточно наивную позицию. Ведь даже самые неагрессивные люди при определенных обстоятельствах могут обозлиться, особенно если они наделены холерическим темпераментом. Но это вовсе не значит, что у них вся структура характера (вся личность) является агрессивной (деструктивной). Можно даже больше сказать: в такой культуре, где на выражение гнева наложено табу (как в культуре зуни), некоторая доза гнева иногда прорывается в форме личной ссоры. Но считать такие одноразовые проявления драчливости симптомом глубокой и мощной, постоянно вытесняемой агрессии может лишь тот, кто догматично стоит на позициях концепции врожденной агрессивности человека.

Такая интерпретация основывается на ошибочном толковании бессознательной мотивации, которую открыл Фрейд. При этом прослеживается следующий ход рассуждений: если предполагаемая черта характера проявилась, то ее наличие явно и несомненно; если же она полностью отсутствует, то само это отсутствие доказывает ее существование: ведь она, наверняка, вытеснена и потому, чем меньше она заметна, тем больше понадобилось усилий на ее вытеснение, т. е. тем больше ее роль в глубине бессознательного.

Таким способом можно доказать все, что угодно, а открытие Фрейда используется в чисто догматических целях. Что касается серьезного подхода к методу, то любой психоаналитик в принципе допускает гипотетическое наличие какого-то влечения в вытесненной форме лишь тогда, когда эмпирические факты свидетельствуют об этом вытеснении (сны, фантазии, ошибки, описки и т. д.). Но в реальном анализе отдельных личностей и целых культур этот принцип, к сожалению, очень часто игнорируется. Люди исходят из достаточности самой теоретической

посылки о возможностях вытесненных влечении и не дают себе труда искать эмпирические факты. Подобный аналитик часто действует без злого умысла, ему в голову не приходит, что он всего-навсего ищет то, что содержится в его теоретической схеме. Подобного подхода надо избегать, в том числе и при оценке антропологических фактов, и не торопиться констатировать те или иные наклонности и черты там, где они ничем не подтверждены.

В случае с племенами зуни нет никаких оснований считать отсутствие явной враждебности результатом усиленного вытеснения агрессии. И потому у нас нет никаких сомнений в том, что здесь мы имеем дело с социальной системой жизнеутверждающего коллективистского характера, полностью свободной от агрессивности.

Есть еще один способ игнорирования фактов в пользу существования неагрессивных обществ. Он состоит в том, что такие свидетельства либо просто игнорируются, либо утверждается, что они не имеют серьезного значения. Так, например, Фрейд в знаменитом письме к Эйнштейну писал о примитивных миролюбивых обществах следующее: «На земле существуют счастливые уголки, где природа в полной мере дает человеку все, что ему требуется; и там должны жить кроткие народы, которым неизвестны и чужды и агрессия, и насилие. Мне самому это трудно представить, и я хотел бы побольше узнать об этих счастливых». Я не знаю, как бы Фрейд отнесся к этим «счастливым существам», если бы узнал о них побольше. Мне кажется, что он никогда серьезно не стремился получить о них больше информации.

Племя манус (система В)

Племя манус, описанное детально в работах Маргарет Мид, – это пример той системы, которая явно отличается от общества типа А уже хотя бы потому, что главной целью и

ценностью здесь считается личный успех в хозяйственной деятельности, а не искусство, не религиозные ритуалы и не радость жизни, как таковой.

С другой стороны, система манус существенно отличается и от системы типа С, примером которой для нас будет племя добу. Манус в основном не отличаются ни хитростью, ни коварством, грубость и жестокость встречаются очень редко.

Манус живут у моря, в лагунах вдоль южного берега Большого острова Адмиралтейства. Их поселения состоят из домов, построенных на сваях. Они ловят рыбу, избытки которой продают своим соседям, земледельцам и ремесленникам, в обмен на необходимые предметы, которые производятся в более отдаленных районах архипелага. Всю свою энергию они направляют на достижение экономического успеха, причем тратят на это так много сил, что многие мужчины умирают, едва дожив до средних лет. Действительно, редко случается, чтобы мужчина дождался рождения первого внука. Такой трудовой порыв, почти одержимость, объясняется не только тем, что успех для них – главная ценность, а еще и тем, что они стыдятся своих неудач. Если кто-то не в состоянии вернуть долг, это рассматривается окружающими как позор; если кто-то не в состоянии накопить некоторый капитал, он попадает в категорию людей без социального статуса. И как только кто-нибудь оказывается не в состоянии заниматься хозяйственной деятельностью, он утрачивает всякое уважение, завоеванное предшествующим трудом.

В воспитании молодежи главное внимание уделяется таким ценностям, как физическое здоровье, совесть и богатство. Индивидуализм целенаправленно стимулируется тем, что родственники соревнуются между собой за любовь ребенка, стараясь перетянуть его на свою сторону. Таким образом ребенку с ранних лет прививается высокая самооценка. Законы брака достаточно суровы и соответствуют в целом буржуазной морали XIX в. Главными преступлениями считаются скабрёзность, сексуальные проступки, клевета и неуплата долгов. Порицается недостаточная готовность помочь родственнику, а также запущенное хозяйство в своем собственном доме. Только одна фаза в жизни мужчины не подчинена духу напряженного труда и соревнования – это период юности, до женитьбы. Неженатые молодые мужчины объединяются в своего рода братство, они живут все вместе в специальном общем доме, деля друг с другом хлеб, орехи, табак и наложницу (чаще всего пленницу). Так они ведут веселую праздную жизнь за рамками общества в целом. Вероятно, это

необходимо, чтобы дать мужчине хотя бы в короткий период его жизни немного радости и удовольствий. Ибо со вступлением в брак эта идиллия кончится раз и навсегда. Чтобы жениться, молодой человек должен одолжить большую сумму денег, и потому в первые годы семейной жизни его одолевает одна забота и одна цель – вернуть долг своему кредитору. Он даже не может лишней час провести с женой, пока не расплатится полностью с долгами. Кто хочет добиться успеха в жизни, тратит все силы на то, чтобы после расплаты еще и скопить какие-то средства, чтобы самому стать кредитором и давать деньги в долг.

Это становится одной из предпосылок для завоевания социального статуса. Вступление в брак – также в первую очередь экономическое мероприятие, в котором индивидуальные личные склонности и сексуальный интерес играют второстепенную роль. При этих обстоятельствах нет ничего удивительного в том, что между мужем и женой в первые 15 лет их совместной жизни складываются антагонистические отношения. И лишь когда дети вырастают и вступают в брачный возраст, в семейно-брачных отношениях антагонизм уступает место сотрудничеству. Достижение успеха как высшей цели отнимает так много сил, что их практически не остается на личные формы взаимодействия: такие мотивы, как любовь, расположение, симпатия, антипатия, ненависть и т. д., – становятся недоступными.

Итак, самым главным моментом, решающим для понимания системы типа В является тот факт, что в ней нет особой любви или дружбы, но зато деструктивность с жестокостью тоже не наблюдаются. Если же у человека нет никаких успехов в жизни, а кругом сплошной провал, то его все равно никто не превращает в объект для нападков. Нельзя сказать, что здесь вообще отсутствуют войны (в основном они направлены на завоевание женщин, которых превращают в проституток), но в целом войны осуждаются и считаются препятствием для

развития успешной торговли.

Идеальным человеческим типом считается отнюдь не герой, а целеустремленный и прилежный, бесстрастный и результативный труженик. Данный тип социальной системы отражается и в религиозных взглядах. Религия направлена на достижение чисто практических целей: жрецы и другие служители культа применяют различные методы заклинания духов, отведения болезней и несчастий с помощью даров, жертвоприношений, молитв и т. д.

Вся жизнь такого общества вращается вокруг собственности и успеха; люди одержимы работой и более всего на свете боятся провала в деле. И несмотря на такой страх, разрушительность и враждебность не характеризуют жителей этой системы.

К системе типа В относят еще целый ряд обществ, которые не в такой мере ориентированы на собственность и успех, как племя манус. Но пример с ним был особенно удобен для сравнения с последним типом общественных систем – с типом С, который мы рассмотрим на примере племени добу.

Добу (система С)

Жизнь островов Добу также была подробно изучена и описана одним из знаменитых этнографов современности, Рут Бенедикт. Хотя острова Добу находятся совсем близко от Тробриандских островов, известных нам по публикациям Малиновского, обычаи, нравы и характеры их жителей совершенно различны. В то время как тробриандцы живут на плодородных землях, гарантирующих им обильный урожай, острова Добу – вулканического происхождения и имеют лишь небольшие площади плодородной почвы.

Добуанцы, однако, приобрели известность среди соседних племен не столько бедностью, сколько воинственностью. У них нет вождей, но существует четкая групповая организация подчинения (по типу системы концентрических окружностей), внутри которой предусмотрены специальные традиционные формы вражды.

За исключением группы родственников по матери (она называется зузу, что означает «материнское молоко»), в которой отмечается известная мера сотрудничества и доверительности, все остальные добуанцы строят свои межличностные отношения по принципу видения возможного «врага» в любом и каждом. Даже женитьба не смягчает враждебных отношений между семьями жениха и невесты. Единственный способ умиротворения общество находит в том, что молодая семья поочередно живет один год в деревне мужа, а следующий год – в деревне жены. Отношения же между супругами преисполнены злобы и враждебности. Верность вообще не предусмотрена, и ни один добуанец никогда не согласится, что мужчина и женщина могут находиться рядом хотя бы короткое время, не имея для этого сексуальных причин.

Два признака характерны для этой системы: роль частной собственности и колдовство. Рут Бенедикт приводит массу казусных случаев защиты частной собственности любой ценой. Так, например, право собственности на сад считается настолько неприкосновенным, что хозяйка с хозяином обычно именно в саду предаются любовным забавам.

Никто не разглашает размеры собственности, своей и чужой. Эта тайна охраняется очень тщательно, как если бы имуществу угрожала кража.

Личное чувство частной собственности распространяется в том числе и на колдовское искусство, и на формулы заклинаний. Так, добуанцы обладают «магией болезни»: они умеют насылать порчу, умеют исцелять болезни, и для каждого случая существует свое магическое действие (колдовство). Многие владеют этим искусством в совершенстве, и это приносит им силу и уважение в обществе, а монополия на колдовство дает, естественно, значительное преимущество.

Вся жизнь подвластна чародейству, без него невозможен успех ни в одной сфере жизни, и потому магические формулы составляют важную часть богатства.

Вся жизнь проходит в отчаянном соперничестве; в этой борьбе все средства хороши и

любое преимущество используется для победы. Однако здесь соревнование проходит не так, как в системах типа А и В, т. е. не открыто, не свободно, а напротив, борьба преисполнена коварства и ведется исподтишка. Идеалом мужчины считается тот, кто достигает успеха хитростью, подсиживанием и другими уловками.

Главным достоинством и наивысшим достижением является овладение приемами «вабувабу», которые составляют искусство беззастенчивого продвижения к личному успеху за счет нанесения ущерба всем соперникам. (Эта система существенно отличается от рыночной, которая в принципе базируется на честном обмене, когда обе стороны должны идти на уступки.)

Пожалуй, самым примечательным признаком системы типа С является господствующее здесь коварство. Обычно добуанец производит впечатление весьма вежливого и предупредительного человека. Один из них так описывал нравы и обычаи своего племени: «Если я хочу кого-нибудь убить, я постараюсь сблизиться с этим человеком, войти в доверие. Я буду рядом с ним день и ночь, буду делить с ним радость и горе, буду вместе с ним есть и пить, работать и отдыхать, и это может длиться много месяцев. Я назову его другом и буду ждать подходящего момента, чтобы сделать то, что задумал». И потому, когда случается убийство (а это бывает довольно часто), подозрение падает в первую очередь на тех, кто стремился подружиться с несчастной жертвой. Две главные буруевающие добуанцев страсти – это богатство и секс.

Из-за слаборазвитой способности радоваться у добуанцев возникают определенные проблемы в сфере секса. Дело в том, что обычай запрещает им смех, а угрюмость возведена в разряд добродетелей. Один из добуанцев так говорит о своих обычаях и нравах: «Проводя время в саду, мы не играем и не поем, не хохочем и не рассказываем веселых историй». Быть счастливым категорически запрещено. Рут Бенедикт сообщает об одном человеке, который провел некоторое время на границе с чужой деревней, наблюдая жизнь соседей, у которых было принято танцевать. Но когда его спросили, не захотелось ли ему принять участие в танцах, он решительно отверг это предположение: «Моя жена подумала бы, что я почувствовал себя счастливым, и смогла бы упрекнуть меня в этом», – так он мотивировал свой отказ. Но, как ни странно, вся эта внешняя угрюмость, большое рвение в труде, а также табу на счастье не исключают очень серьезного отношения к удовлетворению сексуальных страстей, а также к технике секса. Так, накануне свадьбы невесте внушают одну-единственную идею: главный способ привязать к себе мужа – это держать его в состоянии сексуального изнеможения.

В отличие от зун добуанцы исключают из своей жизни любые положительные эмоции, кроме секса. Сексуальное удовлетворение – это единственное допустимое удовольствие. И несмотря на это, под влиянием традиции и доминирующих черт характера на поведении между полами это никак не отражается: внешне они никогда не проявляют своих чувств и делают вид, что сексуальные радости – вовсе не повод для теплых или дружественных отношений между мужчиной и женщиной. Они поразительно скупы на проявление чувств и в сексе ведут себя как истинные пуритане. Складывается впечатление, что секс считается очень дурным, хотя и весьма привлекательным занятием (ввиду запрета на счастье и радость). И в самом деле, если считать, что сексуальные страсти являются компенсацией за отсутствие радости либо выражением радости, то в отношении добуанцев речь может идти однозначно только о первом их назначении (т. е. о компенсации)[162].

Хочу закончить свой рассказ выводами Рут Бенедикт:

Жизнь в племени добу способствует развитию крайних форм раздражительности и вероломства, которые у большинства народов сведены к минимуму с помощью общественных институтов. У добуанцев же все организационные структуры лишь усиливают эти формы жизни. Добуанец не дает себе труда вытеснить свои кошмарные влечения, его сознание воспринимает любое зло как норму, предписанную человеку либо природой, либо

обществом.

Соответственно этому мировоззрению он считает вполне естественным (достойным одобрения), если кто-то находит себе жертву, на которую можно выплеснуть свою злую энергию. Вся жизнь представляется ему смертельной битвой, в которой враги пытаются отнять друг у друга всякую радость жизни. Зло и жестокость – его главное оружие в этой борьбе, «где никто не способен на милосердие, а потому и сам не ждет пощады».

Симптомы жестокости и деструктивности

Итак, данные антропологической науки показали, что инстинктивистская интерпретация человеческой разрушительности не выдерживает критики^[163]. Хотя мы во всех культурах фиксируем тот факт, что люди в жизни спасаются от угрозы либо борьбой, либо бегством, жестокость и деструктивность в большинстве обществ остаются на таком низком уровне, что их объяснение с помощью «врожденных» страстей явно не может никого убедить. Более того, факты свидетельствуют, что менее цивилизованные общества (охотники, собиратели и ранние земледельцы) проявляют меньшую агрессивность, чем более развитые цивилизации. А это опровергает мнение о том, что деструктивность является частью человеческой «натуры». Против инстинктивистского тезиса говорит также и тот факт, что деструктивность (как мы видели) нельзя рассматривать как отдельно взятый фактор, ее можно понять лишь как составную часть целостной структуры личности, как характерологический синдром.

Однако тот факт, что деструктивность и жестокость не являются сущностными чертами человеческой природы, вовсе не означает, что они не могут достигать значительной силы и широкого распространения. Это не требует доказательства, ибо это подтверждено уже исследованиями многих ученых, которые изучали жизнь примитивных народов^[164] (хотя нельзя упускать из виду, что эти данные относились к сравнительно более развитым обществам, а не к самым первобытным среди них, каковыми являются племена охотников и собирателей). Мы сами были (и являемся) свидетелями безграничной деструктивности и жестокости, так что не особенно нуждаемся в исторических подтверждениях. Поэтому я не собираюсь здесь цитировать хорошо известный материал о человеческой деструктивности, которого очень много, но считаю совершенно необходимым привести результаты новейших исследований об охотниках, собирателях земледельцах эпохи раннего неолита, которые неспециалистам почти неизвестны.

При этом я хочу предупредить читателя в отношении двух обстоятельств. Во-первых, существует масса недоразумений в связи со словом «примитивный (первобытный)». Это слово принято употреблять в отношении всех доцивилизационных культур, которые отнюдь не единообразны. Их объединяет лишь то, что у них не было письменности, не было развитой техники и денежных знаков; но во всех остальных областях – в экономической, социальной и политической жизни – примитивные общества очень сильно отличаются друг от друга. И потому на самом деле выражение «примитивное общество» – это только пустая абстракция, а в реальности мы каждый раз имеем дело с примитивным обществом того или иного типа.

Для охотников и собирателей и ряда более развитых первобытных народов характерно отсутствие деструктивности, в то время как в целом ряде других обществ и в большинстве цивилизованных социальных систем деструктивная тенденция превалирует над миролюбивой.

Второе заблуждение, от которого я хочу предостеречь читателя, состоит в том, что

163

164

многие упускают из виду спиритуалистские и религиозные мотивы многих жестоких и разрушительных действий. Ярчайшим примером тому является практика жертвоприношения детей, которая была распространена в Ханаане в эпоху иудейских завоеваний и в Карфагене вплоть до его разрушения римлянами в III в. до н. э. Что склоняло несчастных родителей к убийству собственных детей – жестокость и деструктивность характера? Это явно невероятное предположение. Возьмем библейскую историю об Аврааме и его попытке убить своего сына Исаака, которая явно направлена против приношения детей в жертву. Здесь трогательно рассказывается о любви Авраама к сыну, и в то же время он без всяких колебаний принимает решение принести Исаака в жертву. Здесь мы явно имеем дело с религиозными мотивами, которые оказываются сильнее даже любви к собственному ребенку. В культуре такого типа человек настолько предан религиозным канонам, что он совершает жестокость, не имея деструктивных мотивов.

Возьмем для сравнения более близкий нам пример – феномен современной войны. Первая мировая война была вызвана целым комплексом причин: здесь смешались экономические интересы и тщеславие вождей, неповоротливость одних и глупость других. Но когда война уже разразилась (или даже еще чуть-чуть раньше), она приобрела характер «религиозного» феномена. Государство, народ и честь нации были фетишизированы, превращены в идолов, ради которых обе стороны добровольно стали приносить в жертву своих детей. Среди молодых людей, которые погибли уже в первые дни войны, значительную часть составляли сыновья английских и немецких высших сословий, которые более других несли ответственность за принятие решений. Можно не сомневаться, что родители любили своих детей. Однако, преисполненные традиционных представлений о национальной гордости, они переступили через эту любовь и отправили на верную смерть своих мальчиков, которые и сами с готовностью и без промедления ринулись в бой. В этом случае мы также имеем дело с жертвоприношением, и мало что меняется от уточнения, кто кого убьет. Разве это важно, что не сам отец стреляет в своего сына, а просто заключается соглашение, в результате которого начинается убийство детей обеих воюющих сторон. В случае войны ответственные за принятие решений люди точно знают, что произойдет, однако идолопоклонство оказывается сильнее любви к собственным детям.

Для подтверждения теории врожденной деструктивности нередко используется феномен каннибализма. Сторонники этой теории немало потрудились, описывая находки, которые, по их мнению, доказывают, что каннибалами были даже первобытнейшие люди, например синантропы (*Peking-menschen*) (500 тысяч лет до н. э.). Обратимся к фактам.

В пещере Чжоукоудянь были обнаружены останки сорока черепов, которые приписывают самым первым из известных нам человеческих существ – синантропам. Других костей среди этой находки не было. Все черепа имели повреждение в районе основания, и из этого было сделано предположение, что через это место вынимали мозг. Далее идет серия рассуждений и выводов: мозг из этих черепов был использован как пища, а вся находка доказывает каннибализм самых ранних из известных нам людей.

На самом деле ни одна из этих посылок до сих пор не доказана. Мы даже не знаем, кто убил владельцев этих черепов, с какой целью и было ли это типичным происшествием или исключением из правила. Л. Мэмфорд, как и К. Нарр, убеждены, что изложенная гипотеза носит весьма спекулятивный характер. Мэмфорд считает, что широкое распространение каннибализма в более позднее время (особенно в Африке и Новой Гвинее) ни в какой мере не может служить доказательством существования людоедства на более ранних ступенях развития человечества. Мы уже сталкивались с аналогичной проблемой, когда оказались перед фактом, что самые первобытные представители человеческого рода менее деструктивны и, кстати сказать, имеют более развитую форму религии, чем более поздние.

Среди многочисленных догадок о том, для какой цели из черепов синантропов был вынут мозг, заслуживает внимание гипотеза, согласно которой в данном случае мы имеем дело с ритуальным действием; мозг был изъят из черепов не ради еды, как таковой, а ради приготовления священного кушанья. А. Бланк в своем исследовании идеологии первых

людей подчеркивал, что мы почти ничего не знаем о религиозных идеях синантропов, но при этом не исключено, что они были первыми, кто практиковал ритуальный каннибализм^[165].

Бланк обращает внимание на возможную связь между находками в Чжвукоудянь и неандертальскими черепами в Монте-Чирчео, которые также имели следы изъятия мозга. По мнению Бланка, очень многие признаки указывают на то, что речь идет здесь о ритуальном акте. Например, форма и размер отверстия в основании черепа имели точно такой же вид, как у охотничьих голов из Меланезии и с острова Борнео, где охота за головами имела исключительно ритуальное значение. Но особенно интересно следующее: Бланк установил, что «эти племена вовсе не отличаются особой кровожадностью и агрессивностью, а также имеют достаточно развитую форму морали и сравнительно высокие нравственные принципы».

Все эти данные подводят нас вплотную к выводу о том, что наше знание о каннибализме синантропов – не что иное, как надуманная конструкция, и что (даже если эти данные подтвердятся), вероятнее всего, речь идет о ритуальном феномене, который очень сильно отличается от неритуального деструктивного каннибализма, встречающегося в Африке, Южной Америке и Новой Гвинее. На самом деле в доисторическую эпоху каннибализм был чрезвычайной редкостью. Так, Э. Фольхард в своей монографии «Каннибализм» утверждает, что до сих пор нет достаточно валидных (убедительных научных) доказательств существования этого феномена в ту эпоху. Он отказался от своей позиции только в 1942 г., когда Бланк показал ему череп из Монте-Чирчео (сообщено Бланком, 1961).

У охотников за головами мы также имеем дело с ритуальными мотивами. Однако пройдет еще немало времени и потребуются провести целую серию серьезных исследований, чтобы установить, когда и в какой мере методы охотников за головами из религиозного ритуала превратились в деструктивное поведение с элементами садизма.

С другой стороны, если обратиться к феномену истязания (пытки), то он, вероятно, значительно реже бывает связан с ритуальным актом. Это, скорее всего, выражение садистских инстинктов – и здесь неважно, идет ли речь о примитивном племени или об индивидуальных или политически организованных пытках современности.

И все же для понимания феномена острой деструктивности совершенно необходимо учитывать, что причиной подобного поведения могла быть не только жестокость сама по себе, но и религиозные мотивы. Однако в культуре, ориентированной на голый прагматизм, трудно ожидать такого понимания, ибо представители такой культуры просто не в состоянии осознать интенсивность и значимость для человека нематериальных стремлений, идеальных целей и религиозных мотивов.

Но даже когда мы научимся понимать, что во многих случаях деструктивное и жестокое поведение не является следствием деструктивной психической мотивации, все равно придется считаться с фактами (их вполне достаточно), указывающими на то, что в противоположность всем другим млекопитающим человек – это единственный представитель приматов, способный испытывать удовольствие от убийства и созерцания страданий. Я постарался показать в этой главе, что деструктивность не является ни врожденным элементом, ни структурным компонентом всякой «человеческой природы». Что же касается вопроса о природе и специфических, собственно «человеческих» причинах потенциальной озлобленности человека, то я надеюсь, что мне удастся на него ответить в следующих главах.

Часть третья.

Различные типы агрессии и деструктивности и их предпосылки

IX. ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ АГРЕССИЯ

Предварительные замечания

Факты, изложенные в предыдущей главе, привели нас к выводу, что механизм оборонительной агрессии «вмонтирован» в мозг человека и животного и призван охранять их жизненно важные интересы от угрозы. Бели бы человеческая агрессивность находилась на таком же уровне, как у других млекопитающих (например, хотя бы наших ближайших родственников – шимпанзе), то человеческое общество было бы сравнительно миролюбивым. Но это не так. История человечества дает картину невероятной жестокости и деструкции, которая явно во много раз превосходит агрессивность его предков. Можно утверждать, что в противоположность большинству животных человек – настоящий «убийца».

Как объяснить эту «гиперагрессивность»? И какого она происхождения – того же самого, что и агрессия животного, или у человека есть какой-то специфически человеческий деструктивный потенциал?

В пользу первой гипотезы свидетельствует то, что животные также проявляют чрезвычайную, ярко выраженную деструктивность, когда нарушается равновесие в окружающей их среде. Правда, это случается довольно редко, например в условиях скученности. Из этого можно сделать вывод, что человеческая психология оказалась значительно более деструктивной в связи с тем, что человек не только сам создал себе условия жизни, способствующие агрессивности (перенаселение и т. д.), но и сделал эти условия не исключением, а нормой жизни. А поэтому гиперагрессивность человека следует объяснять не более высоким потенциалом агрессии, а тем, что условия, вызывающие агрессию в человеческом обществе, встречаются значительно чаще, чем у животных в естественной среде их обитания^[166].

Этот аргумент звучит достаточно убедительно. Он имеет серьезное значение еще и потому, что дает повод для критического анализа истории человечества. Возникает мысль, что человек большую часть своей истории прожил в зоопарке, а не в «естественной природной среде», т. е. не на свободе, необходимой для нормального развития. И в самом деле, большинство данных о «природе» человека носит тот же самый характер, что и данные Цукермана о поведении павианов на Обезьяньей Горе Лондонского зоопарка.

Однако факт остается фактом, что человек часто ведет себя деструктивно даже в таких ситуациях, когда никакого перенаселения нет и в помине. Бывает, что жестокость вызывает в человеке чувство настоящего удовольствия, а неистовая жажда крови может охватить огромные массы людей. Индивиды и целые группы могут иметь такие черты характера, вследствие которых они с нетерпением ждут ситуации, позволяющей им разрядить свою деструктивную энергию, а если таковой не наступает, они подчас искусственно создают ее.

У животных – все иначе, они не радуются боли и страданиям других животных и никогда не убивают «просто так». Иногда возникает впечатление, что поведение животного носит черты садизма (например, игра кошки с мышью). Но если мы думаем, что эта игра доставляет кошке удовольствие, то это не что иное, как антропоморфная интерпретация. На самом деле любой движущийся предмет приводит к такой же точно реакции, как реакция на мышь. Значит ли это, что моток шерсти будоражит в кошке садистский инстинкт? Или другой пример. Лоренц рассказывает о двух голубях, которые сидели в одной тесной клетке. При этом более сильный заживо «ощипывал» более слабого (по перышку); Лоренц не вмешался и не расселил их. Но ведь этот пример свидетельствует вовсе не о жестокости, а лишь является показателем реакции на недостаток пространства, т. е. подпадает под категорию оборонительной агрессии.

Желание разрушить ради самого разрушения – это нечто совсем иное. Вероятно, только человек получает удовольствие от бессмысленного и беспричинного уничтожения живых существ. Обобщая, можно сказать, что только человек бывает деструктивным независимо от наличия угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей.

Основная идея, развернутая в этой главе, сводится к тому, что объяснение жестокости и деструктивности человека следует искать не в унаследованном от животного разрушительном инстинкте, а в тех факторах, которые отличают человека от его животных предков. Главная проблема состоит в том, чтобы выяснить, *насколько специфические условия существования человека ответственны за возникновение у него жажды мучить и убивать, а также от чего зависит характер и интенсивность удовольствия от этого* [167].

Даже в форме защитной реакции агрессивность у людей встречается значительно чаще, чем у животных. Поэтому вначале мы рассмотрим именно эту форму агрессивности в собственно человеческих вариантах ее проявления.

Если мы условимся обозначать словом «агрессия» все те действия, которые причиняют (или намерены причинить) ущерб другому человеку, животному или неживому объекту, то сразу надо осознать, что под эту категорию подпадают нередко весьма разнообразные типы реакций и импульсов; поэтому необходимо все же строго различать агрессию *биологически адаптивную, способствующую поддержанию жизни, доброкачественную, от злокачественной агрессии, не связанной с сохранением жизни.*

На это различие мы уже обращали внимание, когда говорили о нейрофизиологических основаниях агрессивности. Короче говоря, биологически адаптивная агрессия – это реакция на угрозу витальным интересам индивида; она заложена в филогенезе; она свойственна как животным, так и людям; она носит взрывной характер и возникает спонтанно как реакция на угрозу; а следствие ее – устранение либо самой угрозы, либо ее причины.

Биологически неадаптивная, злокачественная агрессивность (т. е. деструктивность и жестокость) вовсе не является защитой от нападения или угрозы; она не заложена в филогенезе; она является спецификой только человека; она приносит биологический вред и социальное разрушение. Главные ее проявления – убийство и жестокие истязания – не имеют никакой иной цели, кроме получения удовольствия. Причем эти действия наносят вред не только жертве, но и самому агрессору. В основе злокачественной агрессивности не инстинкт, а некий человеческий потенциал, уходящий корнями в условия самого существования человека.

Разграничение между биологически адаптивной и биологически неадаптивной формой агрессии поможет нам устранить путаницу в толковании понятия «агрессия». Дело в том, что те, кто выводит человеческую агрессивность из самой родовой сущности человека, вынуждают своих оппонентов, которые не хотят совсем расстаться с надеждой на мирную жизнь, приуменьшать масштабы человеческой жестокости. И эти адвокаты-миротворцы нередко высказывают излишне оптимистические прогнозы развития человечества. Если же разделить агрессию на оборонительную и злокачественную, то такая необходимость отпадает. Тогда предполагается, что злокачественная доля агрессии не является врожденной, а следовательно, она не может считаться неискоренимой. С другой стороны, допускается, что злокачественная агрессивность представляет собой некий человеческий потенциал, более значимый, чем одна из возможных моделей поведения, которой можно по желанию обучиться и от которой можно легко освободиться, приняв другую модель.

В третьей части мы исследуем условия возникновения, сущность как доброкачественной, так и злокачественной агрессии, особенно же подробно остановимся на второй форме. А пока я все же хочу еще раз напомнить читателю, что наш анализ противостоит бихевиористской теории, ибо мы изучаем агрессивные импульсы во всех их видах и формах, независимо от того, проявлялись они в агрессивном поведении или нет.

Псевдоагрессия

Под этим понятием я понимаю действия, в результате которых может быть нанесен ущерб, но которым не предшествовали злые намерения.

Непреднамеренная агрессия

Яркий пример псевдоагрессии – случайное ранение человека. Классический пример – это проверка револьвера и произвольный выстрел, задевающий находящегося поблизости человека. Психоанализ дает таким несчастным случаям несколько усложненное толкование, используя понятие неосознанной мотивации; так что возникает вопрос: не является ли любой внешне несчастный случай на деле результатом неосознанной мотивации агрессора? Такой ход рассуждений должен был бы снизить число случаев непреднамеренных агрессивных действий. Однако такой подход был бы догматическим упрощением ситуации.

Игровая агрессия

Игровая агрессия необходима в учебном тренинге на мастерство, ловкость и быстроту реакций. Она не имеет никакой разрушительной цели и никаких отрицательных мотиваций (гнев, ненависть). Фехтование, стрельба из лука или сражение на мечах развились из потребности поразить врага, но сегодня они полностью утратили эту свою функцию и превратились в виды спорта. Например, сражение на мечах в дзэн-буддизме доведено до подлинного искусства, которое требует огромной ловкости, полного владения своим телом, а также полной концентраций. Все эти качества необходимы еще в одном искусстве, которое внешне не имеет ничего общего с боевым, а именно в церемонии чаепития. Мастер дзэн в сражении на мечах не испытывает ненависти и желания убить или ранить.

Он просто точно выполняет свои движения, и если противник его оказывается убит, то это лишь оттого, что он «неудачно выбрал место»^[168]. И если представитель классического психоанализа будет утверждать, что в основе подобного убийства может лежать неосознанный мотив бойца (ненависть и желание уничтожить противника), то я скажу: это его дело, однако подобная аргументация свидетельствуют лишь о том, что ее носитель не имеет ни малейшего представления о духе дзэн-буддизма^[169].

Лук и стрелы тоже когда-то были оружием защиты и нападения, а сегодня это чистое искусство^[170]. И в западных культурах мы наблюдаем тот же самый феномен в отношении к фехтованию и сражению на мечах, которые также стали видами спорта. И хотя здесь отсутствуют духовные аспекты боевого искусства дзэн, все равно оба эти вида спорта исключают намерение нанести вред сопернику. Здесь уместно вспомнить, что и у первобытных народов соревнования по борьбе в первую очередь служили демонстрации ловкости и мастерства, а выражение агрессивности отходило на второй план.

Агрессия как самоутверждение

Важнейший вид псевдоагрессии можно в какой-то мере приравнять к самоутверждению. Речь идет о прямом значении слова «агрессия»: в буквальном смысле корень *aggredi* происходит от *adgradi* (*gradus* означает «шаг», а *ad* — "на"), т. е. получается что-то вроде «двигаться на», «на-ступать». *Aggredi* – это непереходный глагол, и потому он напрямую не соединяется с дополнением; нельзя сказать *to aggress somebody* – «нападать кого-либо».

168

169

170

В первоначальном значении слова «быть агрессивным» означали нечто вроде «двигаться в направлении цели без промедления, без страха и сомнения».

Концепция агрессии как самоутверждения находит подтверждение в наблюдениях за связью между воздействием мужских гормонов и агрессивным поведением. Во многих экспериментах было доказано, что мужские гормоны нередко вызывают агрессивность. При этом следует учитывать, что главное различие между мужчиной и женщиной заключается в их разных функциях во время полового акта. Анатомические и физиологические особенности мужчины обуславливают его активность и способность к вторжению без промедления и без страха, даже если женщина оказывает сопротивление. Поскольку сексуальная способность мужской особи имеет важное значение для продолжения жизни рода, неудивительно, что природа снарядила самца особенно высоким потенциалом агрессивности. Многие исследователи приводят вроде бы убедительные подтверждения этой гипотезе. В 40-е гг. было проведено много исследований для установления связи между агрессией и кастрацией самца, или между агрессией и инъекцией мужских гормонов кастрированным самцам^[171]. Один из классических экспериментов описал Биман. Он доказал, что взрослые самцы мышей (25 дней от роду) после кастрации в течение какого-то времени вели себя более миролюбиво, чем до кастрации. Когда же им делали после этого инъекцию мужских гормонов, они снова начинали драться. Биман также показал, что мыши не переставали быть драчливыми после кастрации, если им после операции не давали возможности успокоиться, а, наоборот, натравливали их на обычные стычки. Это говорит о том, что мужской гормон выполняет роль стимулятора агрессивного поведения, но вовсе не является единственным условием, предпосылкой, при отсутствии которой агрессия вообще исключена.

Сходные эксперименты с шимпанзе проводили Г. Кларк и Х. Берд. Результат показывал, что мужской гормон повышал уровень агрессивности, а женский – снижал. Позднее эксперименты, описанные Зигом, подтвердили данные Бимана и других. Зиг приходит к следующему выводу: «Можно утверждать, что усиление агрессивности изолированных мышей основано на нарушении гормонального равновесия, в результате которого обычно снижается порог раздражительности. Мужские половые гормоны в этой реакции играют решающую роль, в то время как все остальные выполняют только вспомогательную функцию».

Среди многих других работ на эту тему я хотел бы назвать только имя К. М. Лагершпетца. Он сообщает об очень интересной тенденции, обнаруженной в экспериментах с мышами. Мыши, воспитанные в духе агрессивности, испытывали большие затруднения при совокуплении, в то время как мыши, у которых формировалось неагрессивное поведение, в сексе чувствовали себя абсолютно свободно. Автор считает, что эти результаты позволяют предположить, что оба эти типа поведения поддаются селекции: что их можно либо усиливать, либо подавлять. Одновременно эти результаты опровергают гипотезу о том, что сексуальное и агрессивное поведение имеют одни и те же стимулы, только они затем направляются в разные русла благодаря внешним раздражителям. Подобный вывод противоречит гипотезе о том, что агрессивные импульсы составляют часть мужской сексуальности. Я, однако, не считаю себя достаточно компетентным, чтобы комментировать это явное противоречие. Правда, несколько позднее я предложу свою гипотезу по данному вопросу.

Предположение о наличии связи между мужественностью и агрессией, возможно, опирается на результаты исследований и домыслы о сущности Y-хромосомы. Женский ряд содержит две женские хромосомы (XX), а мужская формула состоит из хромосомной пары XY. В процессе деления клетки возможны отклонения от нормального развития, но с позиций теории агрессии самое главное заключается в том, что живое существо мужского пола получает в своем генетическом коде одну X-хромосому и две Y-хромосомы, т. е.

(XYU). (Бывает еще и другое расположение хромосом, но в нашей ситуации это нас не интересует.) Индивиды с формулой XYU нередко отличаются какими-либо физическими отклонениями от нормы. Обычно они значительно выше среднего роста, несколько ограничены в умственном отношении и довольно часто бывают больны эпилепсией или подвержены эпилептоидным состояниям. Особенно интересен для нас тот факт, что индивиды этого типа бывают чрезвычайно агрессивными. Это предположение первоначально возникло при обследовании буйных обитателей специальной клиники в Эдинбурге. Семеро из 197 психически больных мужчин имели хромосомный ряд XYU; а это составляет 3,5%, т. е. более высокий процент, чем это наблюдается у обычного населения^[172]. После публикации этих данных было проведено не менее десятка исследований, которые подтверждали и дополняли приведенные результаты^[173]. Однако их еще недостаточно для окончательных выводов, это всего лишь некоторое основание для гипотез, которые ждут еще своей проверки. А для этого необходимы многочисленные исследования с помощью точных методов и аппаратуры^[174].

В литературе нередко высказывается предположение, что мужская агрессивность не отличается от воинственного поведения, которое направлено на ущемление других людей; в обычной жизни такое поведение принято обозначать словом «агрессия». Но с биологической точки зрения было бы в высшей степени странно, если бы к этому сводилась сущность мужской агрессии. Разве сексуальный партнер может выполнить свою биологическую функцию, если он ведет себя враждебно по отношению к партнерше? Это бы разрушало элементарные связи между полами, а еще важнее с позиций биолога то, что это могло бы нанести ущерб женским особям, которые несут ответственность за будущих детей^[175]. При известных обстоятельствах, особенно в патриархальных обществах, где сложилась система эксплуатации женщин, действительно дело доходит до глубокой вражды между полами. Однако очень трудно объяснить этот антагонизм с точки зрения биологической целесообразности и не менее трудно понять его как результат эволюционного процесса. С другой стороны, мы уже упоминали, что в биологическом смысле мужчине необходима сила, быстрота и натиск, способность преодолевать преграды. Но при этом же речь идет не столько о враждебно-агрессивном поведении, сколько о наступательности, необходимой для достижения цели.

Такая мужская агрессивность существенно отличается от жестокости и деструктивности; это доказывается хотя бы тем, что по данному критерию женщины не менее жестоки и деструктивны.

Такой подход к делу помогает прояснить некоторые моменты в эксперименте Лагершпетца. Он установил, как мы упоминали выше, что мыши, которые показали высокую степень агрессивности, не проявляли никакого интереса к копуляции^[176]. Если агрессивность в общепринятом смысле этого слова составляет часть мужской сексуальности или хотя бы стимулируется ею, то приведенный эксперимент должен был бы дать прямо противоположный результат. Это явное противоречие между данными Лагершпетца и результатами других авторов получает свое естественное и очень простое объяснение, если научиться отличать враждебную агрессивность от агрессивной «наступательности». Тогда легко понять, что драчливые мыши-самцы пребывают в таком яростно-воинственном состоянии, которое никак не может стимулировать сексуальную активность. Экспериментальное впрыскивание мужских гормонов, скорее всего, стимулировало не враждебность, а общий физический подъем, прилив сил и готовность к преодолению преград.

172

173

174

175

176

Наблюдения за нормальным человеческим поведением подтверждают догадку Лагершпетца. У людей в состоянии гнева не возникает половое влечение, и даже на прямые сексуальные раздражители они реагируют слабо.

Я говорю в данном случае о гневе и враждебности как о настроении, о состоянии духа нормального человека; совсем другое дело – садизм, который насквозь пропитан сексуальными импульсами.

Короче говоря, гнев (т. е. по сути своей состояние оборонительной агрессивности) не способствует сексуальной активности; что касается садистских и мазохистских импульсов, то хотя они не производятся сексуальным поведением, но все же они с ним совместимы или стимулируют его.

Агрессивность, направленная на достижение цели, не ограничивается сферой сексуального поведения. В структуре личности это одно из важных качеств, оно необходимо хирургу во время операции, альпинисту при подъеме на гору, без него немислимы большинство видов спорта и многие другие жизненные ситуации. Без этого качества не может обойтись и охотник, оно нужно для успешной торговли и т. д. Во всех этих ситуациях достижение успеха возможно лишь тогда, когда проявляется необходимая готовность к решимости, к прорыву, настойчивость и неустрашимость перед лицом трудностей и препятствий. Разумеется, те же самые качества необходимы и при встрече с врагом. Генерал, у которого отсутствует агрессивность в таком смысле слова, будет просто неуверенным в себе, нерешительным офицером, неспособным на активные действия; а солдат, лишенный такой агрессивности во время атаки, будет легко обращен в бегство. Одновременно следует отличать агрессию с целью нанесения ущерба от агрессии самоутверждения, которая облегчает в какой-то мере достижение любой цели, будь то обретение творческой активности или нанесение вреда.

Следует помнить, что эксперименты с инъекцией мужских гормонов, которые усиливают бойцовские качества животных, можно интерпретировать по-разному. Во-первых, можно предположить, что гормоны вызывают ярость и желание напасть. Но во-вторых, нельзя упускать из виду и такое воздействие гормонов, когда они усиливают волю животного к самоутверждению и достижению любых целей, в том числе и враждебных, если таковые имели у него место и притом были обусловлены совсем другими мотивами. Изучив материалы экспериментов о влиянии мужских гормонов на агрессивность, я пришел к выводу, что допустимы обе гипотезы, но с биологической точки зрения вторая представляется мне более вероятной. Возможно, последующие эксперименты позволят обнаружить более убедительные доказательства либо первой, либо второй гипотезы.

Связь между агрессивностью самоутверждения, мужскими гормонами, а возможно, еще и Y-хромосомами настраивает на мысль, что мужчины в большей мере, чем женщины, обладают высоким уровнем наступательной активности, необходимой для самореализации личности, и что именно поэтому из них выходят хорошие охотники, хирурги и генералы, в то время как женщины обладают такими чертами, как склонность к защите слабого и уходу за другими, и потому из них получаются хорошие учителя и врачи. Конечно, из поведения современной женщины, по этому поводу, нельзя сделать сколько-нибудь точных выводов, ибо сегодняшнее состояние в значительной степени является результатом патриархальной общественной системы. Да и, кроме всего прочего, вопрос этот в целом чисто статистический, т. е. он имеет смысл в отношении больших чисел, а не в отношении отдельных индивидов. Как раз многим мужчинам недостает той самой целеустремленно-наступательной активности, которая способствует самореализации личности, в то время как женщины нередко блистательно выполняют такие сложные задачи, которые без них вообще решить невозможно. Между мужественностью и агрессией, направленной на самоутверждение, явно существует гораздо более сложная система связей, чем это представляется на первый взгляд. У нас об этом мало знаний. А генетика тут не удивит, ибо он знает, что генетический код можно перевести на язык определенных типов поведения, что его расшифровка требует изучения связей с другими генетическими кодами и

с той жизненной ситуацией, в которой человек родился и живет. Кроме того, следует помнить, что агрессивность, способствующая личной целеустремленности, – это качество, необходимое не только для выполнения определенных видов деятельности, но и для выживания самого индивида. И потому с биологической точки зрения следует думать, что этим качеством должны быть наделены все живые существа, а не только особи мужского пола. Однако нам придется отказаться от окончательного суждения об истоках мужской и женской агрессивности в сексе и в жизни до лучших времен, когда у нас будет больше эмпирических данных о роли хромосомной формулы в мужской и женской бисексуальности, а мужских гормонов в самоутверждающемся поведении индивида.

Однако есть один очень важный факт, уже получивший клиническое подтверждение. А именно: установлено, что тот, кто беспрепятственно может реализовывать свою агрессию самоутверждения, в целом ведет себя гораздо менее враждебно, чем тот, у кого отсутствует это качество целеустремленной наступательности. Это относится в равной мере и к феномену оборонительной агрессии, и к злокачественной агрессии типа садизма. А причины этого очевидны. Что касается оборонительной агрессии, то она, как известно, представляет собой реакцию на угрозу. Человек, который не встречает препятствий для активного самоутверждения, менее подвержен страхам и потому реже оказывается в ситуациях, на которые приходится отвечать оборонительно-агрессивными действиями. Садист становится садистом, ибо он страдает душевной импотенцией; ему недостает способности разбудить другого человека и заставить его полюбить себя; и тогда он компенсирует эту свою неспособность стремлением к власти над другими людьми. Таким образом, агрессия самоутверждения повышает способность человека к достижению целей, и потому она значительно снижает потребность в подавлении другого человека (в жестоком, садистском поведении)[177].

В заключение необходимо добавить, что степень развитости у каждого конкретного человека «агрессии самоутверждения» проявляется в определенных невротических симптомах, а также играет огромную роль в структуре личности в целом. Робкий, закомплексованный человек страдает от недостатка наступательной активности точно так же, как невротик. И первая задача при лечении такого человека состоит в том, чтобы помочь ему осознать свой комплекс, а затем дойти до его причин, т. е. прежде всего обнаружить, какие факторы в самой личности и в ее социальном окружении питают этот комплекс, усиливают его.

Вероятно, главным фактором, снижающим в индивиде «агрессию самоутверждения», является авторитарная атмосфера в семье и обществе, где потребность в самоутверждении отождествляется с грехом непослушания и бунтарством. Любой абсолютный авторитет воспринимает попытку другого индивида к реализации собственных целей как смертный грех, ибо это угрожает его авторитарности. И потому людям подчиненным внушается мысль, что авторитарная власть представляет интересы народа, преследует те же самые цели, к которым стремятся «простые люди». И потому послушание – это якобы самый лучший шанс к самореализации.

Оборонительная агрессия

Различие между человеком и животным

Как уже упоминалось ранее, оборонительная агрессия является фактором биологической адаптации. Коротко напомним: мозг животного запрограммирован филогенетически таким образом, чтобы мобилизовать все наступательные и оборонительные импульсы, если возникает угроза витальным интересам животного. Например, когда

животного лишают жизненного пространства или ограничивают ему доступ к пище, сексу или когда возникает угроза для его потомства. Все в нем направляется на то, чтобы устранить возникшую опасность. В большинстве случаев животное спасается бегством или же, если нет такой возможности, нападает или принимает явно угрожающую позу. Цель оборонительной агрессии состоит не в разрушении, а в сохранении жизни. Если эта цель достигается, то исчезает и агрессивность животного со всеми ее эмоциональными эквивалентами. Так же филогенетически запрограммирован и человек: на угрозу его витальным интересам он реагирует либо атакой, либо бегством. Хотя эта врожденная тенденция у человека выражена менее ярко, чем у животных, все же многие факты убеждают, что у человека тоже есть тенденция к оборонительной агрессии. Она проявляется, когда возникает угроза жизни, здоровью, свободе или собственности (это последнее, когда он живет в обществе, где частная собственность является значимой ценностью). Конечно, агрессивная реакция может быть обусловлена моральными и религиозными убеждениями, воспитанием и т. д.; однако на практике мы ее встречаем у большинства индивидов и даже у целых групп. Вероятно, оборонительной агрессией можно объяснить большую часть воинственных проявлений человека.

Можно утверждать, что нейронное обеспечение оборонительной агрессии и у животного, и у человека одинаково. Однако это утверждение истинно только в узком смысле. Ибо зоны, связанные с агрессией, являются частью целостной системы головного мозга, а у человека эта система с большими полушариями и огромным количеством нервных связей существенно отличается от мозга животного.

Но даже если нейрофизиологические основы оборонительной агрессии у животного и у человека полностью не совпадают, все же у них достаточно много общего, чтобы утверждать, что одно и то же нейрофизиологическое устройство у человека вызывает более сильную агрессию, чем у животного. Причина такого явления заключается в специфических условиях человеческого существования. При этом речь идет, главным образом, о следующем:

1. Животное воспринимает как угрозу только явную опасность, существующую в данный момент, и, конечно, его врожденные инстинкты, а также генетическая память и индивидуальный опыт способствуют тому, что животное часто более остро ощущает опасность, чем человек.

Однако человек, обладающий даром предвидения и фантазией, реагирует не только на сиюминутную угрозу, но и на возможную опасность в будущем, на свое представление о вероятности угрозы. Он может, например, вообразить, что соседнее племя, имеющее опыт ведения войны, когда-либо может напасть на его собственное племя, чтобы завладеть его богатствами; или ему может прийти в голову, что сосед, которому он «насоллил», отомстит за это при благоприятных условиях. «Вычисление грозящей опасности» – это одна из главных задач политиков и военачальников. Таким образом, механизм оборонительной агрессии у человека мобилизуется не только тогда, когда он чувствует непосредственную угрозу, но и тогда, когда явной угрозы нет. То есть чаще всего человек выдает агрессивную реакцию на свой собственный прогноз.

2. Человек обладает не только способностью предвидеть реальную опасность в будущем, но он еще позволяет себя уговорить, допускает, чтобы им манипулировали, руководили, убеждали. Он готов увидеть опасность там, где ее в действительности нет. Так начиналось большинство современных войн, они были подготовлены именно пропагандистским нагнетанием угрозы, лидеры убеждали население в том, что ему угрожает опасность нападениях уничтожения, и так воспитывалась ненависть к другим народам, от которых якобы исходит угроза. На самом деле угроза была чаще всего чистой фикцией. Особенно после

Французской революции, когда на месте маленького профессионального войска возникали огромные народные армии, политическим лидерам стало все труднее и труднее убеждать народы, что они должны идти на смертельную бойню ради приобретения дешевых

рынков сырья и рабочей силы. Мало кто согласился бы участвовать в войне, если бы ее необходимость мотивировалась такими целями, как рынки и прибыль. Но когда правительство внушает своему народу, что ему грозит опасность, то мобилизуются нормальные биологические механизмы, направленные на защиту от угрозы. Кроме того, очень часто эти предупреждения об опасности сбываются сами собой: когда государство-агрессор начинает подготовку к войне, это вынуждает государство, на которое готовится нападение, в свою очередь вооружаться, чем оно и предъясвляет как бы «доказательства» своих агрессивных намерений.

Только у человека можно вызвать оборонительную агрессию методом «промывания мозгов». Чтобы внушить человеку, что ему грозит опасность, нужно прежде всего такое средство, как язык; без языка подобное внушение чаще всего невозможно. Кроме того, нужно, чтобы социальная система обеспечивала почву для промывания мозгов. Например, трудно себе представить, что такого рода внушение имело бы успех у племени мбуту. Это африканские охотники-пигмеи, которые благополучно живут в своих лесах и не подчиняются никакому постоянному авторитету. В этом обществе никто не имеет столько власти, чтобы заставить кого-либо поверить в невероятное. Совсем иное дело, когда общество располагает набором таких авторитетных персон, как колдуны, волшебники, политические или религиозные лидеры. По сути дела, сила внушения, которой обладает правящая группа, определяет и власть этой группы над остальным населением, или, уж как минимум, она должна уметь пользоваться изощренной идеологической системой, которая снижает критичность и независимость мышления.

3. Дополнительное усиление оборонительной агрессии у человека (в сравнении с животным) обусловлено спецификой человеческого существования. Человек, как и зверь, защищается, когда что-либо угрожает его витальным интересам. Однако сфера батальных интересов у человека значительно шире, чем у зверя. Человеку для выживания необходимы не только физические, но и психические условия. Он должен поддерживать некоторое психическое равновесие, чтобы сохранить способность выполнять свои функции. Для человека все, что способствует психическому комфорту, столь же важно в жизненном смысле, как и то, что служит телесному комфорту. И самый первый витальный интерес заключается в сохранении своей системы координат, ценностной ориентации. От нее зависит и способность к действию, и в конечном счете – осознание себя как личности. Если человек обнаруживает идеи, которые ставят под сомнение его собственные ценностные ориентации, он прореагирует на эти идеи, он воспримет их как угрозу своим жизненно важным интересам. Он отвергнет эти идеи и притом попытается дать этому рациональное толкование, чтобы объяснить свое неприятие этих идей. Он может, например, сказать, что новые идеи по сути своей «аморальные», «некультурные», «безумные» и т. д. Но все это только рационализации. На самом деле антагонизм имеет под собою только одну почву – это просто ощущение угрозы извне.

Человеку нужна не только «система координат» для ориентации в жизни; для его эмоционального равновесия (комфорта) жизненно важную роль играет и выбор объектов почитания. При этом речь может идти о самых невероятных феноменах: это могут быть ценности, идеалы, предки, отец, мать, родина, класс, религия и десятки других объектов, к которым человек относится как к святыне. Даже к привычкам можно относиться как к символу традиционных ценностей^[178]. Любое покушение на объект почитания вызывает такой же точно гнев со стороны индивида или группы, как если бы речь шла о покушении на жизнь.

Все, что сказано о реакции на витальную угрозу, можно кратко выразить следующим образом: страх обычно мобилизует либо реакцию нападения, либо тенденцию к бегству. Последний вариант часто встречается, когда человек ищет выход, чтобы «сохранить свое лицо». Если же условия столь жестки, что избежать позора (или краха) невозможно, то тогда

вероятнее реакция нападения. При этом нельзя упустить из виду, что реакция бегства зависит от двух факторов: во-первых, от интенсивности угрозы, а во-вторых, от степеней физической и психической выносливости субъекта, его уверенности в себе. С одной стороны, причиной могут выступать такие события, которых кто угодно испугается, а с другой стороны, человек может сам быть настолько слабым и беспомощным, что напугать его ничего не стоит. Поэтому страх бывает обусловлен не только реальной опасностью, но почти так же часто он может возникать в результате внутреннего состояния индивида, и тогда достаточно малейшего внешнего толчка – и реакция обеспечена.

Страх, как и боль, – это очень неприятное чувство, и человек пытается любой ценой от него избавиться. Есть много способов преодоления страха. Например, медикаменты, секс, сон или общение с другими людьми. Но одним из самых действенных приемов вытеснения страха является агрессивность. Если человек находит силы из пассивного состояния страха перейти в нападение, тут же исчезает мучительное чувство страха^[179].

Агрессивность и свобода

Среди разнообразных витальных интересов человека, которые подвергаются опасности, есть одна сфера, которую можно считать самой главной, – это сфера свободы личности и общества. Вопреки расхожему мнению, что потребность в свободе является достоянием культуры и формируется в процессе воспитания, у нас имеется обширный материал, свидетельствующий, что потребность в свободе является биологической реакцией человеческого организма.

Это мнение подтверждается тем фактом, что на протяжении всей истории народы и классы выступали против своих угнетателей, если была хоть малейшая надежда на победу, а иногда и при отсутствии такой надежды. По сути дела, история человечества является историей борьбы за свободу, историей революций, от освободительной войны израильтян против египтян, от национальных восстаний против Римской империи и от крестьянских восстаний в Германии XVI в. до революций в Америке, Франции, России, Китае, Алжире, Вьетнаме и т. д.^[180]

Лидеры слишком часто прибегают к фальшивым лозунгам, утверждая, что ведут свой народ на борьбу за свободу, в то время как сами преследуют цели порабощения. При этом никакие обещания ничего не стоят, ибо даже душители свободы считают необходимым приносить ей клятву верности.

Гипотеза о наличии у человека врожденного импульса борьбы за свободу подкрепляется тем, что свобода является предпосылкой для развертывания всех человеческих способностей личности, ее физического и психического здоровья и равновесия. Если у него отнимают свободу, он становится больным, калекой, инвалидом. Под свободой понимается не отсутствие каких бы то ни было ограничений, ибо всякое развитие возможно лишь в рамках какой-то структуры, а каждая структура требует ограничений. Все дело в том, кому это ограничение выгодно – какому-то одному лицу или учреждению, или же оно необходимо для роста и развития самой структуры личности.

Свобода является для человека жизненно важным биологическим фактором, который обуславливает беспрепятственное развитие человеческого организма^[181], и потоку опасность лишиться свободы вызывает такую же точно оборонительную агрессию, какую вызывает любая угроза витальным интересам индивида. Стоит ли в таком случае удивляться, что в мире, в котором люди ущемлены, в котором большинство страдает от отсутствия свободы (особенно цветное население), вновь и вновь возникают вспышки насилия и

179

180

181

агрессии. Власть имущие (т. е. белые) были бы, вероятно, меньше удивлены и возмущены ими, если бы они не привыкли, что цветных можно не считать за людей, и потому от черных, желтых или краснокожих они вовсе и не ждут человеческих реакций^[182].

Подобная слепота имеет еще и другую причину. Белые сами, несмотря на свою мощь, тоже расстались со своей свободой, их к тому вынудила их собственная система (хоть, быть может, и не столь явно и открыто). И потому, возможно, они еще больше ненавидят тех, кто сегодня сражается за свободу, ибо это напоминает им об их собственной капитуляции.

Однако нельзя впадать в эйфорию по поводу допустимости истинно революционной, наступательной активности; из того факта, что любая активность, вызванная потребностью защиты жизни, свободы или чести, относится к нормальным механизмам функционирования организма, вовсе не следует, что можно оправдать разрушение жизни. Это остается личным делом каждого, делом религиозных, этических или политических убеждений, делом совести – оправдывать такую позицию или нет. И как бы ни выглядели в данном случае наши собственные принципы, мы должны отдавать себе отчет в том, что чисто оборонительная агрессия очень легко смешивается с необоронительной деструктивностью и садистским желанием господствовать, вместо того чтобы подчиняться. И когда это происходит, революционная наступательность перерождается в свою противоположность и вновь воспроизводит ту самую ситуацию, которую должна была уничтожить.

Агрессия и нарциссизм^[183]

Наряду с рассмотренными факторами одним из важнейших источников оборонительной агрессии является угроза *нарциссизму*.

Фрейд формулирует понятие нарциссизма в рамках своей теории либидо. Поскольку у шизофреника отсутствует отношение к объекту на уровне «либидо» (как в реальности, так и в фантазии), Фрейд задался таким вопросом: «А куда девается это либидо, которое шизофреник не может направить на внешний объект?» И он нашел ответ: «Отнятое у внешнего мира либидо оказывается обращенным на себя – так возникает поведение, которое мы можем назвать словом „нарциссизм“»^[184]. Кроме того, предполагал, что «первичный нарциссизм» – это первоначальное состояние человека в раннем детстве, та стадия, на которой у него еще нет отношений с внешним миром. В ходе нормального развития ребенка его либидозные отношения с внешним миром расширяются и усиливаются, но в особых обстоятельствах (среди которых крайний случай – душевная болезнь) либидо «отнимается» у объектов и переносится на себя («вторичный нарциссизм»). И даже при нормальном развитии человек в течение всей своей жизни до некоторой степени остается нарциссом.

Несмотря на это, феномен нарциссизма не занял заслуженного места в клинических исследованиях психоаналитиков. Понятие это в основном распространялось на случаи психозов^[185] и на ситуации раннего детства^[186]. На самом же деле нарциссизм играет гораздо более важную роль, и не только у нормальных, но и у так называемых невротических личностей. И уяснить в полной мере его роль можно только при условии высвобождения этого феномена из узких рамок теории либидо. Тогда нарциссизм можно определять как такое эмоциональное состояние, при котором человек реально проявляет интерес только к своей собственной персоне, своему телу, своим потребностям, своим мыслям, своим чувствам, своей собственности и т. д. В то время как все остальное, что не составляет часть его самого и не является объектом его устремлений, – для него не наполнено настоящей жизненной реальностью, лишено цвета, вкуса, тяжести, а воспринимается лишь на уровне

182

183

184

185

186

разума. Мера нарциссизма определяет у человека двойной масштаб восприятия. Лишь то имеет значимость, что касается его самого, а остальной мир в эмоциональном отношении не имеет ни запаха, ни цвета; и потому человек-нарцисс обнаруживает слабую способность к объективности и серьезные просчеты в оценках^[187].

Нередко человек-нарцисс достигает чувства уверенности вовсе не ценою своих трудов и достижений, а благодаря тому, что он субъективно убежден в своем совершенстве, в своих выдающихся личных качествах и превосходстве над другими людьми. И поскольку на нарциссизме покоится его самооценка и чувство своего "Я", он должен мертвой хваткой цепляться за свои нарциссические представления. И если под угрозой оказывается нарциссизм, то сам человек воспринимает это как угрозу своим витальным интересам. Если человек-нарцисс чувствует себя ущемленным, если его недооценивают, критикуют, ловят на ошибках, унижают в играх или других ситуациях, то это обычно вызывает у нарцисса чувство возмущения и гнева, вне зависимости от того, дает ли он им волю и вообще отдает ли он себе в них отчет. Насколько интенсивной может быть часто эта агрессивная реакция, можно судить хотя бы по тому, что человек, ущемленный в своем нарциссизме, никогда в жизни не простит обидчика, ибо он испытывает такую жажду мести, которая ни в какое сравнение не идет с реакцией на любой другой ущерб – физическую травму или имущественные потери.

Большинство людей не подозревают о своем нарциссизме и обнаруживают лишь его косвенные проявления. Так, например, люди обычно испытывают преувеличенное восхищение собственными родителями или собственными детьми и не считают нужным скрывать эти чувства, ибо почтение к родителям и любовь к детям в обществе оцениваются положительно. А если бы кто-то начал выражать восторги по поводу собственной персоны, говоря, к примеру: «Я самый удивительный человек на свете» или «Я лучше всех», то его не только заподозрили бы в тщеславии, но и могли бы посчитать не вполне нормальным. С другой стороны, если кто-то достиг выдающихся успехов в науке или искусстве, в области спорта, экономики или политики, то признание окружающих постоянно подкрепляет его амбиции – и тогда его нарциссизм кажется не только нормальным, но и разумным и похвальным. И нарцисс дает волю самолюбванию, ведь оно получает признание и санкционируется самим обществом^[188].

В современном западном обществе явно просматривается своеобразная внутренняя связь между нарциссизмом знаменитых людей и потребностями публики. Публика потому и стремится побольше узнать о «звездах», что жизнь простых людей пуста и скучна. Средства массовой информации получают прибыль, продавая сведения о жизни известных ученых, художников, артистов, дирижеров и др. При этом каждый удовлетворяет свой интерес: публика – свое любопытство, торговец славой – свой бизнес, а популярная личность – свой нарциссизм.

Среди политических лидеров часто встречается очень высокая степень нарциссизма. Можно считать его профессиональной болезнью (или профессиональным капиталом) политиков, особенно тех, кто достиг власти благодаря популярности в массах. Когда лидер сам убежден в своих выдающихся способностях и в своем предназначении, ему легче убедить публику; ведь сильная, уверенная в себе личность всегда притягивает к себе простых людей. Но харизматический лидер^[189] (нарцисс) использует свое влияние не только как средство достижения политического успеха. Он нуждается в овациях и признании просто для поддержки внутреннего равновесия. Однако убежденность в своей правоте и непогрешимости в основном покоится не на реальных достижениях, а на нарциссизме^[190]. Он буквально не может жить без постоянного подкрепления своего нарциссизма, ибо его

187

188

189

190

человеческая сущность (ядро личности: убеждения, верования, совесть, любовь) недостаточно развита. Личности с высокой степенью нарциссизма буквально нуждаются в славе, иначе они могут впасть в депрессию, а то и в безумие. Но для того чтобы производить на людей такое впечатление, которое вызывает овации, необходим не только талант, но и подходящие условия. А люди, нуждающиеся в подкреплении своего нарциссизма, стремятся к новым и новым успехам, ибо провал для них чреват одновременно и душевным крахом. Популярность для них равнозначна «самоисцелению», профилактике от депрессии и безумия. И когда они отстаивают свои цели, то на самом деле они сражаются за свое душевное здоровье. Если речь идет не об индивидуальном, а о групповом нарциссизме, то индивид в полной мере осознает свою принадлежность к коллективной идеологии и открыто выражает свои взгляды. Когда кто-либо утверждает: «Моя родина – самая прекрасная на свете» (или: моя нация – самая умная, моя религия – самая развитая, мой народ – самый миролюбивый и т. д., и т. п.), то это никому не кажется безумием. Напротив, это называется патриотизмом, убежденностью, лояльностью. Это звучит как вполне реалистичное и разумное ценностное суждение, тем более что оно разделяется очень многими членами группы. И такое единодушие обеспечивает превращение фантазии в реальность; ведь у большинства людей представление о реальности опирается не на раздумья или критический разум, а на общий консенсус, на единое мироощущение группы.

Групповой нарциссизм выполняет важные функции. Во-первых, коллективный интерес требует солидарности, а апелляция к общим ценностям цементирует группу изнутри и облегчает манипулирование группой в целом. Во-вторых, нарциссизм создает членам группы ощущение удовлетворенности, особенно тем, кто сам по себе мало что значит и не имеет особых оснований гордиться своей персоной. В группе даже самый ничтожный и прибитый человек в душе своей может оправдать свое состояние такой аргументацией: «Я ведь часть великолепного целого самой лучшей группы на свете. И хотя в действительности я всего лишь жалкий червяк, благодаря своей принадлежности к этой группе я становлюсь великаном». Следовательно, степень группового нарциссизма соответствует реальной неудовлетворенности жизнью. Социальные классы, которые имеют больше радостей в жизни, менее подвержены фанатизму. (Фанатизм – это характерная черта группового нарциссизма.) А мелкая буржуазия, ущемленная во многих сферах материальной и духовной жизни, страдает от невыносимой пустоты и скуки.

Одновременно следует заметить, что для национального бюджета очень выгодно стимулировать групповой нарциссизм. В самом деле, это ведь ничего не стоит и не идет ни в какое сравнение с расходами на социальные нужды и на повышение уровня жизни. Достаточно оплатить труд идеологов, которые формулируют лозунги, направленные на разжигание социального нарциссизма. И многие функционеры – учителя, журналисты, священники и профессора – готовы к сотрудничеству в этой области даже бесплатно. Им достаточно такой награды, как удовлетворенность от причастности к достойному делу и гордость за свой вклад в это дело и свой растущий престиж.

Те, чей нарциссизм касается в большей мере группы, чем себя лично, весьма чувствительны, и на любое явное или воображаемое оскорбление в адрес своей группы они бурно реагируют. Эта реакция часто бывает гораздо интенсивнее, чем у нарциссов-индивидуалистов. Индивид может еще иногда усомниться, глядя на себя в зеркало. Участник группы не знает таких сомнений, ибо большинство его окружения разделяет его нарциссизм. А в случае конфликта с другой группой, которая также страдает коллективным нарциссизмом, возникает жуткая вражда. В этих схватках обычно возвеличивается образ собственной группы и принижается до крайней точки образ враждебной группы. Собственная группа выдается за защитника человеческого достоинства, морали, права и благосостояния. Другая же получает проклятия, ее обвиняют во всех грехах, от обмана и беспринципности до жестокости и бесчеловечности. Оскорбление символов, группового нарциссизма (например, знамени, личности кайзера, президента или посла) вызывает в народе реакцию столь бешеной агрессивности, что они готовы поддержать даже

милитаристскую политику своих лидеров.

Групповой нарциссизм представляет собой один из главных источников человеческой агрессивности, и все же это всего лишь реакция на ущемление витальных интересов. Данная форма оборонительной агрессивности отличается от других форм лишь огромной интенсивностью. И столь резкими проявлениями, которые граничат с патологией. Если вспомнить о причинах и функции правовых и жестоких массовых столкновений между индусами и мусульманами, в эпоху раздела Индии, то приходится признать значительную роль группового нарциссизма. И это несколько не удивительно, если вспомнить, что здесь мы имели дело практически с самыми несчастными и беднейшими группами населения в мире. Но, конечно, нарциссизм нельзя считать единственной причиной этого феномена. На других его аспектах мы еще остановимся.

Агрессивность и сопротивление

Еще одним серьезным источником оборонительной агрессии является реакция человека на попытку лишить его иллюзий; это бывает, когда кто-то пытается «вытащить на свет божий» вытесненные влечения и фантазии; Фрейд назвал такую реакцию защитой (сопротивлением), а психоанализ сделал этот феномен объектом систематического наблюдения. Фрейд обнаружил, что пациент «сопротивляется» любым терапевтическим усилиям аналитика, как только тот касается «вытесненных» проблем. Это вовсе не значит, что пациент сознательно возражает, или становится неоткровенным, или хочет что-то утаить; нет, скорее всего, он бессознательно противится тому, чтобы вытесненный материал стал осознанным. Есть много причин, из-за которых человек на протяжении целой жизни может вытеснять какие-то желания. Или его страшит унижение или наказание, или он боится потерять чью-то любовь... в случае, если другим людям станут известными его потаенные желания и влечения, более того, он и себе самому часто не хочет признаться в этих влечениях, боясь потерять уважение к себе (изменить свою самооценку).

Психоаналитическая практика вскрыла большое количество поведенческих реакций, которые являются следствием сопротивления. Пациент может уклониться от обсуждения «болезненной» темы и перевести разговор на другую тему; он может почувствовать себя усталым, его может «бросать в сон»; он может не явиться на сеанс или рассердиться на психотерапевта и тем самым найти повод прервать анализ. Я хочу привести один пример. Один пациент, писатель, который очень гордился тем, что не был оппортунистом, рассказывал мне во время сеанса, как он однажды внес изменения в свою рукопись, думая, что эти изменения сделают более убедительным его обращение к человечеству. Он был уверен, что нашел правильное решение, и удивлялся, что позднее чувствовал себя совершенно разбитым и страдал от головной боли. Я высказал предположение, что подлинным его мотивом было нечто иное: он надеялся благодаря новой версии своего труда завоевать популярность и заработать больше денег, чем сулил первый вариант текста. И тогда депрессия и головная боль, возможно, были связаны с этим самообманом. Я не успел договорить свою фразу, как пациент вскочил и в бешенстве заорал на меня. Он кричал, что я садист, что я получаю удовольствие от того, что хочу заранее испортить ему настроение, что я завидую ему и его будущему успеху, что я невежда, не разбирающийся в писательском труде, и много других оскорблений в мой адрес. (Следует добавить, что в обычных условиях этот пациент был очень вежливым человеком, который относился ко мне с большим почтением.) Его поведение лучше всего доказывало правильность моей интерпретации. Упоминание о его неосознанных мотивах стало угрозой для его самоуважения и для самооценки его как личности.

В практике психоанализа регулярно наблюдается такое явление, что защита (сопротивление) выстраивается именно тогда, когда дело доходит до обсуждения вытесненного материала. Но этот феномен встречается не только в ходе психоаналитических сеансов. Даже в обыденной жизни мы находим тому массу примеров. Все знают, сколь

гневной бывает реакция матери, когда ей говорят, что она держит детей под своим крылом не из любви, а ради удовлетворения своего чувства обладателя и повелителя. Ну, а если отцу сказать, что его тревога по поводу девственности дочери мотивирована его собственным сексуальным интересом? А если кое-кому из патриотов напомнить, что за политическими убеждениями стоят корыстные мотивы? Или некоторым революционерам (определенного типа) доказать, что за их идеологией скрываются личные деструктивные импульсы? Фактически вопрос о мотивационной сфере других людей ведет к нарушению одного очень важного запрета вежливости. (А вежливость имеет функцию предупреждения агрессии.)

То же самое можно наблюдать в истории. Во все времена те, кто говорил правду об определенном режиме, подвергались преследованиям со стороны разгневанных властей. Их изгоняли, сажали в тюрьмы, физически уничтожали. Конечно, эти действия обосновывались тем, что люди эти были опасны для системы и потому их нужно было устранить ради сохранения социального статус-кво. И это правда, но только это не объясняет того факта, что те, кто говорит правду, становятся объектом ненависти и гонений в том числе и тогда, когда они не представляют реальной угрозы для существующего строя. Я думаю, что причину надо искать в том, что говорящий правду мобилизует силы защиты у тех, кто занимается вытеснением правды. Для них истина опасна не только тем, что она угрожает власти, но и тем, что она расшатывает всю осознанную систему ориентации; истина отбирает у них возможности рационализации и даже пытается заставить их изменить свои действия. Только тот, кто сам пережил процесс осознания важных вытесненных импульсов, знает это чувство крушения и смятения.

Не каждый отважится на подобную авантюру, и уж менее всего те, кому хотя бы на данный момент выгодно оставаться «слепым».

Агрессия и конформизм

К конформистской агрессии относятся различные агрессивные действия, которые обусловлены не разрушительными устремлениями нападающего, а тем, что ему предписано действовать именно так, и он сам считает своим долгом подчиняться приказу. Во всех иерархических социальных системах подчинение и послушание является, возможно, самой укоренившейся чертой характера. Послушание здесь автоматически отождествляется с добродетелью, а непослушание – с грехом. Непослушание – самый страшный первородный грех. Авраам был готов покорно принести в жертву своего единственного сына Исаака. Это было на все времена разительным примером силы веры и послушания. Солдат, который убивает и калечит других людей, пилот-бомбардировщик, который уничтожает в один миг тысячи человеческих жизней, – вовсе не обязательно ими руководят деструктивность и жестокость; главным их мотивом (импульсом) является привычка подчиняться, не задавая вопросов.

Конформистская агрессия имеет настолько широкое распространение, что она заслуживает серьезного анализа. От поведения парня из молодежной банды до солдата регулярной армии – многие разрушительные действия совершаются исключительно из чувства послушания и нежелания оказаться трусом в глазах своего окружения. Таким образом, в основе этого типа агрессивности лежит отнюдь не страсть к разрушению, которую нередко ошибочно объясняют врожденными агрессивными импульсами. И потому конформистскую агрессию можно вообще квалифицировать как псевдоагрессию. Я этого не делаю только потому, что послушание, связанное с потребностью в приспособлении, нередко вызывает к жизни дополнительные агрессивные импульсы, которые при других обстоятельствах и вовсе бы не проявились. Кроме того, импульс к неподчинению или нежелание

приспосабливаться для многих представляют внутреннюю опасность, от которой они защищаются тем, что совершают требуемые от них агрессивные действия.

Инструментальная агрессия

Другой вид биологического приспособления составляет инструментальная агрессия, которая преследует определенную цель: обеспечить (достать) то, что необходимо или желательно. Разрушение само по себе не является целью, оно лишь вспомогательное средство для достижения подлинной цели. В этом смысле данный вид агрессии похож на оборонительную, но в других важных аспектах они значительно отличаются друг от друга. Во-первых, у инструментальной агрессии, похоже, отсутствует генетически заложенная нейронная основа, которая обеспечивает оборонительную агрессию. Среди млекопитающих только у хищников, для которых агрессия служит способом пропитания, существуют врожденные нейронные связи, мотивирующие нападение на добычу. Что касается поведения гоминидов и Homo, то оно основано на обучении и не имеет филогенетической программы.

При анализе феномена инструментальной агрессии сложность состоит в двусмысленности понятий «необходимое» и «желательное».

«Необходимое», пожалуй, следует определить как безусловную физиологическую потребность, например в утолении голода. Когда человек совершает кражу, потому что у него нет элементарного минимума средств, чтобы прокормить себя и свою семью, такую агрессию можно квалифицировать только как действия, имеющие физиологическую мотивацию. Так же следует оценивать и поведение первобытного племени, которое перед угрозой голода нападает на другое, более обеспеченное племя. Но сегодня такие однозначные примеры необходимости встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще мы имеем дело с более сложными случаями. Лидеры разных народов считают, что экономическое развитие страны понесет серьезный ущерб, если не будет завоевана территория с полезными ископаемыми или если они не победят другой народ, который является их экономическим конкурентом. И хотя чаще всего в таких случаях создается идеологическое прикрытие для простых стремлений к усилению собственной власти или удовлетворению личных амбиций и тщеславия лидеров, все-таки бывают и такие войны, которые в самом деле обусловлены исторической необходимостью.

А как определить категорию «желательное»? В узком смысле слова можно было бы сказать: «Желательно то, что необходимо». В таком случае «желательное» соответствует объективной ситуации. Но чаще под «желательным» понимается «желаемое». И если мы возьмем слово в этом смысле, то проблема инструментальной агрессии приобретает другой аспект, и притом явно важнейший, для понимания мотивации агрессии. По правде говоря, люди хотят иметь не только то, что нужно им для выживания, и не только то, что составляет материальную основу достойной человека жизни. Большинство людей нашего культурного ареала (и проживающие в сходных исторических условиях) отличаются алчностью: накопительство, неумеренность в пище и питье, необузданность в сексе, жажда власти и славы и т. д. При этом обычно не все, а одна из перечисленных сфер становится предметом чьей-то страсти. Но у таких людей есть нечто общее: это то, что они ненасытны и потому вечно недовольны. Жадность – самая сильная из всех неинстинктивных человеческих страстей. В этом случае явно идет речь о симптоме психической патологии, о дисфункции, связанной с постоянным ощущением пустоты и отсутствием внутреннего стержня в структуре личности. Жадность – это патологическое проявление неудачного развития личности и одновременно один из главных грехов как с точки зрения буддизма, так и с позиций иудейской и христианской этики.

Приведем несколько наглядных примеров. Известно, что такие формы жадности, как чрезмерное потребление пищи и беспорядочные покупки, нередко бывают обусловлены депрессивным состоянием человека, который пытается таким образом отвлечь себя. Еда и покупки – это символические действия для заполнения внутренней пустоты, попытка хоть на миг избавиться от депрессии. Жадность есть страсть; это означает, что она сопровождается определенным энергетическим зарядом, который неумолимо тянет человека к объектам его вождления.

В нашей культуре жадность значительно усиливается теми мероприятиями, которые призваны содействовать росту потребления. Разумеется, жадный человек вовсе не обязательно должен быть агрессивным при условии, что у него достаточно денег, чтобы кушать то, что ему хочется. Но алчущий, у которого нет достаточных средств для удовлетворения своих желаний, становится нападающим. Яркий пример тому – человек, потребляющий лекарства или наркотики. Он буквально одержим тягой к пилюлям (хотя в большинстве случаев эта тяга существует и постоянно усиливается по психологическим причинам). Многие, у кого нет средств купить эти пилюли, готовы идти ради них на грабеж, нападение, убийство... И хотя их поведение бывает весьма деструктивным, их агрессия является как раз инструментом, а не целью. В историческом аспекте жадность была одной из наиболее частых причин агрессии, и, по-видимому, это был всегда существенный мотив для инструментальной агрессии, понимаемой как потребность в том, что объективно необходимо.

Понимание того, что такое жадность (алчность), затруднено тем, что эту категорию нередко отождествляют с «личным интересом» (эго-интерес). Последний является нормальным выражением биологически данного инстинкта самосохранения. Этот инстинкт направлен на добывание того, что необходимо для сохранения жизни или для поддержания традиционного и привычного образа жизни. Как показали в своих работах Макс Вебер, фон Брентано, Зомбарт и многие другие, главным мотивом у людей эпохи средневековья (как у крестьян, так и у ремесленников) было желание сохранить свой образ жизни. В XVI в. требования бунтующих крестьян состояли не в том, чтобы получить то, что имели городские рабочие; а рабочие совершенно не претендовали на приобретение феодального хозяйства или богатой «торговой лавки». Еще в XVIII в. нас поражает наличие законов, которые запрещают торговцу отбивать клиентов у конкурирующего хозяина (например, украшать свой магазин, давать более яркую рекламу своему товару или сбивать цену). Только бурное развитие капитализма привело к тому, что жажда наживы стала мотивом жизни все большего числа людей. Однако алчность – это такая страсть, в которой редко кто отваживается открыто признаться (возможно, сдерживающим моментом является существующая религиозная традиция). И потому люди нашли выход из положения в том, чтобы оправдать алчность (по Фрейду, это рационализация), назвав ее стремлением к удовлетворению личного интереса. Из этого выстраивается следующий силлогизм:

- удовлетворение личного интереса – это биологически обусловленное стремление, свойственное самой природе человека;
- удовлетворение личного интереса равно алчности;
- следовательно,
- алчность коренится в самой природе человека, а не является некоторой страстью, обусловленной характером.

Quod erat demonstrandum^[191].

О причинах войн

Важнейшим случаем инструментальной агрессии является война... Стало модно объяснять причины войн деструктивным инстинктом человека, на этой позиции стоят ин-стинктивисты и психоаналитики^[192]. Так, например, один из крупных ортодоксов психоанализа, Гловер, возражая Гинсбергу, утверждает, что «загадка войн... кроется в глубинах бессознательного», и сравнивает войну с «нецеленаправленной формой инстинктивного приспособления»^[193].

Сам Фрейд придерживался значительно более реалистических взглядов, чем его

191

192

193

последователи. В известном письме Альберту Эйнштейну он не утверждал, что война обусловлена человеческой деструктивностью, а видел причину войн в реальных конфликтах между группами. Он утверждал, что эти конфликты с давних пор стали решать насильственным путем потому, что нет такого обязательного международного закона, который бы предписывал (подобно гражданскому праву) мирное разрешение конфликтов. Что касается деструктивности человека, то Фрейд считал ее сопутствующим явлением, которое делает людей более готовыми к вступлению в войну, когда правительство уже ее объявило.

Любому человеку, хоть мало-мальски знакомому с историей, идея о причинной связи между войной и врожденной деструктивностью человека кажется просто абсурдной. От вавилонских царей и греческих правителей до государственных деятелей современности – все и всегда планировали свои войны, исходя из самых реальных оснований, тщательно взвешивая все за и против. Причем мотивы (цели) могли быть самые разные: земли и полезные ископаемые, богатства и рабы, рынки сырья и сбыта, экспансия и самооборона. К числу исключительных, нетипичных факторов, способных спровоцировать военные действия, можно отнести жажду мести или разрушительную ярость малого народа. Но это большая редкость.

Утверждение, что причины войн следует искать в человеческой агрессивности, не только не соответствует действительности, но и является вредным. Оно переносит внимание с истинных причин на иллюзорные и тем самым уменьшает шансы предотвращения войн. Очень важным представляется мне, что тезис о врожденной склонности к ведению войн опровергается не только анналами истории, но еще и таким феноменом, как войны первобытных народов. Мы уже обращали внимание на тот факт, что первобытные охотники и собиратели вовсе не отличались воинственностью, кровожадностью или разрушительностью, как таковой. Мы видели также, что по мере развития цивилизации возросло не только число захватнических войн, но и их жестокость. Если бы причина войн коренилась во врожденных деструктивных импульсах, то все было бы как раз наоборот. Гуманистические тенденции XVIII, XIX и XX вв. способствовали снижению уровня жестокости, что было закреплено в международных соглашениях, которые имели силу вплоть до первой мировой войны.

С позиций прогресса, казалось бы, цивилизованный человек должен быть менее агрессивным, чем первобытный; и тот факт, что в разных регионах мира продолжают вспыхивать войны, ученые упорно пытались объяснить агрессивными инстинктами человека, который не поддается благотворному влиянию цивилизации. На самом деле такие объяснения ограничивают проблему деструктивности природой человека и тем самым путают историю с биологией.

Рамки данной книги не позволяют мне даже кратко рассмотреть проблему причинной обусловленности войн; я ограничусь лишь примером первой мировой войны^[194].

Движущими мотивами первой мировой войны были экономические интересы и тщеславие военных и политических лидеров, а также промышленных магнатов обеих воюющих сторон, но не потребность участвующих народов открыть клапан и «спустить пары» своей накопившейся агрессивности. Эти мотивы слишком хорошо известны, и нет нужды рассматривать их здесь в деталях. Кратко можно сказать, что военные цели немцев одновременно были и главными причинами войны: экономическое господство в Западной и Центральной Европе и захват территорий на Востоке. (В значительной мере эти цели сохранили значение и при Гитлере, который во внешней политике продолжил линию кайзеровской империи.) Такого же рода цели были и у западных союзников. Франции нужны были земли Эльзаса – Лотарингии, России – Дарданеллы, Англия хотела получить часть колоний Германии, а Италия – хотя бы участие в прибыли. Если бы не эти военные цели (которые частично были зафиксированы на бумаге и скреплены секретными соглашениями),

то подписание мира могло состояться на много лет раньше и миллионы молодых людей с обеих сторон остались бы в живых.

Обе воюющие стороны были вынуждены апеллировать к патриотическим чувствам своих граждан, обращаясь к лозунгам борьбы за свободу и независимость родины. У немцев было создано ощущение окружения, изоляции и угрозы со всех сторон, кроме того, в немецком народе постоянно поддерживалась иллюзия борьбы за свободу, ведь война велась против царизма. Зато их противнику мерещилась угроза со стороны агрессивного юнкерского милитаризма, и одновременно его согревали фантазии борьбы за свободу, поскольку он воевал против кайзера. Допустить мысль, что война разразилась оттого, что народы (французский, немецкий, английский и русский) нуждались в выхлопном клапане для освобождения от накопившейся агрессивности, было бы ошибкой, которая только способствовала бы отвлечению внимания от истинных причин, социальных условий и личностей, виновных в одной из величайших мясорубок мировой истории.

Что касается энтузиазма в этой войне, то здесь следует проводить различие между «восторгом» первых побед и теми причинами, которые вынудили народы продолжить борьбу. В Германии необходимо различать две группы населения: первая (меньшинство) – это маленькая группа националистов, которые за несколько лет до 1914 г. призывали к захватнической войне. В нее входили в основном учителя гимназий, несколько университетских профессоров, журналисты и политики, поддержанные командованием военно-морского флота, а также некоторыми магнатами тяжелой индустрии. Их психологические установки можно было бы определить как смесь группового нарциссизма, инструментальной агрессивности и тщеславного стремления сделать карьеру и достигнуть власти на гребне националистического движения. Большая часть населения проявила значительное воодушевление перед самым началом войны и некоторое время спустя. Хотя и здесь мы видим заметные различия в оценке событий и реакции разных социальных классов и групп. Так, например, интеллигенция и студенты проявили больше энтузиазма, чем рабочий класс. (Интересный факт, проливающий некоторый свет на эту проблему, приводится в документах, опубликованных после войны немецким министром иностранных дел. Он пишет, что рейхсканцлер Бетман-Хольвег был уверен, что он получит поддержку социал-демократической партии, которая была сильнейшей партией Германии, только в том случае, если сначала объявит войну России и тем самым даст возможность рабочим почувствовать свою причастность к борьбе за свободу и против насилия.)

Основная масса населения находилась под мощным идеологическим воздействием правительства прессы: перед самой войной и сразу после ее объявления пропаганда настойчиво твердила, что Германии грозит опасность нападения извне. Таким образом в народе формировался инстинкт оборонительной агрессии. Что касается инструментальной агрессии, то можно считать, что в целом народ был ею не слишком «инфицирован», т.е. идеи завоевания чужих территорий не имели особой популярности. Это явствует из того, что в начале войны даже официальная пропаганда отрицала наличие каких бы то ни было экспансионистских целей; а позднее, когда события в Европе развивались под диктовку генералов, правительство подыскало идеологическое оправдание для своей захватнической политики: она была обусловлена необходимостью обеспечения будущей безопасности германского рейха. И все равно через несколько месяцев патриотический энтузиазм заглох и больше никогда не возобновлялся.

Весьма примечательно в этом смысле, что в начале второй мировой войны, когда Гитлер напал на Польшу, энтузиазм в народе практически был равен нулю. Несмотря на десятилетия тяжелой милитаристской вакцинации, население ясно дало понять правительству, что оно не намерено вступать в эту войну. (Гитлеру даже пришлось инсценировать нападение на радиостанцию в Силезии, которое якобы совершили поляки, а на самом деле это были переодетые нацисты – тем самым создавалась видимость угрозы и у населения стимулировалось чувство опасности.)

Но несмотря на то, что немецкий народ определенно был против войны (даже генералы

не спешили), он послушно пошел воевать и храбро сражался до самого конца.

Психологическая проблема заключается не в том, чтобы выяснить причину войны, вопрос должен звучать так: какие психологические факторы делают возможной войну, даже если они не являются ее причиной?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо «просчитать» целый ряд релевантных факторов.

Когда началась первая мировая война (а то же самое с незначительными поправками можно сказать и о второй), немецкие солдаты (а также и французы, и русские, и британцы) снова и снова шли в бой, ибо им казалось, что поражение в войне означает катастрофу для страны и для народа. У каждого отдельного солдата было ощущение, что борьба идет не на жизнь, а на смерть: либо ты убьешь, либо тебя убьют. Но и этого чувства было недостаточно, чтобы поддерживать в солдатах боевой дух и желание продолжать войну. Был еще один сдерживающий фактор: солдаты знали, что дезертирство карается расстрелом. Но даже это их не останавливало, и в какой-то момент почти во всех армиях начались мятежи; а в России и Германии в 1917 и 1918 гг. дело дошло до революции. Во Франции в 1917 г. не было ни одного армейского соединения, в котором бы не бунтовали солдаты, – и потребовалась мудрость и ловкость генералов, которые нашли способы их усмирить.

Еще один важный фактор, который способствует развязыванию войны, – это глубоко сидящая вера, почтение и страх перед авторитетом. Солдатам испокон веков внушали, что их моральным и религиозным долгом является беспрекословное подчинение командиру. Понадобились четыре страшных года в окопах, чтобы пришло осознание того, что командиры просто используют их как пушечное мясо; тогда идеология абсолютного послушания рухнула, значительная часть армии и подавляющее большинство населения перестали беспрекословно подчиняться и начали роптать.

Существуют и другие, менее значительные эмоциональные мотивы, делающие возможной войну и при этом не имеющие ничего общего с агрессивностью. Война – волнующее и драматическое событие, несмотря на сопряженный с нею смертельный риск, а также физические и моральные страдания. В свете того, что жизнь среднего человека скучна, однообразна и лишена каких бы то ни было приключений, становится понятнее его готовность идти на войну; ее можно расценить как желание покончить с рутинной обыденного существования и поискать приключений[195].

Война несет с собой серьезную переоценку всех ценностей. Она будоражит такие глубинные аспекты человеческой личности, как альтруизм, чувство солидарности и другие чувства, которые в мирное время уступают место эгоизму и соперничеству современного человека. Классовые различия почти полностью и немедленно исчезают. На войне человек снова становится человеком, у него есть шанс отличиться, и его социальный статус гражданина не предоставляет ему привилегий.

Короче говоря, война – это некий вариант косвенного протеста против несправедливости, неравенства и скуки, которыми пронизана общественная жизнь в мирные дни. Нельзя недооценивать тот факт, что солдату, который в битве с врагом защищает свою жизнь, вовсе нет нужды сражаться с членами своей собственной группы – за жилище, одежду, медицинское обслуживание. Все это должно обеспечиваться всей системой социализации. А тот факт, что эти стороны жизни оказываются «высвеченными» войной, – всего лишь грустный комментарий к нашей цивилизации. Если бы в буржуазной действительности нашлось место для таких явлений, как любовь к приключениям, стремление к солидарности, равенству и другим идеальным целям (а все это как раз встречается на войне), то заставить кого-либо воевать было бы почти невозможно. В период войны каждое правительство использует «подводные» течения и скрытое недовольство народа в своих интересах. Власти сознательно направляют все бунтарские настроения в русло достижения своих военных целей; при этом они автоматически избавляются от

опасности внутреннего взрыва, ибо в условиях войны создается атмосфера строжайшей дисциплины и беспрекословного подчинения лидерам, которых пропаганда превозносит как самоотверженных государственных мужей, спасающих свой народ от уничтожения^[196].

В заключение следует отметить, что мировые войны нашего времени, так же как все малые и большие войны прошлых эпох, были обусловлены не накопившейся энергией биологической агрессивности, а инструментальной агрессией политических и военных элитарных групп. Это подтверждается данными о частоте войн – от первобытных до высокоразвитых культур. Чем ниже уровень цивилизация, тем реже войны^[163]. О той же самой тенденции говорит и тот факт, что с развитием технической цивилизации число и интенсивность значительно возросли: самое низкое их число у примитивных племен без постоянного лидера, а самое высокое – у мощных держав с сильной правительственной властью. Далее мы приводим таблицу числа сражений, которые провели важнейшие европейские державы в новое время. Таблица также подтверждает вышеназванную тенденцию (число сражений в каждом веке, начиная с 1480 г., приведено по материалам Райта).

Период	Число сражений
1480-1499	9
1500-1599	
1600-1699	239
1700-1799	781
1800-1899	651
1900-1940	892

Специалисты, объясняющие происхождение войн врожденной агрессивностью людей, считают и современную войну нормальным явлением, ибо они полагают, что она обусловлена «деструктивной» природой человека. Они ищут подтверждение своей догадки в наблюдениях за животными, в данных о жизни наших доисторических предков; нередко эти данные даже искажаются в угоду гипотезе. А причиной такого отношения является неколебимая уверенность в превосходстве нашей современной цивилизации над дотехническими культурами. Отсюда следует логический вывод: если даже цивилизованный человек так сильно страдает от деструктивности и от многих разрушительных войн, то насколько хуже обстояло дело у примитивных людей, которые были в своем развитии так далеки от «прогресса». И поскольку они не хотят возложить ответственность за человеческую деструктивность на нашу цивилизацию, они возлагают ответственность за нее на наши инстинкты. Но против этого свидетельствуют факты.

Условия снижения оборонительной агрессии

Поскольку оборонительная агрессия – это генетически запрограммированная реакция на угрозу витальным интересам индивида, то изменить ее биологическую основу невозможно, даже если ее поставить под контроль и модифицировать (как это делается с некоторыми влечениями, имеющими основание в других инстинктах). Поэтому главным условием снижения оборонительной агрессии является уменьшение числа факторов, реально провоцирующих эту агрессию. Разумеется, рамки данной книги не позволяют начертить программу социальных перемен, необходимых для решения такой задачи^[197]. Поэтому я ограничусь здесь лишь несколькими замечаниями.

Главное условие состоит в том, чтобы устранить из жизни взаимные угрозы – как индивидов, так и групп. Это зависит от материальных условий жизни: они должны обеспечивать людям достойные условия бытия и исключать (или делать непривлекательным) стремление к господству одной группы над другими. Данная предпосылка может быть в

ближайшем обозримом будущем реализована путем замены нашей системы производства – распределения – потребления на более совершенную. Но мое утверждение вовсе не означает, что это будет сделано или что это легко сделать. На самом деле такая задача настолько сложна, что самые лучшие намерения в этом направлении разбиваются о стену преград. И люди, высказывавшиеся весьма решительно, отступают перед трудностями и предпочитают надеяться, что катастрофу можно предотвратить, произнося ритуальные хвалы прогрессу.

Создание системы, которая будет гарантировать удовлетворение основных потребностей населения, предполагает исчезновение господствующих классов. Человек не может больше жить в «условиях зоопарка», т. е. ему должна быть снова обеспечена полная свобода, а господство и эксплуатация в любых видах и формах должны исчезнуть.

Утверждение о том, что человек не может жить без контролирующих руководителей, – чистый миф, опровергнутый всеми социальными системами, которые отлично функционируют в условиях отсутствия иерархии. Подобная перемена, конечно, приведет к радикальным социальным и политическим изменениям, следствием которых должны стать преобразования во всех человеческих отношениях, включая такие сферы, как семья, религия, воспитание, труд, досуг и т. д.

Поскольку оборонительная агрессия – это реакция не столько на реальную, сколько на воображаемую угрозу, раздуваемую пропагандистским «промыыванием мозгов» и массовым внушением, серьезные социальные преобразования должны охватить и эту сферу и устранить подобный способ психологического насилия. А поскольку внушаемость масс покоится на бесправии (беспомощности) индивида и его почтении к правителям, то предложенные социальные и политические перемены, ведущие к исчезновению подобных авторитетов, сделают возможным формирование независимого критического мышления у индивидов и групп.

Наконец, для снижения уровня группового нарциссизма нужно устранить нищету, монотонность, скуку и беспомощность, распространенные в широких кругах населения. А это не так-то просто сделать: недостаточно всего лишь улучшить материальные условия жизни людей. Это может быть достигнуто лишь в результате коренного преобразования всей социальной организации. Должен быть осуществлен переход к другой системе координат: место таких ценностей, как «власть—собственность—контроль», должны занять координаты «рост—жизнь». Принцип иметь—копить должен быть заменен принципом быть и делиться с другими. Такие перемены потребуют активнейшего участия каждого рабочего и каждого служащего, а также и каждого совершеннолетнего в роли гражданина^[198]. Необходимо найти совершенно новые формы децентрализации, нужны новые социальные и политические структуры, которые покончат с социальной «аномией» массового общества, которое есть не что иное, как механический конгломерат, состоящий из миллионов атомов.

Каждое из перечисленных условий нераздельно связано со всеми остальными. Все они составляют части одной системы, и потому настоящее снижение реактивной агрессии возможно лишь тогда, когда вся система, известная нам за последние 6 тысяч лет человеческой истории, будет заменена на нечто принципиально иное. Когда это произойдет, то утопические идеи Будды, пророков, проповеди Иисуса Христа и мечты гуманистов эпохи Возрождения будут восприняты не как утопии, а как разумные и реальные пути реализации основной биологической программы человека, которая служит сохранению и развитию человека как индивида и вида.

Х. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АГРЕССИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ

Предварительные замечания

Биологически адаптивная агрессия служит делу жизни. Это принципиальное положение очень важно иметь в виду. Оно воспринимается как аксиома и биологами, и нейрофизиологами, хотя и нуждается в дополнительном изучении. Речь идет здесь о том самом инстинкте, который свойствен человеку, как и любому живому существу (невзирая на различия, о которых мы уже упоминали).

Однако только человек подвержен влечению мучить и убивать и при этом может испытывать удовольствие. Это единственное живое существо, способное уничтожить себе подобных без всякой для себя пользы или выгоды. В этой главе мы попробуем проанализировать природу этой биологически неадаптивной, злокачественной деструктивности. Но прежде всего необходимо помнить, что злокачественная агрессия свойственна исключительно человеку и что она не порождается животными инстинктами. Она не нужна для физиологического выживания человека и в то же время представляет собой важную составную часть его психики. Это одна из страстей, которая в отдельных культурах или у отдельных индивидов доминирует, а у других вовсе отсутствует. Я пытаюсь показать, что деструктивность возникает как возможная реакция на психические потребности, которые глубоко укоренились в человеческой жизни, и что она – как уже говорилось выше – результат взаимодействия *различных социальных условий и экзистенциальных потребностей человека*. Эта гипотеза нуждается в теоретическом обосновании, которое поможет нам исследовать следующие вопросы: что понимается под специфическими условиями человеческого существования? В чем состоит природа, или сущность, человека?

Хотя в современном научном мышлении (прежде всего в психологии) подобные вопросы не вызывают пиетета и считаются чисто философскими (или «субъективно-спекулятивными»), я все-таки надеюсь показать, что они-то как раз и представляют проблемную сферу для эмпирических исследований.

Природа человека

Начиная с древнегреческих философов, было принято думать, что в человеке есть нечто такое, что составляет его сущность; это «нечто» и называли всегда человеческой природой. Высказывались различные мнения о том, что входит в эту сущность, но ни у кого не возникало сомнения в том, что она есть, т. е. что есть нечто, делающее человека человеком. Так появилось определение: человек – это разумное существо (*animal rationale*), общественное животное (*zoon politikon*), животное существо, производящее орудия труда (*homo faber*), а также способное к созданию символов. Совсем недавно эти традиционные воззрения были поставлены под сомнение. Причиной такого поворота явилось все возрастающее значение исторического исследования человечества. Изучение истории человечества показало, что современный человек так сильно отличается от человека более ранних эпох, что гипотеза о некоей вечной «природе человека» очень далека от реальности. Особенно сильно принцип историзма проявился в исследованиях американских культурантропологов. Изучение обычаев, нравов, образа мышления первобытных народов привело многих антропологов к выводу о том, что человек рождается как чистый лист бумаги, на который культура наносит свои письмена. Предположение о неизменности человеческой природы было отвергнуто еще и потому, что этой позицией часто злоупотребляли и использовали для оправдания неблагоприятных человеческих поступков. Начиная с Аристотеля вплоть до XVIII в. многие мыслители защищали рабство, ссылались на человеческую природу^[199]. А ученые, пытавшиеся представить жадность, стремление к соперничеству и эгоизм как врожденные черты характера, на основании этого доказывали разумность и необходимость такой общественно-экономической формации, как капитализм.

«Человеческой природой» кое-кто по сей день пытается объяснить и оправдать гнусные поступки – алчность и мошенничество, ложь, насилие и даже убийство.

Главным аргументом в пользу гипотезы о специфической природе человека стала возможность определить сущность *Homo sapiens* с точки зрения его строения, анатомии, физиологии и нейрологии. Мы теперь можем дать точное общепризнанное определение человеческого вида, которое подтверждается различными индикаторами: строением тела, походкой, структурой мозга, количеством зубов, способом питания и многими другими факторами, показывающими явное отличие *Homo sapiens* от высокоразвитых человекообразных приматов. Если мы не хотим скатиться на позиции тех, кто считает тело и дух двумя независимыми сферами, нам придется согласиться, что человеческий вид как психически, так и физически имеет свою особую неповторимость.

Сам Дарвин доказал, что человека как вид отличает не только специфическое строение тела, но и в не меньшей мере – особенности психики. Основные идеи он сформулировал в своей книге «Происхождение человека и половой отбор», которая вышла в 1871 г.

Поведение человека определяется его высокоразвитым интеллектом, оно меньше зависит от рефлексов и инстинктов и отличается большей гибкостью.

У человека, как у всех высокоразвитых существ, есть такие сложные эмоции, как любопытство, инстинкт подражания, внимание, память, фантазия. Но у человека их гораздо больше, и применение их значительно сложнее и разнообразнее.

Человеку свойственно (по крайней мере больше, чем другим животным) осознание ситуации, а с помощью логического мышления он может лучше приспособливаться к окружающим условиям.

Человек постоянно использует огромное количество орудий труда и производит их.

У человека есть самосознание: он размышляет о своем прошлом и будущем, о жизни и смерти и т. д.

Человек мыслит абстрактно и развивает символическое и образное мышление; основным и наиболее сложным результатом этой деятельности стало формирование речи и языка.

Некоторые люди обладают чувством прекрасного.

У многих людей развито религиозное чувство в широком смысле слова, которое породило также благоговение, суеверие, веру в существование духов и сверхъестественных сил и т. п.

У нормального человека есть всегда нравственное чувство, или, выражаясь современным языком, в нем «говорит совесть». Человек – культурное существо и общественное существо, и он развил культуры и общественные системы, которые по своему характеру и многообразию уникальны^[200].

Если внимательно проанализировать дарвиновский перечень основных психических характеристик человека, то некоторые признаки очень примечательны. Так, он «под одной шапкой» размещает целый ряд черт, которые никак не связаны друг с другом, например самосознание, создание символического языка и культуры, а также наличие эстетических, нравственных и религиозных чувств. Этот список собственно человеческих характеристик страдает поверхностной описательностью, отсутствием классификации, а также полным безразличием к проблеме истоков и предпосылок возникновения этих признаков.

В своем перечне Дарвин упоминает такие эмоциональные состояния, как нежность, любовь, ненависть, жестокость, нарциссизм, садизм, мазохизм и т. д., которые он считает чисто человеческими, а все остальные он рассматривает как инстинкты. Он считает уже «вполне доказанным»,

«что человек и высшие животные, в особенности приматы, действительно наделены одинаковыми инстинктами. Они проявляют одинаковые страсти, наклонности и интересы: наблюдательность и изобретательность; симпатии и антипатии, включая и самые сложные

чувства, такие как ревность, подозрительность, тщеславие, благодарность, великодушие; они могут обманывать и мстить. Иногда они воспринимают смешное, любят подражать и демонстрируют даже чувство юмора. Они могут удивляться, проявляют любопытство; у них одинаковые способности: внимание, сообразительность, умение сравнивать и выбирать, память, фантазия, ассоциативное мышление и разум, несмотря на то, что они находятся на разных ступенях эволюции».

Дарвин, разумеется, не поддержал бы наш подход к анализу человеческих страстей, ибо мы большинство этих эмоций считаем исключительно человеческими, а не унаследованными от наших животных предков.

Большой вклад в развитие эволюционной теории после Дарвина сделал выдающийся современный исследователь Дж. Симпсон. Он особо подчеркивал в человеке те качества, которые отличают его от других живых существ. Он пишет: «Важно помнить, что человек – это животное; но еще важнее уяснить, что сущность его уникальной природы следует искать в тех признаках, которые не встречаются у других животных. Его место в природе и его выдающаяся роль определяются не тем, что его роднит с животными, а тем, что его делает человеком».

Симпсон предлагает считать основополагающими признаками человека следующие взаимосвязанные факторы: разумность, гибкость мысли, способность к проявлению индивидуальности и социальность. Хотя его ответ не вполне удовлетворительный, его попытка выделить существенные характеристики человека в их взаимосвязи и взаимозависимости, а также понимание закономерности перехода количества в качество – это значительный шаг вперед после Дарвина.

Психологи (в лице известнейшего Абрахама Маслоу) попытались описать специфические потребности человека, на основании чего был составлен список «основных потребностей» – физиологические и эстетические, потребность в безопасности, солидарности, любви, внимании, самореализации, в знаниях и понимании со стороны окружающих. Этот список представляет собой несистематизированный перечень, и, к сожалению, Маслоу не пытался проанализировать общие предпосылки подобных потребностей в природе человека.

Если же мы попробуем определить природу человека на основе специфически биологических и психических факторов, то будем вынуждены обратиться к его появлению на свет.

Поначалу кажется, что установить момент начала жизни человека очень легко, но на самом деле это не так-то просто. Что считать началом: зачатие или тот момент, когда зародыш принимает определенную человеческую форму, акт рождения или момент, когда ребенка отрывают от груди матери, а может быть, и вовсе следует считать, что большинство людей до самой смерти так до конца и не родились. Самое лучшее все же отказаться от попытки фиксировать «рождение» человека с точки зрения определенного дня или определенного часа, разумнее представить его жизнь как процесс, в ходе которого образуется личность. Если мы зададимся вопросом, когда возник человек как вид, то ответить на него еще сложнее, ибо здесь мы имеем дело с этапами, измеряемыми миллионами лет, а знания наши опираются на случайные находки (скелеты, орудия труда), вокруг которых по сей день идут споры.

Несмотря на ограниченность наших знаний, все же есть такие данные, которые проливают свет на общую картину происхождения человека.

Предпосылкой для возникновения человека можно считать возникновение клеточной жизни, т. е. период свыше 1,5 млрд. лет назад, или же начало существования первых, простейших млекопитающих (около 200 млн. лет назад). Я бы сказал, что человечество начинает свое развитие от гоминидных предков, которые жили 14 млн. лет назад, а может быть, и раньше.

Рождение собственно человека следует, видимо, датировать моментом появления первого «человека прямоходящего» (*Homo erectus*), возраст которого исчисляется от 500

тысяч до 1 млн. лет соответственно разным находкам останков синантропа в Азии. Можно вести летоисчисление человеческого рода, начиная с современного его вида *Homo sapiens*, который возник 40 тысяч лет назад и во всех существенных биологических аспектах идентичен с сегодняшним человеком[201].

Если же мы подойдем к вопросу о человеческой эволюции с позиций исторического (а не индивидуального) времени, то мы можем сказать, что человек в подлинном смысле этого слова родился всего несколько минут назад. Или более того, мы можем даже принять такую точку зрения, что процесс его рождения еще не окончен, что пуповина еще не перевязана, что при родах возникли осложнения и потому все ещё остается сомнение – родится ли наконец человек, или речь идет о мертворожденном младенце.

Большинство исследователей, занимающихся этим вопросом, связывают возникновение человека с одним конкретным событием, а именно с появлением орудий труда. Так считают все те, кто вслед за Бенджамином Франклином определяет человека как *Homo faber* (человек умелый). Маркс резко критиковал это определение и считал его «характерным для янки»[202]. Из современных авторов наиболее убедительную критику концепции *Homo faber* можно найти у Л. Мэмфорда.

Лучше все же поискать общее представление о человеческой природе, как она возникла в процессе человеческой эволюции, чем искать специфику в отдельных факторах его существования (как, например, в орудиях труда), – ведь этот индикатор явно несет на себе отпечаток нынешней всеобщей одержимости производством и потреблением. Мы должны *достигнуть такого понимания человеческой природы, которое покоится на взаимосвязи двух фундаментальных биологических факторов, характерных для человека. При этом речь идет о постоянном уменьшении доли инстинктивной детерминации поведения* [203].

При всем многообразии точек зрения на инстинкты все же почти все исследователи приходят к единому выводу: чем выше уровень развития живого существа, тем меньшую роль в его жизни играют жесткие филогенетически заложенные модели поведения.

Процесс постоянного снижения роли инстинктивной детерминации поведения можно представить как некий континуум, на одном конце которого мы имеем дело с простейшими формами жизни, у которых существует высочайшая степень инстинктивной детерминации. Однако по мере эволюции она постепенно убывает и у млекопитающих достигает некоего определенного уровня, который продолжает падать по мере дальнейшего развития приматов. Но и здесь мы встречаем еще огромный разрыв между маленькими длиннохвостыми обезьянами и человекообразными. Это убедительно показали в своем исследовании Р. и А. Йерксы. А у вида *Homo* инстинктивная детерминация достигает самой низшей точки.

Еще одна важная тенденция бросается в глаза при изучении эволюции – это рост объема мозга и особенно неокортекса (коры головного мозга). В этом отношении также можно представить эволюцию в виде шкалы, где на одном конце континуума будут расположены низшие животные и простейшие нейроструктуры с небольшим числом нейронов, в то время как на другом его конце окажется человек с его огромным и сложно организованным мозгом с корой, который в три раза превосходит размеры головного мозга его человекообразных предков. При этом главное его отличие будет состоять в фантастическом количестве межнейронных связей[204].

В свете этих данных можно определить человека как примата, который начинает свое развитие в тот момент эволюции, когда инстинктивная детерминация становится минимальной, а развитие мозга достигает максимального уровня. Такое сочетание минимальной инстинктивной детерминации с максимальным развитием мозговых структур прежде никогда еще не встречалось на пути эволюции и с биологической точки зрения

201

202

203

204

представляет собой совершенно новый феномен.

Таким образом, когда человек только начал свое развитие, он в своем поведении уже руководствовался инстинктами лишь в незначительной мере. Не считая элементарных инстинктов самосохранения и сексуального влечения, у человека нет других врожденных или унаследованных программ, которые бы ему предписывали, как вести себя в большинстве случаев, связанных с принятием решений. Поэтому с биологической точки зрения человек, вероятно, являет собой самое беспомощное и слабое из всех живых существ.

Может ли чрезвычайная развитость мозга компенсировать недостаток инстинктивного начала?

До известной степени – да. Человека ведет по жизни его разум. Но одновременно мы знаем, что этот инструмент бывает слабым и ненадежным, что на него оказывают влияние желания, влечения и страсти, перед которыми человек нередко не в силах устоять. Кроме того, разум не только не заменяет инстинкты, но и здорово усложняет задачу жить. При этом я имею в виду не инструментальный разум (использование мышления для различных действий с объектами ради удовлетворения своих потребностей), ибо в данном отношении человек в конечном счете мало чем отличается от животных (например, приматов). Я имею в виду тот аспект мышления, благодаря которому человек приобретает совершенно новое качество – самосознание. Человек – единственное живое существо, которое не только знает объекты, но и понимает, что он это знает. Человек – единственное живое существо, которое наделено не только предметным мышлением, но и разумом, т. е. способностью направить свой рассудок на объективное понимание, на осознание сущности вещей самих по себе, а не только как средства удовлетворения каких-то потребностей и нужд. Наделенный сознанием и самосознанием, человек научается выделять себя из среды, понимает свою изолированность от природы и других людей. Это приводит затем к осознанию своего неведения, своей беспомощности в мире и, наконец, к пониманию конечности своего бытия, неизбежности смерти.

Так самосознание, рассудок и разум разрушают ту «гармонию» естественного существования, которая свойственна всем животным. Сознание делает человека каким-то аномальным явлением природы, гротеском, иронией вселенной. Он – часть природы, подчиненная ее физическим законам и неспособная их изменить. Одновременно он как бы противостоит природе. Он отделен от нее, хотя и является ее частью. Он связан кровными узами и в то же время чувствует себя безродным. Запрошенный в этот мир случайно, человек вынужден жить по воле случая и против собственной воли должен покинуть этот мир. И поскольку он имеет самосознание, он видит свое бессилие и конечность своего бытия. Он никогда не бывает свободен от рефлексов. Он живет в вечном раздвоении. Он не может освободиться ни от своего тела, ни от своей способности мыслить. Человек не может жить только как продолжатель рода, как некий образец своего вида. Живет именно ОН. Человек – единственное живое существо, которое чувствует себя в природе неуютно, не в своей тарелке: ведь он чувствует себя изгнанным из рая. И это единственное живое существо, для которого собственное существование является проблемой; он должен решать ее сам, и никто не может ему в этом помочь. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию «гармонии» с природой, и он не знает, куда попадет, если будет двигаться дальше. Экзистенциальные противоречия в человеке постоянно приводят к нарушению его внутреннего равновесия. Это состояние отличает его от животного, живущего в «гармонии» с природой. Это не значит вовсе, что у животного всегда счастливая и спокойная жизнь, но это означает, что у него есть особая экологическая ниша, которой соответствуют все его физические и психические свойства, такое соответствие было обеспечено всем процессом эволюции.

Экзистенциальное и потому неизбежно подвижное внутреннее равновесие человека может быть сравнительно стабильным, если ему удастся более или менее адекватным способом решать свои проблемы (благодаря культуре, в которой он живет). Однако эта относительная стабильность не означает освобождения от раздвоенности, которая возникает

каждый раз, когда изменяются предпосылки для этой стабильности.

В процессе становления личности эта относительная стабильность вновь и вновь оказывается под угрозой. Человек в своей истории изменяет мир вокруг себя, а в этом процессе изменяет и самого себя. Его знания растут, но чем больше он узнает, тем больше сознает свое неведение. Он чувствует себя не только частью своего рода, но и отдельным индивидом, а отсюда усиливается его чувство одиночества и изолированности. Люди объединяются между собой и создают малые и большие социальные группы. Благодаря кооперации социальные общности становятся сильнее, они способны больше производить, умеют защитить себя от нападения. Они выбирают сильного лидера – а сам человек внутри такой общности меняется, он становится подчиненным и боязливым. С одной стороны, он достигает известной степени свободы, но одновременно им овладевает страх перед этой свободой. Его умение в производстве материальных благ возрастает, но одновременно сам он становится жадным эгоистом, рабом вещей, которые создал он сам.

И каждый раз, когда нарушается равновесие, он вынужден искать нового равновесия. И то, что некоторые называют естественным стремлением человека к прогрессу, на самом деле представляет собой всего лишь попытку найти новое и максимально удобное состояние равновесия.

Эти новые формы равновесия отнюдь не всегда выстраиваются в одну сплошную линию поступательного развития. Нередко новые достижения приводили к регрессу, история человечества как бы двигалась вспять. Зачастую человек, вынужденный искать новые решения, попадает в тупик, из которого ему снова приходится выбираться вслепую, и остается только удивляться тому обстоятельству, что до сих пор он все-таки всегда находил какой-нибудь выход.

Эти рассуждения приводят нас к идее о том, как можно определить и «природу», и «сущность» человека. Мне кажется, что человеческую природу невозможно определить положительно через какое бы то ни было одно главное качество, например любовь или ненависть, добро или зло. Дело в том, что человеческое существование настолько противоречиво, что его можно описывать только с помощью противоположных категорий, которые в конечном счете сводятся к основной биологической дихотомии между инстинктами, которых человеку недостает, и самосознанием, которого бывает в избытке. Экзистенциальный конфликт человека создает определенные психические потребности, которые у всех людей одинаковые. Каждый человек вынужден преодолевать свой страх, свою изолированность в мире, свою беспомощность и заброшенность и искать новые формы связи с миром, в котором он хочет обрести безопасность и покой. Я определяю эти психические потребности как «экзистенциальные потребности», так как их причины кроются в условиях человеческого существования. Они свойственны всем людям, и их удовлетворение необходимо для сохранения душевного здоровья, так же как удовлетворение естественных потребностей необходимо для поддержания физического здоровья человека (и его жизни). Но каждая из экзистенциальных потребностей человека может быть удовлетворена разными способами. Эти различия в каждом случае зависят от его общественного положения. Различные способы удовлетворения экзистенциальных потребностей проявляются в таких страстях, как любовь, нежность, стремление к справедливости, независимости и правде, в ненависти, садизме, мазохизме, деструктивности, нарциссизме. Я называю их страстями, укоренившимися в характере, или просто человеческими страстями, поскольку они в совокупности составляют характер человека (личность).

Так как мы еще будем подробнее обсуждать эту проблему, я ограничусь здесь только тем, что скажу, что характер – это относительно постоянная система всех инстинктивных влечений (стремлений и интересов), которые связывают человека с социальным и природным миром. Можно понимать характер как человеческий эквивалент животному инстинкту; как вторую натуру человека. Если у всех людей есть нечто общее, так это «инстинкты», т. е. их биологические влечения (даже если они сильно подвержены

модификации за счет опыта) и их экзистенциальные потребности. То, что их отличает друг от друга, – это самые различные страсти, которые доминируют в том или ином характере (т. е. страсти, укоренившиеся в характере). Различия характеров в значительной мере детерминированы различными общественными условиями (хотя и генетические задатки оказывают влияние на формирование характера – личности). И потому укорененные в характере страсти можно зачислить в разряд исторических категорий, в то время как инстинкты остаются среди категорий естественных. Правда, первые тоже не являются чисто исторической категорией, поскольку социальное влияние само привязано к биологически заданным условиям человеческого существования^[205].

А теперь мы можем заняться экзистенциальными потребностями человека и различными укоренившимися в его характере страстями, которые, в свою очередь, представляют собой в каждом случае различные реакции на экзистенциальные потребности. Прежде чем мы вступим в эту сферу, хотелось бы еще раз обернуться назад и затронуть один методологический вопрос. Я предложил «реконструкцию» душевной структуры, какой она могла бы быть в начале человеческой предыстории. Поверхностное возражение против такого метода гласит, что при этом речь идет о теоретической реконструкции, для которой нет никаких доказательств, по крайней мере так может казаться поначалу. Однако при формулировке подобных гипотез нельзя сказать, что у них полностью отсутствуют эмпирические основания, которые могут быть подтверждены или опровергнуты будущими находками.

Фактический материал состоит преимущественно из находок, которые указывают на то, что уже более полумиллиона лет назад синантроп имел культы и ритуалы, свидетельствующие, что его интерес уже тогда не ограничивался чисто материальными потребностями. История древних религий и искусств (которые в те годы не были еще отделены друг от друга) – наш основной источник для исследования души первобытного человека. Разумеется, в контексте данного исследования я не могу подробнее освещать проблемы этой обширной и еще спорной сферы. Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что доступные мне данные о примитивных религиях и ритуалах не позволяют нам проникнуть в духовный мир доисторического человека, так что пока у нас еще нет ключа, с помощью которого мы могли бы разгадать эту загадку. Такой ключ дает только наше собственное переживание. Я имею в виду не осознанные мысли, а те разновидности мысли и переживания, которые скрыты в нашем бессознательном и составляют ядро коллективного опыта всего человечества. Короче говоря, речь идет о том, что я хочу назвать «первичным человеческим переживанием». Это первичное человеческое переживание само уходит корнями в экзистенциальную ситуацию. Поэтому оно является общим для всех людей и не может быть объяснено расовой принадлежностью или наследственностью. Первый вопрос, разумеется, состоит в том, возможно ли вообще найти такой ключ, допустим ли в принципе такой перенос во времени и пространстве и способен ли наш современник проникнуться духом первобытного человека. Все это было предметом интереса мифологии и искусства, поэзии и драматургии – только психологию это никогда не занимало. Исключение составляет психоанализ. Различные школы психоаналитиков пытались по-разному сделать это. У Фрейда «первобытный человек» представлял собой историческую конструкцию человека, который принадлежал к патриархально организованной человеческой общности, в которой господствовал отец-тиран, а все остальные подчинялись; сыновья подняли против него бунт, и его интернализация стала основой для возникновения супер-эго и новой социальной структуры. Фрейд старался помочь пациенту нашего времени обнаружить свои собственные бессознательные переживания путем прохождения через те состояния, которые, по мнению Фрейда, пережили его предки.

Хотя эта модель доисторического человека была придумана, а так называемый Эдипов комплекс не представляет собой самый глубокий пласт человеческой психики, гипотеза

Фрейд открывает, однако, совершенно новые возможности, она допускает мысль, что у людей самых разных времен и народов (эпох и культур) есть нечто общее, что объединяет их с их древними предками. Так Фрейд прибавил еще один исторический аргумент к гуманистической вере в то, что существует некое общее для всех ядро человечества.

Аналогичную попытку, но уже другим способом предпринял и Карл Густав Юнг, но это была значительно более тонкая попытка. Его интерес был направлен на изучение различных мифов, ритуалов и религий. Он гениально использовал миф как ключ к пониманию бессознательного и таким образом протянул мост между мифологией и психологией; его понимание бессознательного превратилось в наиболее систематическую концепцию, которая по убедительности превосходит все теории его предшественников.

Мое предложение гласит: мы должны использовать не только доисторический период в качестве ключа к пониманию современности, нашего бессознательного, но также и, наоборот, использовать наше бессознательное в качестве ключа для понимания предыстории. Это требует самопознания в психоаналитическом смысле этого слова: устранения значительной части нашего сопротивления осознанию бессознательного и тем самым уменьшения трудностей проникновения в глубины нашего переживания.

Предполагая, что мы на это способны, мы можем понять наших сограждан, которые живут в рамках той же культуры, что и мы; мы также можем понять людей совершенно других культур, даже сумасшедшего. Мы также можем почувствовать, какие переживания должен был испытывать первобытный человек, какие у него были экзистенциальные потребности и каким образом люди (включая нас самих) могут реагировать на эти потребности.

Если мы рассматриваем произведения искусства первобытных народов вплоть до пещерной живописи 30000-летней давности, а также искусство, радикально отличающееся от нашей культуры, например африканское, греческое или средневековое, то мы воспринимаем как само собой разумеющееся, что мы тоже их понимаем, хотя эти культуры коренным образом отличаются от нашей. Мы видим во сне символы и мифы, похожие на те, что были созданы людьми наяву тысячу лет назад. Разве при этом не идет речь о едином языке человечества, несмотря на большое отличие структуры нашего сознания?

Если учесть тот факт, что наше мышление в исследовании человеческой эволюции сегодня столь односторонне ориентировано на показатели физического развития человека и его материальной культуры, основными свидетельствами которой выступают скелеты и орудия труда, то не приходится удивляться, что мало кто из исследователей задумывался об устройстве души древнего человека. И все же мою точку зрения разделяют многие известные ученые, которые по своим философским взглядам отличаются от большинства исследователей. Я здесь особенно имею в виду палеонтолога Ф. М. Бергунио, а также зоолога и генетика Т. Добжанского. Бергунио пишет:

Хотя его (человека) справедливо можно считать приматом, чьи анатомические и физиологические признаки полностью для него характерны, однако он образует особую, самостоятельную биологическую группу, оригинальность которой никем не может быть оспорена... Человек был жестоко вырван из своей окружающей среды и изолирован в мире, размеры и законы которого он не знал; поэтому он был вынужден постоянно учиться в ожесточенном напряжении и на собственных ошибках, учиться всему тому, что обеспечивало его выживание. Животные в его окружении приходили и уходили, повторяя одни и те же действия: охота, поиск пищи и питья, схватка или бегство ради спасения от бесчисленных врагов. Для них периоды спокойствия и активности следовали друг за другом в неизменном ритме, который определялся потребностью в пище или сне, размножении или самообороне. Человек в отрыве от своей естественной среды чувствует себя одиноким, покинутым, и что он знает, это то, что он ничего не знает... и потому его первым чувством становится экзистенциальный страх, который может довести его до глубокого отчаяния.

Аналогичные идеи мы находим у Добжанского:

Самосознание и способность к предвидению принесли с собой внушающие страх

плоды: свободу и ответственность. Человек чувствует свободу в себе, свободу строить и осуществлять свои планы. Он радуется тому, что он не раб, а господин, он радуется миру и самому себе. Но чувство ответственности ограничивает эту радость. Человек знает, что он отвечает за свои поступки. Он знает, что – хорошо и что – плохо. Это знание становится тяжелой ношей. Ни одно живое существо не имеет подобной нагрузки. Человек ощущает трагическое раздвоение души. Эту раздвоенность в природе человека труднее вынести, чем родовые муки.

Экзистенциальные потребности человека и различные укоренившиеся в его характере страсти[206]

Ценностные ориентации и объект почитания

Самосознание, разум и воображение – все эти новые свойства человека, которые далеко выходят за рамки инструментального мышления самых умных животных, требуют создания такой картины мира и места человека в нем, которая имеет четкую структуру и обладает внутренней взаимосвязью. Человеку нужна система координат, некая карта его природного и социального мира, без которой он может заблудиться и утратить способность действовать целенаправленно и последовательно. У него не было бы возможности ориентироваться и найти точку опоры, которая позволяет человеку классифицировать все впечатления, обрушивающиеся на него. И совершенно неважно, во что именно он верит: считает ли он главной причиной всех событий магию и волшебство или думает, что духи его предков направляют его жизнь и судьбу; верит ли он во всемогущего Бога, который вознаградит его или накажет, или же в силу науки, которая способна разрешить все человеческие проблемы, – это безразлично, просто человеку необходима система координат, жизненных ориентиров, ценностных ориентации. Мир имеет для него определенный смысл, и совпадение его собственной картины мира с представлениями окружающих его людей является для него лично критерием истины. Даже если картина мира не соответствует действительности, она все равно выполняет некоторую психологическую функцию. Но картина мира никогда не бывает абсолютной: ни абсолютно истинной, ни абсолютно ложной. Это обычно всего лишь некоторое приближение к истинной картине мира, которое помогает жить. Картина мира сможет соответствовать истине только тогда, когда сама практика жизни будет избавлена от ее постоянных противоречий и иррационализма.

В высшей степени интересно отметить, что нет ни одной такой культуры, которая могла бы обойтись без подобной системы ценностных ориентации или координат. Есть она и у каждого индивидуума. Кто-то может отрицать, что у него есть мировоззрение, кто-то может утверждать, что не нуждается в общей картине мира, что он реагирует на различные феномены и события в зависимости от того, как он их воспринимает в этот миг. Но нетрудно доказать, что эти люди ошибаются в оценке своей собственной философии: каждый из них считает, что это его личные взгляды, которые просто соответствуют здравому смыслу. Никто из них не замечает, что все его мысли не выходят за рамки общепризнанных представлений. Когда же кто-то встречается с принципиально иной жизненной позицией, он объявляет ее безумной, иррациональной или ребяческой, в то время как свою собственную позицию он считает логичной. Потребность в образовании системы отношений особенно отчетливо обнаруживается у детей. В определенном возрасте они испытывают глубокую потребность в системе координат и нередко сами создают ее, изобретательно оперируя незначительным количеством доступной им информации.

Потребность в системе ценностных координат так велика, что только ею одной объясняются некоторые факты, повергавшие в изумление уже многих исследователей проблемы человека. Например, разве не заслуживает удивления то обстоятельство, что

человек с такой легкостью оказывается жертвой иррациональных доктрин политического, религиозного или какого-нибудь иного толка, в то время как для людей, не находящихся под их влиянием, очевидно, что речь идет о совершенно бесполезных концепциях. Отчасти этот факт объясняется гипнотическим влиянием вождей и внушаемостью человека. Но для большей части феноменов подчинения этого объяснения недостаточно. Возможно, человек был бы менее подвержен влияниям, если бы он не обладал такой огромной потребностью в заданной системе координат. Чем больше идеология утверждает, что она может на все вопросы дать непротиворечивые ответы, тем она привлекательнее. Здесь, возможно, следует искать причину того, почему иррациональные или даже явно сумасшедшие системы идей обретают такую притягательность.

Однако подобная географическая «карта» – это еще не достаточное руководство к действию. Человеку необходима также цель, которая указывает ему, куда он должен идти. Животное таких проблем не знает. Его инстинкты обеспечивают ему и жизненные ориентиры, и жизненно важные цели. Но человек, у которого ослаблена инстинктивная детерминация, зато функционирует разум, позволяющий ему продумать разные варианты движения к цели, нуждается в объекте цочитания и преданности, подчинения и любви^[207]. Ему нужен такой объект как цель, как фокус для любых стремлений и как основа для его реальных (а не провозглашаемых «на публику») ценностей. Человек нуждается в объекте почитания по многим причинам. Такой объект концентрирует и направляет его энергию, поднимает его самого над уровнем своего индивидуального бытия, над всеми сомнениями и сложностями, он придает его жизни определенный смысл. Когда человек ради такого объекта возвышается над своим одиноким "Я", он трансцендирует самого себя и сбрасывает оковы своего абсолютного эгоцентризма, переходит в совершенно иное состояние^[208].

Объектом почитания может быть что угодно. Человек может поклоняться идолу, который потребует от него убийства собственных детей, или идеалу, который побуждает его беречь и защищать их. Он может стремиться к умножению жизни или к ее уничтожению. Целью может стать жажда денег или жажда власти, стремление любить или ненавидеть, желание быть храбрым и продуктивным. Человек может служить самым различным идолам и целям, и надо помнить, что сама по себе потребность в таком служении – это первичная экзистенциальная потребность, которая должна быть удовлетворена любой ценой и во что бы то ни стало; хотя, разумеется, вопрос об объекте имеет огромное значение, ведь это вопрос о том, какие у тебя идолы и какие идеалы.

Исторические корни

Когда рождается ребенок, он покидает надежное пристанище – материнское тело и прощается с тем состоянием, когда он еще был частью природы и жил благодаря матери. В момент рождения он еще симбиотически связан с матерью, и даже после рождения тесная связь между ними сохраняется значительно дольше, чем у большинства других живых существ.

Тем не менее даже после разрыва этой связи остается огромная потребность сохранить первоначальные узы, глубинная тоска по невозможному возврату в материнское тело или желание найти такую новую жизненную ситуацию, которая гарантировала бы укрытие и абсолютную безопасность^[209].

Однако биологическое, а особенно нейрофизиологическое устройство (строение) человека не пускают его в рай. Ему остается только одна альтернатива: либо он настаивает на своем желании вернуться назад – но за это придется платить симбиозной зависимостью от матери (эта зависимость может быть перенесена на другой объект почитания,

207

208

209

символизирующий мать: это может быть земля, природа, Бог, нация, бюрократическая машина и т. д.), – либо он будет двигаться вперед и самостоятельно устраиваться в этом мире (при этом он освободится от всякого давления прошлого, установит новые связи с людьми, ощутит свое братство со всем человечеством и постепенно обрстет новыми корнями).

Осознав свою изолированность, человек должен найти новые связи со своими согражданами; от этого зависит его душевное и духовное здоровье. Без сильных эмоциональных связей с миром он будет невыносимо страдать от своего одиночества и потерянности. Но ведь в его силах установить различные формы связи с другими людьми. Он может любить других людей – для этого он должен сам быть независимой и творческой личностью, или он может установить некие симбиозные связи, т. е. стать частью какой-то группы или сделать группу людей частью своего Я. В этом симбиозном союзе он стремится либо к господству над другими (садизм), либо к подчинению (мазохизм). Если человеку закрыты и путь любви, и путь "симбиоза, тогда он решает эту проблему иначе: он вступает в отношения с самим собой (нарциссизм). В результате он сам для себя становится целым миром и «любит» целый мир в себе самом.

Это довольно часто встречающаяся форма самоопределения личности, которая не обрела других привязанностей (нередко эту форму путают с садизмом), но она опасна. В экстремальных случаях она ведет к определенным формам помешательства.

Последняя, и злокачественная, форма решения этой проблемы (в сочетании с экстремальным нарциссизмом) – это деструктивность, желание уничтожить всех остальных людей. Если никто, кроме меня, не существует, то нечего бояться других и мне не нужно вступать с ними в отношения. Разрушая мир, я спасаюсь от угрозы быть уничтоженным^[210].

Чувство единения

Экзистенциальная раздвоенность человека была бы невыносима, если бы он не мог установить единство с самим собой, а также с природным и социальным миром вокруг себя. Однако есть немало возможностей обрести это единство.

Человек может отключить свое сознание, приводя себя в состояние экстаза или транса; это достигается с помощью наркотиков, сексуальных оргий, поста, танца и многих других ритуалов, которые достаточно распространены в различных культурах. Он может также попытаться идентифицировать себя с животным, чтобы таким образом вернуть утраченную гармонию с природой. Этот способ обретения единства лежит в основе многих примитивных религий, когда древний вождь племени изображал какое-либо священное животное, надевая его маску и всем своим поведением отождествляя себя со зверем (как это делали, например, тевтонские «свирепые воины» (берсеркеры), которые отождествляли себя с медведем). Целостность может быть достигнута и другим путем, например, когда человек всю свою энергию направляет на служение одной всепожирающей страсти: к деньгам, к власти, к славе или к разрушению.

Любая подобная попытка восстановить свою целостность имеет целью отключение разума. Все служит этой цели, но все эти попытки обречены. Трагизм состоит в том, что независимо от того, длится ли это состояние недолго (как опьянение и транс) или носит более длительный характер (как ревность, ненависть, жажда власти), любая мания делает человека калекой, отрывает его от других людей, «пожирает» его, ставит в зависимость от его страсти так же сильно, как наркомания.

Есть только один путь к целостности, который не делает человека инвалидом. Эта попытка была предпринята в первом тысячелетии до Христа во всех высокоразвитых цивилизациях – в Китае, Индии, Египте, Палестине и Греции. Великие религии, которые выросли на почве этих культур, учили, что никакое забытье, отключение сознания не спасет

человека от внутреннего раздвоения. Единство достижимо лишь на пути всестороннего развития разума, а также способности любить. Как бы велики ни были различия между даосизмом^[211], буддизмом, пророческим иудаизмом и евангелическим христианством, все эти религии имеют общую цель: дать человеку чувство единения, и притом не ценой возврата к животному существованию, а путем собственно человеческого самовыражения – в единстве с природой, со своими согражданами и с самим собой. За 2,5 тысячелетия человек, похоже, не очень далеко ушел в достижении этой цели. Причиной этого можно считать недостаточность экономического и социального развития разных стран, а также социально-прикладную функцию религии в деле управления или манипулирования массами людей. Однако это новое понимание единства имело для психического развития человека революционное значение, такое же, как изобретение земледелия и ремесла для экономики. Это видение никогда полностью не исчезало; оно пробудилось к новой жизни в христианских сектах, у религиозных мистиков всех направлений, у гуманистов Ренессанса, а в светской форме – в философии Маркса. Проблема выбора пути (прогрессивного или регрессивного) – это не только социально-историческая проблема. Каждый отдельный человек сталкивается с ней не раз в своей жизни. Разумеется, если он живет в застойном обществе, которое не идет по пути прогресса, то свобода индивидуального выбора весьма ограничена, и все-таки она существует. Но чтобы пойти «против течения», индивиду требуется огромное напряжение духа, ясность мысли и обращение к трудам великих гуманистов (невроз лучше всего интерпретировать как столкновение двух полярных тенденций в человеке, а успешно проведенный психоанализ может подтолкнуть личность к принятию прогрессивных решений). Для современного кибернетического общества характерно иное решение экзистенциальной проблемы раздвоения личности. Здесь человек сужает свое бытие до рамок своей социальной роли, он начинает чувствовать себя маленьким, потеряннным, ненужным и в погоне за вещами сам становится всего лишь вещью. Спасаясь от экзистенциальной раздвоенности, человек идентифицирует себя со своей социальной организацией и забывает про то, что он личность. Таким образом – если пользоваться терминологией Хайдеггера – человек перестает быть личностью и превращается в некое «оно». Он оказывается в состоянии так называемого «негативного экстаза»; он забывает себя, теряет лицо: он больше – не личность, а вещь.

Творческие способности

Когда человек понимает, что он живет в странном и страшном мире и бессилён что-либо в нем изменить, его может охватить отчаяние. Однако он не позволяет, чтобы его считали пассивным объектом, он не хочет утратить свою субъективность, свое "Я". А для этого он постоянно поддерживает в себе и создает для окружающих ощущение своей дееспособности, т. е. он все время должен «действовать»; в современных терминах это называется «быть эффективным». Сегодня под «эффективностью» понимается такая деятельность, которая приносит успех. Но это есть искажение изначального смысла слова, так как эффективность происходит от латинского *ex-facere* – «делать». Быть эффективным, следовательно, значит что-то совершать, осуществлять, реализовывать, выполнять, т. е. быть способным к действию. Мы называем кого-то дееспособным, если он обладает способностью что-то делать, совершать и производить. Эта способность означает, что человек не слаб и не беспомощен, что он является живым, функционирующим человеческим существом. Дееспособность означает, что человек активен, что не только другие действуют на него, но и он сам действует на других людей. В конечном счете быть дееспособным – это и значит существовать. Этот принцип можно сформулировать следующим образом: я существую, поскольку я что-то делаю.

Целый ряд исследователей разделяют эту точку зрения. В начале нашего столетия,

изучая феномен игры, К. Гроос написал, что существенным мотивом в детской игре является радость от осуществления каких-либо действий. Это было его объяснением того, что ребенку доставляет колоссальное удовольствие чем-то греметь, таскать за собой вещи, плескаться и брызгаться в лужах и т. п. Гроос отсюда заключает: "У нас есть стремление к

познанию, но еще сильнее наше стремление к осуществлению действий". Аналогичную идею высказал пятьюдесятью годами позже Ж. Пиаже. Наблюдая за детьми, он заметил, что малышам в первую очередь нравятся те предметы, которые они могут вовлечь в сферу своих действий. Подобного же взгляда придерживается Р. В. Уайт, когда утверждает, что «стремление получить полномочия» является одной из самых мощных мотиваций человеческого поведения; он предлагает называть мотивационную сферу приобретения компетентности словом «effectance».

Та же самая потребность находит выражение в языке (я имею в виду английский): у многих детей около полутора лет первой фразой становится какой-либо вариант «I do», что означает «я делаю», дети раньше говорят «те» (меня, я), чем «ту» – мой. Ребенок до 18 месяцев находится в состоянии чрезвычайной беспомощности, и даже позднее он еще сильно зависит от доброжелательности и доброй воли других. Однако с каждым днем ребенок становится самостоятельнее (в то время как взрослые медленно меняют свое отношение к нему) и пытается различными способами привлечь к себе внимание: он орет, хватается руками все подряд, заставляет всех вокруг себя крутиться – все это одно из проявлений активности и волеизъявления. Чаще всего приходится капитулировать перед превосходящими силами взрослых, но это поражение не остается без последствий. Подрастая, ребенок находит разные возможности отплатить за поражение, при этом он сам осуществляет те самые действия, от которых он страдал, будучи младенцем: если в детстве от него требовали подчинения, он стремится господствовать, если его били, он сам становится драчуном, – словом, он делает то, что был вынужден терпеть, или же то, что раньше ему запрещали. Практика психоанализа дает огромный фактический материал, подтверждающий, что многие неврозы, навязчивые идеи и сексуальные аномалии являются следствием определенных запретов в раннем детстве. Складывается впечатление, что вынужденный переход ребенка от пассивной роли к активной (даже если и безуспешный) означает всего лишь попытку залечить еще открытые раны. И этим, возможно, объясняется тот факт, что «запретный плод» так сладок^[212].

Притягательной силой обладает не только то, что не было разрешено, но также и то, что было невозможно. Человек явно испытывает глубокую потребность проникнуть в глубины своего социального и природного бытия, гонимый желанием вырваться из тех рамок, в которые он загнан. Этот порыв, вероятно, играет важную роль: он может толкнуть человека как на подвиг, так и на преступление. Взрослые, так же как и дети, стремятся доказать самим себе, что они способны осуществлять действия. Есть много разных способов такого доказательства: например, у грудного младенца можно вызвать выражение удовольствия, когда его укачивают; каждый знает счастливое чувство, когда тебе улыбается любимая, когда ты способен возбудить интерес у собеседника или добиться взаимности в сексе. Того же самого можно достичь в материальном производстве, интеллектуальной и художественной деятельности. Однако та же самая потребность может быть удовлетворена другим путем – когда человек получает власть над другими людьми, когда он проходит через все эмоциональные состояния – от соперничества до наслаждения их страданиями; когда, например, убийца наблюдает смертельный страх на лице жертвы или когда страна-агрессор завоевывает другую страну и оккупанты разрушают то, что было построено другими. Потребность в действии также находит свое выражение в межличностных отношениях, в отношении к животным, к неживой природе и даже к идеям. В отношении к другим людям принципиальная альтернатива состоит в том, что человек чувствует себя способным либо вызывать любовь, либо доставлять людям страдание, вселять в них ужас. В отношении к вещам альтернатива состоит в том, что человек стремится либо строить что-то, либо

разрушать. Как бы ни были противоположны эти альтернативы, они являются только различными реакциями на одну и ту же экзистенциальную потребность действовать. Если рассматривать депрессию и скуку, то можно обнаружить богатый материал, доказывающий, что нет страшнее муки, чем состояние человека, обреченного на бездействие. Ведь безделье означает полную импотенцию, в которой сексуальная импотенция составляет только малую долю. Спасаясь от этих невыносимых ощущений, человек готов испробовать любые средства – от сумасшедшей работы до наркомании, жестокости и убийства.

Возбуждение и стимулирование

Русский нейрофизиолог Иван Сеченов впервые в своем труде «Рефлексы головного мозга» доказал, что нервная система обладает потребностью в действии, т. е. должна иметь определенный минимум возбуждения. Ту же точку зрения разделяет и Р. Б. Ливингстон:

Нервная система является источником активности и интеграции. Мозг не только реагирует на внешние раздражители; он сам спонтанно активен... Активность мозговой клетки начинается в эмбриональной жизни и, вероятно, вносит свой вклад в организационное развитие. Развитие мозга наиболее быстро происходит перед рождением и несколько месяцев спустя. После периода бурного роста скорость развития существенно снижается, однако и у взрослых оно не останавливается; нет такого предела, после которого развитие прекращалось бы и после которого способность к реорганизации исчезла бы вследствие болезни или ранения.

Далее он пишет:

Мозг расходует примерно столько же кислорода, сколько и активная мышца. Но активная мышца может переносить столь высокий расход кислорода сравнительно недолго, в то время как нервная система в течение всей жизни имеет такой высокий расход кислорода, и в период бодрствования, и во время сна – от рождения и вплоть до самой смерти.

Нервные клетки мозга всегда обладали биологической и электрической активностью. Особый феномен, который помогает распознать потребность мозга в постоянном возбуждении, – это феномен сновидений. Доказано, что мы проводим значительную часть нашего сна (около 25%) в сновидениях. Причем индивидуальные различия состоят не в том, видит ли человек сны или нет, а в том, помнит ли он их после пробуждения. Установлено также, что люди с нарушением этой сферы нередко оказываются не вполне нормальными. Возникает вопрос: почему мозг, который составляет только 2% веса тела, является органом (наряду с сердцем и легкими), сохраняющим свою активность во время сна, хотя другие органы и части тела в это время находятся в состоянии покоя; или, если выразиться языком нейрофизиологов, почему мозг расходует 20% всего потребляемого объема кислорода и днем, и ночью. Кажется, что это указывает на то, что нейроны «должны» находиться в состоянии повышенной активности по сравнению с клетками в других частях тела. Говоря о причинах этого явления, уместно допустить, что обеспечение мозга достаточной мерой кислорода имеет для жизни столь важное значение, что мозг получает совершенно особый рацион для активности и возбуждения.

Потребность маленького ребенка в стимулировании доказана многими исследователями. Р. Шпитц указал на патологические последствия недостаточной стимуляции маленьких детей. Харлоу и другие показали, что обезьяны страдают тяжелыми психическими нарушениями, если их в раннем возрасте отрывают от материнского тела [213]. Д. Е. Шехтер также рассматривал эту проблему, считая, что социальная стимуляция является важной предпосылкой развития ребенка. Он приходит к выводу, что «без адекватной социальной стимуляции (как, например, у слепых и госпитализированных детей) развиваются отклонения в эмоциональной и социальной сфере: в речи, в абстрактном

мышлении и самоконтроле»^[214].

Экспериментальные исследования также показали, что существует потребность в стимуляции и возбуждении. Э. Таубер и Ф. Коффлер (1966) доказали у новорожденных оптокинетическую нистагматическую реакцию^[215] на движение. Вольф и Уайт (1965) наблюдали, что новорожденные дети в первые дни жизни реагируют на перемещение предметов движением глаз. Фантц (1958) обратил внимание, что взгляд малыша в первые две недели его жизни дольше задерживается на более сложных визуальных объектах, чем на более простых. Шехтер добавляет к этому: «Разумеется, мы не можем знать, каковы зрительные восприятия новорожденного, но все же можем сделать осторожный вывод, что новорожденный „предпочитает“ сложные раздражители простым». Исследования в Университете Макгилла показали, что изоляция от внешних раздражителей, как правило, ведет к нарушениям восприятия, даже при условии удовлетворения всех физиологических потребностей испытуемых и довольно высокой оплате их труда. Так, в этом случае исключение внешних воздействий привело испытуемых в такое беспокойство, которое граничило с полной утратой равновесия, – несколько человек уже через несколько часов вынуждены были отказаться от эксперимента, несмотря на связанные с этим финансовые потери.

Наблюдения повседневной жизни показывают, что человеческий организм (так же точно, как животный) нуждается не только в некотором минимальном отдыхе, но и в некотором (хоть минимальном) количестве волнения (возбуждения). Мы видим, что человек жадно ищет возбуждения и непосредственно реагирует на него. Перечисление стимулов и раздражителей не имеет смысла, этот список практически бесконечен.

Отдельные индивиды (и целые культуры) отличаются друг от друга только с точки зрения основных способов и приемов стимулирования возбуждения (волнения). Катастрофа, убийство, пожар, война и секс – вот одни источники волнений, но, с другой стороны, такими источниками являются любовь и творческий труд. Греческая трагедия наверняка была для зрителей не менее мощным источником эмоций, чем садистские представления в римском Колизее (хоть и каждый на свой лад). Различие это очень важно, хотя до сих пор ему не уделялось достаточного внимания. И я считаю, что стоит немного остановиться на этом вопросе, пусть и придется для этого сделать некоторое отступление.

В литературе по психологии и нейрофизиологии понятие «стимул» означает почти исключительно то, что я здесь называю словами «простой стимул». Когда человеку грозит опасность, он реагирует прямо и непосредственно, почти рефлекторно, – ибо эта реакция происходит на основе его нейрофизиологической организации. То же самое относится и к другим естественным потребностям (голод, жажда и в какой-то мере – секс). В этом случае человек реагирует (*reagiert*), но не воодушевляется (*agiert*), т. е. не проявляет активности, выходящей за рамки «минимальной нормы» (которая нужна, чтобы убежать, напасть или прийти в состояние сексуального возбуждения). Можно даже в этом случае сказать, что при таком типе реакции реагирует не сам человек, а его мозг или весь его физиологический механизм, который выполняет эту функцию за него.

Однако часто остается без внимания тот факт, что существуют еще и другие способы возбуждения, другие стимулы, которые вдохновляют человека, заставляют его трепетать. Таким источником воодушевления (вдохновения, восторга) может стать, например, ландшафт, музыка, прочитанный роман или встреча с любимым человеком, новая идея или удачные стихи. Любой из этих объектов вызывает у человека не простые, а сложные эмоции; они требуют такой реакции, которую можно назвать «сопереживанием». В этом случае от нас ожидается такое поведение, которое демонстрирует активный интерес к «своему объекту», стремление открывать в нем все новые грани (при этом он уже перестает быть просто объектом), а происходит это по мере того, как мы все более пристально и

внимательно всматриваемся в него. И мы сами перестаем быть пассивным объектом, на который воздействует раздражитель (стимул) и который «пляшет под чужую дудку». Вместо этого мы сами проявляем свои способности и свое отношение к миру. Мы проявляем творческую активность.

Таким образом, простой стимул вызывает к жизни влечение, т. е. здесь можно сказать «меня влечет», а вдохновляющий стимул мобилизует стремление, т. е. такую реакцию, в ходе которой человек активно устремляется к определенной цели.

Различение двух категорий стимулов (раздражителей) и двух типов реакций имеет очень важные последствия. Стимулы первой категории – «простые» – в случае повторения сверх меры перестают действовать. (Это связано с нейрофизиологическим принципом экономии: мозг просто перестает реагировать на сигналы возбуждения, ибо в случае слишком частых повторений они больше не воспринимаются как важные.) Для того чтобы стимул действовал долго, необходимо введение какого-либо элемента новизны: т.е. надо что-то менять в раздражителе (содержание, форму или интенсивность воздействия).

Активирующие (вдохновляющие) стимулы действуют совсем по-другому. Они никогда не остаются теми же самыми, они постоянно изменяются уже хотя бы потому, что вызывают творческую реакцию, – и потому всегда воспринимаются, как «в первый день творения». Тот, кого стимулируют («стимулируемый»), сам одухотворяет свой стимул и видит его каждый раз в новом свете, ибо открывает в нем все новые и новые грани. Между стимулом и «стимулируемым» возникает отношение взаимодействия, здесь нет механического одностороннего воздействия по типу:

стимул S -> R реакция
(стимулирование -> ответ).

Наши рассуждения о различии стимулов каждый может проверить на своем собственном опыте. Ведь каждый знает, что есть самые разные книги, которые можно читать и перечитывать десятки раз, – и это никогда не будет скучно. Это греческие трагедии, стихи Гёте, романы Кафки, проповеди Майстера Экхарта, сочинения Парацельса, философские работы досократиков, труды Спинозы, Карла Маркса и многое другое. Конечно, эти примеры носят слишком личный характер, и каждый может заменить их на своих любимых авторов. Однако такие произведения всегда воодушевляют, они пробуждают читателя и расширяют поле его восприятия, позволяют увидеть все новые и новые нюансы. А с другой стороны, любой дешевый роман уже при втором прочтении вызывает тоску и навеивает сон.

Простые и сложные стимулы играют важную роль при обучении. Если в процессе обучения человек проникает в глубь вещей, если идет движение с поверхности явления к его причинам и корням, от ложных идеологических постулатов к голым фактам, и – значит – к истине, то такой процесс обучения вдохновляет учащихся и становится условием человеческого роста (при этом я имею в виду не только чтение учебников, но и те открытия, которые делает ребенок или безграмотный абориген из примитивного племени, наблюдая природу). Если же, с другой стороны, под учебой понимать только усвоение стандартного набора учебно-воспитательной информации, то это больше похоже на формирование условных рефлексов; такая дрессура связана с простым стимулированием и опирается на потребность индивида в успехе, надежности и одобрении.

Современное индустриальное общество ориентировано почти исключительно на такого рода «простые стимулы»: секс, накопительство, садизм, нарциссизм и деструктивность. Эти стимулы воспроизводят средства массовой информации (радио и телевидение, кино и пресса). Их поставляет также потребительский рынок. По сути дела, вся реклама построена на стимулировании у потребителя желаний и потребностей. Механизм ее действия очень прост: простой стимул (S) -> прямая пассивная реакция (R). Этим-то и объясняется необходимость постоянной смены раздражителей: необходимо, чтобы воздействие стимулов не прекращалось. Автомобиль, который сегодня приводит нас в «восторг», через один-два года покажется скучным и неинтересным, и потому в погоне за новым ощущением восторга потребитель постарается купить новую модель. Местность, которая нам хорошо известна,

автоматически вызывает скуку, и потому в поисках новых ощущений нас «посещает беспокойство, охота к перемене мест». В этом же контексте можно рассмотреть и смену сексуальных партнеров.

Следует добавить, что при этом дело не только в самом стимуле, но и в «стимулируемом» индивиде. Ни вдохновенные стихи, ни вид природной красоты не тронут сердце ипохондрика, погруженного в свои страхи, комплексы или просто душевную лень.

Воодушевляющий стимул нуждается в «понимающем» реципиенте – не в том смысле, что это должен быть образованный человек, а в том смысле, что он должен быть тонко чувствующим человеком. С другой стороны, человек с богатой внутренней жизнью сам по себе активен и не нуждается в особых внешних стимулах, ибо в действительности он сам ставит себе цели и задачи.

Эта разница очень заметна в детях. До определенного возраста (где-то лет до пяти) дети настолько активны и продуктивны, что сами постоянно находят себе «стимулы», сами их «создают». Они могут сотворить целый мир из обрывков бумаги, кусочков дерева, мелких камешков, стульев и любых других предметов. Но уже в шесть лет, когда они попадают под жернова воспитательной мельницы, они начинают приспосабливаться, утрачивают свою непосредственность, становятся пассивными и нуждаются в таком стимулировании, которое позволяет им пассивно реагировать. Ребенку, например, хочется иметь какую-то сложную игрушку, он ее получает, но очень скоро она ему надоедает. Короче говоря, он поступает с игрушками так же, как это делают взрослые с автомашинами, одеждой и сексуальными партнерами.

Существует еще одно важное различие между простыми и сложными стимулами (раздражителями). Человек, ведомый каким-либо простым стимулом, переживает смешанное чувство желания (охоты, зуда), удовлетворения и избавления; когда наступает удовлетворение – «ему больше ничего не надо». Что касается сложных стимулов, то они никогда не вызывают чувства пресыщения, их никогда не может быть «слишком много» (не считая, конечно, чисто физической усталости).

Я думаю, что на основе нейрофизиологических и психологических показателей можно вывести некоторую закономерность в отношении разных видов стимулирования: чем «проще» стимул, тем чаще нужно менять его содержание или интенсивность; чем утонченнее стимул, тем дольше он сохраняет свою привлекательность и интерес для воспринимающего субъекта и тем реже он нуждается в переменах.

Я позволил себе столь длинное отступление и подробно рассмотрел потребности организма в возбуждении, волнении и соответствующем стимулировании этих состояний потому, что речь идет об одном из многих факторов, обуславливающих деструктивность и жестокость. Оказывается, у человека гораздо более сильное возбуждение (волнение) вызывают гнев, бешенство, жестокость или жажда разрушения, чем любовь, творчество или другой какой-то продуктивный интерес. Оказывается, что первый вид волнения не требует от человека никаких усилий: ни терпения, ни дисциплины, ни критического мышления, ни самоограничения; для этого не надо учиться, концентрировать внимание, бороться со своими сомнительными желаниями отказываться от своего нарциссизма. Людей с низким духовным уровнем всегда выручают «простые раздражители»; они всегда в изобилии: о войнах и катастрофах, пожарах, преступлениях можно прочитать в газетах, увидеть их на экране или услышать о них по радио. Можно и себе самому создать аналогичные «раздражители»: ведь всегда найдется причина кого-то ненавидеть, кем-то управлять, а кому-то вредить. (Насколько сильна у людей потребность в этих ужасных впечатлениях, можно судить по тем миллионам долларов, которые средства массовой информации зарабатывают на продаже продукции этого типа.) Теперь уже точно известно, что многие браки не распадаются потому, что дают возможность супругам, подчиняя или подчиняясь, постоянно переживать и воспроизводить такие состояния, как ненависть, скандалы, издевательства и унижения. То есть супруги остаются рядом не вопреки, а благодаря своим схваткам. И то же самое можно сказать о мазохизме: потребность страдать и подчиняться частично тоже определяется

потребностью в возбуждении. Мазохист страдает оттого, что ему не удастся самостоятельно пережить волнение (возбуждение) и «выдать» непосредственную реакцию на нормальное раздражение (стимул). Однако он все же может отреагировать и взволноваться, если стимулирующий субъект превосходит его по силе и привлекательности, а главное – способен навязать ему свою волю и заставить подчиняться.

Хроническая депрессия и скука (тоска)

Проблема стимулирования (возбуждения) тесно связана с феноменом, который не имеет ни малейшего отношения к возникновению агрессии и деструктивности: речь идет о скуке (тоске). С точки зрения логики феномен скуки следовало бы рассматривать в предыдущей главе вместе с

другими причинами агрессивности. Однако это было невозможно, ибо необходимой предпосылкой для понимания феномена скуки является анализ проблемы стимулирования.

По отношению к проблеме скуки и возбуждения следует различать три категории лиц: 1. Люди, способные продуктивно реагировать на стимулирующее раздражение; они не знают скуки. 2. Люди, постоянно нуждающиеся в дополнительном стимулировании, а также в вечной смене раздражителей; эти люди обречены на хроническую скуку, но, поскольку они умеют ее компенсировать, они ее не осознают. 3. Люди, которых невозможно ввести в состояние возбуждения нормальным раздражителем. Это люди больные; время от времени они остро сознают свое душевное состояние, но часто они даже не понимают, что больны. Этот тип скуки принципиально отличается от предшествующего, бихевиористски описанного типа, когда скучает тот, кто в этот момент не получает достаточного стимулирования, однако он вполне способен на реакцию, как только скука его будет компенсирована.

В третьем случае скуку не компенсируют. Мы говорим здесь об ипохондрии в ее динамическом, характерологическом смысле, и ее можно было бы описать как состояние хронической депрессии. Однако между компенсированной заторможенностью и некомпенсированной хронической угрюмостью существует чисто количественное различие. И в том и в другом случае соответствующий человек страдает от недостатка продуктивности. В первом случае, правда, есть возможность с помощью соответствующих раздражителей избавиться от данного синдрома (хотя при этом причина остается), во втором случае оказывается невозможно освободиться даже от симптомов.

Различие затрагивает сферу употребления слова «скучный». Если кто-то говорит: «Я подавлен», то это относится к душевному состоянию. Если же кто-то говорит: «Я чувствую такую тоску (мне так скучно)», то, как правило, он имеет в виду окружающую обстановку: он хочет сказать, что окружение не дает ему достаточно интересных и развлекающих стимулов. Когда же мы говорим о «скучном человеке», то мы имеем в виду личность в целом, и прежде всего ее характер. Мы не хотим этим сказать, что данный человек именно сегодня скучен, поскольку он не рассказывает нам интересных историй. Если уж мы говорим о ком-то: «Он скучный человек», то мы имеем в виду, что он скучен как личность. В нем есть что-то безжизненное, мертвое, неинтересное. Многие люди готовы признаться, что испытывают скуку (что им скучно); но вряд ли кто согласился бы, чтобы его назвали скучным.

Хроническая скука – в компенсированной или некомпенсированной форме – представляет собой одну из основных психопатологий современного технотронного общества (хотя лишь совсем недавно этот феномен хоть как-то привлёк к себе внимание^[216]).

Прежде чем обратиться к рассмотрению депрессивной скуки (в динамическом смысле), я хочу еще кое-что заметить в отношении скуки в бихевиористском понимании. Людям,

способным продуктивно реагировать на «активизирующие стимулы» (раздражители), практически не бывает никогда скучно, но в нашем кибернетическом обществе такие люди составляют исключение. Что касается большинства людей, то они, конечно, не являются тяжелобольными, но можно утверждать, что все страдают в легкой форме таким недугом, как недостаток продуктивности. Такие люди постоянно скучают, если не находят хоть каких-то способов стимулирования.

Существует много причин, из-за которых хроническая, компенсированная форма скуки в целом не считается патологией. Главная же причина, очевидно, состоит в том, что в современном индустриальном обществе скука является спутником большинства людей, а такое широко распространенное заболевание, как «патология нормальности»*, вообще не считается болезнью. Кроме того, состояние обычной «нормальной» скуки, как правило, человеком не осознается. Многие люди умудряются найти ей компенсацию, сознательно стремясь в суете сует утопить свою тоску. Восемь часов в – сутки они заняты тем, чтобы заработать себе на жизнь, когда же после окончания работы возникает угроза осознания своей скуки, они находят десятки способов, чтобы этого не допустить: это выпивка, телеэкран, автомобиль, вечеринки, секс и даже наркотики – Наконец наступает ночь, и естественная потребность в сне успешно завершает день. Можно сказать, что сегодня одна из главных целей человека состоит в том, чтобы «убежать от собственной скуки». Только тот, кто правильно оценивает интенсивность реакции на ничем не компенсированную скуку, может представить себе силу импульсов, которые способна вызывать скука.

О том, что такое скука, рабочие знают гораздо лучше, чем средние буржуа и высшие слои (это обнаруживается каждый раз, когда рабочие выдвигают свои экономические требования). Рабочим не хватает удовлетворенности, в то время как другие социальные группы хоть в какой-то степени могут выразить свою фантазию, свою способность к творчеству, к интеллектуальной и организаторской деятельности. В последние годы стало очевидно, что рабочие наряду с традиционными требованиями увеличения зарплаты все чаще высказывают свою неудовлетворенность монотонностью труда и отсутствием заинтересованности. Время от времени администрация пытается найти выход из положения посредством «улучшения условий труда». Кое-где пытаются предоставить рабочим больше самостоятельности в планировании и распределении заказов – все это ради создания у них чувства ответственности. Это, конечно, правильный путь, но весьма ограниченный и узкий, чтобы как-то повлиять на духовную жизнь нашего общества в целом. Нередко можно услышать такое мнение, что проблема заключается не в том, чтобы сделать работу интереснее, а в том, чтобы сократить рабочее время: сделать так, чтобы человек мог использовать досуг для своих талантов и наклонностей. Однако сторонники этих идей, очевидно, забывают, что и свободное время давно стало объектом манипулирования со стороны индустрии потребления. Оно несет такой же отпечаток скуки, как и труд, хоть мы это и не всегда осознаем.

Труд – обмен человека с природой – это такая важная часть нашего бытия, что освобождение труда от отчуждения представляет для нас куда как более неотложную задачу, чем усовершенствование нашего досуга. При этом речь идет все же не о том, чтобы изменить содержание труда, речь идет о радикальных социальных и политических переменах, целью которых является подчинение экономики истинным потребностям человека.

После приведенного нами описания обеих форм недепрессивной скуки может возникнуть впечатление, что различие между ними состоит в разных видах стимулов, которые (будь то активизирующие, вдохновляющие, стимулы или нет) помогают справиться со скукой. Однако такую картину следует считать слишком упрощенной. На самом деле различие это гораздо глубже и сложнее. Скука, которая преодолевается с помощью «активизирующих» раздражителей (стимулов), исчезает, потому что ее на самом деле никогда и не существовало, ибо творческому человеку никогда не бывает скучно и ему не составляет труда подыскать подходящие стимулы (возбудители). Зато человек внутренне пассивный, нетворческий, даже тогда испытывает скуку, когда его явная, осознанная тоска

на время отступает.

Почему это происходит? Причину тут надо искать в том, что попытка намеренного устранения скуки из внешних условий жизни не затрагивает личность в целом с ее чувствами, разумом, фантазией, – короче, все это не касается основных способностей и психических возможностей индивида. Эти стороны личности не пробуждаются к жизни. А компенсационные возможности подобны эрзац-продуктам, которые лишены витаминов. И человек, потребляющий их, не может утолить чувство голода. Точно так же можно «заглушить» неприятное ощущение пустоты сиюминутным возбуждением, применив любой «щекочущий нервы» стимулятор (развлечение, шоу, алкоголь, секс), но на бессознательном уровне человек все равно пребывает в тоске, ему скучно.

Один ретивый адвокат, который работал нередко по 12 и более часов в сутки, утверждал, что так сильно любит свою профессию, что ему не бывает скучно. И вот какой ему приснился сон:

Я вижу себя в тюрьме, связанного одной цепью с другими заключенными, – и все это происходит в Грузии, куда меня выслали за какое-то преступление из моего родного города на востоке. К моему удивлению, мне удается очень легко избавиться от цепей, но я должен продолжать предписанную мне работу, которая состоит в том, что я перетаскиваю мешки с песком из одного грузовика в другой, стоящий довольно далеко от первого, а затем те же самые мешки несую обратно и загружаю в первую машину.

На протяжении всего сновидения у меня не прекращалось состояние депрессии и душевного дискомфорта – я просыпаюсь полный ужаса и с облегчением обнаруживаю, что это был всего лишь кошмарный сон.

Адвокат был потрясен этим сном. Хотя в первые недели курса психоанализа он был в хорошем расположении духа и неустанно повторял, что доволен своей жизнью, теперь он стал задумываться о своей работе. Я не хочу здесь вдаваться в детали, скажу только, что он внезапно начал утверждать нечто противоположное. Он говорил, что работа его в сущности бессмысленная, что она, по сути дела, лишь средство заработка, а это, с его точки зрения, вовсе не достаточно для наполнения жизни смыслом. Он говорил, что служебные проблемы (при всем их кажущемся разнообразии) на самом деле ничем не отличаются друг от друга, что для их решения совершенно не нужно думать: достаточно знать два-три стандартных приема – и все в порядке.

Спустя две недели он рассказал еще один сон. «Я видел себя в своем рабочем кабинете за письменным столом, но ощущение у меня было такое, словно я – живой труп. Я слышал, что происходит, и видел, что делают другие люди, но при этом у меня было все время такое чувство, будто я мертв и меня все это больше не касается».

Толкование этого сновидения еще раз дало нам сигнал к тому, что пациент чувствует себя подавленным, что его жизненный тонус понижен. После третьего сновидения он сообщил: «Я видел здание, в котором расположен мой офис, оно было охвачено пламенем; никто не знал, как это случилось, а я стоял и чувствовал, что ничем не могу помочь».

Нет нужды объяснять, что в этом сновидении проявилась его глубокая ненависть к адвокатской конторе, которую он возглавлял. На уровне сознания у него никогда не возникала подобная мысль^[217].

Еще один пример неосознанной тоски приводит д-р Эс-лер. Он рассказывает о своем пациенте. Это был студент, который имел большой успех у девушек. Хотя он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, он иногда чувствовал себя подавленным. Однажды он под гипнозом увидел «черную пустую площадь с большим количеством масок». На вопрос аналитика, где же находится это место, эта черная пустота, он ответил: «Это у меня внутри». Все было скучно, тоскливо, уныло. Маски – это различные роли, которые он играет, чтобы сделать вид, что ему хорошо. Когда он начал задумываться о смысле жизни, он сказал: «У меня ощущение полной пустоты». Когда терапевт спросил его, не спасает ли от скуки секс,

он ответил: «Секс – тоже скука, но не в такой мере, как все остальное». Он обнаружил, что дети его (от первого раннего брака) вызывают у него тоску, хотя они ему и ближе и дороже остальных людей. Он понял, что на протяжении восьми лет только делал вид, что еще жив, а утешение время от времени находил в вине. Отца своего он называл «одиноким тщеславным человеком, который был настолько скучным, что в жизни не имел ни одного друга».

Терапевт спросил его о том, как он чувствует себя рядом со своим сыном, не проходит ли тогда чувство одиночества. Он ответил: «Я много раз пытался установить с ним контакт, но мне это не удалось». Когда пациента спросили, не хочет ли он умереть, он ответил: «Почему бы и нет?» Но на вопрос, хочется ли ему жить, он также ответил «да». Наконец, ему приснился сон: «был теплый солнечный день, зеленела трава». Когда его спросили, видел ли он людей, он ответил: «Нет, людей там не было, но казалось, что вот-вот кто-то может прийти...» Когда его вывели из гипноза и сообщили о его рассказах, он был страшно удивлен, что мог сказать нечто подобное^[218].

Этот пациент в обычной жизни мог лишь иногда подозревать о своей депрессии, но в гипнотическом состоянии она стала очевидной. Он пытался компенсировать (сублимировать) свою тоску в любовных авантюрах (так же точно, как для адвоката сублимация была в работе). Но эта компенсация удавалась лишь на уровне сознания. Она помогала пациенту избавиться от скуки и действовала до тех пор, пока пациент был занят делом. Но никакие сублимации не в силах изменить того факта, что в глубине субъективной реальности «торчком торчит» смертельная тоска и ничто не может ее не только устранить, но даже уменьшить.

Очевидно, сфера потребительских услуг, которая призвана избавлять людей от скуки, не справляется со своими функциями, раз человек ищет других способов избавления. Одним из способов является потребление алкоголя. За последние годы появился еще один феномен, свидетельствующий о росте неудовлетворенности среднего класса. Я имею в виду групповой секс. По оценкам социологов, в США около двух миллионов людей (в основном представители среднего класса и весьма консервативных политических взглядов) находят главный интерес в том, чтобы заниматься сексом в смешанных группах, среди которых не должно быть супружеских пар. При этом главное требование к участникам «действия» состоит в том, что они не должны допускать эмоциональных привязанностей к кому-либо из участников, ибо пары все время меняются партнерами. Социологи, изучавшие группы так называемых «свингеров», узнали, что до того эти люди были одержимы такой тоской, что им уже ничто не помогало (даже многочисленные телесериалы). Теперь они научились справляться со своей депрессией с помощью постоянной смены сексуальных стимулов. Более того, они утверждают, что даже в собственных семьях отношения «улучшились», ибо появилась по крайней мере одна общая тема – сексуальный опыт с другими партнерами. «Свингерство» – это один из более сложных вариантов прежнего супружеского промискуитета^[219], в этом нет ничего нового. Новым можно считать разве что запрет на чувства, а также неожиданную идею о том, что групповой секс может стать средством «спасения усталых семей».

Еще один экстраординарный способ избавления от скуки – применение психотропных таблеток; этим начинают заниматься подростки-тинэйджеры, а многие люди принимают таблетки до глубокой старости. Особенно часто это случается с людьми, которые не имеют прочного социального статуса и интересной работы. Нередко потребители таблеток (особенно молодежь) – это люди с огромной потребностью настоящих переживаний, многие из них отличаются оптимизмом, честностью, независимым характером и тягой к приключениям. Однако потребление таблеток не может изменить характер, и потому источник перманентной скуки остается неустранимым. Таблетки не способствуют развитию личности, которое достигается только упорным кропотливым трудом, сосредоточенностью,

умением взять себя в руки, сконцентрировать свое внимание.

Особо опасным следствием «некомпенсированной скуки» выступают насилие и деструктивность. Чаще всего это проявляется в пассивной форме: когда человеку нравится узнавать о преступлениях, катастрофах, смотреть жестокие кровавые сцены, которыми нас «пичкает» пресса и телевидение. Многие потому с таким интересом воспринимают эту информацию, что она сразу же вызывает волнение и таким образом избавляет от скуки. Но от пассивного удовольствия по поводу жестоких сцен и насилия всего лишь шаг к многочисленным формам активного возбуждения, которое достигается ценой садистского и деструктивного поведения. Таким образом, существует лишь количественное различие между «невинным» развлечением, направленным на то, чтобы поддеть собеседника (поставить его в неловкое положение), и участием, скажем, в суде линча. В обоих случаях субъект создает себе возбуждение, если его нет в готовом виде. Часто «скучающий субъект» устраивает «мини-Колизей», где он в миниатюре воспроизводит те ужасы, которые разыгрывались в Колизее. Таких людей ничего не интересует, у них нет почти никаких отношений с другими людьми. Ничто не может их взволновать или растрогать. Все эмоции у них в застывшем состоянии: они не испытывают радостей, зато не знают ни боли, ни горя. У них вообще нет чувств. И мир они видят в сером цвете и не понимают, что такое голубое небо. У них совершенно нет желания жить, и нередко они бы предпочли жизни смерть. Некоторые из них обостренно сознают свое душевное состояние, но чаще всего этого не происходит.

Такая патология не так-то легко поддается диагностике. Самые тяжелые случаи психиатры квалифицируют как психотическую эндогенную депрессию. Мне такой диагноз представляется сомнительным, ибо здесь, по-моему, отсутствуют некоторые характерные признаки эндогенной депрессии. Эти люди не склонны к самоанализу (к обвинению себя), они не испытывают чувства вины и не задумываются о причинах своих неудач; кроме того, им не свойственно то характерное выражение лица, которое типично для пациентов, страдающих ипохондрией (меланхолией)[220][221].

Наряду с тяжелыми случаями депрессивной скуки встречается один, еще более распространенный вид болезни, к которому ближе всего подходит диагноз хроническая «невротическая депрессия»[222]. В сегодняшней клинической практике такая картина болезни встречается очень часто. Она отличается тем, что больной не только не осознает причин своей депрессии, но даже самый факт своей болезни. Такие больные обычно не замечают, что они чем-то подавлены, но на самом деле это так, и это нетрудно доказать. В последнее время в лексикон психиатров вошли понятия: «замаскированная депрессия» или «депрессия с улыбкой». Мне кажется, что эти понятия в образной форме хорошо характеризуют суть дела. Проблема диагностики осложняется еще и тем, что клиническая картина выявляет ряд признаков, которые очень похожи на показатели «шизоидного» характера.

Я не хочу здесь вдаваться дальше в проблемы диагностики, ибо это мало чем может нам помочь. Во всяком случае, не исключено, что у лиц, страдающих хронической, некомпенсированной скукой, речь идет о смешанном синдроме, состоящем из элементов депрессии и шизофрении; причем у разных пациентов они представлены с неодинаковой интенсивностью и в разных пропорциях. Для наших целей важна не столько точность диагноза, сколько тот факт, что именно у этих пациентов встречаются крайние формы деструктивности. При этом внешне они вовсе не производят впечатления подавленности или угнетенности. Они умеют приспособляться к своей среде и кажутся вполне счастливыми; многие из них достигают такого совершенства в приспособлении, что родители, учителя и священники считают их не только вполне здоровыми, но и ставят в пример другим людям.

220

221

222

Однако встречается и совсем иной тип, его называют «криминальным»: таких людей считают «асоциальными», хотя их внешний вид не имеет ничего общего с подавленностью или меланхолией. Обычно этим людям удается вытеснить из своего сознания тоску; им больше всего хочется, чтобы их считали нормальными людьми. Когда они обращаются к психотерапевту, они обычно дают о себе весьма скромные данные, например, они жалуются на недостаток внимания, сосредоточенности в работе или учебе, а в целом из кожи вон лезут, чтобы произвести впечатление «нормальности». Нужно обладать большим опытом и наблюдательностью, чтобы под внешне благополучной оболочкой обнаружить болезнь.

Доктор Эслер, который умел это делать блестяще, при обследовании Дома трудных подростков (трудновоспитуемых) у многих юношей зафиксировал состояние, которое он квалифицировал как «неосознанная депрессия»^[223]. В дальнейшем я приведу ряд примеров, которые подтверждают, что подобное состояние может быть причиной деструктивных поступков, причем нередко подобные действия являются единственно возможной формой облегчения.

Молодая девушка, помещенная в клинику неврозов после того, как она перерезала себе вены, объяснила свои действия тем, что ей хотелось удостовериться, что у нее вообще есть кровь. Это была девушка, которая не ощущала себя человеком и не реагировала ни на кого из людей. Она считала, что у нее вообще нет чувств и способность к адаптации ей не дана. (Тщательное клиническое исследование показало, что это не была шизофрения.) Ее индифферентность и неспособность к нормальным эмоциональным реакциям были настолько ужасны и сильны, что она не нашла другого способа удостовериться в том, что еще жива, как только пустив собственную кровь.

Этот случай отнюдь не является чем-то экстраординарным. Например, один из обитателей Дома трудных подростков занимался тем, что бросал довольно крупные камни на покатую крышу своего гаража, а затем пытался поймать их головой, когда они оттуда скатывались. Он объяснил, что для него это была единственная возможность хоть что-то почувствовать. Он уже 5 раз пытался покончить с собой, причем он наносил себе сам ножевые раны в самые уязвимые места, а затем сообщал об этом дежурным, так что его успевали спасти. Он настаивал, что чувство боли давало ему возможность хоть что-то пережить.

Другой юноша рассказал, что он бегал по городу с ножом в руках и время от времени кидался на прохожих, угрожая расправой. Ему доставляло удовольствие, когда он видел смертельный ужас в глазах своих жертв. Иногда он приманивал собак и убивал их ножом прямо на улице «просто для развлечения». Однажды он признался: «Мне кажется, что собаки уже предчувствовали, что я должен вонзить свой нож». Этот же молодой человек признался, что однажды он пошел в лес за дровами вместе с учителем и его женой. В какой-то момент, когда учителя не было рядом и женщина осталась одна, он «почувствовал неодолимое желание вонзить топор в ее голову». К счастью, женщина заметила какое-то странное выражение его глаз и вовремя попросила у него топор. У этого семнадцатилетнего юноши было лицо маленького мальчика; врач, который беседовал с ним во время консилиума, был очарован им и сказал, что не понимает, как такой ангел мог попасть в это отделение. На самом деле его обаяние было чисто внешним, специально надетой маской.

Подобные случаи сегодня встречаются в западном мире сплошь и рядом, о них даже время от времени сообщается в газетах. Вот один из примеров, случай, имевший место в 1972 г. в Аризоне.

Шестнадцатилетний подросток, который отлично учился в школе и пел в церковном хоре, был доставлен в тюрьму для несовершеннолетних после того, как он признался полиции, что застрелил своих родителей; оказалось, что ему просто необходимо было увидеть, как это происходит, когда кто-то кого-то убивает. Трупы Йозефа Рот (60 лет) и его жены Гертруды (57 лет) были обнаружены в их квартире. Власти сообщили, что они были

убиты выстрелом в грудь из охотничьего ружья. Рот был учителем вуза, его жена тоже преподавала на младших курсах вуза. Прокурор Кошиза Рихард Рили сказал: этот Берднارد И. Рот был «милейший юноша; в четверг он явился в полицию на допрос и вел себя весьма вежливо и непосредственно».

Как сообщает Рили, юноша сказал о родителях следующее: «Они очень постарели. Я на них совершенно не сержусь и вообще ничего против них не имею».

Юноша сказал, что его уже давно посетила идея убить родителей. Рили записал после допроса: «Ему хотелось узнать, как происходит убийство»^[224].

Очевидно, что мотивом подобных убийств является не ненависть, а невыносимое чувство скуки, беспомощность и потребность увидеть хоть какие-то нестандартные ситуации, как-то проявить себя, на кого-то произвести впечатление, убедиться, что существуют такие деяния, которые могут прекратить монотонность повседневной жизни. Если ты убиваешь человека, то это дает тебе возможность почувствовать, что ты существуешь и что ты можешь как-то оказать воздействие на другое существо.

В этом обсуждении проблемы депрессивной скуки мы до сих пор затронули лишь психологические аспекты. Это вовсе не означает, что здесь не могут играть какую-то роль также и нейрофизиологические отклонения; однако, как уже говорил Блейлер, они могут играть лишь вторичную роль, в то время как главные причины следует искать в окружающей жизни в целом. Я считаю весьма вероятной гипотезу о том, что даже самые трудные случаи депрессии (при одинаковых семейных обстоятельствах) встречались бы реже и в менее острой форме, если бы доминирующими настроениями в нашем обществе были надежда и любовь к жизни. Однако в последние десятилетия мы все чаще наблюдали противоположную картину – такие ситуации, которые создают благоприятную почву для индивидуальных депрессивных состояний.

Структура характера

Существует еще одна потребность, которая определяется исключительно человеческой спецификой, – потребность в формировании характера (структуры характера). Эта потребность связана с феноменом, который мы уже обсуждали, а именно с постоянным снижением роли инстинктов в жизни человека. Когда человек стремится достигнуть значительных результатов, предполагается, что он должен начать действовать немедленно, т. е. это значит, что он не будет тратить время на излишние раздумья – и тогда его поведение будет сравнительно целостным и целеустремленным. Речь идет о той дилемме, которая описана Кортландом, когда он, наблюдая шимпанзе, обнаружил у них медлительность, недостаточную способность к принятию решения и низкую результативность.

Естественно предположить, что человек, который в еще меньшей степени, чем шимпанзе, детерминирован инстинктами, просто бы не выжил, если бы у него не развились компенсаторные способности, выполняющие функцию инстинктов. Такую компенсаторную роль у человека играет характер. Характер – это специфическая структура, в которой организована человеческая энергия, направленная на достижение поставленных целей, им же определяется выбор поведения, соответствующего главным целям. Создается впечатление, как будто это поведение диктуется инстинктами. У вас даже принято говорить, что человек «инстинктивно» реагирует на что-то соответственно своему характеру. А если обратиться к Гераклиту, то следует вспомнить, что характер человека – это его судьба. Скупец вовсе и не задумывается над тем, потратить деньги или сэкономить их; его никогда не покидает стремление к накопительству. Это его главное влечение, его страсть.

Садистско-эксплуататорский характер стремится к эксплуатации других людей, а страсть садиста в том, чтобы господствовать над другим человеком. Основным стремлением

продуктивной творческой личности является жажда любить, дарить, делиться с другими. Влечения, обусловленные характером, бывают настолько сильными и произвольными, что самому человеку нередко кажется, что речь идет о совершенно «естественной» реакции. Ему трудно представить, что есть люди совершенно иначе устроенные (с другой природой); а если уж жизнь подкидывает ему такие примеры, то ему легче допустить, что эти другие просто своего рода отклонение от нормы. Каждый, у кого есть некоторый опыт общения с людьми, почти всегда способен понять, имеет ли он дело с разрушительным (садистским) типом или с открытым, любящим людей существом. Тонкий человек способен увидеть за внешним поведением сохраняющиеся характерные черты и почувствовать неискренность эгоиста, который ведет себя как сверхальтруист.

Возникает вопрос: как же произошло, что человеческий род (в отличие от шимпанзе) оказался способен к формированию характера?^[225] Для ответа на этот вопрос необходимо исследовать целый ряд биологических факторов.

Во-первых, человеческие общности с самого начала жили в очень разных географических и климатических условиях. С момента появления Номо в этом виде не наблюдается сколько-нибудь серьезного приспособления к среде, которое получило бы генетическое закрепление. И чем выше поднимался Номо по лестнице эволюции, тем меньше его адаптация зависела от генетических предпосылок, а за последние 40 тысяч лет такого рода изменения практически уже не имели места.

И все же различия в условиях жизни разных групп заставили человека не только научиться вести себя соответственно обстоятельствам, но и привели к формированию «социального характера». Понятие социального характера покоится на убеждении, что каждое общественное устройство (или каждый социальный класс) вынуждено использовать человеческую энергию в той специфической форме, которая необходима для функционирования данного общества. Для нормального функционирования общества его члены должны желать делать то, что необходимо обществу.

Этот процесс превращения общей психической энергии в особую психосоциальную энергию осуществляется благодаря феномену социального характера. Способы и средства формирования социального характера (личности) в значительной мере коренятся в культуре. Через родителей общество погружает ребенка в мир своих ценностей, обычаев, традиций и норм. Поскольку у шимпанзе нет языка, у них нет возможности передать потомству свои представления, ценности или символы, т. е. у них отсутствует основа для формирования характера. Таким образом, характер – это человеческий феномен. Только человек оказался в состоянии компенсировать утраченную способность к инстинктивной адаптации.

Приобретение человеком характера стало необходимым и очень важным моментом в процессе выживания человеческого рода, хотя оно и принесло с собой некоторые отрицательные и даже опасные последствия. Поскольку характер формируется на основе традиции, он нередко направляет человеческое поведение, минуя разум, и потому он может мешать социальной адаптации и порою приводить субъекта в состояние прямого противодействия новым условиям бытия. Так, например, понятие «абсолютный суверенитет» государства восходит корнями к архаической форме социальности и препятствует выживанию человека в ядерный век.

Категория «характер» имеет очень большое значение для понимания феномена злокачественной агрессии. Страсть к разрушению и садизм обычно коренятся в структуре характера. Итак, у человека с садистскими наклонностями эта страсть и по объему, и по интенсивности становится доминирующей компонентой структуры личности. Она соответственно направляет и поведение человека, для которого единственным регулятором является самосохранение. У человека такого типа садистский инстинкт присутствует постоянно, он лишь ждет подходящей ситуации и подходящего оправдания, чтобы самому не

пострадать. Такая личность почти полностью соответствует гидравлической модели Конрада Лоренца (см. главу I) в том смысле, что характерологический садизм является постоянно действующим и накапливающимся фактором, который только ищет, где бы «прорваться»... Однако главное различие состоит в том, что источник садистских импульсов следует искать в характере, а не в филогенетической программе мозга. *Поэтому такая страсть свойственна не всем людям, а лишь тем, кто наделен вполне определенными чертами характера*. Позже мы приведем целый ряд примеров садистских и деструктивных личностей и покажем истоки и предпосылки для их возникновения.

Предпосылки для формирования страстей, обусловленных характером

Дискуссия по поводу жизненно важных потребностей человека показала, что они могут иметь различные способы реализации. Так, потребность в объекте почитания может быть удовлетворена в любви и дружбе, но другой формой ее проявления могут быть зависимость и мазохизм, поклонение идолам разрушения. Потребность в общении, единении и чувстве локтя может проявляться в страстной преданности делу дружбы и солидарности, в любви к товарищам, вступлении в тайный союз, братство единомышленников; однако та же самая потребность может получить реализацию в разгульной жизни, пьяных сборищах, потреблении наркотиков и других вариантах разрушения личности. Потребность в могуществе может проявить себя в любви и продуктивном труде, но она же может получить удовлетворение в садизме и деструктивности. Потребность в положительных эмоциях может вызвать к жизни творческое отношение человека к миру, искренний интерес к природе, искусству и другим людям. Однако тот же самый стимул может переродиться в вечную погоню за удовольствиями, в жажду праздных наслаждений.

Каковы же предпосылки для развития страстей, обусловленных характером?

Следует помнить, что когда мы говорим о страстях, то речь идет не об отдельных чертах (элементах), а о некотором синдроме. Любовь, солидарность, справедливость и рассудительность выступают в конкретных людях в разных сочетаниях и пропорциях. Все они являются проявлением одной и той же продуктивной направленности личности, которую я хотел бы назвать «жизнеутверждающим синдромом». Что касается садомазохизма, деструктивности, жадности, зависти и нарциссизма, то все они также имеют общие корни и связаны с одной принципиальной направленностью личности, имя которой «синдром ненависти к жизни». Там, где есть один из элементов синдрома, там найдутся почти всегда и остальные элементы (в разных пропорциях). Это не означает, что каждый человек является воплощением либо одного, либо другого синдрома. Такое бывает лишь в виде исключения. В действительности же среднестатистический человек являет собой смешение обоих синдромов. И только интенсивность каждого из них имеет решающее значение для реализации человека, его поведения и его способности к самоизменениям.

Нейрофизические предпосылки

Что касается нейропсихологической основы для развития страстей (того и другого типа), то надо исходить из того, что человек не являет собой готовое («законченное») существо. И дело не только в том, что мозг его при рождении еще недостаточно развит, а важно то, что он перманентно находится в состоянии неустойчивости, ему вечно недостает равновесия: инстинкты уже не работают (в той мере, как у животных), а разум еще недостаточно проницателен и нередко приводит к ошибкам. И таким образом, человек сам предстает перед нами как вечно изменяющееся существо, как процесс, которому нет конца.

В чем же роль его нейрофизиологического аппарата? Главная его часть – это мозг. Мозг человека превосходит мозг приматов не только размерами, но и качеством и структурой нейронов, что дает ему способность к познанию. А познавательные способности связаны с целеполаганием, которое в конечном счете определяет возможности роста физически и психически здорового индивида.

Итак, человеческое мышление может ставить себе цели, которые должны привести к

удовлетворению его разумных потребностей, и человек способен организовать свое общество так, чтобы оно помогало реализации поставленных целей. Но сам человек не является собою совершенное, законченное существо, он еще не готов, полон противоречий. Человека можно обозначить как существо, находя-

щееся в активном поиске оптимальных путей своего развития, причем поиск этот нередко терпит крушение из-за отсутствия благоприятных внешних условий.

Гипотеза о том, что человек пребывает в состоянии активного поиска путей самосовершенствования, подтверждается данными нейроисследований. Достаточно привести слова такого крупного специалиста, как Дж. Херрик:

способность человека к саморазвитию обеспечивается его разумом, который дает ему возможность самостоятельно определиться в рамках культуры и строить свою человеческую судьбу в соответствии с выбранной для себя моделью культуры. Эта способность является характерным признаком собственно человеческого рода, научным критерием человека от всех других живых существ.

У Ливингстона по данному вопросу есть ряд очень метких замечаний:

Сегодня точно известно, что между разными уровнями структурной организации нервной системы существуют связь и внутренняя зависимость. Каким-то совершенно таинственным образом возникает синхронное функционирование всех этих уровней, которое приводит к целесообразному поведению и достижению цели путем последовательного нанизывания цепочки промежуточных целей, которые по мере своей реализации устраняют с пути все преграды (противодействующие силы). Цели целостного организма всегда видны очень четко, и с точки зрения внутренней целостности все постоянно направлено на достижение этих целей (Курсив мой. – Э. Ф.).

О потребностях, выходящих за рамки только физиологии, Ливингстон пишет следующее:

На молекулярном уровне некоторые на определенные цели ориентированные системы можно идентифицировать, опознать с помощью физико-химических методов. Другие целенаправленные системы на уровне распределительных систем головного мозга можно опознать с помощью нейрофизиологических методов.

На обоих этих уровнях определенные участки (элементы, части) системы связаны с инстинктами, которые ищут удовлетворения и потому определяют наше поведение. Все эти структуры, связанные с целеполаганием по происхождению, локализованы в ткани протоплазмы. Многие из этих структур имеют узкую специфику и сосредоточиваются в особых неявных образованиях в рамках эндокринной системы. Организмы, находящиеся на более высокой ступени эволюции, имеют влечения, которые не ограничиваются биологическими потребностями (в безопасности, пропитании, сексе и продолжении рода)... Они обладают также возможностями для удовлетворения таких потребностей, которые связаны не только с адаптивным поведением (которое само по себе очень важно для успешного приспособления к изменчивым условиям окружающей среды); речь идет о возможности удовлетворения особых стремлений, связанных с энергиями особого рода и служащих достижению далеко идущих экстраординарных целей, выходящих за рамки простого выживания организма (Курсив мой. – Э. Ф.).

И далее Ливингстон пишет:

Головной мозг является продуктом эволюции, как и зубы и скелет. Однако к мозгу мы предъявляем большие требования и высокие ожидания ввиду его способности к конструктивной адаптации, проникновению в суть вещей. Нейрофизиологи, как и другие специалисты, вполне могли бы видеть одну из главных своих целей в том, чтобы помочь человеку осознать себя, достигнуть прозрения – понимания своих благородных устремлений, высоких помыслов и чувств. Ведь главной отличительной особенностью человека является его уникальный мозг, с его памятью и многими другими способностями: к восприятию и обучению, к общению и фантазированию, к самосознанию и творческой активности.

Ливингстон считает, что вера, взаимное доверие, сотрудничество и альтруизм

«вмонтированы» в структуру нервной системы и их источником является внутренняя потребность души^[226]. Внутренняя удовлетворенность ни в коем случае не ограничивается инстинктами, утверждает Ливингстон.

Внутреннее успокоение тесно связано с положительными эмоциями, прежде всего с чувством удовлетворенности, которое соответствует состоянию молодого и сильного, здорового организма"; это чувство возникает как на базе врожденных, так и благоприобретенных понятий о ценностях, оно может стать результатом радостных событий, приятного волнения от встречи с чем-то новым. Внутреннее успокоение возникает, когда ученый получает положительный результат в своем исследовании или когда просто человек находит ответ на интересующий его вопрос; еще одним важным источником удовлетворения является приобретение (или расширение) свободы – индивидуальной или коллективной. Значение внутренней удовлетворенности настолько велико, что она дает человеку силы для преодоления невероятных лишений, дает возможность выжить и сохранить веру в те идеалы и ценности, которые, быть может, стоят даже дороже самой жизни.

Позиция Ливингстона кардинально отличается от взглядов старых инстинктивистов. И он в этом не одинок. Его подход разделяют многие другие молодые исследователи (которых я еще буду цитировать), которые не задумываются над тем, какая зона мозга «производит», «несет ответственность» за такие высокие стремления личности, как честность, альтруизм, взаимное доверие и солидарность; они рассматривают мозг как целостную систему, которая с точки зрения эволюции служит делу выживания организма.

В этом аспекте интересна теория К. фон Монакова. Он предполагает существование биологической совести (Syneidesis), назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить организму максимальную способность к адаптации, чувство безопасности, радость и стремление к совершенствованию. Он утверждает, что состояние под названием Klisis (радость, счастье) достижимо лишь тогда, когда все функционирование организма направлено на его развитие, – а отсюда возникает желание к повторению (продолжению) данного поведения. В противоположность этому поведение, препятствующее оптимальному развитию организма, вызывает у субъекта состояние Ekklesis (горести, депрессии, упадка), и это вынуждает его воздерживаться от подобного поведения, чтобы избежать неприятных ощущений.

Ф. фон Фёрстер доказывает, что чувства любви и сопереживания являются имплицитными свойствами мозга. При этом он опирается на теорию восприятия и спрашивает, как возможно общение между двумя людьми, ведь предпосылкой языка является одинаковый (общий) опыт. Из того факта, что окружающий мир существует для человека не сам по себе, а лишь в его отношении к человеческому наблюдателю, Фёрстер делает вывод, что предпосылкой для общения является наличие у обоих субъектов «одинакового представления об окружающем мире», ведь они разделены только кожей. Но с точки зрения своей структуры оба субъекта идентичны. Если они уяснят это и извлекут из этого пользу, то тогда А будет знать то же, что знает А1, ибо А идентифицирует себя с А1 – и тогда наступает тождество между Я и Ты... Совершенно ясно, что самый крепкий союз возникает на базе идентификации – самым убедительным проявлением этого служит любовь^[227].

Однако все эти рассуждения оказываются беспомощными перед лицом того факта, что за 40 тысяч лет, прошедших с момента возникновения человека, ему не удалось заметным образом развить свои «высокие» стремления, в то время как черты жадности и деструктивности проступают в нем столь явно, что складывается впечатление, будто человечество охвачено этими недугами повсеместно. Почему же тогда врожденные биологические стремления не сохранились или не стали доминирующими?

Прежде чем обсуждать этот вопрос, попробуем его уточнить. Следует признаться, что

мы не располагаем достаточно точными знаниями о психике человека периода раннего неолита, однако у нас есть серьезные основания считать, что для первобытных людей, от охотников и собирателей и до первых земледельцев, – не характерны такие черты, как разрушительность и садизм. Действительно, все отрицательные черты, приписываемые обычно человеческой природе, на самом деле усиливались по мере развития цивилизации. Кроме того, нельзя забывать, что провозглашение «высоких целей и идеалов» с незапамятных времен было делом великих учителей человечества, которые выдвигали свои идеи в знак протеста против официальных принципов своей эпохи.

Новые идеи облекались в такую форму, чтобы как можно сильнее воздействовать на массы людей; это касается как религиозных, так и светских проповедников – каждый из них стремился словом зажечь сердца людей, заставить их отказаться от тех стереотипов, к которым общество приучало их с самого детства. И конечно, стремление человека к свободе было всегда одним из главных стимулов для социальных перемен, а идеалы чести, совести и солидарности не могли не находить отклика в самых разных социальных слоях и в самые разные исторические эпохи.

Но, несмотря на все эти рассуждения, факт остается фактом, что врожденный механизм высоких идеалов до сих пор еще «сильно отстает» в своем развитии, а мне и моим современникам не остается ничего другого, как с грустью констатировать этот факт.

Социальные условия

В чем же дело? Почему это так?

Единственный удовлетворительный ответ, по-моему, кроется в социальных условиях жизни человека. На протяжении тысячелетий эти условия довольно долго (большую часть истории) способствовали интеллектуальному и техническому развитию человека, однако полного развертывания тех задатков, на которые указывают вышеназванные авторы, не произошло.

Самый простой пример влияния внешних обстоятельств на личность – это прямое воздействие окружения на рост мозга. Сегодня, например, уже доказано, что развитие детского мозга сильно тормозится перекармливанием. И не только кормление, но и некоторые другие факторы (свобода движения, игра и т. д.) также существенно влияют на рост и развитие мозга. Это также доказано в результате экспериментов над животными. Исследователи разделили крыс на две группы, поместив одну группу в весьма просторное помещение, а другую – в слишком тесное. Первые животные свободно могли гулять по огромной клетке, играть с различными предметами, в то время как другие просто сидели взаперти, каждый в «одиночной» маленькой клеточке. Иными словами, у просторно живущих были более благоприятные условия, чем у запертых. Исследование показало, что серое вещество коры у «свободных» крыс оказалось плотнее, чем у «заключенных» (хотя по весу тела первых были легче, чем у вторых).

В аналогичном эксперименте Альтман получил «исторические доказательства расширения коры у животных, оказавшихся в особо благоприятных условиях обитания, и даже получил автордиографическое указание на усиленное размножение клеток мозга взрослых животных, живущих в таких условиях». Данные, полученные в Институте Альтмана, «указывают на то, что поведение зависит от многих переменных. Например, от ухода за крысами в ранний период их жизни, а также от развитости разных корковых зон (особенно от массы клеток в таких структурах, как малый мозг, неокортекс, Girus hippocampi и т. д.)».

Если перенести результаты этих исследований на человека, то уместно предположить, что усложнение строения коры больших полушарий зависит не только от такого внешнего фактора, как питание, но и от таких обстоятельств, как «тепло и нежность» при воспитании ребенка, от степени внимания и количества поощрений, от свободы передвижения и возможностей самовыражения в игре и других формах общения. Но развитие мозга не

прекращается ни когда кончается детство, ни когда наступает юность, ни даже при достижении зрелого возраста, а утверждает, что не существует такого момента, «после которого прекращалось бы развитие коры и исчезала способность мозга к самоорганизации или к восстановлению после тяжелой болезни или травмы». По всей видимости, такие факторы, как любовь, поощрение и одобрение со стороны окружающих, на протяжении всей жизни человека играют важную роль в формировании его нервной системы. Мы до сих пор слишком мало знаем о прямом влиянии среды на развитие мозга. К счастью, у нас гораздо больше данных о роли социальных факторов в формировании характера (хотя все аффекты, конечно, имеют свой источник в структурах и процессах, протекающих в мозгу).

Создается впечатление, что здесь мы имеем дело с главной концепцией общественных наук, согласно которой характер человека формируется обществом, в котором он живет, или в терминах бихевиоризма – определяется условиями воспитания. На самом деле между этими взглядами имеется одно существенное различие. Сторонники теории социальной среды в значительной степени стоят на релятивистских позициях; они утверждают, что человек – это чистый лист (*tabula rasa*), на котором культура пишет свои письма. Общество направляет его формирование в хорошую или дурную сторону, причем категории «хорошо» или «плохо» рассматриваются как этические или религиозные ценностные суждения^[228].

Выраженная здесь точка зрения исходит из того, что человек имеет имманентную цель, а его биологическое устройство (конституция) является источником нормальной жизни. У него есть возможность достигнуть полного роста и совершенного развития, если внешние условия будут благоприятствовать достижению этой цели. Это означает, что существуют какие-то особые внешние условия, которые способствуют оптимальному росту человека и (если наша гипотеза корректна) развитию у него синдрома жизнелюбия. С другой стороны, если нет таких условий, то человек превращается в ограниченное существо, отличающееся синдромом враждебного отношения к жизни. Воистину странно, что подобный взгляд называют «ненаучным» или «идеалистическим» те, кому и во сне не снилось усомниться в том, что существует определенная связь между конституцией человека, его здоровьем и нормальным физическим развитием.

Нет нужды вдаваться в детали этого вопроса. У нас есть достаточно много данных в области питания, которые свидетельствуют, что одни виды пищи способствуют росту и физическому здоровью организма, в то время как другие продукты и способы питания могут стать причиной дисфункций, болезней и преждевременной смерти. Хорошо известно также, что здоровье зависит не только от питания, но и от двигательного режима, стрессов, положительных эмоций и многих других факторов. В этом отношении человек мало отличается от любого другого живого организма. Каждый крестьянин или садовод знает, что для правильного роста растения семя нуждается в определенной температуре, влажности и качестве грунта. Без этих условий семя сгниет и погибнет на корню. Растение будет обречено на смерть. При оптимальных условиях фруктовое дерево достигает максимального размера и дает замечательные плоды. При менее благоприятных условиях плоды будут менее удачными, а могут и засохнуть.

И поэтому нас интересует следующий вопрос: что мы должны включить в окружающие условия, необходимые для полного развития всех человеческих возможностей?

Этому вопросу посвящены тысячи книг, существуют сотни различных ответов. Я сам, разумеется, не буду даже пытаться ответить на этот вопрос в контексте данной книги. Хочу тем не менее сделать несколько общих замечаний.

Опыт истории, так же как изучение отдельных индивидов, показывает, что способ производства, основанный на отсутствии эксплуатации, активном интересе индивидов к труду и к жизни, способствует всестороннему развитию человека, в то время как отсутствие таких условий тормозит плодотворное формирование личности.

Кроме того, постепенно все большее число людей понимает, что разные общественные

системы в разной мере способствуют развитию индивидов. Сегодня уже очевидно, что дело не в наличии или отсутствии каких-то отдельных обстоятельств, а в целой системе факторов. Это означает, что только такое общество дает возможность для полного самовыражения личности, в котором на каждой стадии индивидуального развития человек находит условия для приложения своих способностей и удовлетворения своих потребностей.

Нетрудно понять, почему социальные науки никогда не ставили в центр своего внимания вопрос об оптимальных условиях, необходимых для развертывания личности. К сожалению, за редким исключением, обществоведы выступают как апологеты, а не как критики существующей социальной системы. Это связано с тем, что (в отличие от точных наук) результаты социальных исследований почти не имеют значения для функционирования общественной системы. Даже напротив, ошибочные результаты и поверхностные выводы часто бывают гораздо желательнее (для реализации идеологических задач), чем правда, которая всегда является своего рода «динамитом», угрозой существующему status quo^[229]

Кроме того, задача адекватного исследования проблемы осложняется часто еще и тем, что существует предубеждение, что людям обязательно полезно то, на что направлены их желания. Мы очень часто упускаем из виду, что люди сплошь и рядом желают того, что несет им не пользу, а вред, и уже сами эти желания являются симптомом дисфункции (внушаемости, конформизма и т. п.). Например, сегодня каждый знает, что зависимость от пилюль – это дело дурное, хотя очень многие их принимают. Но поскольку вся наша экономика направлена на формирование ложных покупательских потребностей, которые стимулируют ажиотаж и приносят прибыль торгов-дам, то вряд ли можно ожидать, что кто-то будет заинтересован в объективном критическом анализе неразумных потребностей.

Однако нас это не остановит. Почему, спрашивается, большинство людей не прибегают к доводам своего рассудка, чтобы осознать свои истинные человеческие потребности? Только потому, что они прошли через систему «промывания мозгов» и превратились в бессловесных конформистов? Кроме того, мы должны спросить, почему, например, политические лидеры не видят, что система, которую они отстаивают, не способствует их собственному благу как человеческих существ? Философы Просвещения объясняли это жадностью и хитростью власть имущих; однако сегодня такое объяснение явно недостаточно, ибо оно не вскрывает суть проблемы.

Как показал Маркс в своей теории исторического развития, человека в его стремлении изменить и улучшить социальные обстоятельства постоянно сдерживают материальные факторы: географическое расположение, экология, климат, техника, культурные традиции и т. д.

Как мы видели, первобытные охотники, собиратели и земледельцы жили в сравнительно благополучной среде обитания, которая больше способствовала формированию у людей созидательных, нежели разрушительных, наклонностей. Однако по мере цивилизационного развития человек меняется, как меняется и его окружение. Он совершенствуется интеллектуально, делает успехи в области техники и технологии. Вместе с тем этот прогресс приводит, к сожалению, к развитию вредных для жизни черт характера. Мы говорили об этом, хоть и схематично, в связи с описанием общественного развития от первобытных охотников до «революции городов». Чтобы обеспечить себе свободное время для создания культурных ценностей: для занятий наукой, философией или искусствами, человек вынужден был держать рабов, вести войны и завоевывать чужие территории. Чтобы достигнуть высоких результатов в известных областях (особенно в интеллектуальной деятельности, науках и искусствах), он должен был создать такие условия, которые калечили его самого, ибо препятствовали его совершенствованию в других областях (прежде всего в эмоциональной сфере). А главной причиной этого был недостаточный уровень творческого потенциала, который мог бы обеспечить непротиворечивость цивилизованного прогресса,

сосуществование науки, техники, культуры, с одной стороны, и свободного развертывания творческих способностей каждого индивида – с другой. Но условия материальной жизни имеют свои законы, и для их изменения недостаточно одного лишь желания. Если бы Земля была подобна раю, то человек наверняка не был бы так скован условиями материального бытия, и ему бы, возможно, хватило разума обустроить этот мир себе во благо: чтобы все люди имели достаточно пищи и питья и при этом не утратили своей свободы. Но человек был изгнан из рая, и, согласно библейскому мифу, он не может туда вернуться. Он пострадал из-за своей собственной противоречивости, из-за конфликта между самим собой и природой. Мир не создан для человека, это человек в него «заброшен» и вынужден разумом своим и деятельностью строить свой человеческий мир, свою родину, в которой он будет счастлив, ибо сможет полностью реализовать себя.

Следует отметить, что сильные мира сего (даже самые скверные из них) в основном все же шли на поводу у истории (исторической необходимости). Злодейство и иррациональность личности приобретали масштабный характер и могли сыграть решающую роль лишь в такие периоды истории, когда внешние обстоятельства были благоприятны и должны были бы способствовать человеческому прогрессу, однако неодолимым препятствием на пути этого прогресса становилась коррупция (как в верхних, так и в нижних слоях социальной лестницы).

Тем не менее во все времена существовали пророки, которые ясно видели цели индивидуального и общественного развития человека. Их «утопии» были «утопичны» не в том смысле, что они были праздными мечтами; правда, они «нигде» не были реализованы, но «нигде» не означает «никогда». Тем самым я хочу сказать, что эти идеи были утопичны постольку, поскольку в тот момент нигде не по-лучили осуществления (да и не могли, вероятно, еще осуществиться), но при этом «утопическое» не означало, что они вообще неосуществимы во прошествии какого-то времени. Марксова концепция социализма нигде пока не воплотилась в жизнь (уж во всяком случае, не в «социалистических странах»). Сам Маркс, однако, не считал ее утопией, ибо верил, что в тот момент истории уже созрели необходимые материальные предпосылки для ее реализации^[230].

О рациональности и иррациональности инстинктов и страстей

Бытует представление, что инстинкты якобы иррациональны, ибо они «работают» вопреки логике. Так ли это? И можно ли разграничить обусловленные характером влечения (страсти) по критерию рациональности либо иррациональности?

Понятия «разум» и «рациональный» обычно имеют отношение к процессам мышления; под «рациональным» мышлением обычно подразумевается такой процесс, который подчиняется законам логики и неподвластен искажениям со стороны аффектов, эмоций или каких-либо патологических состояний субъекта. Однако слова «рациональный» и «иррациональный» нередко употребляются еще и по отношению к чувствам и поступкам. Так, например, экономист может назвать «нерациональным» ради экономии рабочих рук вводить в производство дорогостоящую технику в такой стране, в которой налицо избыток неквалифицированной рабочей силы (хотя и не хватает рабочих с высокой квалификацией). Или же он может назвать иррациональным ежегодный расход 180 млрд. долларов на вооружение (имеется в виду расход в мировом масштабе, в то время как 80% этой суммы приходится на великие державы); причем его рассуждение сводится к тому, что эти деньги идут на производство вещей, которые не имеют никакого применения в мирное время.

Психиатр называет иррациональным какой-либо симптом (например, беспричинный страх или бесконечная потребность мыть руки), ибо он считает его следствием нарушения психики, которое повлечет за собой дополнительные отклонения.

Я предлагаю называть рациональными любые мысли, чувства или действия, которые

способствуют адекватному функционированию и росту целостной системы (частью которой они являются), а все, что имеет тенденцию к ослаблению или разрушению целого, считать иррациональным. Совершенно очевидно, что только эмпирический анализ всей системы сможет показать, что в ней является рациональным, а что – нет^[231].

Если применить такое понятие рациональности к инстинктам (естественным влечениям), то неизбежно приходишь к выводу, что они вполне рациональны. С позиций дарвинизма функция инстинктов состоит именно в том, чтобы поддерживать жизнь на адекватном уровне и способствовать выживанию отдельного индивида и вида. Зверь ведет себя рационально именно потому, что он полностью руководствуется инстинктами. И человек поступал бы рационально, если бы его поведение преимущественно было детерминировано инстинктами. Поиск пищи, оборонительная агрессия (или бегство), сексуальные желания никогда не ведут к иррациональному поведению, если только они имеют естественные объекты заинтересованности (стимулы). *Причина иррациональности состоит не в том, что человек действует инстинктивно, а в том, что ему не хватает этой инстинктивности.*

А как обстоит дело с рациональностью тех страстей, которые обусловлены характером? С точки зрения нашего критерия рациональности мы должны уметь их разграничить. Страсти, поддерживающие жизнедеятельность организма, следует считать рациональными, ибо они способствуют росту и благополучию живой системы. А те страсти, которые «душат» все живое, следует считать иррациональными, ибо они мешают росту и здоровому функционированию организма. Здесь, однако, требуется еще одно уточнение. Человек становится деструктивным и жестоким оттого, что у него сложились неблагоприятные условия, недостаточные для дальнейшего роста. И при данных обстоятельствах ему, как говорится, иного не дано. Его страсти иррациональны в сравнении с нормальными возможностями человека, и в то же время с точки зрения особых обстоятельств жизни данного конкретного индивида в них есть какая-то своя рациональность. То же самое относится и к историческому процессу. «Мегамашины» античности были в этом смысле рациональными; даже фашизм и сталинизм не были лишены своей рациональности, если рассматривать их с точки зрения единственно возможного пути развития в конкретных исторических условиях. Этот аргумент как раз и приводят их апологеты; однако еще нужно доказать, что там действительно не было альтернативных исторических возможностей^[232].

Психологическая функция страстей

Чтобы выжить, человек должен получить удовлетворение своих физических потребностей, а его инстинкты заставляют его действовать в том направлении, которое требуется для выживания. Если бы его поведение определялось преимущественно инстинктами, то у него бы не было особых жизненных проблем и при условии достаточного количества пищи, он превращался бы просто в «довольную корову»^[233].

Однако удовлетворение одних лишь физиологических потребностей не делает человека счастливым и не гарантирует ему благополучное состояние. Его проблема не решается таким образом, что он может сперва удовлетворить свои физические (телесные) нужды, а затем (как некую роскошь) может допустить развитие страстей, свойственных его характеру; ведь эти страсти с самого его рождения присутствуют в его личности и часто властвуют над ним не меньше, чем его биологические инстинкты.

Если мы внимательнее рассмотрим индивидуальное и массовое поведение, то мы обнаружим, что сексуальные потребности и голод составляют сравнительно малую долю среди всех прочих мотивов поведения. Стержнем мотивационной сферы человека являются страсти – на рациональном и иррациональном уровне: потребность в любви^[234], нежности и

231

232

233

234

солидарности, в свободе и правде, в сохранении чести и совести. Человеком владеют такие страсти, как жажда власти, подчинения и разрушения; такие слабости, как нарциссизм, жадность, зависть и тщеславие. Эти страсти влекут его по жизни, становятся причиной волнений и тревог; они дают пищу не только для сновидений, но и являются источником, который питает все религии мира, все мифы и легенды, искусство и литературу, – короче, все, что придает жизни вкус и цвет, что делает ее интересной и значимой, ради чего стоит жить. Под давлением страстей одни люди рискуют жизнью, другие способны наложить на себя руки, если не могут достигнуть предмета своей страсти. (При этом уместно напомнить, что никто не совершает самоубийства из-за сексуального голода или по причине нехватки продуктов питания.) Характерно, что интенсивность страстей не зависит от характера мотива: и любовь, и ненависть могут быть источником одинаково сильных страданий.

В том, что это так, вряд ли можно усомниться. Гораздо труднее ответить на вопрос: почему это так? И все же напрашиваются кое-какие гипотезы.

Истинность моей первой гипотезы можно проверить только с помощью нейрофизиологии. Поскольку мозг постоянно нуждается в возбуждении (мы об этом уже говорили), не исключено, что эта потребность прямо обуславливает необходимость такого раздражения, которое вызывается страстями; ведь именно страсти обеспечивают наиболее продолжительное возбуждение.

Вторая гипотеза вторгается в область, которую мы в этой книге достаточно подробно обсудили, – я имею в виду уникальность человеческого опыта. Как уже говорилось, у человека есть самосознание; он сознает себя как личность, понимает беспомощность изолированного индивида, и этот факт, по всей видимости, заставляет его страдать, делает невозможным довольствоваться растительным образом жизни.

Это прекрасно понимали и использовали в своем творчестве представители самых разных культурных эпох: философы и драматурги, поэты и романисты. В самом деле, можно ли всерьез поверить в то, что стержнем Эдиповой трагедии является фрустрация, связанная с сексуальными желаниями Эдипа по отношению к своей матери? Можно ли вообразить, что Шекспир написал своего «Гамлета» ради того, чтобы показать, как вокруг главного героя развивается сексуально-фрустрационная коллизия? Но ведь именно эти идеи отстаивают классики психоанализа, а вместе с ними и другие современные редукционисты.

Инстинкты человеку необходимы, но это тривиальность; зато страсти, которые концентрируют его энергию на достижении желанной цели, можно отнести к сфере возвышенного «духовного», «святого». В систему тривиального входит «добыча продовольствия»; в сферу «духовного» входит то, что возвышает человека над чисто телесным существованием, – это сфера, в которую человек включен всей своей судьбой, когда жизнь его поставлена на карту; это сфера глубинных жизненных смыслов, потаенных стимулов, определяющих образ жизни и стиль поведения каждого человека^[235].

Пытаясь вырваться из оков тривиальности, человек ищет приключений, которые позволят ему перешагнуть границы простого бытия. И потому так манят и волнуют перспективы самовыражения в любой форме: будь то благодеяние, страшный грех, творческое созидание или разрушительный вандализм. Героем становится тот, у кого хватило мужества преступить грань «без страха и сомнения». Обывателя уже за то можно считать героем, что он пытается хоть как-то проявить себя и заслужить поощрение. Его толкает вперед потребность придать смысл собственной жизни и в меру своего понимания дать волю своим страстям (хоть и не выходя за рамки дозволенного).

Эта картина нуждается еще в одном дополнении. Индивид живет в обществе, которое снабжает его готовыми моделями мышления и поведения, эти стереотипы создают у человека иллюзию смысла жизни. Так, например, в нашем обществе считается, что если человек «сам зарабатывает себе на хлеб», кормит семью, является хорошим гражданином, потребителем товаров и развлечений, то его жизнь полна смысла. И хотя такие

представления в сознании большинства людей сидят очень крепко, они все же не имеют для них настоящего значения и не могут восполнить отсутствие внутреннего стержня. Внушенные стереотипы постепенно утрачивают свою силу и все чаще не срабатывают. Об этом свидетельствует рост наркомании, снижение уровня интересов, интеллектуальной и творческой активности населения, а также рост преступности, насилия и деструктивности.

XI. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АГРЕССИЯ: ЖЕСТОКОСТЬ И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ

Кажущаяся деструктивность

От деструктивности следует отличать некоторые известные с давних пор эмоциональные состояния, которые современному исследователю нередко кажутся доказательством прирожденной деструктивности человека. Серьезный анализ показывает, что они хотя и приводят к деструктивным действиям, но не обусловлены страстью к разрушению.

Примером такого эмоционального состояния может быть желание, обозначаемое как «жажда крови». Практически пролить кровь человека – означает убить его; поэтому выражения «убивать» и «проливать кровь» употребляются в литературе как синонимы. Возникает вопрос: может быть, в древности существовали какие-то ритуалы, связанные с проливанием крови, а не с жаждой убивать.

На глубинном, архаическом уровне переживания кровь ассоциируется с каким-то «особым соком». В общем виде понятие «кровь» приравнивается к понятиям «жизнь» и «жизненная сила». Кроме того, кровь издавна считается одной из трех основных субстанций живого тела, в то время как остальные две субстанции составляют молоко и семя. Семя – это выражение мужской силы, молоко – символ женственности, «материнства» и созидания. Во многих культах и ритуалах молоко и семя считались священными. В крови разница между мужским и женским началом стирается. В глубиннейших слоях переживания человек каким-то магическим образом захватывается самой жизненной силой, если он проливает кровь. Применение крови в религиозных целях хорошо известно. Священники храма в Иерусалиме, совершая богослужение, разбрызгивали кровь убитых животных. Жрецы ацтеков приносили в жертву богам еще трепещущие сердца своих жертв. Во многих ритуальных обрядах братские узы символически скреплялись кровью.

Поскольку кровь является «соком жизни», то нередко прилив жизненных сил напрямую связывают с выливанием чужой крови. На ритуальных оргиях в честь Вакха и богини Геры обязательным было поедание сырого мяса и выпивание крови. А на Крите во время праздников Дионисия было принято зубами рвать мясо туш только что заколотых и еще живых животных. Подобные ритуалы встречаются также в культе многих хтонических^[236] богов и богинь. Бурке утверждает, что арийцы, вторгшиеся в Индию, презирали аборигенов (Dasyu-Inder) за то, что те способны были есть сырое мясо людей и зверей. Это отвращение они выразили, назвав аборигенов «сыроедами»^[237].

О ритуальных кровополиях нам напоминают обычаи ныне живущих примитивных народов при определенных религиозных церемониях. Так, у индейцев хаматса на северо-западе Канады есть обычай, когда во время религиозной церемонии у человека откусывают кусочек мяса руки, ноги или груди^[238]. Поскольку кровь считается полезной для здоровья, то и сегодня встречаются разные формы «терапии», связанные с видом крови. В Болгарии, например, человеку, пережившему сильный страх, дают съесть трепещущее

236

237

238

сердце только что убитого голубя, – считается, что это поможет преодолеть страх. Даже в римском католицизме сохранился древний обычай называть церковное вино кровью Христа. И, конечно, было бы недопустимым упрощением связывать этот ритуал с деструктивными инстинктами и не видеть в нем жизнеутверждающего начала.

Современный человек связывает кровопролитие только с деструктивностью. С точки зрения «реализма» это так и есть. Но если взять не сам по себе акт кровопролития, а проследить его значение в глубинных пластах человеческой психики, то можно прийти к совершенно иным ассоциациям: пролив кровь (свою или чужую), человек соприкасается с энергией жизни.

На архаическом уровне этот акт сам по себе был уже достаточно сильным переживанием, а когда кровь проливалась к тому же во имя богов, то это было актом величайшего поклонения. И здесь вовсе не обязательно должен был присутствовать разрушительный мотив. Сходные соображения, возможно, имеют отношение и к людоедству.

У представителей теории врожденной деструктивности каннибализм фигурирует нередко чуть ли не как основной аргумент. Они указывают на то, что в пещере Чжоукоудянь находили черепа, из которых мозг был изъят через основание черепа. Предполагали, что это делалось ради поедания мозгов, которое якобы было присуще людоедам. Такая возможность, конечно, не исключена, но она скорее соответствует мировоззрению современного потребителя. Гораздо убедительнее выглядит объяснение, согласно которому мозг использовался в ритуально-магических целях. Такую точку зрения высказал А. Бланк, который установил большое сходство между черепом синантропа и человека, найденного в Монте-Чирчео спустя почти полмиллиона лет. Если эта интерпретация верна, то и в отношении ритуального каннибализма и ритуального кровопролития можно сделать аналогичное предположение.

Ясно, что у «примитивных» племен нового времени (в последние два-три столетия) был широко распространен каннибализм вовсе не ритуального свойства. Но все, что мы знаем о доисторических охотниках, а также о характере еще и ныне живущих примитивных охотников, говорит о том, что они не были убийцами и потому маловероятно, чтобы они были каннибалами. Л. Мэмфорд по этому поводу ясно формулирует свою мысль: «Так как примитивный человек не был способен к таким проявлениям жестокости, как пытки и массовое уничтожение людей, то вряд ли мы имеем право обвинять его в убийстве собрата ради собственного пропитания». Таким образом, я только хотел предостеречь читателя от того, чтобы любое разрушительное поведение слишком поспешно объявлять следствием врожденной деструктивности, вместо того чтобы выяснить для себя, как часто за таким поведением стоят религиозные и другие вовсе не разрушительные мотивы. Ибо в противном случае стирается грань между ритуальным кровопролитием и настоящей жестокостью и не получает должной оценки подлинная деструктивность, к анализу которой мы сейчас переходим.

Спонтанные формы

Деструктивность^[239] встречается в двух различных формах: спонтанной и связанной со структурой личности. Под первой формой подразумевается проявление дремлющих (необязательно вытесняемых) деструктивных импульсов, которые активизируются при чрезвычайных обстоятельствах, в отличие от деструктивных черт характера, которые не исчезают и не возникают, а присущи конкретному индивиду в скрытой или явной форме всегда.

Исторический обзор

Богатейшие и ужасающие документы относительно спонтанных форм деструктивности нам дают летописи цивилизованных народов. История войн является хроникой безжалостных убийств и пыток, жертвами которых становились и мужчины, и женщины, и дети. Часто возникает впечатление какой-то вакханалии – когда разрушительную лавину не в силах удержать никакие моральные или рациональные соображения. Убийство было еще самым мягким проявлением деструктивности. Оно не считалось жестокостью и не утоляло «жажду крови»; мужчин кастрировали, женщинам вспарывали животы, пленных сажали на кол, распинали или бросали на растерзание львам. Трудно даже перечислить все виды жестокости, изобретенные человеческой фантазией. Мы сами были свидетелями, как во время разделения Индии сотни тысяч индусов и мусульман в бешенстве убивали друг друга, а в Индонезии в ходе проведения антикоммунистической «чистки» в 1965 г. были истреблены от 400 тысяч до миллиона действительных или мнимых коммунистов вместе со многими китайцами. Далее мне придется описывать такие примеры человеческой жестокости, которые всем хорошо известны и которые обычно упоминаются всеми теми, кто хочет доказать, что деструктивность является врожденной.

Причины деструктивности будут рассмотрены позднее при описании садизма и некрофилии. Здесь же я только приведу примеры деструктивности, не связанной со структурой характера. Хотя эти спонтанные взрывы разрушительности тоже не проявляются безо всякой причины. Во-первых, всегда имеются внешние обстоятельства, стимулирующие их, как, например, войны, религиозные или политические конфликты, нужда и чувство обездоленности. Во-вторых, есть также субъективные причины – высокая степень группового нарциссизма на национальной или религиозной почве (например, в Индии) или склонность к состояниям транса (как в определенных районах Индонезии) и т. д. Спонтанные проявления агрессивности обусловлены не человеческой природой, а тем деструктивным потенциалом, который произрастает в определенных постоянно действующих условиях. Однако в результате внезапных травмирующих обстоятельств этот потенциал мобилизуется и дает резкую вспышку. По-видимому, без провоцирующих факторов деструктивная энергия народов дремлет. Поэтому в данном случае вряд ли можно говорить о постоянном лоточнике энергии, который наблюдается в деструктивном характере.

Деструктивность отмщения

Агрессивность из мести – это ответная реакция индивида на несправедливость, которая принесла страдания ему или кому-либо из членов его группы. Такая реакция отличается от обычной оборонительной агрессии в двух аспектах. Во-первых, она возникает уже после того, как причинен вред, и потому о защите от грозящей опасности уже говорить поздно. Во-вторых, она отличается значительно большей жестокостью и часто связана с половыми извращениями. Не случайно в языке бытует выражение «жажда мести». Вряд ли нужно объяснять, насколько широка сфера распространения мести (как у отдельных лиц, так и у групп). Известно, что институт кровной мести существует практически во всех уголках земного шара: в Восточной и Северо-Восточной Африке, в Верхнем Конго, в Западной Африке, у многих племен Северо-Восточной Индии, в Бенгалии, Новой Гвинее, Полинезии и (до недавнего времени) на Корсике. Кровная месть является священным долгом: за убийство любого представителя семьи, племени или клана должен понести кару тот клан, к которому принадлежал убийца. Институт кровной мести делает кровопролитие бесконечным. Ведь наказанием за преступление становится тоже убийство, которое в свою очередь ведет к новому витку мести, и так без конца. Теоретически кровная месть является бесконечной цепью, и она действительно приводит нередко к истреблению целых семей или больших групп. Кровная месть в порядке исключения встречается даже среди очень миролюбивых народов, например у гренландцев, которые не знают, что такое война, но знают кровную

месть и не испытывают по этому поводу каких-либо страданий.

Не только кровная месть, но и все формы наказания – от самых примитивных до самых совершенных – являются выражением мести. Классической иллюстрацией этого служит *lex talionis* (закон возмездия: око за око, зуб за зуб) Ветхого завета. Угрозу наказывать детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения следует рассматривать как выражение мести Бога, заповеди которого были нарушены, хотя одновременно мы видим попытку смягчить эту угрозу в форме обещания творить «милость до тысяч родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Ту же самую мысль мы встречаем у многих других народов – например, у якутов есть закон, который гласит: «Если пролилась кровь человека, она требует искупления». У якутов потомки убитого мстят потомкам убийцы до девятого колена.

Нельзя не согласиться, что кровная месть и закон о наказании выполняют определенную социальную роль в обеспечении стабильности общества. Если эта функция отсутствует, то жажда мести находит иное выражение. Так, проиграв войну 1914-1918 гг., немцы были охвачены желанием мести и хотели во что бы то ни стало отплатить за несправедливые условия Версальского договора... Известно, что даже ложная информация о злодеяниях может вызывать сильнейшую ярость и жажду мести. Так, Гитлер, прежде чем напасть на Чехословакию, приказал распространять слухи о жестоком отношении к немецкому меньшинству на территории Чехословакии. Массовое кровопролитие в Индонезии в 1965 г. началось после сообщения о зверском убийстве нескольких генералов, которые были противниками Сукарно.

Одним из наиболее ярких проявлений мстительной памяти поколений является бытующая уже две тысячи лет ненависть к евреям, которые якобы распяли Христа. Репутация «хриstopродавцев» стала одной из главных причин воинствующего антисемитизма.

Почему мстительность является такой глубоко укоренившейся и интенсивной страстью? Попробуем поразмышлять. Может быть, в мести в какой-то мере замешаны элементы магического или ритуального характера? Если уничтожают того, кто совершил злодеяние, то этот поступок как бы оказывается вытеснен магическим способом в результате расплаты. Это и сегодня еще находит свой отзвук в языке: «Преступник поплатился за свою вину». По крайней мере теоретически после отбытия наказания преступник равен тому, кто никогда не совершал преступления. Месть можно считать магическим исправлением зла. Но даже если это так, то возникает вопрос, почему так сильно это стремление к искуплению, к благу, к добру? Может быть, у человека есть элементарное чувство справедливости, исконное ощущение экзистенциального равенства всех людей? Ведь каждого из нас в муках родила мать, каждый когда-то был беспомощным ребенком, и все мы смертны^[240]. И хотя человек порой не может противиться злу и страдает, но в своей жажде мести он пытается вытеснить это зло, избавиться от него, забыть, что ему когда-то был причинен вред. (По-видимому, такого же рода корни имеет и зависть. Каин не мог перенести, что он был отвергнут, в то время как его брат был принят. Все произошло само собой, он был не в состоянии что-либо изменить. И эта несправедливость вызвала в нем такую зависть, что он не нашел другого способа расплаты, как убийство Авеля.) Однако для мести должны существовать еще и другие причины. По всей видимости, человек тогда берется вершить правосудие, когда он теряет веру... В своей жажде мести он больше не нуждается в авторитетах, он «высший судия», и, совершая акт мести, он сам себя чувствует и ангелом, и Богом... это его звездный час.

Можно найти еще целый ряд причин. Например, рассмотреть ряд жестокостей с нанесением телесных повреждений. Разве кастрация (или просто пытки) не противоречит элементарным общечеловеческим требованиям совести? Разве совесть не препятствует совершению бесчеловечных поступков под влиянием чувства мести? А может быть, здесь проявляется механизм защиты от собственной деструктивности: лучше совершить месть

чужими руками и сказать: вот тот (другой человек, палач) способен на жестокость, а я – нет.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо дальнейшее исследование феномена мести.

Высказанные выше соображения, по-видимому, опираются на представление о том, что жажда мести как глубинное чувство личности присуща всем людям. Однако факты не подтверждают это предположение. Несмотря на то что потребность в мести довольно широко распространена, ее проявления существенно отличаются по характеру и интенсивности в разных культурах^[241], а уж тем более у отдельных индивидов. Эти различия обусловлены целым рядом факторов и причин. Одним из таких факторов является отношение к собственности – к проблеме богатства и бедности. Так, например, человек (или группа), не располагающий огромным богатством, но все же достаточно обеспеченный, чтобы не скупиться и не думать с тревогой о завтрашнем дне, способен радоваться жизни и не «делать трагедию» из временной неудачи, принесшей некоторый материальный ущерб. В то время как настоящий богач с недоверчивым характером скупца и накопителя воспринимает всякую утрату как непоправимую трагедию.

Мне кажется, что жажда мести поддается вполне определенному шкалированию. При этом на одном конце шкалы находятся люди, совершенно лишённые мстительных чувств: это те, кто достиг в своем развитии уровня, соответствующего христианскому и буддистскому идеалу человека. Зато на другом конце этой шкалы располагаются люди с робким накопительским характером, нарциссы высшего ранга, у которых даже малейший ущерб своей персоне вызывает бурю мстительных эмоций (настоящую жажду мести). Этому типу примерно соответствует человек, требующий, чтобы жулик, который украл у него пару долларов, был сурово наказан. Это также профессор, который, помня обидное высказывание студента в свой адрес, откажется рекомендовать его при устройстве на работу или даст плохую рекомендацию. Это покупатель, жалующийся директору магазина на плохое обслуживание и требующий обязательно, чтобы продавец был уволен. Во всех этих случаях мы имеем дело с жаждой мести как устойчивой чертой характера.

Экстатическая деструктивность

Если человек страдает сознанием одиночества, беспомощности и тоски, он может попытаться преодолеть свое экзистенциальное бремя путем перехода в состояние экстатического транса, где он (как бы «вне себя») приходит к единению с самим собой и с природой. Для этого есть много возможностей. Одна из них дана человеку природой в форме сексуального акта. Это кратковременный экстаз, который можно назвать естественным прототипом полноценной концентрации... При этом сексуальный партнер может быть подключен к сопереживанию, а может, и нет: очень часто для обоих партнеров это остается актом самолюбования, хотя при этом каждый, возможно, и благодарен партнеру за вызванные чувства и за совместное действие (которое нередко оба называют любовью).

Мы уже упоминали о других, более устойчивых и интенсивных способах получения экстаза. Мы встречаемся с ними в религиозных культах (например, в экстатических танцах), при употреблении наркотиков, в сексуальных оргиях или в состоянии транса... Прекрасным примером такого состояния являются принятые на Бали церемонии, ведущие к трансу. Они особенно интересны при изучении феномена агрессивности, так как в одном из таких церемониальных танцев^[242] используется малайский кинжал (которым танцоры наносят резаные раны себе или друг другу).

Существуют также другие формы экстаза, при которых ненависть и агрессивность оказываются в центре внимания. Возьмем, к примеру, обряд инициации, известный

241

242

германским народам. Фридрих Клюге в своем этимологическом словаре пишет: «В древнегерманском языке слово „berserkr“ (от beri – Bar – „медведь“ и serkr – „одеяние“) означает воина, одетого в медвежью шкуру».

Существуют также другие формы экстаза, при которых ненависть и агрессивность оказываются в центре внимания. Возьмем, к примеру, обряд инициации, известный германским народам. Фридрих Клюге в своем этимологическом словаре пишет: «В древнегерманском языке слово „berserkr“ (от beri – Bar – „медведь“ и serkr – „одеяние“) означает воина, одетого в медвежью шкуру».

Речь идет об обряде посвящения. Юноша подвергается ритуальному испытанию, в ходе которого он идентифицирует себя с медведем. Посвященный таким образом обычно становится агрессивным. Он рычит, как медведь, и пытается кого-нибудь укусить. Достигнуть состояния такого транса – дело нелегкое, а выдержать его с честью означает положить начало мужской зрелости и независимости. В словах «*furore teutonico*» («гнев тевтонца») находит отражение священный и магический характер этого состояния буйства. Многие признаки этого ритуала весьма примечательны. Вначале речь идет о ярости как самоцели; такая ярость не направлена на врага и не является следствием специальной провокации: оскорбления, ущерб и т. д. Главной целью является достижение состояния, близкого к трансу, при котором человек преисполнен всепоглощающим чувством ярости. Не исключено, что такое состояние обеспечивалось специальными средствами типа наркотиков. Для достижения такого чувства экстаза необходима абсолютная сила ярости. Далее речь идет о состояниях, основанных на традиционном коллективном чувстве. Они связаны с механизмами заражения, группового коллективного действия, массового психоза и т. д. В самой последней фазе это уже попытка возврата в животное состояние (в данном случае – медведя), когда посвященный ведет себя как хищник. И все же здесь речь идет о временном, а не о хроническом состоянии ярости.

Другой ритуал, при котором также наблюдается запредельное состояние буйства и деструктивности, до настоящего времени сохранился в маленьком испанском городе^[243]. Там ежегодно в определенный день на главной площади собираются мужчины, каждый с большим или маленьким барабаном. Ровно в полночь они начинают бить в барабаны, и этот бой продолжается 24 часа. Немного времени требуется, чтобы участники этого грохота впали в состояние, близкое к буйному безумию. Через 24 часа ритуал окончен. На многих барабанах кожа разорвана в клочья, у барабанщиков распухли и кровоточат ладони. Но самое примечательное – лица участников. Это неменяемые мужские лица, которые не выражают ничего, кроме дикой ярости^[244]. Нет сомнения, что барабанный бой вызывает мощный разрушительный импульс, который, усиливаясь, достигает эффекта резонанса. Если вначале ритм просто помогает войти в состояние транса, то в конце ритуала коллективный экстаз охватывает каждого настолько, что люди не чувствуют ни боли в руках, ни физической усталости, а, охваченные одной всепоглощающей страстью, в полном самозабвении барабанят беспрерывно 24 часа.

Поклонение деструктивности

С деструктивностью экстаза можно в какой-то мере сравнить поведение человека, живущего в состоянии хронической ненависти. Это совсем не то, что мгновенная вспышка гнева, это концентрация отрицательной энергии и колоссальная целеустремленность личности, все силы которой направлены на то, чтобы разрушать. Здесь перманентное служение идеалу разрушения, принесение своей жизни в жертву кумиру.

Эрнст фон Саломон и его герой Керн. Клинический случай поклонения идолу

243

244

разрушения

Блистательно иллюстрирует этот феномен автобиографический роман Эрнста фон Саломона, который в 1922 г. принимал участие в убийстве талантливого человека, либерально настроенного германского министра иностранных дел Вальтера Ратенау. Фон Саломон родился в 1902 г. Когда в 1918 г. в Германии разразилась революция, он был юнкером. Он ненавидел и революционеров, и в не меньшей мере представителей средней буржуазии, которые, по его мнению, были достаточно обеспечены в жизни, чтобы жертвовать собою ради нации. (Иногда он симпатизировал радикальному крылу левых революционеров, так как и они хотели разрушить существующий порядок.)

Фон Саломон подружился с фанатически настроенной группой бывших офицеров-единомышленников; к ним относился и Керн, который позднее убил Ратенау. Фон Саломона затем арестовали и приговорили к пяти годам тюрьмы^[245].

Фон Саломона, как и его героя Керна, можно рассматривать в качестве прототипа нациста, однако, в отличие от нацистов, он и его группа были свободны от оппортунизма.

В своем автобиографическом романе фон Саломон говорит сам о себе: «С ранних пор я получал от разрушения особое наслаждение. Мне нравилось наблюдать, как у человека от ежедневных страданий постепенно уменьшался запас его прежних представлений и ценностей, как разлетались в прах его идеалистические желания, мечты и надежды, как он превращался в кусок мяса, сплошной комок нервов, обнаженных и вибрирующих, словно туго натянутые струны в прозрачном воздухе».

Как явствует из этого описания, Саломон не всегда поклонялся идолу разрушения. Вероятно, на него оказали влияние его друзья, особенно Керн, который произвел на него огромное впечатление своим фанатизмом. Одна беседа между фон Саломоном и Керном очень характерна: она показывает Керна как олицетворение абсолютной деструктивности. Фон Саломон начинает разговор со слов: «Я хочу большего. Не хочу быть жертвой. Я хочу видеть империю поверженной в прах, за это я сражаюсь. Я хочу власти. Хочу испытать всю сладость жизни, все радости этого мира. Это моя цель – и она стоит средств».

Керн горячо ему отвечает: «...хватит сомнений! Скажи мне, разве существует большее счастье, чем в нас самих, когда у нас есть власть и сила и право сильного, которое пьянит нас и наполняет нашу жизнь».

Через несколько страниц Керн говорит: «Я бы не вынес, если бы расколотое на куски, поверженное отечество снова возродилось в нечто великое... Нам не нужно „счастье народа“. Мы боремся, чтобы заставить его смириться со своей судьбой. Но если этот человек (Ратенау) еще раз подарил бы народу веру, если бы он снова вселил в их души ту веру и ту волю к победе, которая вела их на войну и которая трижды была разбита в той войне, если бы она воскресла, я бы этого не перенес».

На вопрос о том, как он, кайзеровский офицер, смог пережить день революции, он отвечает: "Я не пережил его. Я, как приказывала мне честь, пустил себе пулю в лоб 9 ноября 1918 г. Я мертв, то, что осталось во мне живого, это – не я. Я не знаю больше своего «Я» с этого дня... Я умер за нацию, и все во мне живет только ради нации. А иначе как бы я мог вынести все, что происходит? Я делаю то, что должен. Поскольку я должен был умереть, я умираю каждый день. Все, что я делаю, есть результат одной-единственной мощной воли: я служу ей, я предан ей весь без остатка. *Эта воля хочет уничтожения, и я уничтожаю...* а если эта воля меня покинет, я упаду и буду растоптан, я знаю это" (Курсив мой. – Э. Ф.).

Мы видим в рассуждениях Керна ярко выраженный мазохизм, который делает его послушным орудием высшей власти. Но самое интересное в этой связи – всепоглощающая сила ненависти и жажда разрушения, этим идолам он служит не на жизнь, а на смерть.

Трудно сказать, что более всего повлияло на Саломона – самоубийство Керна, которое тот совершил, чтобы избежать ареста, или крушение его политических идеалов, – но

складывается впечатление, что стремление к власти и радости жизни у Саломона уступило место абсолютной ненависти. В тюрьме он чувствовал себя настолько одиноко, что ему было невыносимо, когда директор пытался приблизить его к себе «человеческим обращением». Он не выносил вопросов своих сотоварищей: "Я спрятался в свою капсулу... кругом были враги... я ненавижу чиновника, открывшего дверь, тюремщика, который приносит баланду, собак, лаявших под окном. *Я боялся радости*" (Курсив мой. – Э. Ф.). Дальше он описывает, как его раздражало цветущее во дворе миндальное дерево. Он сообщает о своей реакции на третье рождество в тюрьме, когда директор попытался сделать для заключенных какой-то праздник, чтобы помочь им забыть:

Но я не хочу ничего забывать. Будь я проклят, если я все забуду. Я хочу помнить каждый день и час. Память мне дает силы ненавидеть. Я не хочу забывать обиды, ни одного косоного взгляда... или высокомерного жеста... Я хочу помнить каждую подлость, каждое слово, которое меня когда-либо ранило. Я хочу оставить в памяти и каждое лицо, и каждое впечатление, и каждое имя. *Я хочу навсегда сохранить этот омерзительный опыт жизни со всей его грязью. Единственное, что я хочу забыть, так это те крохи добра, которые встретились на моем пути* (Курсив мой. – Э. Ф.).

В определенном смысле можно было бы говорить о Саломоне, Керне и их небольшом круге как о революционерах. Они стремились к тотальному разрушению существующей социальной и политической системы и хотели заменить ее националистическим, милитаристским порядком, о котором вряд ли у них было конкретное представление. Но революционера характеризует не только желание свергнуть старый порядок. Если внутри его мотивации нет любви к жизни и свободе, то это не революционер, а просто деструктивный мятежник. (Это относится ко всем, кто, участвуя в настоящем революционном движении, движим только страстью к разрушению.) И когда мы анализируем психическую реальность таких людей, то убеждаемся, что они были разрушителями, а не революционерами. Они не только ненавидели своих врагов, они ненавидели саму жизнь. Это видно и в заявлении Керна, и в рассказе Саломона о его ощущениях в тюрьме, о реакции на людей и на саму природу. Он был совершенно неспособен к положительной реакции на какое-либо живое существо.

Исключительность, неординарность его реакций тотчас бросается в глаза, когда вспоминаешь поведение настоящих революционеров в их частной жизни и, особенно, в тюрьме. Невольно вспоминаются знаменитые письма Розы Люксембург из тюрьмы, когда она с поэтической нежностью описывает птицу, которую могла наблюдать из своей камеры. Письма, в которых нет и следа горечи. Да не обязательно приводить пример такой незаурядной личности, как Роза Люксембург. В тюрьмах разных стран были и есть тысячи и сотни тысяч революционеров, в которых нисколько и никогда не ослабевала любовь ко всему живому...

Чтобы понять, почему люди типа Керна и фон Саломона искали свое выражение в ненависти и разрушении, нужно немного больше узнать об их жизни. К сожалению, мы не располагаем данными и должны довольствоваться тем, что знаем хотя бы одну предпосылку для произрастания ненависти. Все их нравственные и социальные ценности рухнули. Их представления о национальной гордости, их феодальные представления о чести и послушании – все это потеряло свой смысл, когда пала монархия. (Хотя на самом деле не военное поражение союзников разрушило их полуфеодальный мир, а победоносное шествие капитализма внутри Германии...) Их офицерские звания и ценности потеряли свой смысл (кто знал, что их профессиональные акции так скоро снова пойдут в гору, всего лишь спустя 14 лет). Утрата смысла жизни, социальных корней достаточно хорошо объясняет жажду мести и культивирование в себе ненависти. Однако мы не знаем, в какой мере эта деструктивность одновременно соответствовала структуре личности, сложившейся задолго до первой мировой войны. Это, вероятно, относится прежде всего к Керну, в то время как позиция Саломона была менее определенной и сформировалась под сильным влиянием Керна. Очевидно, Керн – это действительно представитель некрофильского типа личности,

который мы подробно будем рассматривать позднее. Я коснулся его уже здесь, поскольку он ярко иллюстрирует поклонение идолу ненависти. Дополнительный анализ этого и многих других случаев деструктивности, особенно в группах, дает массу интересных данных. Возьмем эффект стимулирования «агрессивного поведения». Например, реакция на угрозу может сначала носить форму оборонительной агрессии, но, проявив один раз агрессивность, человек как бы освобождается от обычных запретов и преград, а это облегчает переход к другим формам агрессивности, в том числе и к жестокости... А дальше все может пойти по типу цепной реакции, при которой в какой-то миг деструктивность достигает «критической массы», и тогда у человека или у целой группы наступает состояние разрушительного экстаза.

Деструктивный характер: садизм

Феномен спонтанных, преходящих проявлений деструктивности имеет так много аспектов, что для его изучения необходимы многочисленные исследования. С другой стороны, мы располагаем достаточно богатыми и ценными данными о деструктивности в ее характерных формах. Это неудивительно, если вспомнить, что они получены путем психоаналитических наблюдений за отдельными лицами, а также из многочисленных наблюдений повседневной жизни на протяжении многих десятков лет.

Нам известны две распространенные точки зрения на сущность садизма. Первая нашла выражение в понятии алголагнии (от *algos* – «боль» и *lagneia* – «желание»). Автором ее считается Шренк-Нотцинг (начало XX в.). Он делит алголагнию на два типа: активную (садизм) и пассивную (мазохизм). По этой классификации сущность садизма заключается в желании причинить боль, вне зависимости от наличия или отсутствия сексуальных мотивов^[246].

Другой подход усматривает в садизме прежде всего сексуальный феномен во фрейдистском смысле, первородное влечение либидо (как Фрейд его понимал еще на первой стадии своего научного развития). Согласно этому взгляду, даже те садистские желания, которые внешне не связаны с сексуальностью, все равно имеют сексуальную мотивацию, только на бессознательном уровне. Немало усилий пришлось затратить остроумным аналитикам, чтобы доказать, что либидо – движущая сила жестокости даже тогда, когда невооруженным глазом никакой сексуальной мотивацией обнаружить невозможно.

Я не собираюсь оспаривать, что сексуальный садизм (вместе с мазохизмом) представляет собой одну из наиболее распространенных форм сексуальной перверсии. У мужчин, страдающих таким извращением, он является условием получения удовлетворения. Это извращение имеет несколько вариантов – от желания причинить женщине физическую боль (например, избиение) до желания унижить (связать или любым другим способом заставить подчиняться). Иногда садист нуждается в том, чтобы причинить партнеру сильную боль, а иногда ему достаточно минимальной ее степени, чтобы уже получить удовольствие. Нередко садисту хватает одной фантазии для достижения сексуального возбуждения... Известно немало случаев, когда мужчина нормально общается со своей женой и той даже в голову не приходит, что для получения сексуального удовольствия муженек прибегает к помощи своей садистской фантазии. При сексуальном мазохизме ситуация диаметрально противоположная. Возбуждение достигается ценой собственных страданий: боли, избиения, насилия и т. д. Садизм и мазохизм как сексуальные извращения встречаются часто. По всей видимости, у мужчин чаще, чем у женщин, проявляется садизм (по крайней мере, в нашей культуре). В отношении мазохизма мы не располагаем надежными данными.

Прежде чем перейти к обсуждению проблемы садизма, мне кажутся уместными

некоторые замечания, связанные с понятием «извращение».

Некоторые политические радикалы (как, например, Герберт Маркузе) взяли моду преподносить садизм как одну из форм выражения сексуальной свободы человека. Работы маркиза де Сада заново перепечатываются радикальными политическими журналами как иллюстрации к этой «свободе». То есть признается утверждение де Сада о том, что садизм – это одно из возможных выражений человеческих страстей и что свободный человек должен иметь право на удовлетворение всех своих желаний, включая садистские и мазохистские... коль скоро это доставляет ему удовольствие.

Это довольно сложная проблема. Если считать извращением любую сексуальную практику, которая не ведет к производству детей, т. е. секс ради секса, то, разумеется, очень многие встанут горой (и по праву) и будут защищать эти «извращения». Но ведь такое довольно старомодное определение извращения отнюдь не является единственным определением.

Сексуальное желание даже тогда, когда оно не сопровождается любовью, в любом случае является выражением жизни, обоюдной радости и самоотдачи.

В отличие от этого, сексуальные действия, характеризующиеся тем, что один человек стремится унижить партнера, заставить его страдать, – и есть извращение, и не потому, что эти действия не служат воспроизводству, а потому, что вместо импульса жизни они несут импульс удушения жизни.

Если сравнить садизм с той формой сексуального поведения, которую часто называют извращением (а именно с различными видами орально-генитального контакта), то разница видна невооруженным глазом. Сексуальная близость так же мало похожа на извращение, как и поцелуй, ибо ни то, ни другое не имеет цели обидеть или унижить партнера.

Утверждение о том, что удовлетворение своих желаний есть естественное право человека, с точки зрения дофрейдовского рационализма вполне понятно. Согласно этому рационалистическому подходу человек желает только то, что ему полезно, и потому желание есть наилучший ориентир правильного поведения. Но после Фрейда такая аргументация выглядит достаточно устаревшей. Сегодня мы знаем, что многие страсти человека только потому и неразумны, что они ему (а то и другим) несут не пользу, а вред и мешают нормальному развитию. Тот, кто руководствуется разрушительными влечениями, вряд ли может оправдать себя тем, что он имеет право крушить все вокруг, ибо это соответствует его желаниям и доставляет наслаждение. Странники садистских извращений могут на это ответить, что они вовсе не выступают в защиту жестокости и убийств; что садизм – только один из способов сексуального поведения, что этот способ не лучше и не хуже других, ибо «о вкусах не спорят»... Но при этом упускается из виду один важнейший момент: человек, который, совершая садистские действия, достигает сексуального возбуждения, обязательно является носителем садистского характера, т. е. это настоящий садист, человек, одержимый страстью властвовать, мучить и унижать других людей. Сила его садистских импульсов проявляется как в его сексуальности, так и в других несексуальных влечениях. Жажда власти, жадность или нарциссизм – все эти страсти определенным образом проявляются в сексуальном поведении. И в самом деле, нет такой сферы деятельности, в которой характер человека проявлялся бы точнее, чем в половом акте: именно потому, что здесь менее всего можно говорить о «заученном» поведении, о стереотипе или подражании. Любовь человека, его нежность, садизм или мазохизм, жадность, нарциссизм или фобия – словом, любая черта его характера находит отражение в сексуальном поведении.

Кое-кто утверждает, что садистские извращения даже полезны для «здоровья», так как они обеспечивают безобидный выпускной клапан для тех садистских тенденций, которые присущи всем людям. Ну что же, подобные рассуждения вполне логично было бы завершить таким выводом, что надзиратели в гитлеровских концлагерях могли бы вполне благосклонно и дружелюбно относиться к заключенным, если бы у них была возможность получить разрядку для своих садистских наклонностей в сексе.

Примеры сексуального садизма и мазохизма

Следующие примеры сексуального садизма и мазохизма взяты из книги Полины Реаж «История О.», которая, по-видимому, не нашла так много читателей, как соответствующие классические сочинения маркиза де Сада.

Она стонала... Пьер прикрепил ее руки цепочкой к перекладине кровати. После того как она была скована таким образом, она снова поцеловала своего любовника, который стоял на кровати рядом с нею. Он сказал ей еще раз, что он ее любит, затем он спустился с кровати и позвал Пьера. Он смотрел, как она безуспешно пыталась защитить себя от ударов, он слышал, что ее стоны становились все громче и громче, в конце она просто кричала... Когда у нее брызнули слезы, он отослал Пьера. Она еще нашла силы сказать, что любит его. Затем он поцеловал ее залитое слезами лицо, ее тяжело хрипевший рот, развязал ее, уложил на кровати и ушел.

Ее зовут О. Она не смеет проявить собственную волю. Ее любовник и его друзья должны полностью управлять ею. Она находит свое счастье в рабстве, а они свое – в абсолютном господстве. Следующий отрывок хорошо показывает этот аспект садо-мазохистского поведения. (Следует добавить, что ее любовник, чтобы полностью управлять ею, поставил, кроме всех прочих, еще и такое условие, что она должна подчиняться не только ему, но и его друзьям. Один из них – сэр Штефен.)

Наконец она приподнялась – как будто бы то, что она хотела сказать, ее душило, – она освободила верхние застежки своей блузы так, что стала видна ямочка на груди. Затем она встала, ее руки и колени дрожали.

«Я вся твоя, – сказала она наконец, обращаясь к Рене. – Я буду принадлежать тебе так, как ты этого хочешь...»

«Нет, – перебил он ее, – нам! Повторяй за мной. Я принадлежу вам обоим. Я буду точно такой, как вы оба хотите...»

Пронизывающие серые глаза сэра Штефена смотрели на нее в упор, как и глаза Рене. Она потерялась в них и медленно повторяла предложения, которые он ей говорил, но только от первого лица, как будто бы она твердила правила грамматики. «Ты предоставляешь право мне и сэру Штефену...» Речь шла о праве владеть и распоряжаться ее телом, как бы и где бы они того ни пожелали... о праве заковать ее в цепи, бить, как рабыню или пленницу, за малейшую ошибку или проступок или просто ради удовольствия; о праве не обращать внимания на ее стоны и крики, если дело дойдет до истязаний.

Садизм (и мазохизм) как сексуальные извращения представляют собой только малую долю той огромной сферы, где эти явления никак не связаны с сексом. Несексуальное садистское поведение проявляется в том, чтобы найти беспомощное и незащищенное существо (человека или животное) и доставить ему физические страдания вплоть до лишения его жизни. Военнопленные, рабы, побежденные враги, дети, больные (особенно умалишенные), те, кто сидит в тюрьмах, незащищенные цветные, собаки – все они были предметом физического садизма, часто включая жесточайшие пытки. Начиная от жестоких зрелищ в Риме и до практики современных полицейских команд, пытки всегда применялись под прикрытием осуществления религиозных или политических целей, иногда же – совершенно открыто ради увеселения толпы. Римский Колизей – это на самом деле один из величайших памятников человеческого садизма.

Одно из широко распространенных проявлений несексуального садизма – жестокое обращение с детьми. Только в последние 10 лет эта форма садизма была довольно подробно изучена в целом ряде исследований, начиная с классического произведения Ц. Х. Кемпе и других. С тех пор было опубликовано много работ^[247], и исследования продолжают во всех странах. Из них следует, что шкала зверств по отношению к детям очень велика – от нанесения незначительных телесных повреждений до истязаний, пыток и убийств. Мы

практически не знаем, как часто встречаются подобные зверства, так как данные, имеющиеся у нас в распоряжении, доходят до нас из общественных источников (например, из полиции, куда поступают звонки из больниц или от соседей). Но ясно одно, что количество зарегистрированных случаев представляет сотую часть от общего числа. Наиболее точные данные были сообщены Гиллом (речь идет о данных только по одной стране). Я хотел бы привести здесь только некоторые из них. Детей, которые стали жертвами насилия, можно разделить на несколько возрастных групп: первая – от года до двух лет; вторая – от трех до девяти (число случаев удваивается); третья группа – с девяти до пятнадцати (частота снова понижается, пока не достигается исходный уровень, а после шестнадцати лет постепенно совсем исчезает). Это означает, что в наиболее интенсивной форме садизм проявляется тогда, когда ребенок еще беззащитен, но уже начинает проявлять свою волю и противодействует желанию взрослого полностью подчинить его себе.

Душевная жестокость, психический садизм, желание унижить другого человека и обидеть его распространены, пожалуй, еще больше, чем физический садизм. Данный вид садистских действий наименее рискованный, ведь это же совсем не то, что физическое насилие, это же «только» слова. С другой стороны, вызванные таким путем душевные страдания могут быть такими же или даже еще более сильными, чем физические. Мне не нужно приводить примеров такого садизма. Их – тьма в человеческих отношениях. Начальник – подчиненный, родители – дети, учителя – ученики и т. д., и т. п. Иными словами, он встречается во всех тех ситуациях, где есть человек, который не способен защитить себя от садиста. (Если слаб и беспомощен учитель, то ученики часто становятся садистами.) Психический садизм имеет много способов маскировки: вроде бы безобидный вопрос, улыбка, намек... мало ли чем можно привести человека в замешательство. Кто не знает таких мастеров-умельцев, которые всегда находят точное слово или точный жест, чтобы кого угодно привести в смятение или унижить. Разумеется, особого эффекта достигает садист, если оскорбление совершается в присутствии других людей^[248].

Иосиф Сталин, клинический случай несексуального садизма

Одним из самых ярких исторических примеров как психического, так и физического садизма был Сталин. Его поведение – настоящее пособие для изучения несексуального садизма (как романы маркиза де Сада были учебником сексуального садизма). Он первый приказал после революции применить пытки к политзаключенным; это была мера, которую отвергали русские революционеры, пока он не издал приказ. При Сталине методы НКВД своей изощренностью и жестокостью превзошли все изобретения царской полиции. Иногда он сам давал указания, какой вид пыток следовало применять. Его личным оружием был, главным образом, психологический садизм, несколько примеров которого я хотел бы привести. Особенно любил Сталин такой прием: он давал своей жертве заверения, что ей ничто не грозит, а затем через один или два дня приказывал этого человека арестовать. Конечно, арест был для несчастного тем тяжелее, чем более уверенно он себя чувствовал. Сталин находил садистское удовольствие в том, что в тот момент, как он заверял свою жертву в своей благосклонности, он уже совершенно точно знал, какие муки ей уготованы. Можно ли представить себе более полное господство над другим человеком? Приведу несколько примеров из книги Роя Медведева:

Незадолго до ареста героя гражданской войны Д. Ф. Сердича Сталин произнес на приеме тост в его честь, предложил выпить с ним «на брудершафт» и заверил его в своих братских чувствах. За несколько дней до убийства Блюхера Сталин на собрании говорил о нем в самых сердечных тонах. Принимая армянскую делегацию, он осведомился о местонахождении и самочувствии поэта Чаренца и заверил, что с ним ничего не случится, однако через несколько месяцев Чаренц был убит выстрелом из-за угла.

Жена заместителя Орджоникидзе А. Серебровского сообщает о неожиданном звонке Сталина вечером 1937 г. «Я слышал, что Вы ходите пешком? – сказал Сталин. – Это не годится, люди придумывают разную чушь. Пока Ваша машина в ремонте, я пошлю Вам другую». И действительно, на следующий день Кремль предоставил в распоряжение Серебровской машину. Но через два дня ее мужа арестовали, не дожидаясь даже его выписки из больницы.

Знаменитый историк и публицист Ю. Стеклов был в таком смятении от многочисленных арестов, что он записался на прием к Сталину. «С удовольствием приму Вас», – сказал Сталин. Как только Стеклов вошел, Сталин его успокоил: «О чем Вы беспокоитесь? Партия Вас знает и доверяет Вам, Вам нечего бояться». Стеклов вернулся домой к своим друзьям и родным, и в тот же вечер его забрали в НКВД. Само собой разумеется, первая мысль его друзей была обратиться к Сталину, который, по-видимому, не предполагал, что происходит. Было намного легче верить в то, что Сталин ничего не знал, чем в то, что он был изощренный злодей. В 1938 г. И. А. Акулов, бывший прокурор, а позднее секретарь ЦК, упал, катаясь на коньках, и получил опасное для жизни сотрясение мозга. Сталин позаботился, чтобы приехали выдающиеся иностранные хирурги, которые спасли ему жизнь. Акулов после долгой, тяжелой болезни вернулся к работе и вскоре после этого был расстрелян.

Особенно изощренная форма садизма состояла в том, что у Сталина была привычка арестовывать жен – а иногда также и детей – высших советских и партийных работников и затем отсылать их в трудовые лагеря, в то время как мужья продолжали ходить на работу и должны были раболепствовать перед Сталиным, не смея даже просить об их освобождении. Так, в 1937 г. была арестована жена президента СССР Калинина^[249]. Жена Молотова, жена и сын Отто Куусинена, одного из ведущих работников Коминтерна, – все были в трудовых лагерях. Неизвестный свидетель сообщает, что Сталин в его присутствии спросил Куусинена, почему тот не пытается освободить сына. «По всей видимости, для его ареста были серьезные причины», – ответил Куусинен. По словам этого свидетеля, Сталин ухмыльнулся и приказал освободить его сына. Посылая жене передачи, Куусинен даже не подписывал адреса, а просил сделать это свою прислугу. Сталин арестовал жену своего личного секретаря, в то время как тот продолжал работать у него.

Не нужно обладать слишком буйной фантазией, чтобы представить себе, в каком унижении жили эти функционеры, если они не могли оставить свою работу и не могли просить об освобождении своих жен и сыновей: более того, они должны были поддакивать Сталину, допуская, что арест их близких небезоснователен. Либо у этих людей совсем не было чувств, либо они в моральном отношении были полностью сломлены и потеряли всякое чувство собственного достоинства. Яркий пример тому – Лазарь Каганович и его поведение в связи с арестом его брата Михаила Моисеевича, который до войны был министром авиации.

Он был одним из могущественнейших людей в окружении Сталина, он сам нес ответственность за репрессии многих людей. Однако после войны он впал у Сталина в немилость, а группа арестованных по обвинению в тайной организации «фашистского подполья» решила наказать Кагановича, объявив его в ходе следствия своим помощником. Она построили совершенно фантастическую версию, согласно которой Михаил Моисеевич (еврей!) должен был, по-видимому, после занятия Москвы немцами возглавлять прогитлеровское правительство. Когда Сталин услышал то, что ему было нужно, он позвал Лазаря Кагановича, чтобы сказать ему, что его брату грозит арест по обвинению в связи с фашистами. «Ничего не поделаешь, – ответил Лазарь, – раз это необходимо, прикажите его арестовать!» Когда Политбюро обсуждало этот случай, Сталин похвалил Лазаря за принципиальность – ведь он не возражал против ареста своего брата. Затем Сталин добавил: «Не нужно спешить с арестом. Михаил Моисеевич уже многие годы в партии, и нужно еще

раз основательно проверить все обвинения». Микоян получил задание устроить очную ставку М. М. с тем, кто написал на него донос. Встреча происходила в кабинете Микояна. Привели человека, который в присутствии Кагановича высказал свое обвинение и еще добавил, что перед войной намеренно построили несколько авиационных заводов так близко к границе, чтобы немцы смогли их легко занять. Когда Михаил Каганович услышал это обвинение, он попросил разрешения выйти в туалет – маленькую комнату рядом с кабинетом Микояна. Вскоре оттуда раздался выстрел.

Другой формой проявления садизма Сталина была абсолютная непредсказуемость его поведения. Были случаи, когда людей, арестованных по его приказу, после пыток и тяжелых обвинений снова освобождали, а через несколько месяцев (или лет) они снова назначались на высокие посты, и притом без всяких объяснений.

Выдающейся иллюстрацией поведения Сталина является его отношение к старому товарищу Сергею Ивановичу Кавтарадзе, который когда-то в Санкт-Петербурге помог ему спастись от тайных агентов.

В 20-е гг. Кавтарадзе вступил в оппозицию Троцкого и расстался с ней только после того, как троцкистский центр рекомендовал своим членам прекратить всякую оппортунистическую деятельность. После убийства Кирова Кавтарадзе, сосланный как бывший троцкист в Казань, заверял Сталина в письме, что он ни в коем случае не ведет работы против партии. Тотчас же Сталин освободил его из ссылки. Вскоре после этого во многих газетах появилась заметка Кавтарадзе, в которой он описывал случай из подпольной работы, которой он занимался вместе со Сталиным. Сталину статья очень понравилась, но Кавтарадзе больше не писал заметок по этому поводу. Он даже не вступил опять в партию, скромно жил и работал в печати. В конце 1936 г. он и его жена были неожиданно арестованы, их пытали и приговорили к расстрелу. Его обвинили (вместе с Буду Мдивани) в подготовке покушения на Сталина. Вскоре после оглашения приговора Мдивани был расстрелян. Кавтарадзе, напротив, долгое время держали в камере смертников. Оттуда его однажды привели в кабинет Лаврентия Берия, там он увидел свою жену, которая так сильно постарела, что он ее едва узнал. Обоих отпустили. Вначале они жили в гостинице, затем получили две комнаты в коммунальной квартире и долго искали работу. Внезапно Сталин проявил к нему, Кавтарадзе, внимание – сначала пригласил к себе на обед, а через некоторое время он вместе с Берия нанес визит семье Кавтарадзе. (Этот визит поверг всю квартиру в волнение. Одна из соседок упала в обморок, когда она, как она выразилась, вдруг увидела, что «на пороге стоит портрет Сталина».) Когда Кавтарадзе бывал у него на обеде, Сталин сам, наливая ему суп в тарелку, рассказывал анекдоты и много вспоминал. Однажды на одном из таких обедов Сталин подошел к нему и сказал: «И все-таки ты хотел меня убить!»[250]

В этом случае в поведении Сталина проявляется одна из черт его характера – желание показать людям, что у него над ними была власть. Достаточно было одного его слова, чтобы человек был убит или подвергнут пыткам, спасен или награжден. Он, как Бог, был властен над жизнью и смертью и, как сама природа, мог разрушить или заставить расти, доставить боль или исцелить. Жизнь и смерть зависели от его каприза. Этим, быть может, объясняется то, что некоторым людям он сохранил жизнь: например, Литвинову (после краха его миролюбивой политики на Западе). То же самое относится к Илье Эренбургу, который был воплощением ненавистных Сталину черт личности... и к Пастернаку, который, как и Эренбург, был «уклонистом». Медведев это объясняет тем, что Сталину в отдельных случаях было необходимо сохранить жизнь кое-кому из старых большевиков, чтобы поддерживать иллюзию, что он продолжает дело Ленина. Но в отношении Эренбурга, конечно, совсем другой случай. Я думаю, что главным мотивом для Сталина было наслаждение своей неограниченной властью: «Хочу – казню, хочу – помилую».

Сущность садизма

Я привел эти примеры старшинского садизма, потому что они превосходно подходят для вступления к центральной теме: сущность садизма. До сих пор мы описывали различные виды садистского поведения в сексуальной, физической и духовной сфере. Все эти различные формы садизма не являются друг от друга независимыми. Проблема заключается в том, чтобы найти общий элемент, «сущность» садизма. Ортодоксальный психоанализ утверждал, что общим для всех этих форм якобы является сексуальный аспект. Во второй период своей жизни Фрейд внес поправки в свою теорию, утверждая, что садизм – это смесь Эроса и Танатоса^[251], имеющая экстравертную^[252] направленность, в то время как мазохизм – смесь Эроса и Танатоса интравертной^[253] направленности.

В противоположность этому я считаю, что сердцевину садизма, которая присуща всем его проявлениям, составляет страсть, или *жажда власти, абсолютной и неограниченной власти над живым существом, будь то животное, ребенок, мужчина или женщина*. Заставить кого-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности защищаться, – это проявление абсолютного господства (одно из проявлений, хотя и не единственное). Тот, кто владеет каким-либо живым существом, превращает его в свою вещь, свое имущество, а сам становится его господином, повелителем, его Богом. Иногда власть над слабым может быть направлена на пользу слабому существу, и в этом случае можно говорить о «благом» садизме, например в случаях, когда кто-то держит рядом слабоумного «для его же собственного блага» и, действительно, во многих отношениях поддерживает его (рабство – особый случай). Но обычно садизм – это злокачественное образование. Абсолютное обладание живым человеком не дает ему нормально развиваться, делает из него калеку, инвалида, душит его личность. Такое господство может проявляться в многообразных формах и степенях.

Пьеса Альбера Камю «Калигула» дает пример крайнего типа садистского поведения, которое равнозначно стремлению к всемогуществу. Мы видим, как Калигулу, который в результате обстоятельств приобрел неограниченную власть, жажда власти захватывает все сильнее и сильнее. Он спит с женами сенаторов и наслаждается унижением их мужей, которые вынуждены делать вид, что они его обожают. Некоторых из них он убивает, а оставшиеся в живых вынуждены и дальше смеяться и шутить. Но даже этой власти ему недостаточно. Он недоволен. Он требует абсолютной власти, он хочет невозможного. Камю вкладывает в его уста слова: «Я хочу луну».

Очень просто было бы сказать, что Калигула безумен, но его безумие – это форма жизни. Это пример возможного решения экзистенциальной проблемы: Калигула служит иллюзии всевластия, которое переступает через границы человеческого существования. В процессе завоевания абсолютной власти Калигула теряет всякий контакт с людьми. Выталкивая других, он сам становится изгоем. Он должен сойти с ума, ибо его попытка достичь всевластия провалилась, а без власти он – ничтожество, изолированный индивид, жалкий немощный одиночка.

Конечно, Калигула – это исключительный случай. Немногие люди в реальной жизни получают шанс приобрести такую власть, когда все вокруг начинают верить, что эта власть безгранична. И все-таки в истории вплоть до наших дней такие случаи были. Они заканчиваются, как правило, тем, что при удачной судьбе такие люди выбиваются в военачальники или становятся крупными государственными деятелями, но те, кого покидает удача, обычно объявляются либо преступниками, либо сумасшедшими.

Такое выдающееся решение проблемы человеческого существования недоступно

251

252

253

среднему человеку. Однако в большинстве общественных систем – включая нашу – представители даже самых низших ступеней социальной лестницы имеют возможность властвовать над более слабым. У каждого в распоряжении есть дети, жены, собаки; всегда есть незащищенные существа: заключенные, бедные обитатели больниц (особенно душевнобольные), школьники и мелкие чиновники. В какой мере руководство всех перечисленных учреждений способно проконтролировать и ограничить властные функции чиновников, зависит от конкретной социальной системы. Если этот контроль недостаточно эффективен, то всегда остается возможность для злоупотреблений властью и для проявлений садизма по отношению к слабым. А кроме того, существуют ведь еще и религиозные и этнические меньшинства, которые всегда могут стать объектом садистских издевательств со стороны любого представителя большинства народа (государственной религии и т. д.).

Садизм – один из возможных ответов на вопрос, как стать человеком (если нет других способов самореализации). Ощущение абсолютной власти над другим существом, чувство своего всемогущества по отношению к этому существу создает иллюзию преодоления любых экзистенциальных преград (пограничных ситуаций), особенно если в реальной жизни у человека нет радости и творчества. По своей сущности садизм не имеет практической цели: он является не «тривиальным», а «смирненным». Он есть превращение немощи в иллюзию всемогущества. То есть это – религия духовных уродов.

Однако не надо думать, что любая ситуация, в которой индивид или группа облечены неограниченной властью над другими людьми, обязательно дает проявление садизма. По-видимому, большинство родителей, тюремных сторожей, учителей и чиновников – все-таки не садисты. По самым различным причинам даже при благоприятных для садизма внешних условиях сама структура личности многих людей препятствует развитию садизма. Человека с жизнеутверждающим характером не легко совратить властью. Однако было бы опасным упрощением, если бы мы всех людей разделили только на две группы: садистские дьяволы и несадистские святые. Все дело в интенсивности садистских наклонностей в структуре характера каждого индивида. Есть много людей, в характере которых можно найти садистские элементы, но которые в результате сильных жизнеутверждающих тенденций остаются уравновешенными; таких людей нельзя причислять к садистскому типу. Нередко внутренний конфликт между обеими ориентациями приводит к особенно острому неприятию садизма, к формированию «аллергической» установки против любых видов унижения и насилия. (Однако остаточные элементы садистских наклонностей могут просматриваться в незначительных, маргинальных формах поведения, которые настолько незначительны, что не бросаются в глаза.) Существуют и другие типы садистского характера. Например, люди, у которых садистские наклонности так или иначе уравновешиваются противоположными влечениями; они, быть может, и получают определенное удовольствие от власти над слабым существом, но при этом они не станут принимать участия в настоящей пытке, а если окажутся в такой ситуации, то она не доставит им радости (за исключением, быть может, ситуации массового психоза). Это можно доказать на примере гитлеровского режима и массовых акций уничтожения. Так, истребление евреев, поляков и русских проводилось руками только небольшой элитарной группы СС, а от населения все эти акции содержались в строгой тайне. Гиммлер и другие исполнители этой ужасной «кампании» постоянно подчеркивали в своих речах, что убийства должны производиться «гуманным» способом, без садистских эксцессов, чтобы избежать ожесточения людей против СС. В некоторых случаях отдавался приказ, что русских и поляков, которые уже были обречены, нужно сначала подвергнуть стандартному допросу: это давало палачам ощущение «законности» совершаемого преступления. Как ни абсурдно выглядит вся эта лицемерная игра, но она свидетельствует о том, что нацистские лидеры считали, что широкомасштабные садистские акции вызвали бы осуждение большинства даже лояльно настроенных сторонников рейха. Хотя с 1945 г. было обнаружено много материалов, до сих пор не было систематического изучения того, в какой мере рядовые немцы были вовлечены в садистские акции своих фюреров.

Садистские черты характера никогда нельзя понять, если рассматривать их изолированно от всей личности. Они образуют часть синдрома, который следует понимать как целое. Для садистского характера все живое должно быть под контролем. Живые существа становятся вещами. Или, вернее говоря, живые существа превращаются в живущие, дрожащие, пульсирующие объекты обладания. Их реакции навязываются им теми, кто ими управляет. Садист хочет стать хозяином жизни, и поэтому для него важно, чтобы его жертва осталась живой. Как раз это отличает его от некрофильно-деструктивных людей. Эти стремятся уничтожить свою жертву, растоптать саму жизнь, садист же стремится испытать чувство своего превосходства над жизнью, которая зависит от него.

Другая черта характера садиста состоит в том, что для него стимулом бывает всегда только слабое существо и никогда – сильное. Например, садист не получит удовольствия от того, что в бою с сильным противником ранит врага, ибо данная ситуация не даст ему ощущения господства над врагом. Для садистского характера есть только одна «пламенная страсть» и одно качество, достойное восхищения, – власть. Он боготворит могущественного и подчиняется ему, и в то же время он презирает слабого, не умеющего защищаться, и требует от него абсолютного подчинения.

Садистский характер боится всего того, что ненадежно и непредсказуемо, что сулит неожиданности, которые потребуют от него нестандартных решений и действий. И потому он боится самой жизни. Жизнь пугает его потому, что она по сути своей непредсказуема... Она хорошо устроена, но ее сложно планировать, в жизни ясно только одно: что все люди смертны. Любовь также непредсказуема. Быть любимым предполагает возможность любить: любить себя самого, любить другого, пытаться вызвать у другого чувство любви и т. д. При слове «любовь» всегда подразумевается риск: опасность быть отвергнутым, просчитаться ... Поэтому садист способен «любить» только при условии своего господства над другим человеком, т. е. зная свою власть над предметом своей «любви». Садистский характер всегда связан с ксенофобией* и неофобией* – все чужое, новое представляет некоторый интерес, но в то же время вызывает страх, подозрительность и отрицание, ибо требует неординарных решений, живых человеческих реакций.

Еще один важный элемент в синдроме садизма составляет готовность подчиняться и трусость. Это звучит как парадокс, когда говорят, что садист – легко подчиняющийся человек; однако данное явление с точки зрения диалектики вполне закономерно. Ведь человек становится садистом оттого, что чувствует себя импотентом, неспособным к жизни... Он пытается компенсировать этот недостаток тем, что приобретает огромную власть над людьми, и тем самым он превращает в Бога того жалкого червя, каковым он сам себя чувствует. Но даже садист, наделенный властью, страдает от своей человеческой импотенции. Он может убивать и мучить, но он остается несчастным, одиноким и полным страхом человеком, который испытывает потребность в том, чтобы подчиниться еще более мощной власти. Для тех, кто стоял на ступеньку ниже Гитлера, фюрер был высшей властью; для самого Гитлера высшей силой было провидение и законы эволюции.

Потребность в подчинении уходит корнями в мазохизм. Взаимосвязь садизма и мазохизма очевидна, но с точки зрения бихевиоризма они являются противоположностями. В действительности же это два различных аспекта одной и той же основной ситуации: ощущение экзистенциальной и витальной импотенции. Как садист, так и мазохист нуждаются в другом существе, которое может, так сказать, их «дополнить». Садист дополняет сам себя при помощи другого существа, мазохист сам себя делает дополнением другого существа. Оба ищут символических связей, так как каждый из них не имеет стержня внутри себя. Хотя садист вроде бы не зависит от своей жертвы, на самом деле она ему необходима; он в ней нуждается, но ощущает эту потребность в извращенной форме.

Из-за тесной связи между садизмом и мазохизмом будет правильнее говорить о садо-мазохистском характере, хотя ясно, что у каждого конкретного лица преобладающим является либо один, либо другой аспект. Садо-мазохистский характер можно еще назвать авторитарным, если перейти от психологической характеристики к политической, ибо, как

правило, авторитарные лидеры демонстрируют черты садо-мазохистского характера: притеснение подчиненных и подобострашие по отношению к вышестоящим^[254].

Нельзя полностью понять садо-мазохистский характер без учета фрейдовской концепции «анального характера», которая была дополнена его учениками, особенно Карлом Абрахамом и Эрнстом Джонсом.

Фрейд (1908 г.) предположил, что анальный тип личности проявляется в сочетании таких черт характера, как упрямство, чрезмерная любовь к порядку и скаредность, которые затем дополняются сверхпунктуальностью и сверхчистоплотностью. Фрейд считал, что этот синдром коренится в «анальном либидо», источник которого связан с соответствующей эрогенной зоной. Характерные черты синдрома он объяснил как реактивное образование или сублимацию настоящей цели, на которую это анальное либидо направлено.

Когда я стал искать возможности заменить либидо другими видами зависимости, мне показалось, что различные черты характера (внутри одного и того же синдрома) могут быть проявлением четырех разных видов зависимости: дистанционной (на расстоянии), под непосредственным контролем, отрицательной и накопительной («накопительский характер»). Это вовсе не означало, что были ошибочными клинические наблюдения Фрейда или его выводы о необходимости особого внимания к проблеме стула, недержания и тому подобным симптомам при изучении личности.

Напротив, мое собственное обследование отдельных пациентов полностью подтвердило наблюдения Фрейда. Разница состояла в том, как ответить на вопрос об источнике: то ли анальное либидо обуславливает интерес к экскрементам (и – опосредованно – анальный синдром личности), то ли синдром этот есть проявление особого вида зависимости? В последнем случае анальный интерес следует понимать как иное, символическое, выражение анального характера, а не как его причину. Экскременты являются и в самом деле очень подходящим символом: они представляют то, что исключается из человеческого жизненного процесса и больше не служит жизни^[255].

Накопительский характер может проявляться в отношении к вещам, мыслям и чувствам. Но чрезмерная любовь к порядку делает его безжизненным... Такой человек не выносит, если вещи лежат не на своих местах, и спешит все привести в порядок. Таким образом, он следит за помещением, за временем (феноменальная пунктуальность). Если он обнаруживает недостаток чистоты, он впадает в шок, мир кажется ему грязным и враждебным, и он должен немедленно все «вылизать» до блеска, чтобы восстановить свое равновесие. Иногда, пока соответствующая установка (или сублимация) еще не закрепились, он не проявляет «чистоплюйства», а предпочитает быть грязнулей. Человек-накопитель ощущает себя самого как осажденную крепость: он должен не допустить, чтобы что-либо вышло наружу, удержать все, что находится в крепости. Его упорство и настойчивость обеспечивают почти автоматическую защиту от любого вторжения.

Накопительской личности часто кажется, что у нее совсем мало сил, физической и духовной энергии и что этот запас очень быстро тает, что он невосполним. Такой человек не понимает, что каждая живая субстанция постоянно обновляется, что только функционирование живых органов увеличивает их силу, в то время как их «простой» ведет к атрофии. Для него смерть и разрушение обладают большей реальностью, чем жизнь и рост. Акт творчества для него – чудо, о котором он слышал, но в которое он не верит. Его самые главные ценности – порядок и надежность. Его девиз гласит: «Ничто не ново под солнцем». В человеческих отношениях он воспринимает близость как угрозу: надежность обеспечивается только ценой освобождения от всяких связей с людьми. Накопитель подозрителен, ратует за «справедливость», которую понимает весьма однозначно, в плане: «Мое – мое, а твое – твое».

Накопитель может чувствовать себя уверенно в этом мире только при том условии, что

он им владеет, распоряжается им, является его хозяином, ибо другие отношения с миром – такие, как любовь и творчество, – ему неизвестны (он на них не способен).

То, что анально-накопительский характер связан с садизмом, в значительной мере подтверждается клиническими данными, и тут уж неважно, объяснять ли эту связь теорией либидо или зависимостями человека от окружающего мира. Тесная связь между анально-накопительской личностью и садизмом проявляется также в том, что в социальных группах с таким характером чаще всего обнаруживается высокая степень садизма[256].

Садо-мазохистский характер в первом приближении соответствует и *бюрократической личности* [257] (не столько в политическом, сколько в социальном смысле). В бюрократической системе каждый человек осуществляет контроль над своими подчиненными, а он, в свою очередь, контролируется своим начальником. Как садистские, так и мазохистские импульсы в такой системе оправдывают свои расходы. Бюрократическая личность презирует нижестоящих и в то же время восхищается и боится вышестоящих. Достаточно посмотреть на выражение лица бюрократа и послушать его голос, когда он критикует подчиненного за минутное опоздание, чтобы понять, что он требует, чтобы подчиненный всем своим поведением показывал, что он во время работы «принадлежит» своему начальнику. Или вспомните бюрократа из почтового отделения, когда он, ухмыляясь, ровно в 17.30 захлопывает свое окошечко, а два последних клиента, ждавших полчаса у дверей, идут домой ни с чем и на следующий день должны будут прийти снова. При этом речь идет не о том, что он ровно в 17.30 заканчивает продажу марок; показательнее то, что ему доставляет удовольствие помучить людей; ему нравится, что кто-то от него зависит, на его лице отчетливо читается удовлетворение по поводу этой ситуации, когда он чувствует свое превосходство.

Думается, нет нужды доказывать, что не всякий бюрократ старого образца обязательно является садистом. Только глубокий психологический анализ мог бы показать меру распространенности садизма в этой группе по сравнению с другими категориями служащих. Хочу привести только два выдающихся примера: генерал Маршалл и генерал Эйзенхауэр, оба в период второй мировой войны принадлежали к высшему ярусу военной бюрократии и при этом отличались своей заботой о солдатах и полным отсутствием садизма. С другой стороны, целый ряд немецких и французских генералов в первую мировую войну проявили бесчеловечную жестокость и с легкостью посылали солдат на смерть ради тактических целей.

В некоторых случаях садизм скрывается под маской любезности и показной доброжелательности. Но было бы ошибкой считать, что такое поведение сознательно направлено на то, чтобы ввести кого-то в заблуждение, что эта внешняя любезность исключает настоящие чувства. Чтобы лучше понять данный феномен, нужно вспомнить, что психически нормальные люди, как правило, думают о себе хорошо и стараются укрепить это представление у окружающих, демонстрируя, где только возможно, свои человеческие качества. И потому очевидное проявление жестокости ведет к утрате понимания и одобрения со стороны окружающих, а то и к полной изоляции. И когда человек встречает полное равнодушие или враждебность, то это надолго вызывает у него непереносимый страх. Хорошо известны, например, случаи душевного расстройства бывших нацистов, которые служили в специальных подразделениях и уничтожили тысячи людей. Многие из тех, кто вынужден был выполнять приказы о массовых убийствах, демонстрировали затем психические отклонения, которые так и называли «профессиональной болезнью»[258].

Я употреблял в связи с садизмом слова «контроль», «господство», «власть», однако нужно отдавать себе отчет в неоднозначности этих понятий. Власть можно понимать как господство (т. е. власть над...) или же как свою силу (способность к...). Садист как раз

256

257

258

стремится к власти над... ибо у него нет способности иначе реализовать себя, он не способен БЫТЬ. Многие авторы упускают из виду многозначность этих терминов и допускают двусмысленное толкование. Они пытаются протащить похвалу «господству», отождествляя его с могуществом индивида, со способностью к активному действию. Что касается проблемы контроля, то его отсутствие вовсе не исключает всякую организацию; речь идет лишь о некоторых формах контроля, при которых осуществляется эксплуатация и давление и при которых нижестоящий, управляемый, не имеет возможности обратного воздействия – проверки или иного контроля над управляющим. Существует много примеров примитивных обществ, а также современных союзов и групп, где рациональный авторитет основан на реальном (а не подстроенном) одобрении большинства группы, в таких объединениях не формируется стремление к господству.

Тот, кто не способен оказать сопротивление, разумеется, также страдает определенным дефектом характера. Вместо садистских черт у него развиваются черты мазохиста, стремление подчиняться. С другой стороны, полная неприязнательность в отношении собственного лидерства может привести к формированию таких добродетелей, как чувство товарищества, солидарность и даже творческое начало. Спрашивается, что хуже: не иметь власти и жить под угрозой порабощения или же обладать властью и оказаться перед опасностью потерять человеческий облик? Какое из двух зол больше страшит человека – зависит от его религиозных, нравственных или политических убеждений. И буддизм, и иудаизм, и христианство предлагают решение, которое диаметрально противоположно современному образу мысли. Так что вполне закономерно проводить различие между «властью» и «безвластием», но при этом все же всегда есть опасность, которой следует избегать: не надо пользоваться многозначностью терминов ради одновременного служения и Богу, и кайзеру или (что еще хуже) не надо ставить их на одну доску. Богу – Богово, а кесарю – кесарево.

Условия, вызывающие садизм

Вопрос о том, какие факторы приводят к развитию садизма, слишком сложен, чтобы можно было одной книгой дать на него исчерпывающий ответ. Важно с самого начала уяснить следующее: отношения между личностью и окружающим ее миром вовсе не простые и не однозначные¹. Это связано с тем, что индивидуальный характер определяется индивидуальными факторами: задатками и способностями, обстановкой в семье, а также целым рядом чрезвычайных событий в жизни индивида. Факторы окружающей среды намного сложнее, чем предполагают обычно, и они также играют огромную роль в формировании личности. Как мы уже говорили, общество – чрезвычайно сложная система. Здесь и классы, и сословия, старые и новые буржуа, новый средний класс, высшие классы (распадающиеся элиты). Проблему урбанизации, принадлежности к той или иной религиозной или другой этнической группе (и многое другое) необходимо учитывать при изучении проблемы личности. Исходя из отдельно взятого изолированного фактора, невозможно понять ни личность, ни общество. Если пытаться провести корреляцию между садизмом и социальной структурой, то сразу же станет ясно, что неизбежен подробный, эмпирический анализ всех факторов. Одновременно следует добавить, что власть, с помощью которой одна группа притесняет и эксплуатирует другую группу, часто формирует у эксплуатируемых садистские наклонности (хотя есть много индивидуальных исключений).

И потому, вероятно, садизм (за исключением особых случаев) может исчезнуть лишь тогда, когда будет устранена возможность господства одного класса над другим, одной группы над другой, относящейся к расовому, религиозному или сексуальному меньшинству. Если не считать доисторического периода (и нескольких мелких социальных систем), то можно утверждать, что мир еще не знает такого состояния. И все же надо сказать, что создание правового порядка, опирающегося на закон и отвергающего произвол в отношении личности, – уже шаг вперед даже при том, что во многих частях мира, включая США, такое

развитие идет непросто и периодически нарушается «во имя закона и порядка».

Общество, основанное на эксплуатации, предполагает и еще некоторые показатели. Например, оно имеет тенденцию ущемлять тех, кто находится внизу, ограничивать их независимость, целостность, критическое мышление и творческий потенциал. Это не означает, что оно лишает своих граждан всевозможных удовольствий и развлечений, только чаще всего эти стимулы скорее тормозят, чем способствуют развитию личности. Так, например, римские императоры питали свой народ публичными зрелищами преимущественно кровавого толка. Современное общество демонстрирует подобные садистские развлечения с помощью средств массовой информации, вещающих о преступлениях, войнах и жестокостях. Там, где нет ужасающей информации, все равно мало пользы, а гораздо больше вреда (как это мы видим в любой рекламе продуктов, жвачки или курева). Такая «культурная программа» не развивает человека, а способствует только лени и пассивности. В лучшем случае она строится на развлечениях и сенсациях, но почти никогда не несет настоящую радость: ибо радость невозможна без свободы. Свобода предполагает ослабление управления, контроля и давления, т. е. именно то, что так претит анально-садистскому типу личности.

Что касается садизма в каждом отдельном случае, то он коррелирует со среднестатистическим социальным типом, включая индивидуальные отклонения в ту или другую сторону. Индивидуальные факторы, которые способствуют развитию садизма, – это все те обстоятельства, которые дают ребенку или взрослому ощущение пустоты и беспомощности (несадистский ребенок может стать садистским подростком или взрослым, если появятся новые обстоятельства). К таким обстоятельствам относится все, что вызывает страх, например «авторитарное» наказание. Я подразумеваю такой вид наказания, который не имеет строго фиксированной формы и не связан с тем или иным проступком, а произвольно выбирается по усмотрению власть имущего и в соответствии с его садистскими наклонностями. В зависимости от темперамента ребенка страх перед наказанием может стать доминирующим мотивом в его жизни, его чувство целостности может постепенно надломиться, а чувство собственного достоинства – рухнуть: если ребенок чувствует себя обманутым, то он теряет чувство самодостаточности и перестает быть «самим собой».

Другое обстоятельство, приводящее к утрате жизненных сил, может быть связано с ситуацией душевного обнищания. Если ребенок не получает положительных стимулов, если ничто не будит его, если он живет в безрадостной атмосфере черствости и душевной глухоты, то ребенок внутренне «замерзает». Ведь нет ничего, где бы он мог оставить свой след; нет никого, кто бы ему ответил на вопрос или хотя бы выслушал его. И тогда в его душе поселяется чувство отчаяния и полного бессилия. Такое чувство бессилия не обязательно должно привести к формированию садистского характера; дойдет ли дело до этого или нет, зависит от многих других факторов. Это, однако, одна из главных причин, которая способствует развитию садизма как на индивидуальном, так и на общественном уровне.

Если индивидуальный характер отклоняется от общественного, то социальная группа имеет тенденцию усиливать те черты характера, которые ей соответствуют, и ослаблять нежелательные черты. Если, например, индивид садистского типа живет в группе, в которой большинство людей лишено этой черты, где садистское поведение осуждается, то это еще не значит, что садист-одиночка обязательно изменит свой характер. Однако он будет стараться действовать вопреки своему характеру; его садизм не исчезнет, но он из-за недостатка питания «засохнет». Иллюстрацией к такому утверждению является жизнь в кибуце и других общностях, объединенных одной идеей (хотя есть и такие случаи, когда новая обстановка и новый социальный климат вызывают радикальные перемены в характере личности)[259].

Для общества антисадистского толка личность одного садиста не представляет особой опасности. Его будут считать больным. Он никогда не будет популярен и вряд ли получит

доступ к социально значимым позициям. Когда речь идет о причинах и корнях злокачественного садизма, конечно, нельзя ограничиваться только врожденными биологическими факторами, а нужно учитывать также психологическую атмосферу, от которой зависит не только возникновение социального садизма, но и судьба индивидуального, личностного садизма. Поэтому развитие индивидуума никогда нельзя понять в достаточной степени, если рассматривать только его генетические и семейные корни. Если мы не знаем социальный статус его и его семьи в рамках общественной системы и дух этой системы, то мы не сможем понять; почему некоторые черты характера такие глубинные и такие устойчивые и так глубоко укоренились.

Генрих Гиммлер, клинический случай анально-накопительского садизма

Генрих Гиммлер является отличным примером злокачественного садистского характера. Это иллюстрация к тому, что мы сказали о связи между садизмом и крайними формами проявления анально-накопительской, бюрократической, авторитарной личности.

«Кровавый пес Европы», как называли Гиммлера вместе с Гитлером, несет ответственность за убийство 15 или 20 млн. безоружных и беспомощных людей: русских, поляков и евреев.

Что это был за человек?[²⁶⁰]

Начнем с того, что рассмотрим некоторые описания характера Гиммлера. Самую меткую и точную характеристику Гиммлера мы находим у Карла Буркхардта, который был в свое время представителем Лиги Наций в Данциге. На Буркхардта Гиммлер производил неприятное впечатление «степенью своей подчиненности, какой-то узколобой исполнительностью, нечеловеческой методичностью с некоторым элементом автомата». Это описание содержит большинство существенных элементов садистской авторитарной личности, описанной ранее. Оно подчеркивает в Гиммлере умение подчиняться, его нечеловеческую, бюрократическую тщательность и педантичность. Это вовсе не описание монстра или человеконенавистника, как его обычно оценивают, это просто портрет бездушного бюрократа.

Другие исследователи называют еще некоторые элементы в структуре личности Гиммлера. Ведущий национал-социалист д-р Альберт Кребс, который был в 1932 г. исключен из партии, однажды 6 часов подряд беседовал с Гиммлером во время совместной поездки в поезде. Это было в 1929 г., когда тот еще не был у власти, и доктору Кребсу бросились в глаза его неуверенность и его неуклюжее поведение. Для Кребса это короткое путешествие стало мукой из-за «глупой и, в сущности, беспредметной болтовни, инициатором которой был Гиммлер... Его рассуждения были странной смесью из бравого вранья, мелкобуржуазной застольной болтовни и страстной проповеди сектанта». Навязчивость, с которой Гиммлер заставлял другого человека слушать его бесконечные речи, – это вариант господства, весьма типичный для личности садиста.

Интересную характеристику Гиммлера дал один из наиболее талантливых немецких генералов, Хайнц Гудериан:

Самым непроницаемым в свите Гитлера был рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Невзрачный человек, со всеми признаками низшего сословия, носил личину простака. Он старался быть вежливым. По сравнению с Герингом он вел буквально спартанский образ жизни. Зато в фантазиях он не знал преград... После 20 июля Гиммлера мучило военное тщеславие; оно заставляло его стать верховным главнокомандующим вспомогательной армии, а затем верховным главнокомандующим группы войск. В военной области Гиммлер вначале потерпел полный крах. Его суждения о наших врагах можно было назвать только детскими... У меня неоднократно была возможность заметить в нем недостаток чувства собственного "Я" и полное отсутствие гражданского мужества в присутствии Гитлера.

Эмиль Хельфферих, представитель элитарных банковских кругов, писал: «Гиммлер – это тип жестокого воспитателя старой школы. Строгий к самому себе, он еще строже требует с других. Видимость сочувствия, а особенно дружеский тон его благодарственных писем – всего лишь поза, неистинное поведение, нередко встречающееся у ярко выраженных холодных натур».

Менее негативный портрет Гиммлера мы находим у его адъютанта Карла Вольфа; в его воспоминаниях нет даже намека на садизм, из отрицательных черт он называет только фанатизм и слабую волю. «Он мог быть нежным отцом семейства, вежливым начальником и хорошим приятелем. Одновременно он был ярким фанатиком, взбалмошным мечтателем и безвольным инструментом в руках Гитлера, с которым его связывала все возрастающая любовь-ненависть». В описании Вольфа мы видим в Гиммлере две противоположные личности: доброжелательного человека и одержимого фанатика. Сам Вольф не сомневается ни в том, ни в другом. Старший брат Гиммлера Гебхард сообщает о Генрихе только положительные факты, хотя тот долгие годы оскорблял и унижал его еще до прихода к власти. Гебхард Гиммлер даже пишет об «отеческой доброте и участии» брата в отношении своих подчиненных^[261]. Эти описания содержат самые точные данные о характере Гиммлера, фиксируя такие элементы, как мрачность, желание господствовать над другими и одновременно фанатизм и подобоострастие по отношению к Гитлеру. Его дружеская забота о других, о которой упоминают Вольф и Гебхард, была, скорее всего, признаком внешнего поведения; впрочем, всегда трудно определить, в какой мере речь идет о заботливости как черте характера. Если представить себе всю эту личность в целом, то элемент доброжелательности займет в ней все же минимальное место.

По мере изучения структуры данной личности становится очевидно, что это действительно классический случай анального (накопительского) садо-мазохистского характера, основные признаки которого мы уже назвали: супераккуратность и чрезмерный педантизм. С 15 лет он вел список корреспонденции, в котором помечал каждое входящее и выходящее письмо.

Усердие, с которым он этим занимался, его педантичность, склонность к четкому делопроизводству – все это выдает очень важную сторону его личности. Его бухгалтерский менталитет проявился особенно отчетливо в его отношении к переписке со своими близкими друзьями Лу и Кэт. (Письма, которые он получал от своей семьи, не сохранились.) На каждом из этих писем и открыток он ставил не только дату получения, но и время с точностью до минуты... И поскольку речь шла о поздравлениях с праздниками, днем рождения и другими подобными событиями, такая педантичность была более чем абсурдной.

Позднее, когда Гиммлер был рейхсфюрером СС, он завел себе картотеку и фиксировал в ней каждый подарок, который он кому-либо презентовал. По настоянию отца с 14 до 24 лет он вел дневник. Почти ежедневно там появлялись незначительные записи, которым он вряд ли придавал более глубокий смысл.

Гиммлер записывал, как долго он спал, когда пошел обедать, пил ли чай, курил ли, кого встретил днем и как долго делал уроки, в какую церковь ходил и в котором часу вернулся домой. Затем он записывал, кого он навестил и встретил ли гостеприимство, когда поехал поездом к родителям, опоздал ли поезд или пришел вовремя и т. д.

Например, с 1 по 16 августа 1915 г. он записывает в дневнике:

1. 8.15 Воскресенье... купался 3-й раз. Папа, Эрнст и я купались после катания на лодке 4-й раз. Гебхард слишком разогрелся...2. 8.15 Понедельник... вечером купался 5-й раз...
3. VIII. Вторник... купался 6-й раз...
6. VIII. Пятница... купался 7-й раз... купался 8-й раз...
7. VIII. Суббота... до обеда купался 9-й раз...
8. VIII. ...купался 10-й раз...
9. VIII. До обеда купался 11-й раз, после этого купался 12-й раз...

12. VIII. Играл, потом купался 13-й раз...

13. VIII. Играют, потом купался 14-й раз... 16. VIII. Затем купался 15-й и последний раз (Записано Смитом)

Другой пример: Гиммлер записал в своем дневнике, что под Гумбинненом в плен взяли 3000 русских (запись от 23.08.1914 г.), а 29 августа 1914 г. в Восточной Пруссии было взято уже 30 000 русских пленных (запись от 29.08.1914 г.), что этих «пленных русских... после детального подсчета не 30 000, а 60 000» (запись от 31.08.1914 г.), а после повторной проверки даже 70000 человек. Вскоре после этого он записал, что число пленных русских было не 70 000, а 90 000. И добавил: «Они размножаются, как насекомые» (запись от 4.09.1914 г.). 26 августа 1914 г. мы находим следующую запись:

26 августа. Играл в саду с Фальком, наши войска восточнее Вислы взяли в плен 1000 русских. Австрийцы наступают. После обеда работал в саду. Играл на рояле. После кофе ходили в гости к Киссенбартам. Нам разрешили у них нарвать слив. Ужасно много пало. Теперь у нас есть 42-сантиметровые пушки.

Смит пишет: неясно, сожалеет ли Гиммлер по поводу упавших слив, которые нельзя было есть, или по поводу погибших людей.

Педантичность Гиммлер, вероятно, унаследовал от отца, который был страшный педант: профессор гимназии, а затем директор, самым главным достоинством которого была любовь к порядку. Это был, по сути дела, слабый старомодный человек, консервативный учитель и авторитарный отец.

Другой важной чертой в структуре личности Гиммлера была его готовность подчиняться («несамостоятельность, зависимость», как это назвал Буркхардт). Даже если он и не испытывал особого страха перед отцом, он все равно был чрезвычайно послушным сыном. Он принадлежал к тому типу людей, которые подчиняются не оттого, что какой-либо конкретный человек внушает им ужас, а оттого, что в них самих сидит страх (и это страх не перед авторитетом, а перед жизнью), и поэтому они прямо-таки ищут авторитет, которому готовы подчиниться, ибо испытывают в этом потребность. Их подчинение нередко имеет потребительскую цель, что в полной мере относится и к Гиммлеру. Он использовал своего отца, своих учителей, а позднее и своих начальников в армии и партии (от Грегора Штрассера до Гитлера) ради своей карьеры и устранения соперников. Он никогда не бунтовал и не «высовывался», пока не нашел мощных покровителей в лице Штрассера и других нацистских лидеров. Он вел свой дневник так, как однажды ему велел это делать отец, и чувствовал угрызения совести, если хоть день пропускал. Его родители и он сам были католики. Они регулярно ходили в церковь (во время войны 3-4 раза в неделю), и он заверял отца, что чтение аморальных книг (вроде Золя) не принесет ему вреда. У нас нет данных о страстной религиозности молодого Гиммлера; его отношение к религии было довольно-таки символическим, как это характерно для всех буржуазных семей.

Переход из-под влияния отца в подчинение к Штрассеру и Гитлеру (и от христианства к арийскому язычеству) вовсе не сопровождался бурными страстями. Все шло тихо-мирно и без всякого риска. А когда главный идол его жизни – Гитлер перестал быть ему полезным, он попытался его предать, проявив готовность подчиниться новым хозяевам и работать на союзников, которые вчера еще были заклятыми врагами, а сегодня – победителями. В этом состоит, вероятно, самое существенное различие между Гиммлером и Гитлером. Гитлер был «бунтарем» (пусть даже и не «революционером»). У Гиммлера полностью отсутствовал элемент бунтарского протеста. И потому предположение о том, что переход Гиммлера к нацизму был якобы актом протеста против своего отца, совершенно лишено оснований. Настоящая мотивация для этой перемены, по-видимому, совершенно другая. Гиммлеру нужна была сильная могущественная фигура фюрера для компенсации собственной слабости. Его отец был слабым человеком, который после поражения кайзеровской империи и крушения своих идеалов утратил остатки былого общественного престижа и гордости. Движение национал-социалистов даже на первой стадии, когда в него вступил Гиммлер, было достаточно сильным в плане критики, направленной не только против левых, но и

против буржуазной системы, к которой принадлежал его отец. Эти молодчики играли роль героев, которым принадлежит будущее, и Гиммлер, слабый юноша, с конформным сознанием, нашел себе более достойный объект почитания, чем отец. Одновременно он мог с некоторым пренебрежением, если не со скрытым презрением, взирать на своего папеньку – вот и весь его бунт.

Потребность Гиммлера в подчинении более всего проявилась в его отношении к Гитлеру; здесь вполне допустимо, что приспособленчество толкнуло его к прямой лести, но провести грань между лестью и фанатическим обожанием довольно трудно. Гитлер был для него Человеко-богом, как Христос в христианстве или Кришна в Бхагавад-Гите*. «В него переселилась душа одного из самых ярких героев мира; и потому самой кармой* мирового германского духа ему было предназначено вступить в битву с Востоком и спасти арийскую нацию».

Он преклонил колени перед новым богом Крипшой-Христом-Гитлером, как раньше он поклонялся Иисусу Христу. На сей раз идолопоклонство доходило до фанатической любви, тем более что новые идолы сулили вполне определенные перспективы в карьере.

Подчинение Гиммлера личности отца сопровождалось глубокой зависимостью от матери, которая любила и баловала сына. Гиммлер не страдал от недостатка материнской любви, как это нередко изображается в стандартных биографических статьях. Однако ее любовь была довольно «примитивной». Она не понимала, что нужно подростку. Любовь матери к маленькому ребенку не изменилась, когда мальчик стал юношей. Ее любовь испортила его, затормозила его взросление и укрепила его зависимость от матери. Прежде чем я подробно остановлюсь на этой зависимости, я хотел бы указать на то, что у Гиммлера (как и у многих других) потребность в сильном отце основывалась на собственной беспомощности, которая, в свою очередь, вызывалась тем, что сын слишком долго был ребенком и нуждался в материнской любви, защите и утешении. Он долго не хотел становиться мужчиной, ему нравилось быть ребенком – слабым, беспомощным, малоинициативным. И потому он ищет сильного лидера, который даст ему ощущение уверенности в себе, ибо близость к фюреру компенсировала ему недостающие личные качества.

Гиммлер был ленив, как это часто бывает с «маменькиными сынками», свою физическую и духовную лень он пытался преодолеть, «тренируя свою волю», однако эта тренировка, как правило, не шла дальше выработки жестокости и невозмутимости при виде бесчеловечных деяний. Власть и жестокость должны были заменить ему недостающие природные способности (силу, волю, активность...). Однако эта попытка была обречена, ибо не может слабак стать сильным благодаря жестокости, он просто обманывает себя и других, скрывая свою немощь, пока в его руках власть.

Многое свидетельствует о том, что Гиммлер был типичным «маменькиным сынком». Когда он в 17 лет оказался далеко от родительского дома на военных учениях, он написал за один только месяц 23 письма домой.

И хотя он тоже получил в ответ дюжину писем, он постоянно жаловался, что родные его забыли. Вот типичное начало одного из писем (от 24 января): «Дорогая мамочка, спасибо за твое милое письмо. Наконец-то я получил его». Спустя 2 дня он снова получает известие из дома и снова начинает старую песню с жалобами: «Я страшно долго этого ждал». Даже получив за три дня два письма, он все равно стонет и 29 января пишет: «Сегодня опять от тебя ни строчки». В первых письмах звучат два мотива: просьба о письмах и жалобы на условия жизни: в комнате холодно, полно клопов, еды мало, все невкусно. Он просит денег, продуктовых посылок и т. д. Каждая мелочь описывается в подробностях, всякая неприятность приобретает габариты трагедии. В основном жалобы были адресованы мамушке – фрау Гиммлер. Она откликнулась немедленно, посылала ему денежные переводы, посылки с продуктами, одеждой, постельным бельем, порошком от насекомых и т. д. Вероятно, все эти богатства сопровождалась массой полезных советов и предостережений. Генрих много раз говорил себе, что должен стать храбрым солдатом, и, получив письмо с

«ценными указаниями», он пытался храбриться и взять свои жалобы обратно. Однако спустя каких-нибудь два-три дня он снова начинал стонать и умолял прислать ему «чего-нибудь вкусенького»: яблок, конфет, «мамино пирога», который он называл «вершиной кулинарного искусства».

Со временем письма домой стали реже – хотя перерыв никогда не был дольше, чем три недели, – но он так же настойчиво продолжал просить писем. Если мать не писала ему так часто, как он этого желал, он, забывая про приличия, выливал свой яд: «Дорогая мама, – начинается письмо от 23 марта 1917 г., – большое спасибо за то милое письмо, которое я так долго ждал. Это довольно гнусно с твоей стороны, что ты не писала».

Потребность делиться с родителями (особенно с матерью) осталась, когда он был на практике на ферме. Ему было тогда 19 лет, и он написал домой в первые три недели не менее восьми писем и открыток. Когда он заболел паратифом, мать чуть не умерла от страха. А когда он пошел на поправку, он только тем и занимался, что во всех подробностях сообщал ей о своем здоровье (температуре, пищеварении, болях и т. д.). Одновременно он был достаточно хитер, чтобы не производить впечатления «младенца»: он храбрился, браво заверял мамочку, что ему живется хорошо, что ей не надо беспокоиться. Обычно он начинал письмо двумя-тремя общими фразами, а затем приступал к главному: «Дорогая мама, я чувствую, как ты сгораешь от нетерпения, чтобы узнать, как я живу». Возможно, так оно и было, но в данном случае это иллюстрация типичного приема, которым Гиммлер пользовался всю свою жизнь, приема проецирования на других своих собственных страхов и желаний.

Итак, мы познакомились с супераккуратным, ипохондрическим приспособленцем, нарциссом, который все еще чувствовал себя ребенком и тосковал по материнской защите, хотя в то же самое время он делал попытку следовать примеру отца и подражать ему.

Без сомнения, конформизм и приспособленчество Гиммлера (которые отчасти объяснялись чересчур снисходительным отношением матери) усиливались в результате ряда действительных его слабостей (как физических, так и духовных): Гиммлер был не очень крепким ребенком и с трех лет постоянно болел. В ту пору он заболел бронхитом, который давал осложнение на легкие и от которого тогда умирало много детей. Родители были в отчаянии и страхе, они пригласили того самого педиатра из Мюнхена, который присутствовал при его рождении. Было решено, что фрау Гиммлер с ребенком на время переедет в места с более подходящими климатическими условиями. Отец приезжал к ним, когда позволяла работа. В 1904 г. семья опять переехала в Мюнхен. Следует отметить, что отец был согласен на любые трудности и неудобства ради здоровья ребенка^[262].

С 15 лет Генрих начал жаловаться на пищеварение, которое мучило его до конца жизни. Судя по общей картине болезни, вероятно, все было связано с нервами. Хотя болезнь желудка, с одной стороны, была ему неприятна (как симптом его слабости), с другой стороны, она давала ему возможность постоянно заниматься самим собой и общаться с людьми, которые выслушивали его жалобы и возились с ним^[263].

Следующим слабым местом Гиммлера было сердце, которое он якобы «сорвал» в 1919 г. во время своих «сельхозработ». Тот же мюнхенский врач, который лечил его от паратифа, поставил диагноз «гипертрофический порок сердца» (расширение сердца), причиной которого считались перегрузки во время военной службы. В. Ф. Смит пишет, что в те годы часто ставили такой диагноз, который у современных врачей вызывает лишь улыбку. Современные медики утверждают, что у Гиммлера не было болезни сердца и что если не считать нарушений, «связанных с перееданием, то он обладал довольно хорошим здоровьем».

Как бы там ни было, а диагноз еще больше усилил ипохондрические наклонности Гиммлера и его привязанность к родителям, которые по-прежнему пеклись о его здоровье.

Однако физические недостатки Гимmlера не ограничивались легкими, желудком и сердцем. У него была на редкость неспортивная фигура: рыхлое, вялое и неуклюжее тело. Когда ему купили велосипед и он с братом Гебхардом ездил кататься, с ним происходили самые невероятные вещи: «Он падал, рвал брюки цепью, и это продолжалось без конца». В школе его неуклюжесть бросалась в глаза, была предметом насмешек, и это, безусловно, заставляло его страдать.

Есть прекрасное описание школьных лет Гимmlера, принадлежащее перу его одноклассника Г. В. Ф. Халлгартена, который позднее стал известным историком^[264]. В своей автобиографии Халлгартен пишет, что, услышав о карьере Гимmlера, он не мог себе представить, что речь идет о его однокласснике. Халлгартен рисует Гимmlера как «невероятно белолицего, неуклюжего мальчика», который носил очки и улыбался странной, «то ли смущенной, то ли лукавой улыбкой». Его любили учителя, он был образцовым учеником на протяжении всей учебы и по важнейшим предметам всегда получал отличные оценки. В классе он считался карьеристом. Только по одному-единственному предмету у Генриха была плохая отметка, это была физкультура. Халлгартен пишет, что Генрих страшно страдал, когда ему не удавалось выполнить сравнительно простую программу; он чувствовал себя униженным, а учителя и товарищи по классу явно радовались неудаче тщеславного отличника.

При всей организованности Гимmlера ему не хватало дисциплины и инициативы. Он любил поболтать, сознавал это и пытался с этим как-то бороться. Но сам он был совершенно безвольным, и потому неудивительно, что, считая силу воли и твердость духа главными достоинствами человека, сам он их так никогда и не приобрел. Отсутствие воли он компенсировал тем, что подчинял себе других людей.

Он сам отдавал себе отчет в своем слабоволии и покорности. Об этом свидетельствует запись в дневнике от 27 декабря 1919 г.: «Бог еще поможет все наладить. И я не хочу быть безвольной игрушкой в руках судьбы, а хочу научиться управлять ею сам». Это предложение звучит довольно противоречиво. Он начинает с того, что признает волю Бога (тогда он был еще католиком); а затем заверяет, что не станет игрушкой в руках судьбы... и добавляет к этому слово «безвольной»; таким образом, он как бы решает конфликт между собственным конформизмом и идеалом волевой личности, утверждая, что он готов подчиниться, но делает это по собственной воле. Затем он воображает, что сможет сам управлять судьбой, и квалифицирует эти идеи как «декларацию о независимости», однако, как всегда, делает себе уступку, добавляя безразмерную формулу «насколько это мне удастся».

Итак, в противоположность Гитлеру, Гимmlер был и оставался слабаком и полностью отдавал себе в этом отчет. Всю свою жизнь он боролся с этим своим недостатком, постоянно пытаясь стать сильным. Гимmlер был похож на юношу, который хочет прекратить заниматься онанизмом, но не может остановиться; который живет с ощущением вины, упрекает себя в слабости, постоянно пытается измениться, но безуспешно. Но вот обстоятельства сложились так, что он получил почти безграничную власть над судьбами людей, и тогда не только окружающие, но и сам он поверил в свою силу.

Известно, что у Гимmlера был комплекс не только физической, но и социальной неполноценности. Профессора гимназии стояли на самой нижней ступеньке монархической иерархии и уважали тех, кто был наверху. Этот момент имел особое значение для семьи Гимmlеров, ибо отец некоторое время был частным учителем принца Генриха Баварского, а позднее сохранил с ним такие близкие отношения, что смог попросить принца взять шефство над своим младшим сыном. Именно в честь принца родители назвали сына Генрихом. Расположение принца было воспринято семейством как огромная честь и постоянно подогревало тщеславие и карьеризм всех ее членов. Возможно, высокое покровительство в будущем и принесло бы свои плоды, но принц погиб в первую мировую войну (кстати, это был единственный в ту пору принц крови, которого постигла такая участь). Для Генриха,

который тщательно скрывал свой комплекс неполноценности, дворянство казалось тем социальным раем, врата которого были для него закрыты навсегда.

И вот тот случай, когда тщеславие может совершить чудо. Из робкого юноши, который завидовал каждому дворянскому отпрыску, он превратился в лидера СС, т. е. в предводителя нового немецкого дворянства. Выше него теперь не было никого: ни принц Генрих, ни графы, ни бароны – никто не возвышался более над ним. Он, рейхсфюрер СС, и его свита составили новое дворянство; он сам был принцем (по крайней мере в мечтах своих). В воспоминаниях Халлгартена о школьных годах указывается на эту связь между старым дворянством и СС. В Мюнхене была группа юношей из аристократических семей. Они жили в собственных домах, но ходили в одну гимназию. Халлгартен вспоминает о том, что они носили школьную форму, которая была очень похожа на эсэсовские мундиры, только была не черного, а темно-голубого цвета. Его предположение, что униформа дворянских детей послужила прообразом для униформы СС, кажется очень убедительным.

Гиммлер постоянно публично призывал к мужеству и самопожертвованию. Это было фарисейством, и доказать это нетрудно, если вспомнить одну несколько запутанную армейскую историю, относящуюся к 1917 г. Как старший брат и многие другие молодые люди со связями, Генрих пытался найти полк, в котором он мог бы стать кандидатом в офицеры, т. е. прапорщиком. Такой путь имел два преимущества: явное и скрытое. Явное состояло в том, что появлялась возможность стать офицером и перспектива после войны остаться в профессиональной армии; скрытое же преимущество заключалось в том, что в этом случае обучение длилось дольше, чем обучение молодых людей, которые шли в армию добровольцами или по призыву, как простые солдаты. Таким образом, можно было рассчитывать на то, что до фронта дело дойдет не раньше чем через 8 или 9 месяцев. Простого солдата на той фазе войны посылали на фронт гораздо быстрее.

Брат Гиммлера Гебхард закончил свою офицерскую подготовку уже в 1916 г. и в конце концов попал на фронт. Когда Генрих увидел, каким вниманием семья окружила старшего брата, когда услышал, как много молодых людей уходят на фронт, он родителям уши прожужжал, требуя разрешения бросить школу и пойти учиться на офицера. Отец Гиммлера сделал в этом направлении все, что было в его силах. Но даже рекомендация вдовы принца Генриха не помогла поступить в полк, ибо там было уже достаточно кандидатов в офицеры. Отец, предварительно разузнав имена командиров полков и других влиятельных лиц в разных полках, обратился сразу в 23 полка. Но везде получил отказ. И даже тогда профессор Гиммлер не сдался. Через 5 дней он подал 24-е прошение, на сей раз в 11-й пехотный полк, в который он еще не обращался. В то время как отец бился с прошениями, Генрих перестал уже надеяться на этот путь и понял, что его призовут как простого солдата. Тогда он воспользовался связями своего отца в городе Ландсгут, чтобы получить работу во вспомогательной службе (вариант военной службы для тех, кто не подлежал призыву). Он ушел из школы и поступил в эту вспомогательную службу, явно надеясь таким образом отсрочить свой призыв. Когда затем Баварское министерство культов выпустило особый указ, из которого следовало, что опасность призыва миновала, Генрих снова вернулся в школу. Каково же было удивление отца и Генриха, когда вскоре после этого они получили положительный ответ на 24-е прошение и предписание явиться в 11-й пехотный полк в Регенсбурге в течение нескольких дней.

А через неделю до Генриха дошел слух, что его не планируют для офицерской учебы, а, возможно, сразу пошлют на фронт. «Это известие сразило его и полностью погасило его боевой энтузиазм». Родителям он, правда, объяснил свое отчаяние тем, что рухнула надежда стать офицером, и в то же время он просил их связаться с троюродным братом, который служил офицером в 11-м полку, и просить его поддержки. Родители и сами были в ужасе от перспективы солдатской службы и, конечно, разыскали кузена Цале, а через месяц лейтенант Цале заверил семейство, что Генриха не пошлют на фронт и он может спокойно продолжать свою учебу.

Как только опасность фронта миновала, к Генриху вернулась его самоуверенность. Он

даже осмелился курить, не страшась отцовского гнева, и комментировать события на фронте. В 1918 г. с начала года и до начала октября он учился и ожидал призыва на фронт. На сей раз он, видимо, действительно хотел попасть на фронт: он пытается войти в доверие к офицерам, чтобы опередить своего друга Кистлера, если из них двоих будут выбирать одного. Но его усилия остались безуспешными, и он продолжал свою гражданскую жизнь. Возникает вопрос: почему именно теперь он настроился на фронтовую судьбу, хотя два месяца назад она его так страшила. Это кажущееся противоречие можно объяснить по-разному. Во-первых, брат его Гебхард на фронте получил офицерское звание, и это, вероятно, вызвало у Генриха острую зависть, он тоже непременно хотел быть героем. Возможно, что конкуренция с Кистлером также была стимулом опередить соперника в этой игре и затмила прежние страхи. Но мне кажется, причина заключается в другом: как раз в то время, когда Генрих так старался попасть на фронт, он писал: «Я считаю политическое положение безнадежным... совершенно безнадежным... Я никогда не откажусь от своего намерения, даже если дело дойдет до революции» что не исключено». Гиммлер был достаточно умен, чтобы понимать в октябре 1918 г., что война закончилась и была проиграна. Теперь можно было смело заявлять о желании быть на фронте, ведь в этот момент в Германии стала нарастать революционная волна. А спустя три недели разразилась революция. И в самом деле, рост революционных настроений вынудил военные власти прекратить отправку на фронт новобранцев.

Другим примером слабоволия и нерешительности Гиммлера была его профессиональная жизнь, решение изучать сельское хозяйство было для всех неожиданным, и его мотивы остались до сих пор загадкой. Семья, по-видимому, предполагала, что при том гуманитарном образовании, которое он получил, он пойдет по стопам отца. Единственное убедительное объяснение, с моей точки зрения, состоит в следующем: он сомневался, что его способностей хватит для обучения в более сложной интеллектуальной области, а сельскохозяйственная сфера даст ему возможность вырваться вперед и более легким путем получить академическую степень. Нельзя забывать, что его решение в пользу сельского хозяйства было принято после неудачной попытки осуществить свою первую цель и стать профессиональным офицером. Сельскохозяйственная карьера Гиммлера была прервана из-за болезни сердца, возможно имитированной, но он не отказался от этого пути. По меньшей мере, кое-что он все же делал: он изучал русский язык, поскольку собирался переселиться на Восток и стать там фермером. По-видимому, он считал, что армия завоюет какие-то восточные земли – и тогда ему тоже кое-что перепадет. Он писал: «В настоящий момент я не знаю, почему я работаю. Я работаю, так как это мой долг, потому что я нахожу в работе покой и радость для себя и своей будущей немецкой спутницы жизни, с которой я однажды отправлюсь на Восток и буду строить там жизнь как немец вдали от любимой Германии». И месяц спустя: «Сегодня я внутренне освободился от всех связей, начиная с этого момента я буду полагаться только на себя. Если не найду девушку с подходящим характером, которая полюбит меня, я один отправлюсь в Россию!»

Эти заявления очень показательны. Гиммлер пытается скрыть свой страх, боязнь одиночества, с одной стороны, и чувство зависимости – с другой. И делает он это, имитируя свое самоутверждение. Он заявляет, что готов даже один жить вдали от Германии: этой болтовней он пытается убедить себя самого, что перестал быть «маменькиным сынком». В действительности он ведет себя как шестилетний ребенок, который, решив убежать от мамы, прячется за ближайшим углом и ждет, что она найдет его и вернет назад. Если вспомнить, что ему уже было 20 лет, то весь этот план можно считать всего лишь одной из романтических фантазий, к которым у Гиммлера была определенная склонность в «свободное от практических дел время».

Когда выяснилось, что перспективы поселиться в России нереальны, он начал изучать испанский язык и строить планы о фермерской жизни в Южной Америке^[265]. Он изучал

такие страны, как Перу, Грузия, Турция, но все эти идеи были не больше чем фантазии-однодневки. Гиммлер не знал, с чего начать. Ему не удалось стать офицером, не хватало денег на фермерство в Германии – не говоря уже о Южной Америке. Ему не хватало не только денег, но и фантазии, выдержки и независимости, которые для этого совершенно необходимы. В таком положении был не он один, многие нацисты только потому встали на этот путь, что в социальном и профессиональном плане они были совершенно заурядными, а тщеславие и желание сделать карьеру толкало их присоединиться к Гитлеру.

Возможно, его желание уехать подальше от всех, кто его знал, усилилось под влиянием студенческой поры в Мюнхене. Он вступил в студенческую корпорацию и делал все, чтобы обрести популярность. Он посещал заболевших товарищей, на каждом шагу высматривал активистов и старых членов корпорации и т. д. Но он не нравился товарищам, некоторые открыто высказывали свое недоверие к нему. Его навязчивые идеи, болтовня, постоянные попытки всех организовать – все это еще больше усугубляло неприязнь к нему; и когда он попытался получить должность в корпорации, то получил отказ. В отношениях с девушками он никак не мог проявить решительность, а «настороженность и поток слов создавали такую напряженность, которую юным представительницам слабого пола преодолеть было не под силу, и потому его невинности ничто не угрожало».

Чем безнадежнее становились профессиональные перспективы, тем больше Гиммлер заражался идеями радикального правого крыла. Он читал антисемитскую литературу, а когда в 1922 г. был убит немецкий министр иностранных дел Ратенау, он обрадовался и назвал его «подлецом». Он вступил в одну из мистических правозэкстремистских организаций под названием «Свободный путь», там он узнал Эрнста Рема, известного активиста в движении Гитлера. Несмотря на новые привязанности и симпатии к правым радикалам, он был достаточно осторожен, чтобы не сразу кинуться в их объятия; пока что он оставался в Мюнхене и продолжал свою привычную жизнь. «Обращение к политике и думы о будущем не изменили пока привычного образа жизни. Он продолжал ходить в церковь, в гости, танцевал на студенческих вечеринках и по-прежнему отсылал грязное белье в Ингольштадт (к матери)».

Наконец пришло спасение, он получил предложение, которое ему было сделано из жалости одним из профессоров. Его брат работал на фабрике искусственных удобрений, и Генриху предложили место технического ассистента. Все остальное – дело случая, но именно это место

работы сразу толкнуло его в политику. Фабрика, на которой он работал, была расположена в Шлайсхайме, севернее Мюнхена, где находилась штаб-квартира одного из новых военизированных образований под названием «Союз Блюхера». Он не мог устоять и был, естественно, захвачен водоворотом бурной деятельности. После довольно длительных размышлений он вступил в НСРПГ, которая возглавлялась Гитлером и была одной из самых активных среди группировок правого крыла. У меня нет возможности описать события в Германии, а особенно в Баварии, в ту пору. Короче говоря, баварское правительство вынашивало идею использовать экстремистски настроенное движение в борьбе с центральным правительством в Берлине, но не могло решиться на открытое выступление. Тем временем Гиммлер оставил свое место в Шлайсхайме и вступил в новый военный союз, альтернативный войскам рейхсвера. Правда, его роту очень быстро распустили, слишком много было желающих участвовать в акции против Берлина. Опять военная карьера Гиммлера не состоялась. Но семи недель Генриху хватило, чтобы установить тесные отношения с Рёмом, и в день мюнхенского путча именно Гиммлер нес старое кайзеровское знамя и маршировал рядом с Рёмом во главе отряда, который атаковал военное министерство. Рём и его люди окружили военное министерство, но были захвачены баварской полицией. Попытка Гитлера освободить Рёма закончилась его бесславным «сражением» с регулярными войсками. Лидеры группы Рёма были взяты под стражу, а Гиммлер и остальные сдали оружие, были зарегистрированы в полиции и отпущены по домам.

Гиммлер, конечно, был горд, что нес знамя, и боялся, что его могут арестовать; с другой стороны, он был разочарован, что правительство не проявляло к нему интереса. Он не осмеливался предпринять что-либо, что могло бы привести к его аресту, например работать на запрещенные организации. (Вспоминают, что арест тогда не имел никаких страшных последствий. Вероятнее всего, его опять отпустили бы или оправдали или он – как Гитлер – был бы приговорен к заключению в крепости со всеми удобствами, разве что без права покидать крепость.) Но Гиммлер успокаивал себя рассуждениями: «Как друг и солдат и верный член национального движения, я никогда не уклонюсь от опасности, но мы обязаны сохранить себя ради нашего движения и должны быть готовы к борьбе». Так он тихо продолжал работать в национальном движении, которое было не запрещено, но поглядывал по сторонам в поисках нового места. У него были идеи другого рода. Например, найти себе привлекательное место в Турции. Он даже написал в Советское представительство, желая узнать о возможности переселения на Украину (странная идея для фанатичного антикоммуниста). К этому времени его антисемитизм стал воинствующим и приобрел какую-то сексуальную окраску, видимо, потому, что мысли его постоянно были заняты сексуальными идеями. Он размышлял и фантазировал по поводу нравственности девушек, с которыми был знаком, жадно читал любую литературу по проблемам секса. Когда он в 1924 г. был в гостях у старых друзей, он нашел у них в библиотеке книгу Шлихтегроля «Садист в сутане», запрещенную в Германии в 1904 г. Он «проглотил» ее за день. В общем он производил впечатление закомплексованного юноши, страдающего от неумения обходиться с женщинами.

Наконец решилась проблема его будущего. Грегор Штрассер, руководитель национал-социалистского движения и гауляйтер Нижней Баварии, предложил ему быть его секретарем и ассистентом. Он тотчас же согласился, поехал в Ландсгут и стал делать партийную карьеру вместе со Штрассером. Штрассер отстаивал несколько иные идеи, чем Гитлер. Он выдвигал на первый план революционные пункты нацистской программы и был вместе со своим братом Отто и с Йозефом Геббельсом во главе радикального крыла партии. Они стремились оторвать Гитлера от его буржуазной ориентации и полагали, что партия должна «провозгласить лозунги социальной революции, слегка дополненные антисемитизмом». Но Гитлер не менял своего курса. Геббельс, заметив, какое крыло берет верх, отказался от собственных идей и присоединился к Гитлеру. Штрассер вышел из партии, а лидер СА Рём, который также выдвигал весьма радикальные идеи, по указанию Гитлера был убит. (Эту акцию осуществили эсэсовцы Гиммлера.) Гибель Рема и других руководителей СА стала началом и предпосылкой для карьеры Гиммлера. В 1925-1926 гг. национал-социалистская Германия была еще малочисленной. А в тот момент казалось, что Веймарская республика окрепла и стабилизировалась, поэтому понятно, что Гиммлера одолели сомнения. Он потерял прежних друзей, и «даже родители дали ему понять, что не только не одобряют его работу в партии, но вообще считают, что они потеряли сына». Его жалованье было незначительным, и он был вынужден влезать в долги. Так что неудивительно, что он вернулся к мыслям о постоянной работе и снова настроился искать должность управляющего имением в Турции. Правда, он по-прежнему оставался на своем партийном посту, но вовсе не потому, что его лояльность к идеям партии была непоколебимой, а просто все попытки найти подходящее место были безуспешными. И вдруг небо прояснилось. В 1929 г. Грегор Штрассер становится главой партийной пропаганды, а Гиммлера берет в заместители.

Не прошло и трех лет, как Гиммлер уже командовал отрядом в 300 человек, который к 1933 г. разросся в пятидесятитысячную армию.

Биограф Гиммлера Смит пишет: «Нас волнует не то, как Гиммлер организовал СС, и не последующая его работа в качестве шефа имперской полиции, а то, что он лично руководил истязаниями миллионов людей и уничтожением целых наций и народностей. Как он пришел к этому? На этот вопрос невозможно найти ответ, изучая детство и юность Гиммлера». Я не думаю, что Смит прав, и попытаюсь показать, что садизм Гиммлера имел глубокие корни в

структуре его личности задолго до того, как он получил возможность реализовать свои садистские наклонности на практике и войти в историю под именем одного из кровавых чудовищ XX в.

Вспомним, что в целом садизм определяется как страсть к абсолютной и неограниченной власти над другим человеческим существом. Причинение физической боли – только одно из проявлений этой жажды абсолютной власти. Нельзя также забывать, что мазохистское самоунижение не является противоположностью садизма, а составляет часть симбиозной структуры личности, в которой господство и полное подчинение – лишь проявление одной и той же глубочайшей жизненной импотенции. Когда Генриху было всего 16 лет, он впервые обнаружил свою склонность радоваться по поводу злостных наветов и клеветы на знакомых людей. Это было в период первой мировой войны. Некоторые состоятельные саксонцы, проводившие каникулы в Баварии, скупали там дефицитные продукты питания и отправляли домой. Об этом появилась компрометирующая статья в газете. Смит пишет, что Гиммлер был настолько хорошо осведомлен обо всех деталях этого дела, что невольно приходит мысль, что тот имел прямое отношение к данной публикации. В небольшом стихотворении, которое Гиммлер сочинил в 1919 г., также можно усмотреть вполне определенные наклонности:

*А ну-ка, французы, поберегитесь!
Никто не собирает вас щадить.
Свистят наши пули, звенит в ушах,
И вам несут они ужас и страх.*

В возрасте 21–22 лет он стал чувствовать себя несколько менее зависимым от родителей. Нашел новых друзей и покровителей и стал несколько пренебрежительно относиться к отцу, а на старшего брата Гебхарда буквально смотрел свысока.

Чтобы проследить развитие садизма Гиммлера, очень важно понять характер его отношений с Гебхардом^[266]. Гебхард действительно был полной противоположностью Генриха. Он был смел, решителен, легко завязывал связи и был любимцем девушек. Когда братья были еще юношами, Генрих, видимо, восхищался Гебхардом, но вскоре это восхищение перешло в горькую зависть, когда Гебхард постоянно одерживал победы там, где Генрих терпел поражение. Гебхард пошел на фронт и получил там офицерское звание и награду – Железный крест первой степени. Гебхард влюбился в хорошенькую девушку и обручился с ней. А в это время неуклюжего младшего брата сопровождали сплошные неудачи: он не попал на фронт, не стал офицером, не имел ни славы, ни любви.

Генрих отошел от Гебхарда и присоединился к своему кузену Людвигу, который тоже по-своему завидовал Гебхарду. Генрих критиковал старшего брата за отсутствие дисциплины и целеустремленности; но главная причина была в том, что сам он не был героем и его раздражала беззаботность и удачливость брата; и характерно, что Генрих очень часто видел у другого те самые недостатки, которыми страдал сам.

Однако в полной мере будущий министр полиции проявил себя, когда Гебхард ухаживал за дальней родственницей, хорошенькой кузиной Паулой. Молодая девушка не соответствовала представлениям Генриха о робкой, сдержанной и целомудренной невесте. Когда между Паулой и Гебхардом возникла ссора, Гебхард в письме к Генриху настоятельно просил его сходить к Пауле и уладить дело. Эта необычная просьба показывает, что Генриху уже удалось заставить старшего брата уважать себя; вероятно, здесь сыграли свою роль какие-то интриги, которыми Генрих настраивал родителей против брата. Генрих пошел к Пауле, и мы не знаем, что при этом произошло. Однако через пару недель он написал ей письмо, которое нам о многом говорит, во всяком случае показывает нам его как человека властолюбивого и рвущегося к власти:

Я охотно верю, что ты соответствуешь тем четырем требованиям, которые назвала мне при встрече. Но этого недостаточно. Мужчина должен быть настолько уверен в своей

невесте, что, даже если он многие годы находится вдали от нее и они ничего друг о друге не слышат (что совершенно реально в годы войны), он должен знать, что ни словом, ни взглядом она не допустит мысли об измене... Тебе было послано большое испытание, которое ты должна была выдержать (подчеркнуто в оригинале) и которое ты позорным образом не выдержала... Для того чтобы ваша связь стала счастливой для вас обоих и для здоровья нации – в основе которой лежит здоровая и высоконравственная семья, – ты должна настроить себя на чудовищное самоотречение (подчеркнуто в оригинале).

Но поскольку ты не обладаешь сильной волей и плохо владеешь собой, а твой будущий муж, как уже сказано, слишком хорошо к тебе относится и довольно слабо разбирается в людях (и теперь ему уже этот пробел в изучении людей не восполнить), то этим делом должен заняться кто-то другой. И поскольку вы оба обратились ко мне за помощью, я чувствую себя обязанным взять это дело в свои руки.

В течение семи последующих месяцев Генрих не появлялся, но в феврале 1924 г. кто-то ему сообщил, что Паула снова «ведет себя неблагоразумно». На сей раз он не только проинформировал брата, но и рассказал всю историю родителям и постарался убедить их, что честь семьи требует расторгнуть помолвку. Мать, рыдая, согласилась, последним сдался отец. Только тогда Генрих написал обо всем Гебхарду. Когда же Гебхард расторг помолвку, Генрих торжествовал, но в то же время он презирал своего брата за то, что тот больше не сопротивлялся. «Он вел себя так, словно у него (Гебхарда) вообще не было сердца», – сказал он позднее.

Мы видим, что 24-летний молодой человек сумел подчинить себе и отца, и мать, и старшего брата и стать фактически диктатором в семье.

Разрыв помолвки был особенно тягостным для всех, что семьи жениха и невесты были в некотором родстве. «Но каждый раз, когда родители или Гебхард проявляли хоть малейшее сомнение в необходимости окончательного разрыва, Генрих был тут как тут и оказывал еще более сильное давление. Он разыскивал общих знакомых и объяснял им причину разрыва и тем самым подрывал репутацию девушки. Когда от Паулы пришло письмо, он заявил: „Нужно быть твердым и не допускать в свою душу сомнений“.» Желание управлять родителями и братом принимало уже черты настоящего садизма. Чтобы досадить обеим семьям, он настаивал на том, чтобы были возвращены все сделанные друг другу подарки. Он полностью проигнорировал желание отца решить дело тихо, мирно и при обоюдном согласии. Твердая и бескомпромиссная линия Генриха была доведена до конца. Гиммлер одержал полную победу и сделал основательно несчастными всех участников этой истории.

На этом она могла бы закончиться, но не таков был Генрих Гиммлер. Он нанял частного детектива для слежки за Паулой. Детектив предоставил ему набор ситуаций, которые можно было рассматривать как компромат. Гиммлер не упускал ни одной возможности унижить семью Паулы. Так, через месяц он отправил назад несколько презентов, которые он якобы забыл вернуть, и приложил только свою визитную карточку. А через два месяца состоялась последняя атака: он написал письмо к общим друзьям. Он просил их передать Пауле, чтобы она прекратила распространять о Гиммлерах гнусные слухи, и добавил предостережение: «Я хоть и добрый малый, но если меня доведут до ручки, то я натяну совсем другие струны. Я не допущу тогда в свое сердце сострадание и сумею извести своего противника в моральном и социальном смысле» (Курсив мой. – Э. Ф.).

На этом этапе Гиммлер еще вряд ли мог проявить злокачественный садизм. Это были только предпосылки. Но позднее, когда в его руках оказалась неограниченная власть, он быстро научился использовать новую политическую ситуацию в личных целях, и его садистские наклонности получили развитие исторического масштаба. Терминология, которой пользовался молодой рейхсфюрер СС, мало чем отличалась от слов, которые юный Генрих употреблял в кампании против Паулы. Можно проиллюстрировать это текстом одной из его речей 1943 г. по поводу нравственных принципов «Черного ордена».

Для представителя службы СС абсолютен принцип: быть честным, порядочным,

верным, но все это – только в отношении чистокровных германцев. Как живут русские – это мне совершенно безразлично. Мы используем все хорошее, что есть у других народов, мы заберем, если нужно, их детей и воспитаем их так, как нужно. Живут ли другие народы в благополучии или подымают от голода – это интересует нас лишь в той мере, в какой нас интересуют рабы, работающие на благо нашей культуры. Сколько русских баб погибнет при постройке противотанковых окопов – тысяча или десять тысяч, – волнует меня лишь в том смысле, что я хочу знать, когда будет готов этот противотанковый рубеж для обороны Германии. *И мы никогда не проявим грубости или бессердечия, если в этом не будет необходимости...* (Курсив мой. – Э. Ф.).

В этих высказываниях уже в полную меру виден садист. Он намерен похитить чужих детей, если у них хорошая кровь. Он собирается использовать взрослых как «рабов», и, умрут ли они или выживут, его не интересует. Окончание речи типично для нацистских фарисеев. Он жонглирует общечеловеческими ценностями и заверяет слушателей (и себя самого), что совершает жестокости лишь там, где избежать этого невозможно. Это опять типичная рационализация, которую он использовал, угрожая Пауле: «Я натяну совсем другие струны, если меня к этому кто-нибудь принудит». Гиммлер был трусливым человеком, и потому ему всегда была нужна рационализация, чтобы оправдать свою жестокость. Карл Вольф сообщает, что поздним летом 1941 г. Гиммлер присутствовал при массовом расстреле в Минске и был изрядно потрясен. Но он сказал: «Я считаю все-таки, что мы правильно сделали, посмотрев все-это. Кто властен над жизнью и смертью, должен знать, как выглядит смерть. И в чем состоит работа тех, кто выполняет приказ о расстреле». Многие из его эсэсовцев не выдерживали массовых расстрелов: одни падали в обморок, другие сходили с ума, третьи кончали жизнь самоубийством.

Нельзя говорить о садистском характере Гиммлера, не остановившись на том, что часто называли его «дружелюбием». Мы уже упоминали, что в студенческие годы он пытался завоевать расположение товарищей, навещая больных, делая подарки и т. д. Нечто подобное он совершал и при других обстоятельствах. Например, он мог дать какой-нибудь старухе кусок хлеба или булку и записать в своем дневнике: «Если бы я мог сделать больше, но мы сами ведь бедные черти» (что, между прочим, неправда, так как его семья принадлежала к зажиточному среднему сословию и они ни в коем случае не были бедняками). Он организовал совместно со своими друзьями благотворительное представление, сбор от которого был передан детям Вены. Многие утверждали, что для эсэсовцев он был «отец родной». Однако у меня создается впечатление, что большинство этих дружеских актов не были искренними. Просто у него была потребность компенсировать свою душевную ущербность, равнодушие и отсутствие чувств, он хотел убедить и себя самого, и других, что он был не тем, кем он был в действительности. Другими словами, он хотел испытать то, чего он в реальности не испытывал. Он стремился опровергнуть свою жестокость, равнодушие к людям тем, что намеренно демонстрировал доброту и участие к ним. Даже его отвращение к охоте нельзя считать серьезным, ибо в одном из писем он предложил разрешить эсэсовцам охоту на крупную дичь в награду за хорошую службу. Говорят, что он был приветлив с детьми и расположен к животным, но даже и здесь уместно сомнение, потому что этот человек почти никогда не делал того, что не способствовало его карьере.

Конечно, даже такой садист, как Гиммлер, мог бы обладать некоторыми положительными качествами, как, например, сердечность, внимательное отношение к определенным лицам в определенных ситуациях и т. д. Однако абсолютная расчетливость Гиммлера и эгоцентризм практически не позволяют поверить в наличие этих черт в его характере.

Кроме того, известен некий «доброжелательный» или благожелательный вид садизма, при котором подчинение другого человека не имеет целью нанесение ему вреда^[267]. Вполне возможно, что в характере Гиммлера также были элементы благожелательного садизма,

которые создавали иллюзию доброты. (Эти элементы можно усмотреть в его письмах к родителям, где он мягко и с «доброй иронией» поучает их; так же можно расценить и его отношения с эсэсовцами.) Показательно письмо Гимmlера к одному высокопоставленному офицеру СС, графу Коттулински, от 16 сентября 1938 г.: «Дорогой Коттулински! У Вас очень больное сердце. В интересах Вашего здоровья я на 2 года полностью запрещаю Вам курить. Через два года прошу представить медицинское заключение о Вашем здоровье, и после этого я решу, можно ли будет отменить мой запрет на курение. Хайль Гитлер!»

Этот же наставнический тон мы находим в письме от 30 сентября 1942 г., адресованном главному врачу СС Гравицу. Его отчет об экспериментах над заключенными концлагерей он считает неудовлетворительным и выражает это в следующих словах:

Это письмо направлено не на то, чтобы выбить Вас из колеи и заставить ждать своей отставки. У меня единственная цель – убедить Вас, что пора избавиться от Вашего главного недостатка и, отбросив тщеславие, действительно серьезно и с гражданским мужеством взяться за выполнение своих задач (даже самых неприятных) и наконец-то отказаться от идеи, что дела можно привести в порядок путем праздных разговоров и обсуждений. Если Вы это усвоите и будете работать над собой, то все будет в порядке и я буду снова доволен Вами и Вашей работой.

Письмо Гимmlера к Гравицу интересно не только своим наставническим тоном, но прежде всего тем, что Гимmlер призывает врача избавиться как раз от тех недостатков, которые явно присущи ему самому: тщеславие, недостаток мужества и болтливость. Архив располагает большим количеством писем, в которых Гимmlер производит впечатление строгого и мудрого отца. Многие офицеры, к которым они были адресованы, принадлежали к дворянству, и нетрудно догадаться, что Гимmlеру доставляло особое удовольствие, что он может продемонстрировать свое превосходство и обращаться с дворянскими отпрысками, как с неразумными детьми.

Конец Гимmlера также соответствует его характеру. Когда стало ясно, что Германия проиграла войну, он постарался через шведских посредников вступить в переговоры с западными державами; при этом он рассчитывал, что за ним сохранится ведущая роль, и потому предложил им условия в отношении дальнейшей судьбы евреев. В ходе переговоров он отбросил все свои политические принципы, за которые так упорно цеплялся. Разумеется, «преданный Генрих», как его называли, уже самим фактом подобных переговоров совершил последнее предательство в отношении своего кумира Адольфа Гитлера. А то, что он вообразил, будто союзники могут признать в нем нового немецкого «фюрера», свидетельствует не только о заурядном интеллекте и недостаточной способности к политическому мышлению, но также и о феноменальном нарциссизме и самомнении, которые давали ему ощущение своей значительности даже в побежденной Германии. Он отклонил предложения генерала Олендорфа сдать союзникам и взять на себя ответственность за действия СС. Человек, который проповедовал преданность, честность и ответственное отношение к делу, показал – в соответствии со своим истинным характером – величайшее вероломство и безответственность. Он бежал с фальшивым паспортом, в форме фельдфебеля, сбрив усы и завязав один глаз черной повязкой. Когда его схватили и поместили в лагерь для военнопленных, он явно из-за своего нарциссизма не мог пережить, чтобы с ним обращались, как и с тысячами неизвестных солдат. Он потребовал, чтобы его отвели к коменданту лагеря, и сказал: «Я – Генрих Гимmlер». Вскоре после этого он раскусил капсулу с цианистым калием, которая была вмонтирована у него в искусственный зуб. Всего за несколько лет до этого момента (в 1938 г.) он говорил, выступая перед группенфюрерами: «Я не понимаю тех, кто, надеясь избавиться от трудностей, способен расстаться с жизнью, как с грязной рубахой». Такого человека, продолжал он, не стоит «хоронить по-человечески», достаточно развеять его прах.

Так замкнулся круг его жизни. Он должен был достигнуть абсолютной власти, чтобы преодолеть в себе чувство слабости и тотальной жизненной импотенции. После того как он достиг этой цели, он пытался цепляться за эту власть и предал своего кумира. Когда же он

оказался на месте простого солдата в лагере для пленных, он не смог перенести крушения и превратиться в одного из сотен тысяч, в беспомощную и бесправную песчинку... Он решил, что лучше умереть, чем вернуться в положение человека без власти, т. е. снова стать слабаком.

Выводы

Гиммлер является типичным примером анально-накопительской, садистской, авторитарной личности. Он был слабым (а чувствовал себя не только слабым, но и способным на нечто значительное). Благодаря своей педантичности и любви к порядку, он приобрел некоторое чувство уверенности. Авторитет отца и желание быть на него похожим привели к формированию его стремления к неограниченной власти над другими людьми. Он завидовал прежде всего тем, кто от рождения был наделен и силой, и волей, и уверенностью в себе. Его «витальная импотенция» и породила ненависть к таким людям, желание унижать и уничтожать их (это относится и к невесте его брата, и к евреям). Он был необычайно расчетлив и холоден, у него словно не было сердца, это пугало даже его самого, усиливая чувство изолированности.

Гиммлер был абсолютным приспособленцем. Даже садистскими страстями он умел управлять, исходя из того, что ему было выгодно. Он был бесчестным и неверным и вечно лгал – не только другим, но и самому себе. Любая добродетель, которую он превозносил, была ему самому недоступна. Он предал Гитлера, хотя сам придумал основной девиз СС: «Верность – наша честь». Он проповедовал силу, твердость и мужество, а сам был слабым и трусливым. «Преданный Генрих» – насквозь лживый образ. Единственное слово правды о себе он написал в письме к отцу во время своей короткой военной службы: «Не беспокойся обо мне, ведь я хитер, как лиса»^[268].

Бихевиорист и теперь готов поставить вопрос: а может быть, Гиммлер был нормальным человеком до тех пор, пока обстоятельства не сложились так, что ему стало выгодно вести себя по-садистски?

Мне кажется, что наш анализ уже дал ответ на этот вопрос. Мы видели, что все предпосылки для садистского развития наблюдаются уже в детстве. Мы проследили развитие его неуверенности, слабости, трусости, чувства импотенции; одни только эти качества уже указывают на вероятность садистских компенсаций. Кроме того, мы видели развитие супераккуратности, педантичности и типичных анально-накопительских черт авторитарной личности. Наконец, мы убедились в первом проявлении злокачественного садизма по отношению к невесте его брата – и все это задолго до того, как он пришел к власти. Мы должны сделать вывод, что рейхсфюрер СС имел садистский характер уже до того, как он стал рейхсфюрером; его положение дало ему власть, возможность проявить свой садизм на исторической сцене; однако все, что он проявил, он уже носил в себе давно.

Все это влечет за собой еще один вопрос, которым очень часто задаются ученые, да и обыватели тоже: «А что бы стало с Гиммлером, если бы он жил в другое время, не тогда, когда нацисты пришли к власти? Что бы делал он со своим характером, тем самым, с которым вмешался в помолвку брата?» Ответ найти не так уж трудно. Поскольку у него был довольно низкий интеллектуальный потенциал и очень высокая степень аккуратности, то он, вероятно, нашел бы место в бюрократической структуре. Он мог бы быть учителем, почтовым служащим, чиновником или сотрудником какого-либо солидного предприятия. Поскольку он беззастенчиво стремился только к своей собственной выгоде, то он, возможно, в результате умелой лести и интриг смог бы добиться довольно высокого положения (но не ключевых позиций, так как для этого у него было недостаточно творческой фантазии и здравого смысла в принятии решений).

Вероятно, его бы недолюбливали коллеги, зато он мог бы стать любимцем крупного начальника. Он мог бы быть агентом в антипрофсоюзных играх Генри Форда, но в современном концерне он вряд ли стал бы хорошим управляющим. Расчетливость и душевная глухота никогда не нравятся людям. На его похоронах священник и начальник произнесли бы хвалебные речи: он был бы в их устах и любящий отец, и примерный муж, почтенный гражданин и самоотверженный работник, богоугодный прихожанин и т. п...

Среди нас живут тысячи Гиммлеров. С социальной точки зрения в обычной жизни они не приносят большого вреда, хотя нельзя недооценивать число тех, кому они наносят ущерб и делают основательно несчастными. Но когда силы разрушения и ненависти грозят поглотить все общество, такие люди становятся особенно опасными. Ведь они всегда готовы быть для правительства орудием ужаса, пыток и убийств. Многие совершают серьезную ошибку, полагая, что потенциального Гиммлера видно издалека. Одна из целей характерологических исследований как раз и состоит в том, чтобы показать, что для всех, кто не обучен искусству распознавания личности, потенциальный Гиммлер выглядит точно так же, как и все другие. И потому надо учиться читать книгу характеров и не ждать, пока обстоятельства позволят «чудовищу» показать свое истинное лицо.

Какие факторы сделали из Гиммлера безжалостного садиста? Мы могли бы найти простой ответ на этот вопрос, напомнив о факторах, которые формируют накопительский характер. Но это был бы неудовлетворительный ответ, так как характер Гиммлера представляет крайнюю и чрезвычайно злокачественную форму накопительской личности, которая встречается гораздо реже, чем безобидная форма (бережливый характер). Если мы попытаемся проследить факторы, которые способствовали развитию характера «кровавого пса Европы», мы сначала натолкнемся на его отношения с родителями. У него была сильная привязанность к матери, которая способствовала его конформизму; у него был авторитарный, но довольно слабый отец. Но ведь у миллионов людей встречаются отцы и матери с подобными чертами, однако никто из них не стал Гиммлером! В самом деле, нельзя объяснить специфические особенности человеческой личности одним или двумя факторами; только целая система взаимодействующих и развивающихся факторов может более или менее полно объяснить формирование личности. В Гиммлере мы увидели еще некоторые признаки и черты, небезразличные для развития личности: это его физическая немощь и неуклюжесть, которые, видимо, объясняются частыми детскими болезнями и слабой конституцией; к этому добавляется комплекс социальной неполноценности, который усиливался подчиненным, подобострастным отношением отца к аристократам, и многое, многое другое... Его робость по отношению к женщинам, причиной которой была, вероятно, его привязанность к матери, усилила его ощущение беспомощности, нарциссизм и чувство ревности к брату – ведь тому были присущи и мужество, и воля, и все прочие качества, которых был начисто лишен Генрих. Нельзя не сказать, что существует еще ряд факторов, которые мы не называем просто ввиду недостатка информации.

Следовало бы также учитывать и некоторые генетически обусловленные моменты, которые сами по себе нельзя считать причиной садизма, но тем не менее гены ведь, безусловно, создают определенные задатки личности. И все же главным патологическим фактором формирования личности Генриха следует, вероятно, считать удушливо-замкнутую атмосферу семьи Гиммлеров, в которой не было ни откровенности, ни тепла, ни добра; где царили законопослушание, педантизм, показной патриотизм и карьеристские устремления. В домене было духовной почвы и свежего ветра для развития здорового молодого существа, но это была норма для той общественной системы, к которой относилась эта семья. Гиммлеры принадлежали к тому классу общества, который находился на самой нижней ступени кайзеровской системы и страдал от ненависти, бессилия и безотрадности. Это была почва, на которой вырос Гиммлер, и потому чем больше революция разрушала его социальный статус, нормы и ценности его круга, тем сильнее росли в нем озлобление и осознанный карьеризм.

ХII. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АГРЕССИЯ: НЕКРОФИЛИЯ

Традиционные представления

Понятие «некрофилия» (любовь к мертвому^[269]) обычно распространяется на два типа явлений. Во-первых, имеется в виду сексуальная некрофилия (страсть к совокуплению или иному сексуальному контакту с трупом). Во-вторых, речь может идти о феноменах несексуальной некрофилии, среди которых – желание находиться вблизи трупа, разглядывать его, прикасаться к нему и, наконец, специфическая страсть к расчленению мертвого тела.

Однако обычно это понятие не употребляется для обозначения глубинной подструктуры личности, той страсти, которая коренится в самом характере и является почвой для произрастания более явных и грубых проявлений некрофилии. Я приведу несколько примеров некрофилии в традиционном смысле, что поможет нам в определении менее явных случаев некрофильского характера.

Сообщения о фактах некрофилии встречаются во многих публикациях, особенно в криминологической литературе о половых извращениях. Самое полное собрание этих фактов мы находим у одного из ведущих немецких криминологов, имя которого Герберт фон Гентиг и который посвятил данному предмету специальное исследование. (В немецком уголовном кодексе, как и в кодексах ряда других стран, некрофилия – уголовно наказуемое деяние.) Фон Гентиг приводит следующие примеры некрофилии. 1. Различного рода сексуальные действия в отношении женского трупа (половое сношение, манипуляция половыми органами). 2. Половое возбуждение при виде тела мертвой женщины. 3. Острое влечение к предметам погребения: трупам, гробам, цветам, портретам^[270] и т. д. 4. Акты расчленения трупов. 5. Желание потрогать или понюхать что-то разложившееся, зловонное...

Фон Гентиг, как и другие авторы, в частности Т. Сперри, утверждает, что некрофилия встречается гораздо чаще, чем принято считать. Однако для удовлетворения этой порочной страсти не так уж много возможностей. Только те, кто имеет доступ к трупам, получают беспрепятственную возможность к извращениям такого рода: т. е. практически это только работники моргов и могильщики. Поэтому неудивительно, что большинство приведенных примеров относится к названной группе лиц. Случается, конечно, что этим занимаются просто люди некрофильского типа. Возможность к некрофильским проявлениям имеют убийцы, но, поскольку убийства встречаются не так уж часто, трудно ожидать, что мы встретим много подходящих примеров этого типа, разве что среди случаев, которые проходят по разряду «убийство ради удовольствия».

И все же Гентиг описывает некоторые случаи, когда неизвестные лица выкапывали трупы и совершали над ними надругательства с удовлетворения страстей некрофильского характера.

Поскольку у людей, имеющих легкий доступ к трупам, некрофильские наклонности проявляются сравнительно часто, напрашивается вывод, что некрофилией в скрытой форме страдают также и многие (в мыслях своих и фантазиях), не имеющие такого доступа.

Де Ривер описывает судьбу молодого служащего морга (21 года). В 18 лет он влюбился в девушку, которая была больна туберкулезом легких. Только один раз у них была настоящая близость. А вскоре она умерла. Позже он скажет: «Я так и не смог пережить смерть моей возлюбленной. Когда я занимался онанизмом, я каждый раз представлял себе ее, и мне казалось, что я снова переживаю близость с нею». Далее Де Ривер сообщает следующее:

После того как девушка умерла, юноша был вне себя, особенно когда увидел ее в белом погребальном уборе: с ним началась настоящая истерика, и его еле оторвали от гроба. В этот

миг он испытывал сильнейшее желание лечь рядом с нею в гроб, он действительно хотел, чтобы его похоронили вместе с нею. У могилы разыгралась такая страшная сцена, что все вокруг были потрясены этой огромной любовью и утратой. Постепенно самому юноше стало ясно, что он одержим той самой страстью, первый приступ которой пережил во время похорон. Теперь его охватывало сильное сексуальное возбуждение при виде каждого трупа. В тот год он заканчивал колледж и стал убеждать маму, что ему надо стать медиком. Однако по материальным соображениям это было невозможно. Короче и дешевле был путь в школу бальзамирования. Мама не возражала, и Д. В. принялся за учебу с огромным рвением, ибо он понял, что нашел себе профессию по душе. В зале бальзамирования он всегда обращал внимание прежде всего на женские трупы и часто испытывал при этом острое желание. Он запрещал себе думать об этом и избегал возможности реализовать свое желание. Однажды, уже в конце учебы, он оказался один в комнате с трупом молодой девушки; желание было столь сильным, а условия столь благоприятными, что он не устоял. Он быстро расстегнул брюки и прикоснулся своим членом к бедру девушки – и его охватило такое возбуждение, что он совершенно потерял самоконтроль: он вскочил на труп и стал целовать различные части тела. Сексуальное возбуждение достигло апогея, и наступил оргазм. После этого его охватили угрызения совести и страх, что его могут раскрыть. Вскоре учеба подошла к концу, он сдал экзамен и получил назначение в один из городов Среднего Запада в качестве служащего похоронного бюро. Поскольку в этом учреждении он был самым молодым, ему чаще других выпадали ночные дежурства. Д. В. рассказывает: «Я был рад этой возможности оставаться наедине с мертвыми, ибо теперь я уже точно знал, что я отличаюсь от других людей, ибо контакт с трупом дает мне возможность достигнуть высшего сексуального наслаждения, к которому после смерти моей возлюбленной я постоянно стремился».

За два года службы в ритуальном учреждении через его руки прошли десятки женских трупов разных возрастов, с которыми он опробовал себя во всевозможных извращенных вариантах. Как правило, все начиналось с оцупывания, поцелуев и облизывания, а затем он терял голову и, оседлав свою жертву, с нечеловеческими усилиями доводил себя до оргазма. Все это происходило 4-5 раз в неделю.

...Однажды труп пятнадцатилетней девочки произвел на него такое впечатление, что он в первую ночь после ее смерти попробовал вкус ее крови. Это привело его в такой экстаз, что он с помощью резиновой трубки, введенной в мочеточник, принялся отсасывать урину... При этом его охватывало желание проникнуть еще глубже... Ему показалось, что максимальное наслаждение он мог бы получить, если бы смог проглотить ее или пожевать кусочек ее мяса. И он не отказал себе в этом желании. Он перевернул тело и впился зубами в самое уязвимое место сзади, а после этого, взгромоздившись сверху, совершил содомический акт.

Этот случай представляет интерес по многим причинам. Прежде всего потому, что здесь мы встречаемся с сочетанием некрофилии, некрофагии* и анального эротизма. К тому же здесь просматривается самое начало, истоки извращения. Если бы нам была известна история юноши только до момента смерти его возлюбленной, то мы постарались бы интерпретировать его поведение как выражение его большой любви. Однако последующая его жизнь проливает совершенно иной свет и на начальную фазу его жизни. Такую неразборчивую, жадную некрофилию и некрофагию вряд ли возможно объяснить утраченной любовью. Скорее придется предположить, что его «отчаяние» («печаль, горе») было не столько выражением любви, сколько первым симптомом некрофильского влечения. Далее: тот факт, что сексуальная близость с возлюбленной у него была всего лишь один раз, скорее всего объясняется не ее болезнью. Просто у него и не было сильного стремления к сексу с живой женщиной – и это как раз в связи с его некрофильскими наклонностями.

Де Ривер описывает еще один случай некрофила, тоже служащего ритуального учреждения. Этот случай менее сложный. Речь идет о неженатом мужчине 43 лет. Вот что он о себе поведал:

Когда мне было 11 лет, я подрабатывал садовником на кладбище в Милане. Я в ту пору начал заниматься онанизмом, а когда оставался наедине с трупом молодой женщины, то

старался ее потрогать. Позднее я начал искать возможность «уткнуться» в мертвое тело... Приехав в Америку и поселившись на западном побережье, я получил работу в похоронной конторе. Я должен был обмывать и одевать трупы. Так я получил возможность иметь регулярные половые сношения с мертвыми девочками – я это делал на столе, где обмывал их, или прямо в гробу.

Далее он признается, что прикасался губами к самым интимным местам, а на вопрос о количестве своих жертв отвечает: «Это число исчисляется многими сотнями».

Фон Гентиг приводит еще массу подобных случаев.

Более мягкая форма некрофилии проявляется у людей, которые при виде трупа испытывают сексуальное волнение, а иногда онанируют в его присутствии. Но количество подобных отклонений невозможно установить, ибо они практически остаются нераскрытыми.

Вторая форма некрофилии не связана с сексом и находит выражение в чисто разрушительных порывах. Эта тяга к разрушению нередко проявляется уже в детстве и довольно часто возникает только в глубокой старости.

Фон Гентиг пишет, что целью некрофильской деструктивности является «насильственное прерывание живых связей». Эта страсть наиболее ярко проявляется в стремлении к расчленению тел. Типичный случай такого рода описывается у Сперри. Речь идет о человеке, который ночью отправлялся на кладбище, имея при себе все необходимые «инструменты», выкапывал гроб, вскрывал его и утаскивал труп в надежно скрытое место. Там он отрезал ему голову и ноги и вспарывал живот... Объектом расчленения не обязательно должен быть человек, это может быть и животное. Фон Гентиг сообщает о человеке, который заколол 36 коров и лошадей и разрезал их на куски. Но нам нет нужды обращаться к литературе. Вполне достаточно газетных сообщений об убийствах, в которых жертвы оказываются зверски искалеченными или разрезанными на части. Такого рода случаи в криминальной хронике обычно квалифицируются как убийство, но субъектами таких деяний являются некрофилы; они отличаются от прочих убийц, убивающих из ревности, мести или ради наживы. У убийцы-некрофила истинным мотивом является не смерть жертвы (хотя это, конечно, необходимая предпосылка), а самый акт расчленения тела. Я сам в своей клинической практике собрал достаточно много данных, подтверждающих, что тяга к расчленению – это весьма характерная черта некрофильской личности. Я встречал, например, немало людей, у которых эта тяга проявлялась в очень мягкой форме: они любили рисовать на бумаге фигурку обнаженной женщины, а потом отрывать у рисунка руки, ноги, голову и т. д. и играть с этими отдельными частями рисунка. Такая безобидная «игра» на самом деле выполняла очень серьезную функцию, утоляя страсть к расчленению.

Другой распространенный вид некрофилии, который мне довелось наблюдать, выражался в том, что людям снились сны, в которых они видели определенные части расчлененного тела, которые лежали, летали или медленно проплывали мимо в потоке грязной воды, смешанной с кровью и нечистотами. Если подобные картины часто появляются в фантазиях и снах, то это один из вернейших симптомов некрофильского характера.

Встречаются и менее явные формы некрофилии. Одной из них является желание находиться рядом с трупами и другими предметами, предназначенными для тления.

Раух сообщает о девушке, которая страдала от такого влечения: когда она оказывалась вблизи мертвеца, на нее напал своеобразный столбняк, она смотрела на него и не могла оторваться...^[271]

У Штекеля сообщается о женщине, которая сама о себе говорила: «Я часто думаю о кладбище и о том, как происходит гниение тел в гробах».

Этот интерес к тлению часто проявляется в потребности ощущать запах гниения, что очень четко просматривается в следующей истории. Высокообразованный мужчина 32 лет от

роду был почти совершенно слепым. Он боялся громких звуков, но ему нравилось, когда он слышал крик женщины, корчившейся от боли, а кроме того, он получал удовольствие от запаха гниющего мяса. Он мечтал о «трупe крупной грузной женщины, в котором можно покопаться». Он спрашивал свою бабушку, не хочет ли она завещать ему свое тело после смерти. Ему хотелось погрузиться в ее разлагающиеся останки.

Фон Гентиг говорит о «нюхачах», которых волнует запах всякой гнили и экскрементов, он видит в этом проявление некрофилии. И наконец, последний вид некрофилии, рассмотренный в литературе, называется некрофильским фетишизмом. Это тяга к предметам погребального ритуала: гробам, цветам, венкам, портретам и т. д.

Некрофильский характер [272]

Выражение «некрофильский» было употреблено первоначально не для обозначения черты характера, а как характеристика извращенных действий... Слово это произнес впервые испанский философ Мигель де Унамуно в 1936 г.[273] по поводу националистической речи генерала Миллана Астры в Университете Саламанки, где Унамуно был ректором в тот момент, когда началась гражданская война в Испании.

Основной девиз генерала заключался в словах: *Viva la muerte!* (Да здравствует смерть!). И один из его сторонников выкрикнул этот лозунг из глубины зала. Когда генерал закончил свою речь, Унамуно поднялся и сказал следующее:

Только что я услышал бессмысленный некрофильский возглас: «Да здравствует смерть!» И я – человек, посвятивший свою жизнь формулированию парадоксов, которые нередко вызвали гнев непонимания, – я могу сказать вам как специалист, что этот иноземный парадокс мне претит. Генерал Миллан Астрай – калека, инвалид. Я говорю это без всякого оценочного подтекста. Он получил увечье на войне. Сервантес тоже был калекой. К сожалению, сейчас в Испании много инвалидов, а скоро будет еще больше, если только Бог не придет нам на помощь. Мне больно думать, что генерал Миллан Астрай будет диктовать нам свою волю и навязывать всем психологию толпы. Калека, лишенный духовного величия Сервантеса, обычно ищет утешения в том, чтобы увечить и калечить все вокруг себя.

Миллан Астрай не выдержал и воскликнул: «Долой интеллигенцию! Да здравствует смерть!» И фалангисты разразились восторженными аплодисментами. Но Унамуно продолжал:

Мы находимся в храме. Это храм разума – и я его верховный жрец. А вы осквернили эту священную обитель. Вы одержите победу, ибо на вашей стороне слишком много грубой силы и жестокости. Но вы никого не обратите в свою веру. Ибо, чтобы обратить человека, его необходимо убедить. А чтобы убедить, нужно иметь то, чего у вас нет: разум и право на борьбу. Я не стану призывать вас подумать об Испании, ибо считаю это бессмысленным. Больше мне нечего сказать[274].

Я заимствовал это понятие у Унамуно и с 1961 г. занялся изучением феномена характерологической некрофилии[275]. Мои теоретические представления я в основном приобрел, наблюдая людей во время сеансов психоанализа[276]. Дополнительные данные для анализа некрофильского характера мне дало изучение известных исторических личностей (например, Гитлера), изучение характера и поведения классов и социальных групп. Но как бы ни велика была роль моих собственных клинических наблюдений, все же решающий импульс я получил от Фрейда с его теорией влечений. Идея о том, что самые

272

273

274

275

276

фундаментальные силы в структуре личности составляют два влечения – одно к жизни, другое к смерти, произвела на меня огромное впечатление; однако теоретическое обоснование Фрейда меня не устраивало. Но оно побудило меня взглянуть на клинические данные в новом свете, сформулировать по-новому точку зрения Фрейда, таким образом сохранив ее, разумеется, основанной на другом теоретическом фундаменте, на клинических данных, которые, как я позднее покажу, обнаруживают связь с более ранними разысканиями Фрейда относительно анального характера. Итак, некрофилию в характерологическом смысле можно определить как *страстное влечение ко всему мертвому, больному, гнилоственному, разлагающемуся; одновременно это страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения; а также исключительный интерес ко всему чисто механическому (небиологическому)*. Плюс к тому это страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей (Курсив мой. – Э. Ф.).

Некрофильские сновидения

Влечение к мертвому, гнилоственному, тленному наиболее ясно обнаруживается в снах некрофилов.

Сон 1. «Я сижу в туалете. У меня расстройство желудка и меня „несет“ со страшной силой, словно бомба взорвалась и сотрясается весь дом. Я хочу принять ванну, но как только я собираюсь включить воду, я вижу, что ванна уже полна грязной водой, в которой вместе с нечистотами плавают отрезанные рука и нога.»

Автор этого сна был ярко выраженным некрофилом, которому подобные сны снились очень часто. Когда аналитик спросил его, что он при этом испытывал, пациент ответил, что ситуация не вызвала в нем страха; ему было явно неприятно пересказывать свой сон врачу.

Этот сон вскрывает многие элементы, характерные для некрофилии: это тема оторванных частей тела; это связь некрофилии с анальностью (о чем разговор пойдет чуть позже); и наконец, это проблема деструктивности. (Если перевести содержание сновидения с языка символов на язык обычный, то у носителя сна есть такое ощущение, что силой своего поноса он может разрушить весь дом.)

Сон 2. «Я иду навестить друга. Двигаюсь по улице в направлении его дома, который я хорошо знаю. Внезапно сцена меняется. Я нахожусь в сухой пустынной местности, где нет ни деревьев, ни растений. Очевидно, я продолжаю искать дом своего друга, но единственное здание, которое я вижу на горизонте, производит странное впечатление, ибо в нем нет ни одного окна. Я вхожу сквозь узенькую дверь внутрь дома и прикрываю за собой дверь. И в этот момент я слышу странный звук, словно кто-то запирает дверь. Я нажимаю на ручку двери, но она не открывается. Мне страшно, и я иду по узкому проходу, а потолки такие низкие, что мне приходится продвигаться почти ползком. Наконец я оказываюсь в большой затемненной овальной комнате. Она похожа на своды большой могилы. Когда глаза мой привыкли к темноте, я увидел пару скелетов, лежащих на полу. Тут я понял, что это моя могила. Я проснулся с ощущением панического ужаса».

Этот сон почти не нуждается в интерпретации. «Свод», который является могилкой, одновременно символизирует материнское лоно. «Дом друга» – это символ жизни. Но наш пациент вместо дороги жизни (визит к другу) выбирает путь к мертвым. Пустынная местность и могила – это, конечно, символы смерти. Сам по себе этот сон не обязательно указывает на симптомы некрофилии; его можно толковать и как символическое выражение страха перед смертью. Однако странно, если человек многократно видит во сне гробы, мумии и скелеты, т. е. когда фантастический мир его снов в основном занят видениями из мира теней.

Сон 3. Речь идет о женщине, которая страдала тяжелой депрессией. "Я сижу в туалете и освобождаю желудок, но процесс этот бесконечен: нечистоты поднимаются в унитазе и, переливаясь через край, заливают крышку, а затем и весь пол ванной комнаты. Уровень этой

жижи поднимается все выше – я утопаю...^[277] В этот момент я просыпаюсь с ощущением неопишуемой мерзости".

У этой женщины вся жизнь превратилась в сплошную мерзость, она сама ничего не может произвести, кроме грязи; весь мир ее превратился в помойку, и в смерти она окончательно соединяется с грязным потоком небытия. Эта тема встречается в мифе о Мидасе: к чему бы он ни прикоснулся – все превращается в золото, а золото, по Фрейдю, находится в символической связи с нечистотами^[278].

Сон 4. Этот сон приснился Альберту Шпееру 12 сентября 1962 г., когда он еще находился в тюрьме Шпандау. "Гитлер приезжает с инспекцией на завод. Я еще в должности рейхсминистра, но я беру в руки веник и помогаю вымести мусор из завода. После инспекторской проверки я вижу себя в его машине, где я пытаюсь надеть френч, который я снял перед тем, как подметать, но безуспешно: я не могу попасть в рукав, рука постоянно оказывается в кармане. Мы приезжаем на широкую площадь, окруженную правительственными зданиями. С одной стороны я вижу памятник воинам. Гитлер направляется к нему и кладет венок к подножию памятника. Мы входим в мраморный зал – это вестибюль какого-то официального учреждения. Гитлер спрашивает у адъютанта: «Где венки?» Адъютант говорит офицеру: «Вы же знаете, что он теперь повсюду возлагает венки». Офицер одет в светлую, почти белую форму из ткани, напоминающей тонкую перчаточную лайку. Поверх мундира на нем надета широкая накидка, украшенная вышивкой и кружевами. Приносят венок. Гитлер переходит на правую половину зала, где расположен еще один памятник воину, у подножия которого уже лежит много венков. Гитлер опускается на колени и запекает скорбную песнь в стиле грегорианского хорала, в котором постоянно повторяется распевная строчка «Maria». Стены огромного мраморного зала заполнены мемориальными досками. Гитлер один за другим кладет венки, которые ему подает ретивый адъютант... Ряд мемориальных досок кажется бесконечным, темп его движений ускоряется, а песня и плач звучат все более монотонно»^[279].

Этот сон интересен по многим соображениям. Он относится к тем снам, в которых человек выражает свои знания о другом человеке, а не свои собственные чувства и желания^[280]. И такой взгляд во сне бывает часто более точным, чем впечатление наяву. В данном случае Шпеер в стиле Чарли Чаплина находит выражение для своих представлений о некрофильском характере Гитлера. Шпеер видит в нем человека, который все свое время тратит на преклонение перед мертвыми, однако все его шаги до предела автоматизированы. Он действует как машина – для чувств здесь места нет. Возложение венков превращается в организованный ритуал, доходящий до абсурда. Но в то же самое время Гитлер возвращается в религиозную веру своего детства и оказывается полностью погруженным в скорбную мелодию песни-плача. Сон заканчивается указанием на монотонность и автоматизм траурного ритуала.

Вначале спящему снится ситуация из реальной действительности, из того периода жизни, когда он был государственным министром и очень активно брал все в свои руки. Мусор, который он сам выметает веником, возможно, символизирует пакость и грязь нацистского режима; а его неспособность попасть в рукав френча – это символическое выражение его чувства беспомощности, бессилия сделать что-либо при этой системе. Здесь происходит переход к главной теме сна, где он узнает, что у него ничего больше в жизни нет, кроме мертвецов и механического некрофила по имени Гитлер.

Сон 5. «Я сделал великое открытие, я изобрел механический суперразрушитель. Эта машина за один час может уничтожить все живые существа в Северной Америке, а в следующий час – смести с лица земли все живое. Это достигается всего лишь нажатием

277

278

279

280

потайной кнопки, о которой никто, кроме меня, не знает. И только мне известна формула химического вещества, с помощью которого можно защитить себя от разрушения. (Следующая сцена.) Я нажал на кнопку; я больше не вижу никакой жизни вокруг, я здесь один, я безмерно счастлив».

Этот сон – выражение деструктивности в чистом виде; ее носителем является крайне нарциссическая личность, не имеющая никакой привязанности к другим людям и ни в ком не нуждающаяся. Этот человек видел свой сон многократно вместе с другими некрофильскими видениями. То был тяжелый случай душевной болезни.

Сон 6. "Я приглашен на молодежную вечеринку. Все танцуют. Однако происходит что-то непонятное: темп танца замедляется и создается такое впечатление, что скоро все остановятся, не в силах двинуться с места. В этот момент в комнату входит пара великанов – огромная женщина и гигант-мужчина. У них в руках две огромные коробки. Они подходят к первой паре танцующих. Гигант достает нож и вонзает его в спину юноше. Странно, но тому, видимо, совсем не больно, крови тоже не видно. Великан вынимает какой-то предмет (я не знаю, как назвать, что-то вроде крошечного ящичка) и вставляет его в отверстие на спине юноши. Затем он вставляет еще в этот ящичек что-то похожее на ключик и делает такое движение, словно он заводит часы. В то время как великан занимался юношей, его партнерша проделала все то же самое с девушкой. Когда они закончили свое дело, молодая пара возобновила свой танец, причем с большим подъемом и в хорошем темпе.

Остальные девять пар были подвергнуты той же самой операции, а когда великаны удалились, вечеринка продолжалась с большим подъемом, а все собравшиеся были в отличном настроении".

Если мы переведем это сновидение с языка символики, то многое становится ясно. У видевшего сон в жизни появилось ощущение недостатка энергии, угасания, но организм можно подзарядить или биомеханизм заменить каким-нибудь аппаратом. Людей можно заводить наподобие часов, и они тогда поведут себя весьма «оживленно», в то время как на самом деле уже они превращены в автоматы. Этот сон приснился молодому человеку 19 лет от роду. Он изучает машиностроение, и его интересует только техника. Если бы приведенный нами сон был единственным, то можно было бы считать, что в нем нашли выражение его технические наклонности. Однако у него были и другие сны с элементами некрофилии, а потому и данный сон является не просто отражением его профессиональных интересов, но в гораздо большей мере выражением его некрофильской направленности.

Сон 7. Это сон крупного ученого, представляющий особый интерес как иллюстрация некрофильского характера современной техники в целом.

"Я приближаюсь к входу в пещеру и уже могу разглядеть здесь кое-что весьма впечатляющее: две человекоподобные свиньи толкают маленькую старую вагонетку (такую, какими пользуются в шахтах); они катят ее по рельсам, ведущим в глубь пещеры. В вагонетке сидят нормальные человеческие существа, которые похожи на мертвых, но я знаю, что они только спят.

Следующий сон – как будто продолжение первого, но я в этом не уверен. Начало такое же: я снова подхожу к входу в пещеру и вхожу в нее, солнце и небо остались за моей спиной. Я иду в глубь пещеры и вдруг вижу очень яркое свечение; я подхожу ближе и с удивлением обнаруживаю, что это светится «модерновый» город: кругом так много света, и я знаю, что все это искусственное освещение – электрическое. Весь город – из стали и стекла – настоящий город будущего. Я иду дальше и вдруг понимаю, что мне еще не встретилось ни одного живого существа: ни человека, ни зверя. Я стою перед огромной машиной. Она напоминает гигантский суперсовременный электротрансформатор, он подключен к чему-то многочисленными проводами типа кабелей высокого напряжения. Они напоминают черные гибкие шланги, и мне кажется, что по ним течет кровь. Эта догадка очень будоражит мое воображение, я нащупываю в кармане предмет, похожий на перочинный ножик, подаренный мне отцом, когда мне было 12 лет. Я подхожу к машине, втыкаю ножичек в один из черных кабелей – и в этот миг на меня выпрыскивается что-то жидкое. Я вижу, что это кровь, и тут я

просыпаюсь в холодном поту".

После того как пациент рассказал свой сон, он добавил: «Я не знаю точно, что должны означать машина и кровь, но кровь здесь тождественна электричеству, ибо и то и другое дает энергию. Я не знаю, откуда мои соображения, возможно, это связано с тем, что машина высасывает кровь из людей».

Этот сон, как и сон Шпеера, принадлежит скорее всего не некрофилу, а биофилу, который сознает некрофильскую сущность современного мира. Пещера здесь является символом смерти, например могилы. Пещера – это шахта, а люди, работающие в ней, это свиньи или мертвецы. («Открытие», что они только спят, – это коррекция из сферы рационализации сознания, которые иногда вторгаются в фантастический мир сна.) Что это означает? Речь идет о каком-то месте, где находятся никуда не годные люди, почти мертвецы. Сцена первого акта этой «пьесы» имеет отношение к ранней фазе развития индустриализма. Второй акт происходит в эпоху развитого кибернетического общества будущего. Прекрасный современный город мертв, в нем нет ни людей, ни зверей. Мощные технические приспособления высасывают из людей кровь и перерабатывают ее в электричество. Когда спящий проткнул электрический кабель (чтобы, может быть, разрушить технику), его обрызгивает фонтан крови – так, словно он совершил убийство.

Во сне он видит совершенно мертвый город, полностью автоматизированное общество – это видение такой ясности и такого художественного ощущения, какие встречаются на полотнах художников-сюрреалистов. Наяву, однако, он мало что знает из того, что он точно «знал» во сне, где он был избавлен от шума и бессмыслицы нашего повседневного бытия.

«Непреднамеренные» некрофильские действия

Сновидения – это одна из ярких форм выражения некрофильских устремлений, но отнюдь не единственная. Некрофильские тенденции могут иногда проявляться в ненамеренных, «незначительных» действиях (в «психопатологии повседневности»), которые Фрейд интерпретирует как вытесненные влечения. Я приведу здесь пример одного из сложнейших политических деятелей XX в. – Уинстона Черчилля. Речь идет вот о чем. В период первой мировой войны Черчилль и фельдмаршал Алан Ф. Брук – шеф Генерального штаба – сидели за обедом. Дело было в Северной Африке, день был очень жаркий, и было много мух. Черчилль убивал их направо и налево, то же самое, вероятно, делали и все остальные. Но затем он сделал нечто неожиданное (сэр Алан сообщает, что был шокирован этим поступком). К концу обеда Черчилль собрал всех убитых мух и «выстроил» их в один ряд на скатерти, посматривая на дело рук своих как аристократический охотник, перед которым слуги, желая его порадовать, выкладывают подстреленную дичь^[281].

Если поведение Черчилля кто-либо захочет объяснить как «привычку», то остается вопрос, что означает столь странная привычка? Если кому-то кажется, что здесь нашли выражение некрофильские наклонности (а такие черты у него явно были), то это вовсе не обязательно свидетельствует, что у Черчилля был некрофильский характер (он был слишком сложной личностью, чтобы для ее обсуждения и описания хватило двух страниц).

Я упомянул об этом факте потому, что личность Черчилля хорошо известна, а сам факт безусловно достоверен. Такой маргинальный тип поведения наблюдается у многих. Например, нередко мы встречаем людей, которые имеют привычку ломать и рвать на мелкие кусочки то, что под руку попадает: цветы, карандаши и т. д. Другие могут нанести себе травму, а потом еще и разбередить рану. Еще более ярко эта тенденция проявляется, когда человек срывает свой гнев на каком-либо прекрасном творении рук человеческих – это может быть здание, мебель, посуда, статуэтка или другое произведение искусства. Самые крайние выражения такого вандализма случаются в музеях, когда человек вонзает нож в холст или в самого себя перед лицом соответствующей картины.

Некрофильским можно назвать поведение лиц, которые чувствуют влечение к скелетам (ими часто бывают медики – врачи и студенты). Обычно это объясняют профессиональным интересом. Но это не всегда так. Чтобы доказать это, достаточно привести один случай из психоаналитической практики. Студент-медик, у которого в спальне стоял скелет, через некоторое время, немного смущаясь, рассказал своему врачу, что он этот скелет довольно часто кладет к себе в постель, обнимает и целует. У этого юноши аналитик обнаружил и другие некрофильские симптомы.

С другой стороны, некрофильский характер может проявляться в убежденности, что единственный путь разрешения проблем и конфликтов – это насилие. Здесь вопрос заключается в том, можно ли при определенных обстоятельствах прибегнуть к применению силы. Для некрофила характерно убеждение, что насилие – это «способность превратить человека в труп» (используя терминологию Симоны Вейль) и что оно – первый и последний (т. е. единственный) путь, на котором гордиев узел проблем оказывается разрубленным, а терпеливое развязывание новых узлов ни к чему не приводит. Такие люди реагируют на проблемы жизни в основном деструктивно и никогда не пытаются помочь другим людям найти конструктивный способ их решения. Их поведение напоминает реакцию королевы из «Алисы в стране чудес», которая по любому поводу распорядилась: «Отсечь им головы!» Тот, у кого подобный импульс является главным, как правило, просто не в состоянии увидеть другие возможности, которые позволят избежать разрушения. Такие люди не видят, насколько беспомощным и малоубедительным является насилие перед лицом времени. Классический пример такой позиции мы находим в библейской истории о том, как царь Соломон решил спор двух женщин, заявлявших о своем материнстве в отношении одного и того же ребенка. Когда царь Соломон предложил женщинам разорвать ребенка пополам, то настоящая мать предпочла уступить ребенка другой женщине, чем доставить ему боль; а женщина, которая только выдавала себя за мать, согласилась его «поделить». Ее решение типично для некрофила, одержимого жадной обладания.

Менее явное выражение некрофилии находит в особом интересе к болезни во всех ее формах, а также к смерти. Например, бывает, что мать постоянно думает о болезнях своего ребенка и строит мрачные прогнозы о его будущем; во в то же время она не реагирует на благоприятные перемены в течении болезни, не замечает ничего нового, что появляется у ребенка, в том числе оживления и радости в его глазах. Тем самым она не наносит ребенку явного ущерба, но все же постепенно радость жизни и вера в собственные силы может в нем заглохнуть, он может как бы заразиться некрофильской ориентацией матери.

Тот, кому довелось слышать, как общаются друг с другом пожилые люди (из самых разных социальных групп), видимо, не раз обращал внимание на то, что темой разговора чаще всего бывают болезнь или смерть. Это связано с целым рядом причин. Для многих людей с ограниченным кругозором болезнь и смерть – главные драматические события жизни, поэтому они и составляют основной предмет разговоров наряду с обсуждением семейных новостей. Но есть и совсем иные причины. Бывает, что человек проявляет внезапное оживление и активность, когда речь заходит о чужой болезни или еще каком-либо грустном событии (от финансовых трудностей до смерти). Особый интерес некрофильской личности к мертвым проявляется не только при разговорах, но и при чтении газет. Такие люди в первую очередь интересуются уголовной хроникой. Они охотно обсуждают различные аспекты убийств и других смертей, выясняют обстоятельства, причины и следствия недавних смертей, прогнозируют, кто теперь на очереди, и т. д. Они не пропускают случая сходить в крематорий и на кладбище... Нетрудно догадаться, что такая «страсть» к похоронам – просто смягченная форма уже описанных выше случаев явного интереса к трупам, моргам и могилам.

Сравнительно трудноуловимой чертой некрофильского характера является особая безжизненность при общении. Причем здесь дело не в предмете обсуждения, а в форме высказывания. Умный, образованный некрофил может говорить о вещах, которые сами по себе могли бы быть очень интересными, если бы не манера, в которой он преподносит свои

идеи. Он остается чопорным, холодным, безучастным. Он представляет свою тему педантично и безжизненно. Противоположный тип характера, биофил, напротив, может говорить о переживании, которое само по себе не очень интересно, но он подает их столь заинтересованно и живо, что заражает других своим хорошим настроением. Некрофил действует на группу, как холодный душ или «глушитель» всякой радости, как «ходячая тоска», от присутствия такого человека все вокруг испытывают тяжелое ощущение и быстро устают.

Еще одно измерение некрофильских реакций проявляется в отношении к собственности и в оценках прошлого. Некрофил воспринимает реально только прошлое, но не настоящее и не будущее. В его жизни господствует то, что было (т. е. то, чего уже нет, что умерло): учреждения, законы, собственность, традиции, владения. Короче говоря, вещи господствуют над человеком; «иметь» господствует над «быть», обладание – над бытием, мертвое – над живым.

В личностном, философском и политическом сознании некрофила сохраняется святое почтение к прошлому, ничто новое не имеет ценности, а резкие перемены воспринимаются как преступление против «естественного, природного» хода вещей^[282].

Следующий аспект некрофилии проявляется в отношении к цвету. Некрофилы предпочитают темные тона, поглощающие свет: черный, коричневый^[283]. Это предпочтение проявляется в одежде, в выборе предметов мебели, штор, красок для рисунков и т. д.

Далее – отношение к запахам. Как показывает материал клинических исследований, большая часть некрофилов отличается пристрастием к дурным запахам типа «задохнувшегося» или уже гниющего мяса. Это проявляется в двух вариантах. Первый состоит в том, что человек откровенно любит запах мочи, кала, застоявшихся нечистот... и с удовольствием заглядывает в вонючие общественные туалеты. Однако более распространен другой вариант пристрастия, при котором желание получить удовольствие от дурных запахов оказывается вытесненным. Это приводит к своеобразной реакции, которая доступна наблюдению: человек пытается устранить любую возможность дурного запаха, но он ведет себя так, даже когда на самом деле ничего подобного в его окружении нет. (Это похоже на сверхчистоплотность человека с анальным характером.) Однако так или иначе все некрофилы реагируют на дурные запахи. Как было подмечено, эта заинтересованность нередко проявляется в специфической мимике, напоминающей гримасу «принюхивания». Так что некрофила можно распознать и по выражению лица. И хотя такая гримаса не является обязательной для всех, но уж когда она есть, то это, пожалуй, самый надежный признак некрофила. И еще есть одна характерная черта мимики: некрофил практически не умеет смеяться. Его лицо как маска. Ему недоступен нормальный, свободный, облегчающий душу смех, его улыбка вымучена, безжизненна, она похожа скорее на брезгливую гримасу. Например, по телевидению мы иногда видим, что у выступающего совершенно неподвижное лицо; только в начале и в конце речи на его лице появляется подобие ухмылки – какая-то автоматическая гримаса, символизирующая американский обычай «лучезарного» общения. Такие люди не умеют одновременно говорить и улыбаться, ибо их внимание сосредоточено обычно на чем-то одном, их улыбка не органична, она появляется будто запланированное действие, как это бывает у плохого актера. Некрофила нередко выдаёт кожа: ее цвет и «фактура» производят впечатление какой-то «высушенной», неживой «бумажной» поверхности, и когда мы встречаем человека, о котором хочется сказать, что у него какое-то серое лицо, мы имеем в виду не то, что он не умывался, а это и есть наше восприятие некрофила...

Некрофильский язык

Прямым проявлением речевой некрофилии является преимущественное употребление слов, связанных с разрушением или с экскрементами. И хотя слово «дерьмо» сегодня вообще-то широко распространено, легко узнать людей, для которых это просто любимое слово, которое они применяют вдоль и поперек. Для примера вспомним 22-летнего мужчину, у которого главным словом было «дерьмо»; он мог так называть все, что угодно: жизнь, людей, идеи, природу... Сам о себе он говорил с гордостью: «Я мастер по разрушению...»

Во время обследования среди рабочих и служащих Германии мы наткнулись в анкетах на множество разных способов выражения некрофильских наклонностей. Яркой иллюстрацией могут служить ответы на такой вопрос: «Что Вы думаете о женщинах, применяющих губную помаду и косметику?»^[284] Многие ответили: «Это буржуазный стиль», или «Это противоречит природе», или «Это негигиенично». Такие ответы просто соответствовали определенным идеологическим установкам. Однако меньшая часть опрошенных дала другие ответы. Например, «Косметика – это яд», «Такие женщины выглядят как проститутки». Такие ответы, не имеющие ничего общего с действительностью, как раз и характеризуют личность отвечающего. У всех, ответивших подобным образом, и в других тестах проявились деструктивные тенденции.

Чтобы проверить гипотезу о некрофилии, мы с Майклом Маккоби разработали интерпретативную анкету из 12 альтернативно сформулированных закрытых вопросов^[285]. Некоторые вопросы были направлены на выявление анального типа личности, а другие – уже упомянутых признаков некрофилии. Маккоби опробовал этот опросник в зондажных испытаниях на шести группах населения (различающихся по классовой и расовой принадлежности, а также по уровню образования). Здесь, к сожалению, нет места для подробного описания методики и результатов обследований. Достаточно сказать, что было установлено следующее:

1. Что действительно существует некрофильский синдром, подтверждающий нашу теоретическую модель;
2. Что биофильские и некрофильские тенденции поддаются измерению;
3. Что эти тенденции явным образом коррелируют с социополитическими значениями^[286].

Интерпретация анкет показала, что приблизительно 10-15% опрошенных имеют некрофильскую доминанту. В ходе опросов выяснилось, что многие из этих людей (а также и их семьи) словно прошли полную стерилизацию и живут в совершенно мертвящей атмосфере, лишённые каких-либо радостей.

В этом исследовании мы получили ответы, которые помогли нам установить определенную корреляцию (соотношение) между характером человека и его взглядами. Эти данные заинтересованный читатель может в полном объеме найти у Маккоби. Я же приведу только один-единственный вывод: «Все опросы показали, что антижизненные (деструктивные) тенденции весьма примечательно коррелируют с политическими воззрениями тех лиц, которые выступают за усиление военной мощи страны... Лица с деструктивной доминантой считали приоритетными следующие ценности: более жесткий контроль над недовольными, строгое соблюдение законов против наркотиков, победное завершение войны во Вьетнаме, контроль над подрывными группами и их действиями, усиление полиции и борьба с мировым коммунизмом».

Обожествление техники и некрофилия

Льюис Мэмфорд установил, что существует связь между деструктивностью и

284

285

286

поклонением перед машинной мощью – «мегатехникой». Мэмфорд утверждает, что эта связь просматривается еще в Египте и Месопотамии, которые более 5000 лет тому назад имели такие социальные структуры, которые во многом напоминают общественное устройство в странах современной Европы и Северной Америки.

По сути дела, инструменты механизации уже 5000 лет тому назад были отделены от тех человеческих функций и целей, которые не способствовали постоянному росту власти, порядка и прежде всего контроля. Рука об руку с этой протонаучной идеологией шло соответствующее регламентирование и деградация некогда автономной человеческой деятельности: здесь впервые возникает «массовая культура» и «массовый контроль». Есть полный сарказма символизм а том, что величайшим созданием мегамашин в Египте были колоссальные могильники, заселенные мумифицированными трупами, а позднее в Ассирии – как и во всех без исключения расширяющихся мировых империях – главным свидетельством технических достижений была пустыня разрушенных городов и сел и отравленная почва: прототип «цивилизованного» ужаса нашей эпохи.

Начнём с рассмотрения самых простых и очевидных признаков современного индустриального человека: его больше не интересуют другие люди, природа и все живое. Его внимание все больше и больше привлекают исключительно механические, неживые артефакты. Примеров тому – тьма. В нашем индустриальном мире сплошь и рядом встречаются мужчины, которые к своей автомашине питают более нежные чувства, чем к жене. Они гордятся своей моделью, они за ней ухаживают, они моют ее собственноручно (даже когда достаточно богаты, чтобы заплатить за мойку). В самых разных странах многие автолюбители называют свою автомашину ласкательным именем; они уделяют машине массу внимания, прислушиваются к ней, наблюдают за ее поведением и немедленно принимают меры, если обнаруживаются хоть малейшие признаки дисфункции. Разумеется, автомашину нельзя назвать объектом сексуального интереса, но вполне можно утверждать, что это объект любви: жизнь без машины представляется человеку порой куда как более невыносимой, чем жизнь без жены. Разве такая «любовь» к автомашине не убедительная примета извращения?

Возьмем другой пример – увлечение фотографией. Каждый, кому приходилось наблюдать поведение туриста (или свое собственное) с фотоаппаратом в руках, мог убедиться, что фотографирование превратилось в некий эрзац зрительного восприятия^[287]. Конечно, чтобы навести объектив на желаемый объект, надо пару раз на него взглянуть, но затем надо только нажимать на кнопку, чтобы отснять пленку и привезти ее домой. При этом самому фотографу достаточно взглянуть и не обязательно видеть. Видение – это функция человека, великий дар, полученный от рождения; он требует деятельного отношения к жизни, внутренней собранности; заинтересованности и терпения. Сделать снимок, щелкнуть (в самом слове содержится весьма характерный элемент агрессивности) означает, по сути дела, что сам процесс видения сведен к получению объекта – фотографии, которая затем будет предъявлена знакомым как доказательство того, что «ее владелец там был». То же самое можно сказать о «меломанах», для которых прослушивание музыки превратилось в повод «поиграть» со своей домашней звуковой системой – проигрывателем, стерео-усилителем и т. д. Слушание музыки для них – это лишь изучение технических качеств записывающей и воспроизводящей аппаратуры.

Еще один пример из этой серии – любитель техники как таковой, аппаратоман (техно-"фан"). Такой человек стремится где только можно использовать технику якобы для экономии человеческой энергии. К таким людям относятся, например, продавцы, которые даже простейшие вычисления делают на счетной машинке. Так же как те автолюбители, которые, выйдя из подъезда, автоматически плюхаются на сиденье машины, хотя пройти нужно было бы всего один квартал. Многие из нас знакомы с такими народными умельцами, которые любят конструировать различные технические приспособления типа

дистанционного управления: нажмешь на кнопку, а в углу комнаты вдруг забьет фонтанчик, или сама откроется дверь, или что-нибудь еще произойдет в этом роде, весьма далекое от реализации практических целей.

Описывая подобные модели поведения, я, разумеется, вовсе не хочу сказать, что пристрастие к фотографии, автомобилю или использованию технических приспособлений – это проявление некрофильских тенденций. Но бывает, что страсть к техническим приспособлениям заменяет (вытесняет) подлинный интерес к жизни и избавляет человека от применения всего того обширного набора способностей и функций, которыми он наделен от рождения. Я вовсе не хочу этим сказать, что инженер, страстно увлеченный проектированием различных машин, уже тем самым проявляет некрофильский синдром. Он может оставаться при этом весьма творческим человеком, любящим жизнь, что и находит выражение как в его конструктивных технических идеях, так и в его отношении к природе, искусству и к другим людям. Я отношу этот синдром скорее к тем людям, у которых интерес к артефактам вытеснил интерес ко всему живому, и потому они механически с педантизмом автомата занимаются своим техническим делом.

Но еще более зримым некрофильский элемент этого явления становится тогда, когда мы ближе рассматриваем непосредственные доказательства связи между техникой и деструктивностью. Наше время дает тому немало примеров. Самый яркий пример такой связи дает нам судьба Ф. Маринетти – основателя и главы итальянского

футуризма, который всю жизнь был фашистом. В первом «Манифесте футуризма» (1909) он сформулировал идеи, которые нашли полное понимание и поддержку в идеологии национал-социализма, а вначале второй мировой войны были реализованы^[288]. Особое чутье художника дало возможность Маринетти предсказать и выразить некоторые мощные тенденции, которые были тогда едва уловимы.

Манифест футуризма

1. Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия!
2. Смелость, отвага и бунт – вот что воспевает мы в своих стихах.
3. Старая литература воспевала леность мысли, восторги и бездействие. А вот мы воспевает наглый отпор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, оплеуху и мордобой.
4. Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее – теперь в нем есть скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не сравнится Ника Самофракийская.
5. Мы воспевает человека за баранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она несется по круговой орбите.
6. Пусть поэт жарит напропалую, пусть гремит его голос и будит первозданные стихии!
7. Нет ничего прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову разобьет темные силы и подчинит их человеку.
8. Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад? Ведь мы вот-вот прорубим окно прямо в таинственный мир невозможного! Нет теперь ни Времени, ни Пространства. Мы живем уже в вечности, ведь в нашем мире царит одна только скорость.
9. Да здравствует война – только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! Долой женщин!
10. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль трусливых соглашателей и подлых обывателей!
11. Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы; пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах; ночное гудение в портах и на

верфях под слепящим светом электрических лун. Пусть прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей. Пусть заводы привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть мосты гимнастическим броском перекинутся через ослепительно сверкающую под солнцем гладь рек. Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов сливается с плеском знамен и рукоплесканиями восторженной толпы[249].

Здесь мы уже встречаем серьезные элементы некрофилии: обожествление машин и скоростей; понимание поэзии как средства для атаки; прославление войны, разрушения культуры; ненависть к женщине; отношение к локомотивам и самолетам как к живым существам.

Второй футуристский манифест (1910) развивает идеи новой «религии скоростей».

Быстрота (сущность которой состоит в интуитивном синтезе всякой силы, находящейся в движении) по самой своей сути чиста. Медлительность по сути своей нечиста, ибо ее сущность в рациональном анализе всякого рода бессилия, находящегося в состоянии покоя. После разрушения устаревших категорий – добра и зла – мы создадим новые ценности: новое благо – быстрота и новое зло – медлительность. Быстрота – это синтез всего смелого в действии. Такой синтез воинственен и наступательно-активен. Медлительность – это анализ застойной осторожности. Она пассивна и пацифична...

Если молитва есть общение с Богом, то большие скорости служат молитве. Святость колес и шин. Надо встать на колени на рельсах и молиться, чтобы Бог нам послал свою быстроту. Заслуживает преклонения гигантская скорость вращения гиростатического компаса: 20 000 оборотов в минуту – самая большая механическая скорость, какую только узнал человек.

Шуршание скоростного автомобиля – не что иное, как высочайшее чувство единения с Богом. Спортсмены – первые адепты этой религии. Будущее разрушение домов и городов будет происходить ради создания огромных территорий для автомобилей и самолетов (Выделено отчасти мной. – Э. Ф.).

Кто-то назвал Маринетти революционером, который порвал с прошлым и открыл новому ницшеанскому сверхчеловеку ворота в современность, и потому сам он вместе с Пикассо и Аполлинером стал одной из важнейших сил современного искусства. Я могу по этому поводу возразить лишь одно: революционные идеи Маринетти обеспечили ему почетное местечко рядом с Муссолини, а затем и с Гитлером. Это как раз тот самый случай переплетения риторических революционных лозунгов с обожествлением техники и деструктивными целями, которые так характерны для нацизма. Хотя Муссолини и Гитлер и были бунтарями (особенно Гитлер), но они отнюдь не были революционерами. У них не было по-настоящему творческих идей, и они не произвели каких-либо серьезных преобразований, которые пошли бы на пользу человеку. В них не было самого главного критерия революционного духа: любви к жизни, желания служить ее развитию; у них отсутствовала также страстная жажда независимости[289].

В первую мировую войну связь техники с деструктивностью еще не проявила себя. Самолеты бомбили умеренно, танки были всего лишь продолжением традиционных форм оружия.

Вторая мировая война внесла одну решающую перемену: самолеты стали средством массового уничтожения[290]. Летчики, которые сбрасывали бомбы, вряд ли думали о том, что за несколько минут они убивали тысячи людей. В самолете сидела команда: пилот, штурман и стрелок, а вернее, бомбометатель. Они вряд ли даже отдавали себе отчет в том, что они имеют дело с врагом, что они убивают живых людей. Их задача состояла в том, чтобы обслуживать сложную машину в точном соответствии с планом полета. На уровне

рассудка им, конечно, было ясно, что в результате их действий тысячи, а то и сотни тысяч людей погибают в огне или под обломками, но на уровне чувства они это вряд ли воспринимали; как ни парадоксально это звучит – их лично все это не затрагивало. Именно поэтому, вероятно, многие из них (даже большинство) не чувствовали ответственности за свои действия, которые на самом деле были величайшей в истории жестокостью по отношению к человеку.

Современная война в воздухе следует принципам современного автоматизированного производства^[291], в котором и рабочие, и инженеры полностью отчуждены от своего труда. В соответствии с общим планом производства и управления они выполняют технические задания, не видя конечного продукта. Но даже если они видят готовую продукцию, она их прямо не касается, они за нее не отвечают, она лежит вне сферы их ответственности. От них никто не ждет, что они спросят, что несет эта продукция – пользу или вред. Это решают управляющие. Что же касается управляющих, то для них «полезно» все то, что «выгодно» (и что приносит пользу предприятию), а это не имеет ничего общего с объективной оценкой полезности продукта. В войне «полезно» то, что служит уничтожению противника, и решения о том, что в этом смысле полезно, часто принимаются на основе весьма приблизительных данных.

Для инженера, как и для пилота, достаточно того, что он получает готовое решение управляющих, и никто не думает, что он может в нем усомниться или даже просто задумается по этому поводу. Когда речь идет об уничтожении сотен тысяч жизней в Дрездене, Хиросиме или Вьетнаме, ни пилоту, ни другим членам экипажа даже в голову не придет вопрос о военной правомерности (целесообразности) или моральной оправданности выполняемых ими приказов; они знают только одну задачу: правильно обслуживать свою машину.

Нам могут возразить, что солдат всегда был обязан безусловно подчиняться командиру. Это, конечно, верно, но такой довод упускает из виду момент существенного различия между пехотинцем и летчиком. Первый своим оружием тоже может совершить разрушение, но это же не значит, что он одним движением руки может уничтожить массы людей, которых он никогда в жизни не видел. Можно сказать, что и летчик в своих действиях руководствуется традициями воинского долга, чувством патриотизма и т. д. Но это все же не главные мотивы для беспрекословного выполнения приказов. Летчики – прекрасно обученные технические специалисты, которые для четкого и незамедлительного выполнения своих профессиональных функций вовсе и не нуждаются в какой-либо дополнительной мотивации.

Даже массовое уничтожение евреев было организовано нацистами как своеобразный производственный процесс (хотя тотальное удушение в газовых камерах не требовало особо утонченных технических средств). В начале этого процесса проводилось обследование жертвы с точки зрения ее способности к полезному труду; тот, кто не попадал в эту категорию, отправлялся в газовую камеру якобы для санитарной обработки. Одежду, ценности и другие пригодные к употреблению вещи (волосы, золотые коронки и т. д.) снимали, сортировали и «снова запускали в производственный процесс»; в камеру подавали газ, после чего трупы сжигали. «Обработка» жертв проходила рационально и методично, палачам не видны были смертные муки, они участвовали в осуществлении политико-экономической программы, программы фюрера, однако между тем, что они делали, и непосредственным собственноручным убийством все-таки еще оставалась какая-то дистанция, может быть, всего лишь один шаг^[292].

Конечно, человеку необходимо закалять свое сердце, если он не хочет, чтобы его волновала судьба людей, которых он недавно видел, участвовал в обсуждении их судьбы, а затем был свидетелем их уничтожения во время бомбардировки города. Однако, невзирая на

все различия, фактически обе ситуации имеют и нечто общее: автоматизм деструктивности, в результате которого практически устраняется реальное осознание того, что происходит. Когда процесс уже необратим» для деструктивности не остается никаких преград, ибо никто ведь и не разрушает, просто каждый выполняет свою функцию по обслуживанию машины в соответствии с программными (и, видимо, разумными) целями.

Если эти рассуждения об автоматически-бюрократическом характере современной деструктивности верны, то не опровергают ли они моей главной гипотезы о некрофильском характере духа тотальной техники (идеологии всеобщей автоматизации)? Может быть, более правильно сделать такое допущение, что человек технического века страдает не столько от страсти к разрушению, сколько от тотального отчуждения; может быть, уместнее описывать его как несчастное существо, которое ничего не чувствует – ни любви, ни ненависти, ни жалости к разрушенному, ни жажды разрушать; это уже и не личность, а просто автомат?

На такой вопрос ответить нелегко. Нет сомнения, что у Маринетти и Гитлера, как и у тысяч нацистских карателей, а также надзирателей сталинских концлагерей, основным мотивом поведения была жажда разрушать. Но можно ли сказать, что это были современные типы «технотронного» общества? Или это были представители «старомодного» образца? Имеем ли мы право оценивать «дух технотронного» века с точки зрения некрофильских тенденций?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо внести ясность в некоторые проблемы, которых я еще пока не касался. И первая из них – это проблема соотношения (связи) между анально-накопительским характером и некрофилией.

Данные клинических исследований, а также изучение снов некрофильских личностей показали, что в каждом случае имеют место проявления анального характера. Мы уже видели, что озабоченность проблемой очищения желудка или увиденные во сне экскременты есть символическое выражение интереса ко всему гнилому, разлагающемуся, во всяком случае к не живому. Правда, «нормальный» анально-накопительский характер хоть и нельзя назвать жизнерадостным, но он все же не обязательно является некрофильским. Фрейд и его сотрудники продвинулись в изучении этой проблемы еще на один шаг: они установили, что часто анальному характеру (нередко, хоть и не всегда) сопутствует садизм. Такое соединение встречается чаще всего у людей не просто накопительского типа, а именно у тех, кто отличается особым нарциссизмом и враждебностью к другим. Но даже садисты все-таки способны к сосуществованию; они стремятся властвовать над другими людьми, но не уничтожать их. Следующая ступень враждебности нарциссизма и человеконенавистничества – это уже некрофилия. У некрофила одна цель – превратить все живое в неживую материю; он стремится разрушить все и вся, включая себя самого; его врагом является сама жизнь.

Таким образом, мы выдвигаем следующую гипотезу. В аномальном развитии личности просматривается такая последовательность: «нормально»-анальный характер – садистский характер – некрофильский характер. В этой последовательности четко улавливается нарастание нарциссизма, враждебности и деструктивности (хотя, конечно, в данном континууме имеется огромное многообразие вариантов). Суть нашего предположения состоит в том, что некрофилию можно определить как злокачественную форму проявления анального характера.

Но если бы связь между анальным характером и некрофилией была столь простой, как я изобразил на схеме, то была бы совершенно очевидна теоретическая неполноценность всей конструкции. Эта связь вовсе не так проста и прозрачна. Анальный тип личности, столь характерный для буржуазии XIX в., все реже и реже встречается в тех слоях населения, которые заняты сегодня в экономически наиболее прогрессивных сферах производства^[293]. И хотя феномен тотального отчуждения у большинства американского населения пока не фиксируется официальной статистикой, однако такое отчуждение в полной мере присуще экономически наиболее передовому классу, который олицетворяет собой ту самую

перспективу общественного развития, на которую ориентируется общество в целом. И в самом деле, новый тип человека и его характер не уместаются в рамки старой типологии: их нельзя квалифицировать в терминах орального, анального или генитального характера. Я в свое время пытался найти для этого нового типа обоснование в терминах маркетинга; я так и назвал его «Marketing-Charakter» – рыночная личность.

Для рыночной личности весь мир превращен в предмет купли-продажи – не только вещи, но и сам человек, его физическая сила, ловкость, знания, умения, навыки, мнения, чувства и даже улыбка. С исторической точки зрения такой тип личности – совершенно новое явление, ибо это продукт развитого капитализма, где центральное место занимает рынок – рынок потребительских товаров, рынок услуг и рынок рабочей силы; принцип данной системы – извлечение максимальной прибыли путем удачной торговли и обмена^[294].

Анальный (так же как оральный или генитальный) тип личности относится к тому периоду развития общества, когда отчуждение еще не приобрело тотального характера. Такие типы могут существовать лишь до тех пор, пока человек не утратил чувственного восприятия своего тела и процессов, в нем протекающих. Что же касается кибернетического человека, то он живет в таком отчужденном состоянии, что он и тело-то свое собственное воспринимает исключительно как инструмент (средство) для достижения успеха. Это тело должно быть молодым и здоровым на вид, и тогда на рынке труда он получит высокую оценку и займет соответствующий пост. Здесь мы вернемся еще раз к тому вопросу, из-за которого были вынуждены сделать это отступление. Вопрос этот состоит в том, можно ли считать некрофилию характерной чертой второй половины XX в., действительно ли она свойственна людям в США и других высокоразвитых капиталистических или государственно-капиталистических общественных системах?

Этот новый человеческий тип интересуют в конечном счете не трупы или экскременты; наоборот, у него даже может быть полное неприятие трупов и страх перед ними (трупобоя), которые он так препарирует, что мертвый у него выглядит живее, чем при жизни. (Это общая ориентация на все искусственное, на вторую рукотворную реальность, отрицающая все естественное, природное как второсортное.) Однако он совершает и нечто еще более страшное. Он отворачивает свой интерес от жизни, от людей, от природы и от идей – короче, от всего того, что живет; он обращает все живое в предметы, вещи, включая самого себя и свои человеческие качества: чувства и разум, способность видеть, слышать и понимать, чувствовать и любить. Секс в набор технических приемов («машина для любви»); чувства прощаются и заменяются просто сентиментальностью, радость, как выражение крайнего оживления, заменяется возбуждением или «удовлетворением», а то, что раньше у человека называлось любовью и нежностью, он большей частью отдает теперь технике (машинам, приборам, аппаратам). Мир превращается в совокупность артефактов: человек весь (от искусственного питания до трансплантируемых органов) становится частью гигантского механизма, который находится вроде бы в его подчинении, но которому он в то же время сам подчинен. У человека нет других планов и иной жизненной цели, кроме тех, которые диктуются логикой технического прогресса. Он стремится к созданию роботов и считает это одним из высших достижений технического разума; а многие специалисты заверяют, что можно сделать робота, который почти ничем не будет отличаться от человека. Такое достижение вряд ли способно нас удивить больше, чем то, что сам человек на сегодня сплошь и рядом как две капли воды похож на робота.

Мир живой природы превратился в мир «безжизненный»: люди стали «нелюдями», вместо белого света мы видим «тот свет», вместо живого мира – мертвый мир. Но только теперь символами мертвечины являются не зловонные трупы и не экскременты – в этой роли отныне выступают блестящие чистотой автоматы, – а людей мучит не притягательность вонючих туалетов, а страсть к сверкающим автоматическим конструкциям из алюминия,

стали и стекла^[295]. Однако за этим стерильным фасадом все яснее просматривается настоящая реальность. Человек во имя прогресса превращает мир в отравленное и зловонное пространство (и на сей раз в прямом смысле, без всякой символики). Он отравляет воздух, воду, почву, животный мир – и самого себя. Он совершает все эти деяния в таких масштабах, что возникает сомнение в возможности жизни на Земле через сто лет. И хотя факты эти известны и многие люди протестуют против продолжения экологических преступлений, но те, кто причастен к этой сфере деятельности, продолжают поклоняться техническому «прогрессу» и готовы все живое положить на алтарь своему идолу. Люди и в древности делали жертвоприношения из детей или военнопленных, но никогда в истории человек не допускал мысли, что в жертву Молоху* может быть принесена сама жизнь – его собственная жизнь, а также жизнь его детей и внуков. И какая при этом разница, делается все это нарочно или нечаянно? Даже лучше не знать о грозящей опасности, глядишь, и освободят тебя от ответственности за злодеяния. Однако на самом деле что-то мешает людям сделать необходимые выводы из имеющихся знаний; это «что-то» и есть некрофильский элемент в характере человека.

Аналогичная история с подготовкой термоядерной войны. Обе сверхдержавы постоянно наращивают свой военный потенциал (свою способность одновременно уничтожить друг друга, т. е., как минимум, стереть с лица Земли большую часть человечества); они не предприняли никаких серьезных мер для устранения этой угрозы (причем единственной серьезной мерой является только уничтожение ядерного оружия). Но те, кто отвечает за ядерный потенциал, уже не раз, играя с огнем, были близки к тому, чтобы «нажать кнопку». Так, например, в стратегических прогнозах Германа Кана в его книге «Ядерная война» небрежно и просто светски обсуждается вопрос о том, является ли «оправданной» цифра 50 млн. убитых. И в этом случае, пожалуй, не стоит сомневаться, что автор ведет речь в духе некрофильской тенденции.

Многие из современных явлений, по поводу которых мы возмущаемся, – преступность, наркомания, упадок культуры и духовности, утрата нравственных ориентиров – все это находится в тесной связи с ростом притягательности всякой мерзости и мертвечины. Можно ли ожидать, что молодежь, бедные и несчастные люди сумеют устоять перед этим крахом и запустением, если он пропагандируется теми, кто определяет направление развития современного общества?

Так мы с неизбежностью приходим к выводу, что безжизненный мир тотальной автоматизации – всего лишь другая форма проявления мира запустения и мертвечины. Этот факт очень многие люди не в состоянии осознать, однако (если говорить в терминах Фрейда) вытесненное часто возвращается обратно, и тогда тяга этих людей к мертвому, тлетворному и мерзкому становится такой же очевидной, как и в самых крайних случаях проявления анального характера.

До сих пор мы были «пристегнуты» к схематической связке: механический – неживой – анальный. Однако при рассмотрении характера предельно отчужденного, кибернетического человека ни в коем случае нельзя упускать из виду еще один важный аспект: шизоидные или шизофренические черты этого человека. Первое, что бросается в глаза, – это, вероятно, разорванность личности, рассогласованность чувств, разума и воли (именно эта расщепленность послужила основанием для выбора названия болезни; Э. Блейлер просто использовал греческие слова *schizo* – раскалывать, разрывать и *phren* – психика, душа). Описывая кибернетическую личность, мы уже приводили случаи такой раздвоенности: например, равнодушные пилота-бомбардировщика, который точно знает, что нажатием кнопки он убивает сотни тысяч людей. Однако нам совсем не обязательно прибегать к таким из ряда вон выходящим иллюстрациям. Данное явление можно наблюдать в самых элементарных жизненных ситуациях. Кибернетическая личность руководствуется исключительно рациональными категориями, причем такого человека можно назвать

моноцеребральным – человеком одной мысли («одного измерения»). Все его отношение к окружающему миру (и к себе самому) носит чисто разумно-познавательный характер: он хочет знать, как возникли вещи, как они устроены, как функционируют и как ими управлять. Этот интерес в значительной мере стимулировался самим развитием науки. Ведь наука составляет сущность современного прогресса, она базис технического освоения мира и обеспечения массового потребления.

Разве в этой ориентации есть какая-то угроза здоровью общества? Поначалу вроде бы этот аспект общественного «прогресса» не сулит ничего страшного. Однако есть некоторые факты, вызывающие тревогу. Во-первых, подобная «моноцеребральная» установка встречается отнюдь не только у представителей науки, но и у большой части населения – у служащих, торговцев, инженеров и врачей, у менеджеров, и особенно она характерна для деятелей культуры и представителей творческой интеллигенции^[296]. Все они смотрят на мир как на собрание вещей, которые нужно понять с целью полезного их употребления. Во-вторых (что не менее важно), такая рационалистическая установка идет рука об руку с недостатком эмоциональной чувствительности. Можно даже с большой уверенностью утверждать, что чувства отмирают, а не вытесняются. Пока чувства еще живы, на них не обращают внимания, их не культивируют, не облагораживают, и они остаются сравнительно грубыми (сырыми); чувства выступают в форме страстей. Например, страстное желание одержать победу, жажда показать перед другими свое превосходство, страсть к разрушению. Или они выражаются в возбуждении – от секса, скорости или шума. Есть еще один фактор, и притом весьма примечательный: для моноцеребральной личности характерна специфическая форма нарциссизма, при которой объектом интереса (самоцелью) становится свое собственное Я: свое тело, способности, умения – все то, что ведет к успеху. Моноцеребральная личность настолько сильно вписана в автоматизированную систему, что механизмы, созданные руками человека, становятся также объектами его нарциссизма (он обожает машины как самого себя); фактически между ними складываются некоторого рода симбиозные отношения.

«Соединение индивида с другим человеком (или с любой другой силой вне собственного Я) достигается таким способом, что каждый из них утрачивает собственную целостность и оба становятся взаимозависимыми». В символическом смысле матерью человека теперь становится уже не природа, а «вторая природа», рукотворная, машинная, которую он создал своими руками и которая теперь должна его кормить и защищать.

Другая характерная черта кибернетической личности – его склонность к отработанным, стереотипным моделям поведения, что находит особенно яркое проявление в шизофренической «навязчивости» (повторяющихся произвольных действиях или жестах). Поражает сходство моноцеребрального человека с шизофреником. Еще более поразительно, что в этом типе личности очень сильны элементы детского «аутизма»* (данный синдром имеет нечто общее с шизофренией, хотя и не совпадает с нею полностью)^[297].

Маргарет Малер, изучая детскую шизофрению, отмечает следующие черты аутистического синдрома:

1. Утрата первоначальной способности отличать живую материю от неживой... – явление, которое Монаков называет «протодиакризом».
2. Привязанность к неживым объектам (например, к игрушке или стулу) наряду с неспособностью испытывать теплые чувства к людям, особенно к матери...
3. Настоятельная потребность вновь и вновь рассматривать одно и то же (Каннер называет это классическим признаком «инфантильного аутизма»).
4. Острое желание покоя (ребенок с синдромом аутизма демонстративно отвергает любые попытки человеческих контактов).
5. Использование языка (если эти дети вообще говорят) в манипулятивных целях, а не в

качестве средства межличностных связей («ребенок, страдающий аутизмом, с помощью сигналов и жестов превращает взрослого в автомат для выполнения своих желаний, своеобразный выключатель»...).

6. Маргарет Малер называет еще одну характерную черту, представляющую для нас интерес: «У большинства детей с аутизмом очень мало эрогенных зон на поверхности тела, что объясняет, в частности, их пониженную чувствительность к боли...»[298]

Вряд ли стоит особенно уточнять, что перечисленные черты очень во многом соответствуют характеру кибернетической личности. Особенно в таких моментах, как неразличение живой и неживой материи, отсутствие привязанности (любви) к другим людям, использование языка не для общения, а для манипулирования, а также преимущественный интерес не к людям, а к машинам и механизмам. Правда, у кибернетической личности эти черты представлены в менее крайних, более смягченных формах.

Однако, невзирая на внешнее сходство детского синдрома аутизма и ряда черт взрослого кибернетического человека, только развернутые исследования могут установить, в какой мере сходное аутизму поведение взрослого является психической патологией.

Вероятно, можно говорить о проявлении в поведении кибернетической личности элементов шизофрении. Однако существует целый ряд причин, делающих эту проблему чрезвычайно сложной:

1. Определения шизофрении в разных психиатрических направлениях и школах очень сильно расходятся. Одни считают ее органически обусловленным заболеванием, а другие – нет. В многочисленных вариантах от Адольфа Майера, Салливана, Лидца и Фромм-Райхман до радикальных идей школы Лейинга шизофрения определяется не как болезнь, а как психологический процесс, начинающийся в раннем детстве. А соматические изменения Лей-инг объясняет не как причину, а как следствие (результат) межличностных процессов.

2. Шизофрения – не какой-то один изолированный феномен. Это понятие охватывает целую совокупность различных нарушений, отклонений; не случайно, начиная с Э. Блейлера, стало принято употреблять это слово во множественном числе (шизофрении, шизоидные проявления, шизофренические поступки).

3. Динамическое исследование шизофрении сравнительно новая область, и нам вообще не хватает знаний и эмпирического материала о шизофрении.

Нуждается в уточнении и еще один аспект этого явления: он касается связи между шизофренией и различными психотическими процессами, особенно «эндогенными депрессиями». Даже такой прогрессивный исследователь, как Э. Блейлер, проводил жесткое разграничение между психотической депрессией и шизофренией; и конечно, нельзя отрицать, что оба процесса в целом проявляются в двух различных формах (правда, существует много путаницы в определениях, когда одним и тем же словом оказываются схвачены признаки и шизофрении, и паранойи, и депрессии). Возникает вопрос, не являются ли две душевные болезни лишь двумя разными формами одного и того же фундаментального процесса и, с другой стороны, действительно ли между двумя разными формами шизофрении больше различий, чем между известными проявлениями депрессивных и шизоидных процессов?

Если это так, то нам можно не особенно волноваться по поводу явного противоречия между гипотезой о наличии у современного человека шизофренических элементов и нашим диагнозом хронической депрессии, который поставили ему раньше при обсуждении проблемы скуки (тоски). Осмелев, мы можем даже высказать гипотезу, что ни одно из двух названий не схватывает точно суть явления и потому не стоит больше тратить силы на «навешивание ярлыков»[299].

Было бы и в самом деле странно, если бы кибернетический, одномерный (моноцеребральный) человек не напоминал бы нам хроническую шизофрению (в легкой

форме). Ведь он живет в атмосфере, которая лишь в количественном отношении чуть менее опустошенная, чем в шизогенных семьях, описанных Лейингом и другими.

Я полагаю, что мы с полным правом можем говорить о «душевнобольном обществе» и специально ставить вопрос о том, что происходит с психически полноценным человеком в таком больном обществе. Если общество будет в основном производить людей, страдающих тяжелой шизофренией, то оно поставит под удар свое собственное существование. Для настоящего шизофреника характерен полный разрыв связей с окружающим миром, углубление в свой собственный мир; и главная причина, по которой такой человек считается тяжело больным, является социальной: ведь он не выполняет свою социальную функцию, он не в состоянии сам себя обслужить и в той или иной форме нуждается в помощи других людей.

Ясно, что полный шизофреник не в состоянии управлять другими людьми, тем более большими группами или обществом в целом. Однако шизофреник в легкой форме вполне способен организовывать и управлять. Такие люди не утрачивают способности видеть «реальный мир» объективно, если мы под этим понимаем разумное восприятие вещей, осознание их смысла и применения для пользы дела. Однако у них может полностью отсутствовать способность к субъективному «личностному» восприятию вещей, т. е. способность к сопереживанию. Например, взрослый человек может при виде красной розы думать, что это нечто теплое, горячее или даже огненное (если он облакает эту свою мысль (ощущения) в слова, мы называем его поэтом), однако он при этом отлично знает, что в сфере физической реальности роза не жжет, как огонь. Современный человек утратил способность к субъективному переживанию и воспринимает мир только под углом зрения его практической применимости. Но данный его дефект не менее значим, чем у так называемого «больного», который не способен воспринимать «объективность» мира, но в то же время сохраняет человеческую способность к личному, субъективному, символическому восприятию. Насколько мне известно, первым сформулировал понятие «нормальной» (обычной) душевной болезни Бенедикт Спиноза. В своей «Этике» он писал:

Некоторые люди «упорно бывают одержимы одним и тем же аффектом. В самом деле, мы видим, что иногда какой-либо один объект действует на людей таким образом, что хотя он и не существует в наличности, однако они бывают уверены, что имеют его перед собой, и когда это случается с человеком бодрствующим, то мы говорим, что он сумасшествует или безумствует... Но когда скупой ни о чем не думает, кроме наживы и денег, честолюбец – ни о чем, кроме славы и т. д., то мы не признаем их безумными, так как они обыкновенно тягостны для нас и считаются достойными ненависти. На самом же деле скупость, честолюбие... и т. д. составляют виды сумасшествия, хотя и не причислены к болезням».

Как сильно изменились общественные отношения с XVII в. до наших дней, можно судить до тому, что позиция, за которую, по словам Спинозы, человек «заслуживал презрения», сегодня считается вполне похвальной.

Однако пойдем дальше. «Патология нормальности» редко принимает форму душевной болезни, ибо общество производит «лекарство» против подобной хвори. Если патологические процессы распространяются на общество, то они теряют свой индивидуальный характер. Тогда больной индивид в компании с другими такими же больными будет чувствовать себя наилучшим образом. Тогда вся культура настраивается на этот тип патологии и находит пути и средства для ее удовлетворения. В результате средний индивид вовсе и не ощущает изолированности и заброшенности, которую ощущает шизофреник. Но тот, кто отличается от среднего индивида, чувствует свое отличие от других, совершенно одинаковых, т. е. обладающих одним и тем же дефектом. На самом деле речь идет о человеке с совершенно здоровой психикой, который оказывается настолько одиноким в душевнобольном обществе, что, страдая от своей беспомощности и отсутствия нормальных отношений с другими, он и сам получает «сдвиг по фазе».

Большое значение в связи с целями данной работы приобретает вопрос о том, нельзя ли растущую тенденцию к насилию хотя бы частично объяснить с помощью гипотезы о

квазиаутистской или легкой хронической форме шизофрении. Пока что мы находимся на стадии чистых домыслов, и необходимы еще многочисленные исследования. Безусловно, в аутизме есть довольно много деструктивных моментов, однако мы еще не знаем, совместимы ли эти категории. Когда речь идет о явлениях шизофрении, то еще 50 лет назад ответ был однозначным. Тогда все единодушно считали, что шизофреники агрессивны, опасны, и поэтому их необходимо держать под надзором и взаперти. Опыт работы с хроническими шизофрениками, которые жили в условиях своего домашнего окружения или в экспериментально созданных условиях крестьянского труда^[300], не оставил никаких сомнений, что шизофреник очень редко бывает агрессивным, если его не трогать^[301].

Однако обычно человека с легкой («нормальной») формой шизофрении никогда не оставляют в покое, он просто не бывает один. Его постоянно задевают, в его жизнь вмешиваются по несколько раз в день, это ранит его чувствительную душу, так что и впрямь неудивительно, что такая «нормальная патология» у многих людей вдруг перерастает в агрессию и деструктивность^[302]. И это происходит реже у тех, кто социально адаптировался, и чаще – у тех, кто слабо приспособлен к социальной системе, кто не получил признания и не нашел своей цели и места в социальной структуре.

Придется оставить все эти размышления о связи шизоидных и аутистских элементов с некрофилией. Мы не в состоянии решить данную проблему, а потому ограничимся лишь тем, что констатируем, что социальный климат, способствующий развитию некрофилии в обществе, по очень многим критериям напоминает атмосферу в семьях, которые оказались «шизогенным» фактором для кого-то из своих членов. Как бы там ни было, а разработка целей, которые смогут обеспечить развитие и благосостояние общества и его членов, происходит не на уровне чисто церебральных процессов. Для формулирования таких целей нужен разум, а разум – это значительно больше» чем управляемый интеллект. Разум – это объединение усилий мозга и сердца, труд души; такое происходит тогда, когда и чувства, и мышление объединены и работают разумно (рационально) и синхронно.

Если мы здесь поставили бы точку, то картина была бы неполной и односторонней (недиалектической). На самом деле параллельно с ростом некрофильских элементов формируется и набирает силу противоположная тенденция – сила любви к жизни. Она находит выражение во многих формах, но прежде всего в том, что люди из самых разных социальных и возрастных групп (особенно молодежь) протестуют против уничтожения жизни. Растет движение за мир и против загрязнения окружающей среды. Вселяет надежду растущий интерес к проблеме качества жизни. Это когда молодые представители разных профессий предпочитают интересную работу высоким доходам и престижу, когда люди стремятся к приобретению духовных ценностей, как бы наивно и смешно это ни казалось людям с прагматической ориентацией. Такого рода протест в искаженном виде проявляется в тяге молодежи к наркотикам (хотя здесь речь идет о попытке повысить жизненный тонус искусственными средствами общества потребления). Антинекрофильские тенденции пробивают себе дорогу и во многих политических переменах (например, в связи с войной во Вьетнаме). Такого рода факты свидетельствуют о том, что корни жизнелюбия очень глубоки и могут прорасти, а прорастает только то, что не умерло. Любовь к жизни – настолько сильная, биологически обусловленная способность человека, что можно предположить, что (за минимальным исключением) она будет вновь и вновь пробиваться и давать о себе знать (разумеется, по-разному, в зависимости от личных и исторических нюансов). Наличие и даже некоторый рост антинекрофильских тенденций дает нам единственный шанс надеяться, что великий эксперимент под названием *Homo sapiens* не потерпит провала. Я полагаю, что нет более подходящего места на земле, где было бы больше шансов на новое утверждение жизни, чем высокоразвитая техническая Америка (США). Для тех американцев, которые уже

300

301

302

получили возможность отведать плодов нового «рая», надежда на прогресс, несущий счастье, обернулась иллюзией. Кто знает, возможны ли здесь фундаментальные перемены? Такие огромные силы противятся им, что для оптимизма мало оснований. Однако я думаю, что для отчаяния тоже нет причин. Будем надеяться.

Гипотеза об инцесте и Эдиповом комплексе

У нас еще очень мало знаний о причинах и условиях развития некрофилии; чтобы внести ясность в эту проблему, нужны специальные исследования. Однако с уверенностью можно утверждать, что гнетущая, лишенная радости мрачная атмосфера в семье часто способствует возникновению элементов некрофилии (как и развитию шизофрении). Так же и в обществе: отсутствие интереса к жизни, стимулов, стремлений и надежд, а также дух разрушения в социальной реальности в целом определенно вносят серьезный вклад в укрепление некрофильских тенденций. Не исключено, что некоторую роль играют и генетические факторы, я считаю это весьма вероятным.

Сейчас я хочу обосновать свою гипотезу о глубинных корнях некрофилии. Эту гипотезу пока можно считать умозрительной, хотя она основана на многочисленных наблюдениях, а многие случаи подкрепляются анализом обширного материала из области мифологии и религии. Я считаю свою гипотезу достаточно серьезной, тем более что ее содержание вызывает однозначно актуальные ассоциации и параллели с современностью.

Эта гипотеза выводит нас на феномен, который на первый взгляд не имеет ничего общего с некрофилией: я имею в виду феномен инцеста (кровосмешения), который нам хорошо известен в связи с фрейдовским понятием Эдипова комплекса. Прежде всего напомним суть фрейдовской концепции.

С позиций классического психоанализа мальчик в возрасте пяти-шести лет выбирает свою мать в качестве первого объекта своих сексуальных (фаллических) влечений («фаллическая фаза»). Согласно существующей семейной ситуации, отец превращается для ребенка в соперника (правда, ортодоксальные психоаналитики сильно преувеличили ненависть сына к отцу). Ведь выражение типа «когда папа умрет, я женюсь на маме» вовсе не следует понимать буквально и утверждать, что «ребенок желает смерти отца», ибо в раннем возрасте еще нет понимания реальной смерти, она скорее представляется просто как «отсутствие». Кроме того, главная причина глубокой враждебности мальчика к отцу не в соперничестве с ним, а в бунте против репрессивного патриархального авторитета. Мне кажется, что доля собственно «Эдиповой ненависти» в деструктивном характере личности сравнительно невелика. Поскольку сын не может устранить отца, он начинает его бояться, а конкретно его мучит страх, что отец его кастрирует из сопернических мотивов. Этот «страх кастрации» вынуждает мальчика отбросить свои сексуальные помыслы в отношении матери.

При нормальном развитии сын способен направить свой интерес на других женщин, особенно по достижении половой зрелости. Он преодолевает и чувство соперничества с отцом тем, что соглашается с ним, с его приказами и запретами. Сын усваивает отцовские нормы, и они становятся для него его собственным «сверх-Я». Но в аномальных случаях, при патологиях в развитии ребенка, конфликт с отцом решается иначе. Тогда сын не отказывается от сексуальных уз с матерью и в дальнейшей жизни чувствует влечение к таким женщинам, которые по отношению к нему выполняют именно ту функцию, которую раньше выполняла мать. Вследствие этого он неспособен влюбиться в свою сверстницу, а страх перед отцом (или лицом, его заменяющим) сохраняется навсегда. От женщин (которые ему заменяют мать) он обычно ждет тех же проявлений, которые он видел в детстве: безусловной любви, защиты, восхищения и надежности.

Этот тип мужчины (с тягой к материнскому началу) широко известен. Он обычно довольно нежен, в определенном смысле «любовобилен», хотя и достаточно самовлюблен. Понимание того, что он для матери важнее, чем отец, создает у него ощущение, что он

достоин восхищения. А когда он уже сам становится «отцом», ему кажется совершенно не нужным стараться доказывать кому-то свои достоинства на деле; он чувствует себя достойным восхищения, ибо мать (или ее замена) любит только его, любит слепо, безоговорочно и безусловно. Следствием этого становится то, что такие люди страшно ревнивы (им хочется сохранить свое исключительное положение) и одновременно они очень неуверенны в себе и тревожны, когда необходимо решить конкретную задачу. И хотя не всегда они обязательно терпят крах, но размер успеха никогда не равен самолюбию нарцисса, который откровенно заявляет о своем превосходстве над всеми (хотя испытывает неосознанное чувство подчиненности). Мы описали здесь крайний случай проявления данного типа. Однако есть много мужчин с фиксацией на матери, но менее «зацикленных»: у них нарциссизм в оценке своих достижений не затмевает полностью чувство реальности.

Фрейд считал, что сущность материнских уз заключается в том, что мальчик в детстве чувствует сексуальное влечение к матери, вследствие чего возникает его ненависть к отцу. Мои многолетние наблюдения укрепили уверенность в том, что причина сильной эмоциональной привязанности к матери кроется не в сексуальном тяготении. Недостаток места не позволяет мне подробно изложить мои аргументы, но некоторые соображения я все же приведу для внесения ясности.

При рождении и некоторое время спустя у ребенка сохраняется такая связь с матерью, которая не выходит за рамки нарциссизма (несмотря на то, что вскоре после рождения ребенок начинает проявлять известный интерес к другим предметам и реагировать на них). И хотя с точки зрения физиологии он существует сам и независим, но психологически он продолжает до известной степени вести внутриутробную жизнь, т. е. зависеть от матери: она его кормит, ухаживает за ним, поощряет, дает ему то самое тепло (физическое и духовное), которое совершенно необходимо ребенку для здорового роста. В процессе дальнейшего развития связь ребенка с матерью становится более осознанной и нежной; мать теперь для ребенка не просто «среда обитания», продолжение его внутриутробного существования; она превращается в личность, к которой ребенок испытывает душевное тепло. В этом процессе ребенок сбрасывает свою нарциссическую оболочку: он любит мать, хотя этой любви еще пока не хватает масштаба и она не соразмерна с любовью матери; в этой любви мало равноправия, ибо она еще сохраняет характер зависимости. Когда же мальчик созревает и у него появляются сексуальные эмоции (по Фрейду – это «фаллический период»), нежность к матери усиливается и получает дополнительный оттенок эротического влечения. По правде говоря, сексуальная привлекательность матери – не такая уж редкость. Как сообщает сам Фрейд^[303], сексуальные желания мальчика пяти лет могут быть амбивалентными: ему «нравится» своя мама и одновременно ему «нравится» девочка его возраста. В этом нет ничего удивительного, и давно доказано, что сексуальное влечение довольно непостоянно и не фиксировано жестко на одном объекте; то, что способно усилить притягательность конкретной личности и сделать ее длительной и стойкой, связано с областью эмоций (а главное – с ощущением своей способности удовлетворить желание партнера). Там, где привязанность к матери продолжается и после полового созревания и сохраняется на всю жизнь, причину этой любви следует искать только в эмоциональной близости^[304]. Эти узлы потому столь сильны, что они отражают основную реакцию человека на условия своего бытия (на экзистенциальную ситуацию, суть которой состоит в том, что человек вечно мечтает вернуться в тот «рай», где не существует «пограничных» ситуаций, где нет мучительных дихотомий бытия, где человек, еще не имея самосознания, не должен трудиться, не должен страдать, а может жить в гармонии с природой, с миром и с самим собой). С возникновением сознания у человека появляется новое измерение: измерение познания добра и зла. И тогда в мир приходит противоречие, а в жизнь человека (и мужчины, и женщины) – проклятие. Человек изгнан из рая, отныне путь туда ему заказан. Надо ли

удивляться, что его никогда не покидает желание вернуться туда, хотя он «знает», что это невозможно, ибо он несет на себе бремя человечества^[305].

В том, что мальчик чувствует и эротическое влечение к матери, есть некая хорошая примета. Это означает, во-первых, что мать стала для него значимой фигурой, личностью, женщиной, а во-вторых, что мальчик – это уже маленький мужчина. Особенно активное половое влечение можно интерпретировать как бунт (возмущение) против пассивной зависимости раннего детства. В ситуациях, когда инцестуозная связь с матерью продолжается и в период полового созревания^[306], а может быть, и всю жизнь, мы имеем дело с невротическим синдромом: такой мужчина оказывается в пожизненной зависимости от своей матери или ее ипостасей; в поисках беззаветной любви он робеет перед женщинами и ведет себя как ребенок, даже когда его собственные интересы требуют взрослого поведения.

Причиной такого развития часто бывает отношение матери, которая, безмерно любя своего маленького сына, по разным причинам балует его сверх всякой меры – например, оттого, что не любит своего мужа и переносит всю нежность на своего сына. Она гордится им как своей собственностью, любит и восхищается (вариант нарциссизма), а желая как можно крепче привязать к себе, она излишне опекает и оберегает его, восторгается и осыпает подарками^[307].

То, что имел в виду Фрейд, и то, что он связывал с понятием Эдипова комплекса, – это теплое, нежное, нередко эротически окрашенное чувство привязанности к матери. Такой тип инцестуозной фиксированности встречается очень часто, но есть и другой тип, менее распространенный и более сложный с точки зрения набора признаков. Я считаю, что этот тип инцестуозного влечения можно назвать злокачественным, ибо мне кажется, что он связан с некрофилией; согласно моей гипотезе, такая мания является самым ранним истоком некрофилии.

В данном случае я говорю о детях, которые не проявляют никакой эмоциональной привязанности к матери, которые не могут и не стремятся вырваться из оболочки своей самодостаточности. Самую крайнюю форму такой самодостаточности мы встречаем у детей с синдромом аутизма^[308].

Такие дети не могут расколоть скорлупу нарциссизма. Мать никогда не становится для них объектом любви; и вообще у них не формируется эмоциональное отношение к кому бы то ни было. О таком человеке можно сказать, что он просто не видит других людей, он смотрит как бы «сквозь» них, словно это неодушевленные предметы; к механическим игрушкам он проявляет даже больше интереса, чем к живым людям.

Если представить себе детей с синдромом аутизма на одном полюсе континуума, то на другом его полюсе мы можем разместить детей, у которых в полной мере развито чувство любви и привязанности к матери и к другим людям. Тогда была бы оправдана гипотеза, что в рамках этого континуума мы встретим детей, которые хоть и не полностью аутичны, но имеют определенные черты аутизма, хоть и не столь очевидные. Возникает вопрос: а как проявляется инцестуозная фиксированность на матери у таких детей, близких к аутизму?

У таких детей никогда не развивается чувство любви к матери (ни нежное, ни эротическое, ни сексуальное). Они просто никогда не чувствуют тяготения к ней. То же самое имеет место в более поздний период: они не ищут для влюбленности женщин, напоминающих мать. Для них мать – только символ, скорее фантом, чем реальная личность. Она представляет собой символ Земли, родины, крови, расы, нации, истока, корня, первопричины... Но одновременно мать – это символ хаоса и смерти; она несет не жизнь, а смерть, ее объятия смертельны, ее лоно – могила. Тяга к такой Матери-смерти не может быть

305

306

307

308

влечением любви. Здесь вообще не подходит обычное психологическое толкование влечения как чего-то прекрасного, приятного и теплого. Здесь речь идет о каком-то магнетизме, о мощном притяжении демонического характера. Тот, кто привязан к матери злокачественными инцестуозными узами, остается нарциссом, холодным и равнодушным: он тянется к ней так же, как к магниту металл; она влечет его, как море, в котором можно утонуть^[309], как земля, в которой он мечтает быть похороненным. А причиной такого мрачного поворота мыслей скорее всего является состояние неумолимого и невыносимого одиночества, вызванного нарциссизмом: раз уж для нарцисса не существует теплых, радостных отношений с матерью, то по крайней мере одна возможность к сближению с ней, один путь ему не заказан – это путь к единению в смерти.

В мифологической и религиозной литературе мы встречаем достаточно много материала, иллюстрирующего двойственный характер роли матери: с одной стороны, богиня созидания (плодородия и т. д.), а с другой – богиня разрушения. Так, Земля, из которой сотворен человек, почва, на которой произрастают все деревья и травы, – это место, куда возвращается тело после смерти; лоно Матери-земли превращается в могилу. Классический пример двуликой богини – индийская богиня Кали, которая одновременно является богиней жизни и богиней разрушения.

В период неолита тоже были такие двуликие богини. Я не стану приводить длинный ряд примеров двойственности богинь, ибо боюсь, что это может увести нас слишком далеко. Но все же не могу не упомянуть об одном обстоятельстве, показывающем именно двойственность материнской функции: я имею в виду двуликость материнского образа в сновидениях. Хотя во многих снах мать предстает добрым и любящим существом, все же многим людям она является в виде символической угрозы: как змея, хищный зверь (лев, тигр или даже гиена). На опыте своей клинической практики я могу утверждать, что у людей гораздо чаще встречается страх перед разрушающей силой матери, чем перед карающим отцом (или угрозой кастрации). Складывается впечатление, что угрозу, исходящую от отца, можно «отвести», смягчить ценой послушания (покорности), зато от деструктивности матери нет спасения. Ее любовь невозможно заслужить, ибо она не ставит никаких условий; но и ненависти ее невозможно избежать, ибо для нее также нет «причин». Ее любовь – это милость, ее ненависть – проклятие, причем тот, кому они предназначены, не в силах ничего изменить, от него это просто не зависит. В заключение следует сказать, что *нормальные инцестуозные узы – это естественная переходная стадия в развитии индивида, в то время как злокачественные инцестуозные влечения – патологическое явление, которое встречается там, где развитие нормальных инцестуозных связей оказалось каким-то образом нарушено. Злокачественные инцестуозные узы я гипотетически считаю одним из самых ранних, если не главным корнем некрофилии* ^[310].

Такое инцестуозное тяготение к мертвому (там, где оно имеет место) – это страсть, которая противоречит всем остальным влечениям и импульсам человека, направленным на борьбу за сохранение жизни. Потому это влечение возникает в самой глубине бессознательного. Человек с таким злокачественным инцестуозным комплексом будет пытаться компенсировать его ценой менее деструктивных проявлений в отношении других людей. Такого рода попыткой можно считать удовлетворение нарциссизма или в садистском подчинении другого человека, или, наоборот, в завоевании безграничного восхищения собой. Если жизнь складывается так, что у подобного человека есть сравнительно спокойные способы удовлетворения нарциссизма – успех в работе, престиж и т. д., то деструктивность в интенсивной форме может у него никогда открыто не проявиться. Если же его преследуют неудачи, то обязательно обнаруживают себя злокачественные тенденции, и жажда разрушения и саморазрушения становится в его жизни ведущей.

В то время как мы можем назвать довольно много факторов, обуславливающих

формирование нормальных (доброкачественных) инцестуозных связей, мы почти ничего не знаем об условиях, которые вызывают детский аутизм, а следовательно, имеют прямое отношение к возникновению злокачественных инцестуозных комплексов. И здесь мы только можем выдвигать различные гипотезы и домысливать... Конечно, при этом невозможно обойти вниманием генетические факторы. Я вовсе не хочу этим сказать, что подобный тип инцестуозного комплекса можно полностью свести к генам, я только считаю, что генетически заложенная предрасположенность к холодности позднее может привести к тому, что у ребенка не сформируется теплое чувство привязанности к матери. И если сама она по типу личности малоэмоциональна и холодна (а может быть, и «некрофильна»), то вряд ли ей удастся пробудить в ребенке чувство нежности. При этом не следует забывать, что мать и ребенка необходимо рассматривать именно в процессе их взаимодействия (их интеракциональных связей). Итак, ребенок с ярко выраженной предрасположенностью к теплоте отношений не может внести коррективы в установку своей холодной матери, и ее отношение невосполнимо ничем: его не может заменить привязанность к бабушке, дедушке, к старшим братьям или сестрам и т. д. Что касается холодного ребенка, то его душу в какой-то мере может «растопить» искренняя и каждодневная заботливость и нежность матери. С другой стороны, нередко бывает довольно трудно разглядеть глубинную холодность матери в отношении ребенка, если она прикрыта стандартной типовой маской «милой» мамочки.

Третья возможность кроется в травмирующих обстоятельствах раннего детства, которые могли поселить в душе ребенка такую горечь, ненависть и боль, что душа «застыла» от горя, а позднее это состояние трансформировалось в злокачественный инцестный комплекс. Так что, анализируя личность, необходимо очень серьезно относиться к всевозможным травмам первых лет жизни; при этом важно отчетливо сознавать, что источники для такого рода травм могут быть, мягко выражаясь, самого неожиданного и экстраординарного характера^[311].

Гипотеза о злокачественном влечении к инцесту и о возможности квалифицировать его как ранний источник некрофилии нуждается в проверке на базе дополнительных исследований^[312]. Анализ личности Гитлера, проведенный в следующей главе, должен послужить примером такой связи с матерью, чьи особенности можно наилучшим образом объяснить именно с помощью нашей гипотезы.

Отношение фрейдовской теории влечений к биофилии и некрофилии

В заключение моих рассуждений о некрофилии и ее противоположности – биофилии^[313] будет уместно сравнить, как соотносится эта концепция с теорией Фрейда о влечении к смерти (танатос) и о влечении к жизни (эрос). Инстинкт жизни направлен на накопление органической материи и ее соединение, в то время как инстинкт смерти стремится к дезинтеграции живых структур^[314], их разъятию и разъединению. Отношение между инстинктом смерти и некрофилией вряд ли нуждается в дополнительных комментариях, а в связи с понятиями «любовь к жизни» (эрос) и «биофилия» я хочу кое-что пояснить.

Биофилия – это страстная любовь к жизни и ко всему живому; это желание способствовать развитию, росту и расцвету любых форм жизни, будь то растение, животное или идея, социальная группа или отдельный человек. Человек с установкой на биофилию лучше сделает что-то новое, чем будет поддерживать или реставрировать старое. Он больше ориентирован на бытие, чем на обладание. Он в полной мере наделен способностью

311

312

313

314

удивляться, и потому, быть может, он стремится лучше увидеть что-то новое, нежели подтверждать и доказывать то, что давно известно. Приключение для него важнее безопасности. С точки зрения восприятия окружающего ему важнее видеть целое, чем отдельные его части, его больше интересует совокупность, чем ее составляющие. Он стремится творить, формировать, конструировать и проявлять себя в жизни своим примером, умом и любовью (а отнюдь не силой, разрушительностью или бюрократизмом, который предполагает такое отношение к людям, словно это бесчувственные куклы или просто вещи). Он не «ловится» на приманку рекламы и не покупает «новинок» в пестрых упаковках, он любит саму жизнь во всех ее проявлениях, отличных от потребительства.

Этика биофила имеет свои собственные критерии добра и зла. Добро – это все то, что служит жизни; зло – все то, что служит смерти. Поклонение жизни – это хорошо^[315], ибо это уважение ко всему тому, что способствует росту и развитию. Зло – это то, что душит жизнь, сужает, зажимает (и в конце концов раздирает в клочья).

Различие между нашей концепцией и теорией Фрейда проходит не по сущностному критерию, не по критерию наличия или отсутствия тенденций к жизни и смерти, а по иному признаку: дело в том, что, с точки зрения Фрейда, обе тенденции, так сказать, «равнозначны», ибо обе даны человеку от природы. Однако нельзя не видеть, что биофилия представляет собой биологически нормальное явление, в то время как некрофилию следует рассматривать как феномен психической патологии. Она является неизбежным следствием задержки развития, душевной «инвалидности». Она наступает как результат непрожитой жизни, неспособности достигнуть некоторой ступеньки по ту сторону индифферентности и нарциссизма.

Деструктивность – это не параллель по отношению к биофилии, а альтернатива ей. Фундаментальная же альтернатива, перед которой оказывается любое живое существо, состоит в дихотомии: любовь к жизни или любовь к смерти. Некрофилия вырастает там и настолько, где и насколько задерживается развитие биофилии. Человек от природы наделен способностью к биофилии, таков его биологический статус; но с точки зрения психологии, у него есть и альтернативная возможность, т. е. он может при определенных обстоятельствах сделать выбор, в результате которого он станет некрофилом.

Развитие некрофилии происходит как следствие психической болезни (инвалидности), но корни этой болезни произрастают из глубинных пластов человеческого бытия (из экзистенциальной ситуации). Если человек не может творить и не способен «пробудить» кого-нибудь к жизни, если он не может вырваться из оков своего нарциссизма и постоянно ощущает свою изолированность и никчемность, единственный способ заглушить это невыносимое чувство ничтожества и какой-то «витальной импотенции» – самоутвердиться любой ценой, хотя бы ценой варварского разрушения жизни. Для совершения акта вандализма не требуется ни особого старания, ни ума, ни терпения; все, что нужно разрушителю, – это крепкие мускулы, нож или револьвер...^[316]

Симптоматика «некрофилии»

Обсуждение этой сложной проблемы я хочу завершить некоторыми общими методологическими замечаниями о клинической диагностике некрофилии.

1. Для установления диагноза «некрофильская личность» недостаточно обнаружения одной или двух черт характера. Может случиться, что определенное поведение, которое напоминает симптоматику некрофилии, обусловлено не личностными чертами, а традициями или обычаями конкретной культурной среды.

2. С другой стороны, для установления диагноза не обязательно иметь налицо все характерологические признаки некрофилии. Ибо она обусловлена очень большим

количеством факторов как личностного, так и культурологического свойства. Кроме того, люди умеют очень тщательно скрывать свои пороки, и потому некоторые некрофильские черты почти невозможно обнаружить.

3. Очень важно понять, что полностью некрофильские характеры все же встречаются сравнительно редко. И таких людей следует рассматривать как тяжелобольных и искать генетические корни этой патологии. Ибо, исходя из биологических оснований, следовало бы ожидать, что подавляющее большинство людей должно хоть в какой-то мере иметь биофильские наклонности. Однако среди них может быть какой-то процент людей с некрофильской доминантой, к ним мы имеем право применить выражение «некрофильская личность». Возможно, что у большинства людей мы можем обнаружить смесь из биофильских наклонностей и некрофильских тенденций, причем последние достаточно сильны, чтобы вызвать внутренний конфликт личности. Насколько результат этого конфликта определяет всю мотивационную сферу человека, зависит от очень многих переменных. Во-первых, от интенсивности самой некрофильской тенденции; во-вторых, от наличия социальных условий (обстоятельств), стимулирующих ту или иную ориентацию; в-третьих, от судьбы конкретного субъекта, тех жизненных событий, которые могут его направить в то или иное русло. Встречаются такие люди, которые имеют настолько сильную биофильскую установку, что любые некрофильские импульсы гаснут в зародыше (или вытесняются) или усиливают особую чувствительность, умение распознать некрофильские тенденции и бороться с ними (у себя и у других людей). Наконец, есть еще одна группа людей (их опять же сравнительно немного), у которых напрочь отсутствуют какие-либо некрофильские приметы. Это абсолютные биофилы, движимые сильной и чистой любовью ко всему живому и живущему. Иллюстрацией этого меньшинства в новое время являются хорошо известные люди типа Альберта Швейцера, Альберта Эйнштейна или папы Иоанна XXIII.

Отсюда следует, что нет жесткой границы между некрофильской и биофильской направленностью: каждый индивид представляет собой сложную совокупность, комбинацию признаков, находящихся в конкретном сочетании; количество таких сочетаний фактически совпадает с числом индивидов. Однако на практике все же вполне возможно провести грань между преимущественно био-фильским и преимущественно некрофильским типом личности.

4. Поскольку я уже называл большинство методов установления некрофильского характера, для закрепления только перечислю их: а) тщательное и незаметное для субъекта наблюдение за его поведением, включая выражение лица, лексику, а также общее мировоззрение и стиль принятия жизненно важных решений; б) изучение сновидений, фантазий и юмора; в) оценка личностных симпатий и антипатий субъекта, его манеры и стиля общения с другими людьми и способности оказывать на них влияние; г) использование проективной тестовой методики типа теста Роршаха^[317].

5. Вряд ли нужно особо напоминать, что патологически некрофильские личности представляют серьезную опасность для окружающих. Это человеконенавистники, расисты, поджигатели войны, убийцы, потрошители и т. д. И они опасны, не только занимая посты политических лидеров, но и как потенциальная когорта будущих диктаторов. Из их рядов выходят палачи и убийцы, террористы и заплечных дел мастера. Без них не могла бы возникнуть ни одна террористическая система. Однако и менее ярко выраженные некрофилы также играют свою роль в политике, возможно, они не относятся к главным адептам террористического режима, но они обязательно выступают за его сохранение, даже когда они не в большинстве (обычно они и не составляют большинства, все же они достаточно сильны, чтобы прийти к власти и ее удерживать).

6. В свете изложенных фактов разве не интересно обществу иметь представление о наличии среди населения потенциальных некрофилов. По-моему, знание состава населения,

с точки зрения потенциальных носителей некрофильской или биофильской тенденции, – дело большой социально-политической значимости. А если удалось бы установить не только сравнительную частоту появления представителей той и другой группы, но и другие их индикаторы: профессию, географическое распределение, возраст, пол, образование, классовую и профессиональную принадлежность, социальный статус и т. д.? Мы изучаем социологическими методами общественное мнение, политические взгляды и ценностные ориентации разных групп; с помощью специальных статистических методов обработки информации мы извлекаем из этих опросов общественного мнения удовлетворительные результаты и сделанные выводы распространяем на все американское население. Но ведь из этих опросов мы узнаем не более чем мнения людей, мы не получаем никакой информации об их характерах, т. е., иными словами, мы ничего не узнаем об убеждениях, которые ими движут, т. е. о том, что мотивирует их поступки. Если бы мы на таких же статистических выборках опробовали методики опросов, которые позволяют обследовать бессознательное, то мы смогли бы узнать тайные и косвенные мотивы, скрывающиеся за явным поведением и прямыми высказываниями, и тогда мы имели бы гораздо больше информации о населении Соединенных Штатов – о потенциальных возможностях, силе и направленности человеческой энергии. И таким образом мы могли бы даже в какой-то мере застраховать себя от неожиданностей, которые мы обычно постфактум квалифицируем как «необъяснимые явления». Или, может быть, мы по-прежнему интересуемся только той энергией, в которой нуждается материальное производство? При этом мы просто не знаем и не хотим знать, что существуют и формы человеческой энергии, которые являются решающим фактором в социальном процессе.

XIII. ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ АГРЕССИЯ: АДЛЬФ ГИТЛЕР – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕКРОФИЛИИ

Предварительные замечания

Когда психоаналитик изучает биографию своего клиента, он всегда пытается получить ответ на два вопроса: 1) Каковы основные движущие силы в жизни человека, какие страсти определяют его поведение? 2) Какие внутренние и внешние обстоятельства обусловили развитие именно этих страстей?

Последующий анализ личности Гитлера также был ориентирован на эти вопросы, хотя в некоторых существенных пунктах он отличался от классического фрейдовского метода.

Первое отличие связано с тем, что в данном случае страсти в основном были не инстинктивного (точнее говоря, несексуального) происхождения. Второе отличие состоит в том, что, даже ничего не зная о детстве нашего «подопечного» мы можем составить себе представление о его главных (большей частью неосознанных) страстях: это делается на основе анализа сновидений, ошибок, описок, оговорок, жестов, высказываний и способов поведения, которые не поддаются рациональному объяснению (все это можно назвать «методом рентгена»). Интерпретация подобных данных требует большого опыта и специальных психоаналитических знаний.

Но самое главное отличие заключается в следующем: классические психоаналитики считают, что формирование личности завершается к пяти-шести годам, а в более позднем возрасте существенные изменения уже невозможны (или же они достигаются ценою больших усилий и целенаправленной терапии). Однако я по собственному опыту точно знаю, что эта точка зрения несостоятельна. Ибо такой механистический подход к человеку упускает из виду, что личность – это вечно развивающаяся система.

Даже о новорожденном нельзя сказать, что он появился на свет «без своего лица». Мало того что он уже при рождении имеет ряд генетически обусловленных предпосылок темперамента и другие задатки, которые в первую очередь влияют на формирование

определенных черт личности. Он рождается, будучи носителем некой информации о событиях, предшествовавших его рождению (до и во время родов). Все это, вместе взятое, формирует, так сказать, «лицо» ребенка в момент его появления на свет. Затем новорожденный попадает в систему отношений со своей собственной средой, которую составляют родители и другие лица из его ближайшего окружения. Он реагирует на контакты с этими людьми – и это дает следующий импульс для развития его личности. В полтора года личность ребенка уже имеет гораздо более определенную форму, чем при рождении. Но формирование еще не закончено, оно может продолжиться в разных направлениях, и потому очень многое зависит от влияния извне. К шести годам появляются еще более устойчивые приметы личности; она почти готова, но это не значит, что она утрачивает способность к изменениям, тем более что в жизни ребенка появляются новые обстоятельства, которые вызывают новые способы реагирования. В целом можно утверждать, что процесс формирования личности следует рассматривать как скользящую шкалу. Человек приносит в мир некий набор параметров, достаточных для его развития, но внутри данной системы координат характер может развиваться в самых разных направлениях. Каждый шаг жизни сокращает число будущих возможностей развития. Чем прочнее сформировался характер, тем устойчивее структура личности, тем труднее заставить ее измениться, а уж если возникает такая необходимость, то она требует подключения очень мощных дополнительных механизмов воздействия. И в конечном счете в человеке сохраняется лишь минимальная возможность к переменам, столь незначительная, что наступление изменений можно приравнять к чуду.

Я вовсе не хочу тем самым сказать, что не обязательно отдавать предпочтение впечатлениям и влияниям раннего детства. Они, безусловно, влияют на общую направленность личности, но не определяют ее полностью. Учитывая величайшую впечатлительность раннего детства, надо понимать, что затмить ее можно только ценою огромной интенсивности и драматизма более поздних переживаний. А иллюзия застенчивости личности и ее неспособности к переменам объясняется прежде всего тем, что жизнь большинства людей так жестко регламентирована, в ней так мало спонтанности и так редко случается нечто по-настоящему новое, что практически все происходящие события лишь подтверждают уже готовые установки.

Реальная возможность того, что характер разовьется в других направлениях, чем это предписано структурой личности, обратно пропорциональна прочности этой структуры. Но ведь структура личности никогда не бывает так полно зафиксированной, что оказывается неподвластной воздействию даже чрезвычайных обстоятельств. И потому теоретически изменения в этой структуре возможны, хотя их статистическая вероятность и невелика.

С практической точки зрения наши теоретические рассуждения сводятся к следующему: нельзя думать, что человек (личность, характер) сохраняется в неизменном виде, скажем, с пяти до двадцати лет; что в двадцать лет мы имеем дело с той же самой личностью, что и в пять лет. Например, не стоит ожидать, что у Гитлера уже в детстве обнаружился полностью развившийся некрофильский тип характера; однако можно предположить, что уже тогда в нем «сидели» некие некрофильские корни (наряду с другими реальными возможностями), которые проросли (как одна из реальных возможностей) и привели к развитию исключительно некрофильской личности. Но для того чтобы развитие личности пошло именно в этом направлении, конечным и почти бесповоротным результатом которого стала некрофилия, необходимо было стечение многих случайностей, внутренних и внешних обстоятельств. И тогда уже мы обнаруживаем эту личность во всех ее проявлениях, узнаем ее почерк в явных и скрытых поступках. Эти зачаточные элементы в структуре личности Гитлера я и попытаюсь проанализировать и показать, как предрасположенность к некрофилии с годами все больше усиливалась, пока не превратилась в единственную реальную возможность его развития.

В последующем анализе я останавливаюсь преимущественно на проблеме некрофилии Гитлера и лишь между прочим затрагиваю другие аспекты его личности (например, такие,

как орально-садистские черты характера, роль Германии как символа матери и т. д.).

Родители Гитлера и раннее детство[318]

Клара Гитлер

Самое сильное влияние на ребенка оказывает не то или иное событие жизни, а характер родителей. Те, кто верит в упрощенную формулу обыденного сознания – «яблоко от яблоньки недалеко падает», будут поражены, узнав факты жизни Гитлера и его семьи: ибо и отец, и мать его были людьми положительными, благоразумными и не деструктивными.

Мать Гитлера, Клара, была симпатичной и складной женщиной. Будучи простой необразованной крестьянской девушкой, она работала прислугой в доме своего дяди Алоиса Гитлера. Она стала его возлюбленной, а когда умерла его жена, Клара уже была беременна. 7 января 1885 г. они поженились, ей было 24, а овдовевшему Алоису – 47 лет. Клара была трудолюбивой и ответственной, и, хотя брак этот был не особенно счастливым, она никогда не жаловалась, а исполняла свой долг добросовестно и без уныния.

Вся жизнь ее состояла в содержании дома и заботе о муже и детях. Она была образцовой хозяйкой, и ее дом всегда был в безупречном порядке. Она избегала праздной болтовни, ничто не могло отвлечь ее от выполнения домашней работы. Она вела хозяйство тщательно и экономно, что позволило увеличить состояние семьи. Но главной ее заботой были дети, она любила их самоотверженно и всегда была к ним снисходительна. Единственное, в чем ее можно было упрекнуть, так это в полном отсутствии критики, в обожании сына, который с детства приобрел ощущение своей исключительности. Во всяком случае, ее любили и уважали не только родные дети, но и те, которым она была мачехой.

Упрек в попустительстве по отношению к Адольфу, в результате которого у него развилось чувство исключительности (тенденция к нарциссизму), имеет гораздо более серьезные основания, чем кажется Смиуту. Однако этот период в жизни Адольфа продолжался недолго, пока он не пошел в школу. Уже в 5 лет он должен был почувствовать перемену в матери, когда она родила второго сына. Но она до конца жизни любила своего первенца, так что вряд ли рождение этого второго ребенка было для Адольфа травматическим переживанием, как склонны полагать некоторые психоаналитики. Мать, возможно, больше не баловала его, но она вовсе не отвернулась от него. Ей становилось все яснее, что он должен взрослеть, приспосабливаться к действительности, и, как мы еще увидим, она делала все возможное, чтобы оказывать поддержку этому процессу.

Образ любящей и ответственной матери вызывает серьезные сомнения в отношении гипотезы о «квазиаутистском» детстве Гитлера и о его «злостной склонности к инцесту». Как понимать тогда детский период развития Гитлера?

Обсудим несколько вариантов. Можно думать, что:

1) Гитлер по своей конституции (по складу характера) был настолько сдержанным и холодным, что вопреки теплоте и мягкости любящей матери в нем укреплялась почти аутистская установка.

2) Возможно, что робкий мальчик воспринимал столь сильную привязанность матери (которая подтверждается целым рядом фактов) как вмешательство в свою жизнь; и это отнюдь не способствовало смягчению его характера, а еще больше стимулировало его решительный «уход в себя»^[319].

Насколько нам известно поведение Клары, любая из этих двух версий могла иметь место. С другой стороны, она ведь не излучала ни света, ни тепла; на ее лице редко появлялось радостное выражение, скорее оно несло следы грусти, подавленности и вечной озабоченности. Жизнь ее действительно нельзя назвать счастливой. Как было принято в

среде немецко-австрийских буржуа, женщина должна была рожать детей, вести хозяйство и беспрекословно подчиняться авторитарной власти мужа. А ее возраст, необразованность, социальное превосходство мужа, его эгоизм и жестокость еще больше закрепляли за ней эти традиционные роли. Так что, вероятнее всего, она превратилась в разочарованную и печальную женщину в результате обстоятельств, а не по причине своего характера или темперамента. И наконец, последняя версия (хотя и наименее вероятная). Не исключено, что за вечно озабоченной внешностью скрывалась замкнутость шизоидной натуры. Однако у нас нет достаточных данных об этой личности, чтобы доказать хотя бы одну из высказанных гипотез.

Алоис Гитлер

Алоис Гитлер – гораздо менее симпатичная фигура. Он был незаконнорожденным ребенком и потому носил поначалу фамилию своей матери – Шикльгрубер – и лишь значительно позднее сменил ее на фамилию Гитлер. Он не получил никакого содержания от родителей и все сделал в своей жизни сам. Упорный труд и самовоспитание помогли ему пройти путь от мелкого служащего австро-венгерской таможни до «высшего чина», что дало ему безусловный статус уважаемого буржуа. Благодаря своей скромной жизни и умению экономить, он отложил столько денег, что смог купить имение и еще оставить семье приличное состояние, которое и после его смерти обеспечило жене и детям надежное существование. Конечно, он был эгоистичным, его не беспокоили чувства жены, впрочем, в этом отношении он, вероятно, был типичным представителем своего класса.

Алоис Гитлер был жизнелюбом; особенно он любил вино и женщин. Он не был бабником, но узкие рамки буржуазной морали были ему тесны. Он любил выпить стаканчик вина и не отказывал себе в этом, но вовсе не был пьяницей, как это сообщалось в некоторых публикациях. Но главное, в чем проявилась жизнеутверждающая направленность его натуры, было его увлечение пчеловодством. Большую часть своего досуга он обычно проводил рядом с ульями. Это увлечение проявилось рано; создание собственной пасеки стало мечтой всей его жизни. Наконец мечта осуществилась: он купил крестьянский хутор (сначала слишком большой, затем – поменьше), а к концу жизни оборудовал свой двор таким образом, что он доставлял ему огромную радость.

Алоиса Гитлера нередко рисуют жестоким тираном – вероятно, для того, чтобы легче было объяснить характер его сына. Но он не был тираном, хотя и был авторитарной личностью; он верил в такие ценности, как долг и честь, и считал своим долгом определять судьбу своих сыновей до наступления их зрелости. Насколько известно, он никогда не применял к Адольфу телесных наказаний; он упрекал его, спорил с ним, пытался разьяснить ему, что для него хорошо, а что плохо, но он не был той грозной фигурой отца, которая внушает сыну не только почтение, но и ужас. Как мы увидим, Алоис рано заметил растущую в сыне безответственность и бегство от реальности, что заставило отца не раз одергивать Адольфа, предупреждать о последствиях и пытаться образумить сына. Многие указывают на то, что Алоис Гитлер был достаточно терпимым к людям, он не был грубым, никогда не вел себя вызывающе и уж во всяком случае не был фанатиком. Этому образу соответствуют и его политические взгляды. Он проявлял большой интерес к политике, придерживаясь либеральных, антиклерикальных взглядов. Он умер от сердечного приступа за чтением газеты, но его последние слова выражали возмущение в адрес «черных», т. е. реакционных клерикалов.

Как объяснить, что два нормальных, добропорядочных и не деструктивных человека произвели на свет такое «чудовище», которым стал Адольф Гитлер?[320]

Раннее детство Адольфа Гитлера (до шести лет: 1889-1895)

Малыш был любимцем, мать берегла его как зеницу ока, никогда не ругала и всегда выражала свою нежность и восхищение. Он не мог ошибиться, все, что он делал, было замечательно, а мать при этом не спускала с него восторженных глаз. Очень может быть, что такое отношение способствовало формированию в его характере таких черт, как пассивность и нарциссизм. Ведь с его стороны не требовалось никаких усилий, чтобы услышать от матери, что он «великолепен»; ему не нужно было ни о чем беспокоиться, ибо любое его желание выполнялось незамедлительно. Он и сам мог приказывать матери и впадал в гнев, если хоть в чем-то получал отказ. Однако, как мы отмечали выше, именно преувеличенная опека со стороны матери могла восприниматься им как вмешательство в его дела, которого он позже постарался избежать. Отец по роду службы мало бывал дома, т. е. в доме отсутствовал авторитет мужчины, который мог бы оказать благотворное влияние на формирование мальчика. Пассивность и инфантилизм усиливались еще и тем обстоятельством, что мальчик часто болел, а это еще больше привязывало к нему любящую и заботливую мать.

Этот период закончился, когда Адольфу исполнилось шесть лет, а в семье к тому моменту произошло сразу несколько событий.

Самым главным событием с точки зрения классического психоанализа было рождение маленького брата, который был на 5 лет младше Адольфа и которому пришлось уступить кусочек места в сердце матери. Но подобное событие нередко оказывает не травмирующее, а вполне благотворное влияние на старшего ребенка, способствует ослаблению зависимости от матери и росту активности. Вопреки расхожим схемам, известные нам факты говорят о том, что маленький Адольф ни в коей мере не страдал от ревности, а целый год всем сердцем радовался рождению брата^[321].

В это время отец получил новое назначение в Линц, но семья еще год оставалась в Пассау, чтобы не переезжать с новорожденным младенцем, а дать ему возможность акклиматизироваться.

Целый год Адольф жил райской жизнью пятилетнего ребенка, который играл в шумные игры со своими сверстниками из соседних домов. Излюбленными играми были игры в индейцев и ковбоев, которые вели постоянные войны друг с другом. Привязанность к этим играм он сохранит на долгие годы. Поскольку немецкий городок Пассау был пограничным пунктом австро-германской границы, там находился австрийский таможенный контроль, так что, возможно, в военных играх были задействованы и такие «силы», которые участвовали во франко-германской войне 1870 г.; впрочем, национальность жертв мало кого волновала. Европа была полна героических юнцов, которые готовы были без разбору крушить и резать всех подряд, невзирая на этническую принадлежность. Этот год военных детских игр имел большое значение для последующей жизни Гитлера не в том смысле, что он жил на земле Германии, где усвоил баварский диалект, а в том, что это был для него год почти абсолютной свободы. Дома он начал настойчивее проводить свою волю, и, вероятно, в это время проявились первые приступы гнева, когда ему не удавалось настоять на своем. Зато на улице он не знал ограничений ни в чем – ни в фантазиях, ни в действиях.

Райская жизнь закончилась внезапно: отец вышел на пенсию, и семья переехала в Хафельд близ Ламбаха. Шестилетний Адольф должен был идти в школу. Тут он увидел «жизнь, ограниченную рамками предписанной деятельности, которая требовала от него дисциплины и ответственного отношения. Он впервые почувствовал необходимость постоянно кому-либо подчиняться».

Что можно сказать о формировании его личности в конце этого первого периода жизни?

С точки зрения теории Фрейда, в этот период развивались в полной мере оба аспекта Эдипова комплекса: сексуальная тяга к матери и враждебность к отцу. Кажется, что

эмпирические данные подтверждают гипотезу Фрейда: действительно, маленький Адольф был очень сильно привязан к матери и зол на отца; однако он не смог освободиться от Эдипова комплекса путем идентификации с отцом и создания своего сверх-Я. Он не сумел преодолеть свою привязанность к матери, но, когда она родила ему маленького соперника, он почувствовал себя обманутым и отошел от нее, отдалился.

Однако возникают серьезные сомнения в правильности фрейдовской интерпретации. Если бы рождение брата было для пятилетнего Адольфа таким травмирующим фактором, что это привело к разрыву его связи с матерью и превращению любви в ненависть, то целый год после этого события не мог бы быть таким счастливым, чуть ли не самым счастливым годом в его жизни. И как объяснить тогда, что образ матери навсегда остался для него столь милым? Что одну ее фотографию он постоянно носил в нагрудном кармане, в то время как такие же точно фотографии были и у него дома, и в Оберзальцбурге, и в Берлине? И стоит ли считать его ненависть к отцу следствием Эдипова комплекса, коль скоро мы знаем, что отношение матери к отцу в самом деле не отличалось глубиной чувств? Гораздо убедительнее выглядит гипотеза о том, что этот антагонизм возник как реакция на требовательность отца, который хотел видеть в сыне послушание, дисциплинированность и ответственное отношение к делу. Проверим теперь гипотезу об упомянутой выше злокачественной инцестуозной связанности. Эта гипотеза должна была бы привести к выводу, что заикленность Гитлера на матери не носила характера нежной и теплой привязанности; что он никогда не расставался со своим нарциссизмом (т. е. был всегда холоден и погружен в себя); что мать для него была не столько реальной личностью, сколько играла символическую роль; она была олицетворением безличной власти Земли, судьбы и даже смерти. Несмотря на свою холодность, Гитлер, видимо, был действительно связан симбиозными узами с матерью и ее символическими ипостасями. Подобная связь встречается нередко как своеобразная перевернутая форма мистицизма, когда конечной желанной целью представляется единение с матерью в смерти.

Если эта гипотеза верна, то легко понять, что рождение брата вовсе не было основанием для разочарования в матери. Да и в самом деле, вряд ли уместно говорить, что он отвернулся от матери, коль скоро он эмоционально никогда и не был близок к ней.

Но нам очень важно уяснить одну вещь: если мы хотим обнаружить причины формирования некрофильской личности Гитлера, то искать их нужно именно в склонности к кровосмешению, которая столь характерна для его детских впечатлений от матери. Главным символом матери стала для него сама Германия. Его заикленность на матери (=Германии) обусловила его ненависть к «отраве» (евреи и сифилис), от которой он должен был ее спасти; однако в более глубоком бессознательном пласте психики коренилось вытесненное желание к разрушению матери (=Германии). И он своими поступками доказал это и реализовал это свое желание начиная с 1942 г., когда он уже знал, что война проиграна, и до последнего приказа 1945 г. о полном уничтожении всех областей, захваченных противником. Именно такое поведение подтверждает гипотезу о его зловещей связанности с матерью. Отношение Гитлера к матери было совсем не похоже на то, что обычно характеризует «привязанность мужчины к матери», когда мы встречаем теплые чувства, заботу и нежность. В таких случаях мужчина испытывает потребность быть рядом с матерью, делиться с ней; он чувствует себя действительно «влюбленным» (в детском смысле этого слова). Гитлер никогда не испытывал подобной привязанности (по крайней мере позже пяти лет от роду, а вероятнее всего, и раньше). Ребенком он больше всего любил убежать из дома и играть с ребятами в солдатики или в индейцев. О матери он никогда не думал и не заботился.

Мать замечала это. Кубичек отмечает, что Клара Гитлер сама ему сказала, что у Адольфа нет чувства ответственности, что он транжирит свое небольшое наследство, не думая о том, что у него есть мать и маленькая сестра, «он идет своим путем, словно он один живет на свете». Недостаток внимания к матери стал особенно заметным, когда она заболела. Хотя в январе 1907 г. ей поставили онкологический диагноз и сделали операцию, Гитлер в сентябре уехал в Вену. Щадя его, мать скрывала от него свое плохое самочувствие; а его это

вполне устраивало. Он вовсе и не пытался выяснить истинное положение дел, хотя ему ничего не стоило навестить ее в Линце – это было совсем близко и в финансовом отношении не составляло никаких трудностей. Он даже не писал ей писем из Вены и тем самым доставлял ей массу волнений. Как сообщает Смит, Гитлер вернулся домой уже после смерти матери.

Правда, Кубичек приводит другие факты: он говорит, что Клара Гитлер просила сына приехать и поухаживать за ней, когда почувствовала себя совершенно беспомощной, и в конце ноября он приехал и ухаживал за нею около трех недель вплоть до самой смерти. Кубичек отмечает, что был крайне удивлен, увидев, как его друг моет пол и готовит еду для матери. Внимание Гитлера к одиннадцатилетней сестренке проявилось в том, что он заставил ее дать маме обещание быть прилежной ученицей. Кубичек трогательно описывает отношение Гитлера к матери, желая подчеркнуть его любовь к ней. Но этим сообщениям нельзя в полной мере доверять. Ибо Гитлер мог и в данном случае воспользоваться ситуацией, чтобы «поработать на публику» и произвести хорошее впечатление. Возможно, он и не отказал матери, когда она попросила его о помощи; да и три недели – не такой уж это большой срок, чтобы устать от роли любящего сына. Все же описание Кубичека выглядит малоубедительным, ибо противоречит общей позиции Гитлера и его поведению в целом^[322]. Подводя итог, следует сказать, что мать Гитлера никогда не была для него объектом любви и нежной привязанности. Она была для него символом богини-хранительницы, достойной восхищения, но также богиней хаоса и смерти. Одновременно она была объектом его садистской жажды власти и господства, которая переходила в бешенство, если он хоть в чем-то встречал отказ.

Детство Гитлера (с шести до одиннадцати лет: 1895-1900)

Переход из детства в школьные годы произошел внезапно. Алоис Гитлер ушел на пенсию и с этого дня мог посвятить себя семье, особенно воспитанию сына. Он приобрел дом в Хафельде, неподалеку от Ламбаха. Адольф пошел в маленькую деревенскую школу в Фишламе, где он чувствовал себя очень хорошо. Внешне он подчинялся приказам отца. Но Смит пишет: «Внутренне он сопротивлялся. Он умел манипулировать матерью и в любой момент мог закатить скандал». Вероятно, ребенку такая жизнь доставляла мало радости, даже если дело и не доходило до серьезных стычек с отцом. Но Адольф открыл для себя сферу жизни, которая позволяла ему забыть все регламентации и ограничения (недостаток свободы). Это были игры с ребятами в солдаты и в индейцев. Уже в эти юные годы со словом «свобода» Гитлер связывал свободу от ответственности и принуждения, и прежде всего «свободу от реальности», а также ощущение лидерства. Если проанализировать суть и значение этих игр для Гитлера, то выяснится, что здесь впервые проявились те самые черты, которые с возрастом усилились и стали главными в его характере: потребность властвовать и недостаточное чувство реальности. Внешне это были совершенно безобидные игры, соответствующие возрасту, но мы увидим дальше, что это не так, ибо он не мог оторваться от них и в те годы, когда нормальные юноши уже этим не занимаются.

В последующие годы в семье произошли значительные перемены. Старший сын Алоиса в 14 лет, к огорчению отца, ушел из дома, так что роль старшего сына теперь досталась Адольфу. Алоис продал свое имение и перебрался в город Дамбах. Там Адольф стал учиться в довольно современной школе и делал это неплохо, во всяком случае, достаточно успешно, чтобы избегать серьезных разногласий с сердитым отцом.

В 1898 г. семья еще раз сменила место жительства, на сей раз они поселились в отдаленном районе Линца, в местечке под названием Леондинг, а Адольф в третий раз сменил школу. Алоису Гитлеру новое место пришлось по душе. Здесь он мог сколько угодно разводить пчел и вести разговоры о политике. Он по-прежнему был главой дома и не

допускал сомнений в своем авторитете. Его лучший друг по Леондингу Иозеф Маиерхофер скажет позднее: «В семье он был строг и не церемонился, его жене было не до смеха...» Он не бил детей, Адольфа никогда и пальцем не тронул, хотя и «ругался и ворчал постоянно. Но собака, которая лает, не обязательно кусает. А сын его уважал».

Биограф рисует нам портрет авторитарной личности, довольно сурового отца, но вовсе не жестокого тирана. Однако Адольф боялся отца, и этот страх мог стать одной из причин его недостаточной самостоятельности, о которой мы еще услышим. Однако авторитарность отца нельзя рассматривать вне связи с другими обстоятельствами; если бы сын не настаивал, чтобы его оставили в покое, если бы он проявлял больше чувства ответственности, то, возможно, и с таким отцом установились бы дружественные отношения, ведь отец желал сыну добра и вовсе не был деструктивной личностью. Так что заключение о «ненависти к авторитарному отцу» в значительной мере является преувеличением, это своего рода клише, как и Эдипов комплекс.

Так или иначе, а пять лет мальчик проучился в народной (начальной) школе без проблем. Он был, вероятно, умнее многих одноклассников, учителя к нему лучше относились (из почтения к социальному статусу семьи), и он получал самые хорошие оценки, не прилагая к тому особых усилий. Таким образом, школа не стимулировала его к успеху и не нарушала его строго сбалансированную систему компромиссов между приспособлением и бунтом.

Нельзя сказать, что к концу этого периода наметились явные ухудшения. Но есть и некоторые тревожные симптомы: ему не удалось преодолеть нарциссизм раннего детства; он не приблизился к реальности, а оставался в мире фантазий; он жил в иллюзорном царстве свободы и власти, а мир реальной деятельности был от него далек и мало интересовал его. Первые школьные годы не помогли ему перерасти инфантильности раннего детства. Но внешне все пока было благополучно, и дело не доходило до открытых конфликтов.

Отрочество и юность (с одиннадцати до семнадцати лет: 1900-1906)

Поступление Гитлера в реальное училище (среднюю школу) и первые годы после смерти отца явились решающим поворотным пунктом в негативном развитии его характера и усилили тенденцию формирования злокачественных черт этой личности.

Важными событиями, произошедшими за 3 года до смерти отца в 1903 г., были:

- 1) его проблемы в реальном училище;
- 2) конфликт с отцом, настаивавшим на том, чтобы он стал государственным чиновником;
- 3) факт, что он все больше погружался в фантастический мир своих игр.

В своей книге «Майн кампф» («Моя борьба») сам Гитлер дает убедительное объяснение этому, чтобы тем самым оправдать себя. Он, свободный и независимый человек, не мог допустить и мысли о том, чтобы состоять на государственной службе. Для него лучше быть художником. Поэтому он восстал против школы и забросил свои занятия, чтобы вынудить отца разрешить ему стать художником.

Однако если мы тщательно рассмотрим известные нам факты, то получим совершенно иную картину:

- 1) то, что он плохо учился в школе, объясняется целым рядом причин, на которых мы остановимся ниже;
- 2) его идея стать художником была, в сущности, выражением его неспособности к любому виду работы, требующей дисциплинированности и приложения усилий;
- 3) конфликт с отцом заключался не только в его отказе стать государственным чиновником, а и в том, что он постоянно прятался от всех требований реальной жизни.

То обстоятельство, что он потерпел неудачу в реальном училище, не подлежит сомнению, и к тому же это отмечено очевидными фактами. Уже на первом году учебы он учился так плохо, что был оставлен на второй год. В следующем году, чтобы перейти в

третий класс, он должен был сдавать экзамены по некоторым предметам. В четвертый класс его перевели с условием, что он уйдет в другую школу. По этой причине он поступил в государственное высшее реальное училище в Штейре, однако еще до окончания 4-го класса решил, что последний, пятый, класс он посещать не будет. Одно событие в конце последнего года обучения имело, возможно, некий символический смысл. Получив аттестат, он пошел со своими товарищами в трактир выпить вина. Дома он обнаружил, что потерял свой аттестат. Он еще придумывал, как бы это объяснить, как вдруг его вызвали к директору училища. Аттестат нашли на улице: он использовал его как туалетную бумагу. Как бы ни был он пьян, в этом поступке символически выражается его ненависть и презрение к школе.

Некоторые причины неудач Гитлера в реальном училище более понятны, чем другие. Так, например, ясно, что в народной школе он многих превосходил, поскольку по своим способностям был выше среднего уровня. Он обладал талантом и красноречием, ему не надо было прилагать каких-то усилий, чтобы превзойти своих одноклассников и получить отличные отметки. В реальном училище, напротив, ситуация была иной. Здесь средний уровень интеллекта учащихся был выше, чем в народной школе. Уровень образованности учителей был выше, а требования – строже. Да и его социальное происхождение не производило на учителей никакого впечатления; оно было не лучше, чем у других учеников, т. е. чтобы иметь успех в реальном училище, нужно было действительно работать. Эта работа не была изнурительной, но все же была сложнее, чем привык делать молодой Гитлер на что он был способен. Для крайне самовлюбленного подростка, который, не прилагая каких-либо усилий, имел успех в народной школе, новая ситуация, по-видимому, была шоком. Это был вызов его самолюбию и доказательство того, что он не может справиться с действительностью так, как он это делал раньше.

Подобная ситуация, когда у ребенка после успешной учебы в народной школе возникают трудности на новом месте, встречается нередко. Часто она заставляет ребенка изменить свое отношение к учебе, преодолеть, хотя бы частично, свою инфантильность и приложить старание к учебе. Но на Гитлера эта ситуация все же не оказала подобного воздействия. Вместо того чтобы приблизиться к действительности, он еще больше ушел в свой мир фантазии и избегал тесных контактов с людьми.

Если бы его неудачи в высшем реальном училище объяснялись тем, что большинство изучаемых там предметов его не интересовало, то над теми предметами, которые ему нравились, он работал бы прилежно. Этого не произошло, доказательством чему может служить тот факт, что он не старался изучить даже немецкую историю, хотя этот предмет его воодушевлял и волновал. (Хорошие оценки он получал только по рисованию, но так как он обладал художественным даром, то ему и не нужно было прилагать усилий.) Эта гипотеза однозначно подтверждается тем фактом, что он и в более поздний период своей жизни не был способен к труду, требующему усилий, ни в одной области; единственное, что его действительно интересовало, была архитектура. Мы еще будем говорить о неспособности Гитлера к систематической работе: он работал только под давлением срочной необходимости или в порыве страсти. Я упоминаю об этом здесь, чтобы подчеркнуть, что его неудачи в реальном училище нельзя объяснить его «художественными» интересами.

В эти годы Гитлер еще больше отошел от действительности. В сущности, он никем не интересовался – ни своей матерью, ни своим отцом, ни своими братьями и сестрами. Он вспоминал о них лишь тогда, когда возникала необходимость, и для того, чтобы его оставили в покое. Он не тратил на них душевных сил. Его единственным, страстным интересом были военные игры с другими детьми, причем он был руководителем и организатором. В то время как для мальчика от девяти до одиннадцати лет эти игры вполне подходили, для подростка, посещавшего реальное училище, такое пристрастие было странным. Характерна одна сцена во время его конфирмации в возрасте 15 лет. Один из членов семьи устроил небольшой дружеский вечер в честь конфирманта, однако Гитлер был недоволен и раздражен и при первой же возможности убежал из дому, чтобы поиграть с ребятами в войну.

Военные игры выполняли несколько функций. Они давали ему чувство удовлетворения

в том, что он обладал силой убеждения и мог заставить других подчиняться ему. Они укрепляли в нем нарциссизм, и прежде всего они перемещали центр его жизненных интересов в фантастический мир, тем самым способствуя тому, что он все больше отходил от действительности, от реальных людей, реальных достижений и реальных знаний. Эта склонность к миру фантазии нашла яркое выражение в его страстном интересе к романам Карла Мэя. В Германии и Австрии практически все мальчишки зачитывались повестями этого писателя. Восхищение Гитлера его рассказами было для ученика последних классов народной школы вполне нормальным, но Смит пишет следующее:

В последующие годы дело приобрело более серьезный оттенок, так как Гитлер никогда не утратил интереса к рассказам Карла Мэя. Он читал его в юношеском возрасте и в 20-30 лет. Даже будучи уже рейхсканцлером, он все еще восхищался писателем и еще раз прочитал серию рассказов об американском Западе. Он никогда не скрывал своего восторга перед его книгами. В «Застольных беседах» он превозносит Мэя и рассказывает, сколько радости он испытывает, читая его книги. Он почти с каждым говорил о Мэе – с руководителем отдела печати, с секретаршей, с камердинером и с товарищами по партии.

Я бы все же иначе интерпретировал этот факт, нежели Смит. Он полагает, что восхищение Гитлера романами Карла Мэя было для него таким счастливым событием, что «он взял их с собой в период своего трудного полового созревания».

В какой-то мере это верно, однако я думаю, что здесь упускается очень важный момент. Увлечение романами Мэя следует рассматривать в связи с военными играми Гитлера и как возможность для выражения его фантастического мира. То, что он из детства и юности перенес свое увлечение книгами Мэя во взрослую жизнь, позволяет предположить, что они были для него бегством от реальности, выражением нарциссизма, когда центром мира оказывался он сам: Гитлер, фюрер, борец и победитель. Конечно, у нас нет убедительных доказательств. Но если сопоставить поведение Гитлера в молодые годы с фактами его последующей жизни, то вырисовывается вполне определенная модель поведения; он нарцисс – человек, считающийся только сам с собой, для которого мир фантазии был реальнее, чем сама реальность. Если мы вспомним, что еще в 16 лет молодой Гитлер жил в своем фантастическом мире, то возникает вопрос: как удалось этому мечтателю, думающему только о себе, стать властелином Европы – хоть и на короткое время? Подождем с ответом на этот вопрос, а пока продвинемся немного дальше в нашем анализе развития и становления личности Гитлера.

Какими бы ни были причины его неудач в реальном училище, последствия этого, несомненно, отразились на духовном, эмоциональном мире юного Гитлера. Речь идет о мальчишке, которым восхищалась мать и который успешно учился в народной школе, был вожаком среди своих товарищей; для него все эти незаслуженные успехи были только подтверждением его нарциссической уверенности в своей исключительной одаренности. И вдруг практически сразу, без какого-либо перехода он оказывается в положении неудачника. Он не смог скрыть эту неудачу от отца с матерью. И это, очевидно, сильно ударило по его нарциссизму. Если бы он мог признаться себе, что все его неудачи объясняются тем, что он не способен интенсивно трудиться, то, возможно, он смог бы преодолеть эти трудности, так как, без сомнения, обладал способностями для успешной учебы в реальном училище^[323].

Но из-за своего непомерного нарциссизма Гитлер не мог этого понять. Кроме того, он чувствовал себя не в состоянии хоть как-то изменить реальность и потому постарался ее исказить и отвергнуть. И ему это удалось: он обвинил в своих неудачах учителей и отца и заявил, что в них нашло выражение его страстное стремление к свободе и независимости. Он спрятался от жизни, создав себе имидж «художника». Мечта стать когда-нибудь великим художником заменила ему реальность, а тот факт, что он никогда серьезно не работал над осуществлением своей мечты, доказывает, что эта идея была лишь чистой фантазией. Неудачи в училище были его первым поражением и унижением, за которыми последовал ряд

других. Можно было бы с уверенностью сказать, что это значительно усилило его презрение и ненависть ко всем, кто был причиной или свидетелем его поражения, и его ненависть вполне могла стать началом его некрофилии, если бы у нас не было оснований считать, что корни ее еще глубже, что они связаны с злокачественными инцестуозными страстями.

Смерть отца не произвела на 14-летнего Гитлера заметного впечатления. Если бы было правдой то, что позднее писал сам Гитлер, – его неудачи в училище объяснялись конфликтом с отцом, – то со смертью жестокого тирана и соперника пробил бы час его освобождения. Он мог бы чувствовать себя свободным, строить реальные планы на будущее, упорно работать над их осуществлением – и, возможно, проявил бы свою привязанность к матери. Но ничего подобного не произошло. Он продолжал жить так же, как и прежде. Но, по словам Смита, его жизнь была «не более чем поток фантазий и развлечений». Выхода из этого состояния Гитлер не видел.

Теперь еще раз проанализируем конфликт Адольфа с отцом, возникший после поступления в высшее реальное училище. Алоис Гитлер решил, что сын обязан учиться в высшем реальном училище. Хотя мальчик не проявлял особого интереса к этому плану, он согласился. Как пишет сам Гитлер в книге «Майн кампф», до настоящего конфликта дело дошло лишь тогда, когда отец стал настаивать на том, что он должен стать чиновником. Само по себе это желание было естественным, так как отец, находясь под впечатлением своего собственного успеха на служебном поприще, полагал, что и сын на этой стезе мог бы сделать карьеру. Когда же сын выразил совершенно противоположное желание – стать художником, живописцем, – отец, по словам Гитлера, заявил: «Нет, пока я жив, этого не будет никогда». Адольф сказал, что вообще больше ничего не будет делать в училище, а когда отец не уступил, то стал «отмалчиваться, но свою угрозу выполнил». Таково объяснение Гитлера по поводу его неудач в училище, однако оно слишком удобно, чтобы быть правдой.

Это объяснение должно подтвердить тот имидж, который Гитлер создал сам себе. Это образ человека жестокого и решительного, который к 1924 г. (когда он работал над книгой «Майн кампф») имел уже за спиной долгий путь восхождения и был полон решимости идти до окончательной победы. Одновременно это имидж неудавшегося художника, который, желая спасти Германию, занялся политикой. Но прежде всего это объяснение оправдывает его плохие отметки в реальном училище, его медленное взросление, и в то же время оно пытается представить его юность в несколько героическом ореоле – что, впрочем, было достаточно трудной задачей. Эта история сыграла свою роль в последующих спектаклях фюрера и достигла цели, так что вполне уместен вопрос, а не придумал ли он все это нарочно...

То, что отец хотел сделать из своего сына государственного чиновника, вполне возможно, соответствует действительности; но, с другой стороны, он не предпринял никаких решительных мер, чтобы склонить его к этому. Гитлер не был похож в своих поступках на старшего брата, который в 14 лет не доказывал свою независимость и не сопротивлялся отцу. Но вместе с тем у него хватило отваги совершить поступок, покинув родительский дом. Адольф, напротив, приспособился к ситуации и еще больше замкнулся в себе.

Чтобы выяснить причину конфликта, необходимо понять позицию отца. Наверняка он, как и мать, заметил, что у сына не было никакого чувства ответственности, желания трудиться и что он вообще ничем не интересовался. Будучи человеком интеллигентным и доброжелательным, он не особенно переживал о том, станет ли его сын государственным чиновником или выберет другую стезю. Но он, должно быть, почувствовал, что намерение стать художником было лишь уловкой: попыткой оправдать свое легкомыслие и отговоркой для дальнейшего безделья. Если бы сын сделал какое-то встречное предложение – если бы он, к примеру, сказал, что хочет изучать архитектуру, и доказал бы своими результатами в школе, что это для него действительно важно, – то, вероятно, отец реагировал бы иначе. Но поведение Адольфа не оставляло сомнений в полнейшем отсутствии у него мало-мальски серьезных намерений. Он даже не попросил о разрешении брать уроки рисования. Ну и,

наконец, еще одним аргументом, свидетельствующим, что причиной его неудач в училище было не противодействие отцу, служит все его поведение. После смерти отца, когда мать пыталась вернуть его с небес на землю, он, уйдя из реального училища, решил остаться дома и «читать, рисовать и мечтать. Он удобно устроился в квартире на Гумбольдтштрассе (куда тем временем переехала мать), где он мог делать все, что хотел. Он готов был терпеть присутствие матери и сестры Паулы в своей святой святых, ибо избавиться от них он мог, лишь приняв неприятное решение – уйти из дома и начать работать. Разумеется, они не могли ему перечить, хотя мать оплачивала его счета, а сестра обслуживала его».

Мать беспокоилась о нем и уговаривала его относиться к жизни серьезнее. Она не настаивала на том, чтобы он стал чиновником, однако пыталась пробудить в нем серьезный интерес хоть к какому-нибудь делу. Она послала его в Мюнхен в Академию художеств. Там он прожил несколько месяцев, и на этом все и закончилось. Гитлер любил элегантно одеваться, и мать из кожи вон лезла, чтобы он был одет как денди, вероятно, надеясь, что это откроет ему лучшие общественные перспективы. И если это был ее замысел, то он потерпел полный крах. Одежда была для него лишь символом независимости и самодовольной изоляции.

Мать сделала еще одну попытку пробудить у Адольфа интерес. Она дала ему деньги для 4-недельной поездки в Вену. Он прислал ей пару почтовых открыток, где с восторгом писал о «могущественном величии», «достоинстве» и «великолепии» зданий. Его орфография и знаки препинания, однако, были намного ниже уровня, какого можно было бы ожидать от 17-летнего юноши, посещавшего 4 года реальное училище. Мать позволила ему брать уроки музыки (отец за несколько лет до того предлагал брать уроки пения), и Гитлер занимался этим несколько месяцев. В конце 1907 г. он отказался и от музыки, так как ему не нравилось разучивать гаммы. Может быть, он и без того должен был бы прекратить эти занятия, так как прогрессирующая болезнь матери вынуждала семью ограничивать расходы.

Его реакция на самые робкие и нежные попытки матери привлечь его к какому-либо реальному делу доказывает, что он был просто эгоистическим бездельником, и потому его отношение к отцу и противодействие его требованиям следует понимать не просто как упрямство, а как полную безответственность лентяя по отношению к благоразумным советам взрослого человека. Здесь и таится причина конфликта – речь шла не просто об его отказе от государственной службы и еще Меньше об Эдиповом комплексе. Нам следует искать объяснение в склонности Гитлера к безделью и в его страхе перед любым трудом. Это поможет нам в дальнейшем, когда у нас будет достаточно обоснованных фактов о поведении подобной категории детей с ярко выраженной привязанностью к матери. Очень часто они неосознанно ожидают, что она сделает для них все точно так же, как она делала это в раннем детстве. Они считают, что им совсем не надо прилагать каких-либо усилий, что они не должны сами поддерживать порядок. Они спокойно могут оставить все разбросанным и ожидать, когда мать все уберет за них. Они живут в своего рода «раю», где от них ничего не требуют и где для них все сделают. Я полагаю, что такое объяснение подходит и к случаю с Гитлером. По-моему, это не противоречит гипотезе о холодном и отстраненном характере его привязанности к матери. Она несет эту функцию квазиматери, хотя он по-настоящему не чувствовал к ней ни любви, ни привязанности.

Описание безделья и лени Адольфа Гитлера в училище, его неспособности к серьезному труду, нежелания продолжить образование может у некоторых читателей вызвать вопрос: ну что тут особенного? В наши дни тоже есть немало молодых людей, которые бросают школу или училище; многие из них проклинают педантизм и бесплодное школярство и строят планы свободной, независимой жизни без авторитетов, когда им не будут мешать ни отец, ни другие авторитарные личности. Однако эти молодые люди не имеют ничего общего с некрофильским типом личности, совсем напротив, большинство из них представляют собой открытый, жизнеутверждающий, независимый тип личности. Некоторые читатели могут усомниться, а не является ли мое толкование поведения Гитлера слишком консервативным.

По поводу этих возражений я должен сказать следующее:

1) Конечно, есть много разных молодых людей, которые бросают школу, но нельзя их всех стричь под одну гребенку. Здесь более, чем где-либо еще, важен индивидуальный подход.

2) В то время, когда Гитлер был молодым, такие случаи были крайне редкими, поэтому у нас практически нет модели для анализа.

3) Еще более важным является наблюдение, которое касается самого Гитлера: он не только не интересовался школьными предметами, он вообще ничем не интересовался. Он ни к чему не прилагал усилий – ни тогда, ни потом (мы встретим это отвращение к труду и в то время, когда он изучал архитектуру). Он был ленивым не потому, что у него были незначительные потребности, он не был просто гедонистом, который не имеет определенной жизненной цели. Наоборот, у него было острое честолюбие, жажда власти – то, что заставляет человека действовать. Кроме того, у него были огромные жизненные силы, какая-то витальная энергия держала его в постоянном напряжении, он был всегда «на взводе», и состояние спокойной радости ему было просто незнакомо. Эти черты очень сильно отличают Гитлера от основной массы лентяев, бросающих школу. Те же из них, кто страдает таким же честолюбием и, не имея никаких серьезных жизненных интересов, стремится к власти, представляют настоящую угрозу для окружающих.

Когда я категорически утверждаю, что неспособность трудиться и отсутствие чувства ответственности – однозначно отрицательные свойства личности, меня могут упрекнуть в «консерватизме». Но я считаю, что здесь мы выходим на очень важный фактор, имеющий отношение к «радикализму» современной молодежи. Нельзя путать лень с отсутствием интереса, лень лени рознь. Одно дело, когда человек любит одни учебные дисциплины, а другие – ну терпеть не может, и совсем другое, когда человеку вообще ничего не интересно. Попытки уклониться от ответственности и серьезной работы обусловлены неправильным развитием в период становления личности, и это – факт, который должны иметь в виду родители и не возлагать на общество вину за дурные нравы своих детей. А если кто-то считает, что отсутствие постоянного труда формирует революционеров, то он заблуждается. Умение напряженно трудиться, самоотверженность, сосредоточенность – вот что составляет сущность настоящей, развитой личности (в том числе и личности революционера).

Вена (1907-1913)

В начале 1907 г. мать Гитлера предоставила ему финансовую возможность переехать в Вену, чтобы изучать живопись в Академии художеств. Благодаря этому Гитлер стал полностью независимым. После избавления от отцовского гнета он стал теперь недосягаем и для полных любви увещаний матери и мог делать все, что хотел. Ему не надо было думать о деньгах, так как он спокойно мог жить какое-то время на деньги, унаследованные от отца, и на пенсию, которую выплачивало государство детям умерших чиновников^[324]. Он оставался в Вене с 1907 по 1913 г., здесь закончилась его юность и начался период молодости. Что делал он в этот важный период? Прежде всего он облегчил свою жизнь в Вене тем, что уговорил поехать с собой Августа Кубичека, товарища его последних лет в Линце. Кубичек и сам очень хотел этого, но отец его яростно сопротивлялся художественным планам своего сына, и переубедить его было довольно трудно, так что удачу в этом деле можно считать первым проявлением гитлеровского дара убеждать. Кубичек, так же как и Гитлер, был пламенным поклонником Вагнера. Это общее восхищение свело их в оперном театре в Линце, и они стали большими друзьями. Кубичек работал учеником в отцовском магазине мягкой мебели, но у него была мечта стать музыкантом. Он обладал большим чувством ответственности и был прилежнее Гитлера. Но по личностным качествам он был, конечно, значительно слабее Гитлера и потому очень скоро попал под его

влияние. Гитлер проверял на нем свою способность оказывать влияние на других. Кубичек им постоянно восхищался и неизменно укреплял его самовлюбленность. Эта дружба была для Гитлера во многих отношениях некой заменой того, что давали ему прежде игры с товарищами: ведь ему всегда нравилось быть предводителем и вызывать восхищение.

Вскоре после приезда в Вену Гитлер явился в Академию художеств и подал заявление о допущении к ежегодному вступительному экзамену. Он, очевидно, не сомневался, что его примут. Однако экзамен он не сдал; выдержав первый экзаменационный этап, второй он провалил.

Сам Гитлер пишет в книге «Майн кампф»: «Я был так уверен в успехе, что отказ был для меня как гром среди ясного неба». Он пишет, что один из профессоров Академии художеств сказал ему, что, по-видимому, он имеет большую склонность к архитектуре, чем к живописи. Но даже если это и соответствовало истине, Гитлер все же не последовал его совету. Его могли принять в архитектурную школу при Академии при условии, если он еще год будет посещать реальное училище. Но нет фактов, доказывающих, что он всерьез думал об этом. Слова Гитлера в «Майн кампф» не соответствуют действительности. Он пишет, что осуществление его творческих стремлений сорвалось «из-за человеческих стереотипов мышления»: ведь у него не было аттестата зрелости. А затем идет чистое самолюбование и хвастовство: «Я хотел стать архитектором; препятствия же существуют не для того, чтобы перед ними капитулировать, а для того, чтобы их преодолеть. И я хотел их преодолеть...» Но в действительности все было как раз наоборот.

Его личность и образ жизни не позволяли ему признать свои ошибки и оценить провал на экзамене как признак того, что следует измениться самому. Его эскапизм^[325] еще больше усилился из-за его социального снобизма и презрения к любому труду (особенно к работе грязной, утомительной и унижительной). Это был молодой, невежественный сноб, который так долго был предоставлен самому себе, что мог думать лишь о той, как облегчить себе жизнь. После провала в Академии единственное, что ему оставалось, – это вернуться на Штумпергассе и жить дальше так, будто бы ничего не случилось. В этом святом уединении он снова предался тому, что высокопарно именовал «занятиями». На самом деле он просто бесцельно что-то рисовал и время от времени шел в город на прогулку или в оперу.

Окружающим людям Гитлер говорил, что учится в Академии художеств, и повторял эту ложь даже Кубичеку, когда тот приехал в Вену. Но однажды Кубичек усомнился в его словах, он просто не мог себе представить, как это можно совместить: учиться в Академии и вместе с тем с утра до вечера валяться в кровати. Гитлер сказал ему правду. Он яростно проклинал всех преподавателей Академии художеств и грозился доказать им, что и без их помощи станет знатоком в области архитектуры. Его «метод изучения» состоял в том, что он бродил по городу, разглядывал монументальные строения, а вернувшись домой, делал бесконечные рисунки, наброски, эскизы фасадов. Его уверенность в том, что таким образом можно подготовиться к профессии архитектора, свидетельствовала лишь о недостатке чувства реальности. С Кубичеком он обсуждал планы архитектурного обновления Вены, а также свое намерение написать оперу. Он посещал парламент, чтобы послушать дебаты в рейхсрате. Он еще раз подал заявление в Академию художеств, но на этот раз не был допущен даже к первому экзамену.

Больше года он провел в Вене, не занимаясь ничем серьезным. На вступительных экзаменах он дважды провалился, однако продолжал утверждать, что находится на пути в большое искусство. Несмотря на весь этот обман и показуху, у него самого, видимо, все-таки было ощущение провала, который он потерпел за год. И это было гораздо серьезнее, чем в реальном училище, когда он мотивировал свои неудачи желанием стать художником. Не состоявшись как художник, он не имел больше подобных оправданий. Он получил отпор именно в той области, которая, по его убеждению, сулила ему большое будущее. И ему не оставалось ничего другого, как обвинить профессоров Академии, общество и весь мир.

Тогда, очевидно,

начала крепнуть его ненависть к жизни. При этом нарциссизм заставлял его все больше и больше отворачиваться от реальности^[326].

С этого момента Гитлер почти полностью изолировался от людей, и это ярче всего выразилось в том, что он внезапно порвал отношения даже с Кубичеком, который был единственным человеком, с кем он хоть изредка еще общался. Он отказался от комнаты, которую они вместе снимали, сделал это в его отсутствие, когда Кубичек был у родителей, и даже не оставил ему своего нового адреса. Кубичек потерял его из виду и встретился с ним только тогда, когда Гитлер был уже рейхсканцлером.

Приятное времяпрепровождение – безделье, вечные разговоры, прогулки и рисование – медленно подходило к концу. При экономной жизни денег у него оставалось не больше чем на год. Поскольку говорить ему было не с кем, он начал больше читать. В то время в Австрии было много политических и идеологических групп, которые выступали с позиций немецкого национализма: «национал-социализма» (в Богемии) и антисемитизма или расизма. Все они действовали разрозненно, выпуская свои издания, проповедуя свою собственную идеологию. Гитлер захлеб читал все эти памфлеты и жадно впитывал смесь из национал-социалистских и расистских идей, которые впоследствии были положены в основу его собственной концепции великой Германии. Итак, в этот венский период он не стал художником, зато заложил основу для будущей политической карьеры.

Осенью 1904 г. у него закончились деньги, и он тайно покинул квартиру, не заплатив за жилье. Началась пора тяжелых испытаний. Он ночевал на скамейках, в ночлежках, а к декабрю 1909 г. стал настоящим бродягой и проводил ночи в приюте, который существовал на средства филантропического общества защиты бездомных. Молодой человек, который менее трех лет назад прибыл в Вену с твердым намерением стать великим художником, вместо этого стал бездомным бродягой, который с жадностью кидался к филантропической тарелке горячего супа и не имел никаких видов на будущее. Но при этом он ничего не делал, чтобы заработать себе на жизнь. Он сник. И уже сам факт пребывания в приюте для бездомных, по словам Смита, свидетельствовал о том, что он «признал свое окончательное поражение».

В результате этого поражения Гитлер не состоялся не только как художник, он не состоялся и как представитель немецкого среднего класса, как сытый, хорошо одетый бюргер с приличным образованием, имеющий право и привычку презирать представителей низших слоев. Теперь он сам пополнил эту армию отверженных, убогих, он стал бродягой, а они считаются отбросами общества. Это было сильным унижением для представителя среднего класса, для любого буржуа, а уж тем более для такого нарцисса, каким был Адольф Гитлер. Но зато он был упрям, и это не позволило ему отчаяться. Более того, столь безнадежная ситуация в какой-то мере, видимо, заставила его собрать свои внутренние ресурсы. Ведь самое страшное уже было позади, он опустился на самое дно, но не утратил ни капли своего нарциссизма.

Теперь надо было выйти из состояния унижения и краха, отомстить своим «врагам» и доказать всем, что этот нарцисс и в самом деле чего-то стоит.

Этот процесс можно лучше понять, если вспомнить известные нам клинические случаи крайнего нарциссизма. В кризисных ситуациях чаще всего нарцисс не способен оправиться от удара. Поскольку его внутренний мир (субъективная реальность) и внешний (объективная реальность) совершенно не совпадают, наступает полное раздвоение личности, от которого он буквально впадает в душевное расстройство. Иногда нарциссу удается найти некоторое убежище в реальной жизни. Например, его может устроить положение подчиненного, которое позволяет сохранять нарциссические мечты, обвинять весь мир в своих бедах и жить, ничего не делая и не страдая от ощущения катастрофы. Особо одаренный человек может найти другой выход. Он может попытаться преобразовать реальность так, чтобы

воплотить в жизнь свои фантазии. Но для этого требуется не только талант, но и соответствующие исторические условия. Нередко возможность такого решения предоставляется политическим лидерам в периоды социальных кризисов. Если у лидера есть дар убеждения, если он умеет говорить с народом, если он достаточно ловок, чтобы организовать массы, то он может преобразовать реальность в соответствии со своей фантазией. Нередко демагог, стоящий на грани психоза, спасается от безумия тем, что внешне «сумасшедшие» идеи он выдает за «рациональные». И кажется, что в политической борьбе кое-кто руководствуется не только стремлением к власти, но и необходимостью спастись от безумия.

Теперь мы вернемся к тому пункту, где мы оставили Адольфа Гитлера. Это был самый критический, самый горький период его жизни. Он продолжался не очень долго – быть может, пару месяцев, и окончился без всяких усилий с его стороны. Позднее в книге «Майн кампф» Гитлер утверждал, что он никогда ничего не делал собственными руками. В тот же момент его положение улучшилось вскоре после того, как он подружился со старым бродягой по имени Ханиш. Это был отвратительный тип, который, как и Гитлер, проявлял интерес к живописи и к политике^[327]. Ханиш сделал Гитлеру практическое предложение, как обоим выбраться из крайнего кризиса. Гитлер должен был попросить у матери некоторую сумму денег на покупку красок. Тогда он сможет рисовать почтовые открытки, а Ханиш будет их продавать. Гитлер последовал его совету. Ему прислали 50 крон, на которые он купил бумагу, краски и пальто, в котором крайне нуждался. Затем они с Ханишем обосновались в маленьком приюте (приличное заведение для бездомных мужчин). Здесь Гитлеру разрешили рисовать в большом общем зале. Все шло хорошо. Адольф рисовал почтовые открытки, а Ханиш продавал их на улице. Затем Гитлер нарисовал несколько больших картин (акварелью и масляными красками). Ханишу удалось продать их – кое-что в художественный салон, а кое-что даже антиквару. Теперь все было бы совсем неплохо, если бы не одна проблема: Гитлер не умел и не хотел трудиться! Как только у него появлялось хоть немного денег, он прекращал рисовать и начинал «выступать» перед обитателями приюта на политические темы. Но теперь у него все-таки был хоть какой-то мало-мальски постоянный доход. Дело закончилось тем, что приятели поругались. Гитлер обвинил Ханиша в том, что тот утаил от него часть денег за проданную картину.– А затем он написал донос в полицию, и Ханиша арестовали. В дальнейшем Гитлер сам стал заниматься этим делом: сам рисовал и сам продавал свои картины (в основном его покупателями были два еврейских антиквара). Ему не хватало усидчивости и целеустремленности, а то он мог бы стать настоящим предпринимателем. Он жил экономно и накопил немного денег. Вряд ли можно сказать, что он стал «художником», ибо он большей частью лишь копировал фотографии и картины, на которые был спрос. Он по-прежнему жил в мужском приюте, но его положение там существенно изменилось: теперь он был здесь постоянным жителем, т. е. относился к той маленькой «элитной» группе постояльцев, которые на временных смотрели свысока.

Можно предположить, что существовало несколько причин, побудивших Гитлера остаться жить в мужском приюте. Маловероятно, что мотивы были экономического характера. За 15 крон, которые он ежемесячно платил за пристанище в приюте, он мог бы найти приличную частную комнату. Так что речь, по-видимому, следует вести о какой-то психологической мотивации. Как и многие люди, живущие без родных, Гитлер боялся одиночества. Ему необходимо было какое-то внешнее общение, чтобы хоть как-то компенсировать внутреннее одиночество. Еще больше ему необходимы были слушатели, на которых он мог производить впечатление. Все это он и получал в мужском приюте, обитатели которого чаще всего были изгоями общества. Это были одинокие и убогие люди, не знавшие нормальной жизни. Гитлер конечно же был умнее, сильнее и энергичнее, чем они. Они играли в его жизни ту же самую роль, что и его друзья детства, товарищи по играм

– Кубичек и другие. Они давали ему возможность развивать свои задатки и способности, оттачивать ораторское искусство, учиться впечатлять и внушать и т. д. Занимаясь рисованием в общем зале, Гитлер имел обыкновение неожиданно прерывать работу и произносить страстные политические речи. Это были своего рода репетиции к будущим всенародным «спектаклям». Так приют стал для Гитлера стартовой площадкой политического демагога.

Если мы задумаемся над существованием Гитлера в то время, то возникает важный вопрос: а не проснулась ли в нем способность к длительному труду? Не превратился ли он из бездельника в относительно удачливого мелкого предпринимателя? Не нашел ли он все же самого себя и не обрел ли душевное равновесие?

С первого взгляда складывается впечатление, что можно говорить о позднем созревании молодого человека... Но можно ли это считать нормой? Если бы это было так, то более детальный анализ эмоционального развития Гитлера был бы совершенно излишним. Вполне достаточным было бы констатировать, что в возрасте 23-24 лет Гитлер, преодолев некоторые юношеские трудности своего характера, стал уравновешенным, хорошо приспособленным молодым человеком.

Но если рассмотреть ситуацию детально, то такая интерпретация едва ли состоятельна. Перед нами человек огромной жизненной силы, одержимый манией величия и рвущийся к власти, намеревающийся стать художником или архитектором. Как же реализуются его стремления?

В отношении искусства он потерпел полный крах; из него получился только мелкий делец. В стремлении к самолюбанию он кое-чего достиг: он выступал перед отдельными людьми и группами и умел, произвести впечатление, однако ему не удалось заставить этих людей служить себе. Если бы Гитлер был человеком мелкомасштабным, без особых иллюзий и идеалов, то он, возможно, был бы удовлетворен своей жизнью и быстро привык бы к постоянному заработку от продажи своих картин, который позволял ему поддерживать мелкобуржуазное существование. Но не такой он был человек – Адольф Гитлер. Месяцы тяжелой нужды научили его в случае необходимости не гнушаться любым трудом, но характер его не изменился, а лишь утвердился и окреп. Он остался самовлюбленным нарциссом, полным ненависти и зависти ко всем, кроме самого себя, и лишенным интереса к кому бы то ни было. Он жил в атмосфере раздвоения между фантазией и реальностью, но главным мотивом его жизни было стремление к власти и завоеванию мира. Конкретных представлений, целей и планов относительно реализации своего честолюбия и жажды власти у него не было.

Мюнхен

Бесцельная венская жизнь кончилась внезапно: Гитлер решил переехать в Мюнхен, чтобы попытаться снова поступить в Академию художеств. О ситуации в Мюнхене он почти ничего не знал; меньше всего он беспокоился о том, удастся ли ему там зарабатывать на жизнь продажей картин и обеспечить себе хотя бы такой же доход, какой он имел в Вене. Он просто накопил немного денег, купил билет и сел в поезд на Мюнхен. Он ничего не продумал и в очередной раз ошибся. Мечта поступить в мюнхенскую Академию художеств не могла осуществиться. Здесь было меньше шансов – мало интереса к живописи – и для продажи картин. Смит пишет, что Гитлер продавал свои картины в кафе и пивных, где демонстрировал их посетителям, переходя от столика к столику. По словам Мазера, в декларации о доходах Гитлер писал, что его заработок составлял около 100 марок в месяц (приблизительно столько же он зарабатывал в Вене). Нет сомнения, что он и в Мюнхене в основном делал копии и сам продавал свои картины. Его мечта стать великим художником окончательно разбилась, для этого у него не было ни таланта, ни образования.

Стоит ли удивляться, что начало первой мировой войны Гитлер воспринял как знамение, он благодарил небо, так как это событие сразу же избавило его от необходимости

принимать самостоятельные решения. Война разразилась как раз в тот момент, когда он уже почти готов был признаться в своем поражении как художник. На место неизбежного ощущения унижения пришло чувство честолюбия, желание стать «героем». Гитлер был солдатом, сознающим свой долг, и хотя он не получил повышения в чине, но был награжден за смелость и упивался хорошим отношением командиров. Он не был больше отверженным: теперь он стал героем, он сражался за Германию, за существование Германии, за ее славу и другие ценности национализма. Он в полной мере мог отдаться своему детскому пристрастию к военным играм, только теперь речь шла о настоящей войне. Не исключено, что в течение четырех военных лет он чувствовал себя в реальной жизни увереннее, чем когда-либо. Он стал совсем другим человеком, он осознавал всю ответственность момента, был дисциплинированным и почти совсем расстался с той бесцельной жизнью, которую вел в Вене. Завершение войны он воспринял как свою собственную новую неудачу: поражение и революция. Поражение он мог бы, вероятно, пережить, но не революцию. Революционеры покушались на все, что было свято для Гитлера, мыслящего в духе реакционного национализма, и они победили; они стали героями дня, и прежде всего в Мюнхене, где образовали «Республику Советов», просуществовавшую недолгое время.

Победа революционеров придала деструктивности Гитлера окончательную и бесповоротную форму. Революция посягала на него самого, на все его ценности и тщеславные мечты. Он отождествлял себя самого с Германией. Он чувствовал себя еще более униженным оттого, что среди участников мюнхенского путча были евреи, в которых он уже много лет видел своих заклятых врагов и которые теперь вынуждали его с горечью наблюдать за крушением его националистических, мелкобуржуазных идеалов. От ощущения столь страшного унижения можно было избавиться лишь яутом физического уничтожения всех тех, кого он считал виноватыми. Он испытывал злое и мстительное чувство по отношению к союзникам, которые вынудили Германию подписать Версальский договор, но это ни в какое сравнение не идет с той ненавистью, которую он питал к революционерам, и особенно евреям.

Неудачи Гитлера обострились постепенно: сначала это были беды ученика реального училища, затем стороннего наблюдателя венской буржуазии, художника, которому Академия отказала в приеме. Каждый провал наносил его нарциссизму еще более глубокую рану, еще более глубокое унижение; и в той же степени, в какой росли его неудачи, усиливались его мстительные фантазии, слепая ненависть и некрофилия, корни которых следует искать в его злокачественном инцестуозном комплексе. Когда началась война, казалось, пришел конец его неудачам. Но это было не так, его ждало новое унижение: разгром немецких армий и победа революционеров. На этот раз у Гитлера была возможность отождествить свое личное унижение и поражение с поражением и унижением всего общества, нации в целом: это помогло ему забыть свой личный провал. На этот раз не он был разбит и унижен, а Германия. Когда он мстил и спасал Германию, он мстил за себя самого; смывая позор Германии, он смывал и свой собственный позор. Теперь он больше не ставил перед собой цель стать великим художником, у него была другая цель – стать великим демагогом. Он открыл ту сферу деятельности, в которой обладал действительным талантом, а следовательно, и реальным шансом на успех.

До этого периода мы не располагаем достаточным конкретным материалом, чтобы продемонстрировать наличие сильных некрофильских черт в поведении Гитлера. Мы рассмотрели только характерные предпосылки, которые благотворно воздействовали на развитие этих тенденций: его злокачественный инцестуозный комплекс, его нарциссизм, его бесчувственность, отсутствие каких-либо устойчивых интересов, привычку потакать своим желаниям, его недостаток чувства реальности – все, что неотвратимо вело к неудачам и унижениям. Начиная с 1918 г. мы располагаем богатым материалом о жизни Гитлера, и проявления его некрофилии становятся все заметнее.

Методологические замечания

Некоторые читатели, возможно, возразят и спросят: «Может быть, достаточно только доказать некрофилию Гитлера? Разве его деструктивность вызывает у кого-либо сомнения?»

Конечно, нам не нужно доказывать реальность чрезвычайно деструктивных действий Гитлера. Но деструктивное поведение не всегда является проявлением деструктивного, некрофильского характера. Обладал ли Наполеон некрофильским характером, если он, не колеблясь, жертвовал жизнью своих солдат ради своего личного честолюбия и тщеславия? Многие ли известные истории политические и военные деятели, отдававшие распоряжения о массовых разрушениях, были некрофилами? Конечно, каждый, кто одобрял разрушения или отдавал распоряжения разрушать, проявлял определенную бесчувственность. Но есть много причин и обстоятельств, при которых политический лидер или военачальник вовсе не некрофильского склада вынужден отдавать приказы, ведущие к серьезному разрушению. Мы рассматриваем в данном исследовании не поведение, а характер. Точнее, речь идет не о том, вел ли себя Гитлер деструктивно, а был ли он подвержен страсти к разрушениям и являлась ли она частью его характера. Это не аксиома, это требует доказательств. Когда предметом изучения является личность такого масштаба, как Гитлер, психолог должен сделать все возможное, чтобы быть предельно объективным. Даже если бы Гитлер умер в 1933 г., еще до того, как он эффективно совершил в огромном масштабе много откровенно деструктивных действий, на основе тщательного анализа всей его личности можно было бы поставить диагноз о его некрофильском характере. Масштаб разрушений, начиная с захвата Польши и заканчивая приказом об уничтожении большей части Германии и ее населения, явился бы лишь последним подтверждением этого диагноза его характера. С другой стороны, если бы мы ничего не знали о жизни Гитлера до 1933 г., многие детали его дальнейшего поведения подтвердили бы диагноз тяжелой некрофилии, и они указывали бы не только на то, что он с точки зрения бихевиоризма был человеком, который совершил множество разрушений. Исходя из бихевиоризма, это различие между поведением и мотивирующими силами, конечно, не имеет значения, однако при рассмотрении динамики всей личности и особенно ее бессознательного сектора такое различие существенно. В случае с Гитлером применение психоаналитического метода тем важнее, что он самыми невероятными способами вытеснял знание о том, что он страдает некрофилией в чудовищных размерах.

Деструктивность Гитлера [328]

Для Гитлера объектами деструктивности были города и люди. Архитектор, с воодушевлением планировавший переустройство Вены, Линца, Мюнхена и Берлина, он в то же самое время был и тем человеком, который намеревался разрушить Париж, снести с лица Земли Ленинград и в конечном счете уничтожить всю Германию. Эти его намерения не подлежат сомнению. Шпеер пишет, что Гитлер в зените своей славы после осмотра только что захваченного Парижа обратился к нему: «Разве Париж не прекрасен? Раньше я часто задумывался, а не надо ли уничтожить Париж? Но когда мы закончим наши планы в Берлине, то мы затмим Париж. Так зачем же его разрушать?» В конце концов Гитлер все-таки отдал приказ о разрушении Парижа, приказ, который немецкий комендант Парижа не выполнил.

Самым крайним выражением его мании к разрушениям зданий и городов был его секретный указ «Сожженная земля», изданный в сентябре 1944 г., где он приказывал в случае оккупации Германии врагом сделать следующее:

Необходимо полностью уничтожить не только промышленные сооружения, газовые заводы, гидро- и электростанции, телефонные станции, но и все, что необходимо для поддержания жизни: документы, продовольственные карточки, акты загсов и адресных столов, списки банковских счетов и т. д. Подлежали уничтожению запасы продовольствия,

крестьянские подворья (включая и скот). Даже те произведения искусства, которые уцелели после налетов авиации, не должны были сохраниться; памятники и дворцы, крепости и церкви, театры и замки – все подлежало уничтожению.

Это, разумеется, также означало и разрушение системы вод о- и электроснабжения, ликвидацию санитарных учреждений и т. д. Таким образом, по этому плану миллионы людей, не сумевших уехать, должны были стать жертвами голода, холода и болезней. Для архитектора Шпеера, который не только не был некрофильским разрушителем, но скорее всего был биофилом, этот указ стал причиной разрыва отношений с Гитлером. Шпеер попытался найти поддержку у некоторых генералов и партийных функционеров, которые не были заражены гитлеровской страстью к разрушениям. Он рисковал жизнью, саботируя приказы Гитлера. Фактически благодаря его усилиям, а также некоторым обстоятельствам гитлеровская программа «Сожженная земля» не была осуществлена.

Страсть Гитлера к разрушению зданий и городов особенно заслуживает внимания, поскольку она связана с его любовью к архитектуре. Можно было бы даже утверждать, что его планы по восстановлению городов служили оправданием того, что сначала он их разрушил. Но я все же полагаю, что было бы ошибкой пытаться объяснить его интерес к архитектуре только тем, что это было вытеснением его страсти к разрушению. Все же интерес к архитектуре, по всей вероятности, был настоящим. Можно предположить даже, что это был его единственный интерес, если не считать стремления к власти и победе.

Деструктивность Гитлера убедительно подтверждают оккупационные планы в отношении Польши. Поляки подлежали культурной стерилизации, они не имели права на свою культуру: преподавание в школах должно было ограничиваться небольшим курсом немецкого языка, а также изучением дорожных знаков. Преподавание географии не должно было выходить за рамки того факта, что Берлин – столица Германии. Математика считалась совершенно излишней, так же как ненужным считалось медицинское обслуживание, уровень жизни должен был быть сведен к минимуму. Польское население рассматривалось исключительно как источник рабочей силы (т. е. как рабы!). Первые человеческие объекты, которые Гитлер приказал уничтожить, были «умственно отсталые». Уже в «Майн кампф» Гитлер писал: «Исходя из здравого смысла, следует запретить воспроизводство людей неполноценных... все действия и меры по предотвращению дефектного потомства следует считать самыми гуманными... неизлечимо больные должны быть изолированы. И хотя это выглядит жестоко по отношению к несчастным и страждущим, это в то же время является высшим благом для их сограждан и потомков».

Позднее эти идеи были претворены в жизнь, все «неполноценные» люди были не только изолированы, но и уничтожены. А среди ранних проявлений деструктивности Гитлера следует назвать вероломное убийство Эрнста Рема (за несколько дней до гибели Рема видели дружелюбно беседующим с Гитлером) и других руководителей штурмовых отрядов, продиктованное соображениями политической тактики (фашистам надо было успокоить промышленников и генералитет, избавившись от деятелей «антикапиталистического» крыла движения).

То, что Гитлер находился в плену постоянных деструктивных идей, проявилось в его высказываниях о мерах, которые он собирался предпринять в случае путча в стране (как в 1918 г.). Он считал необходимым немедленно уничтожить всех вождей оппозиционных политических движений, включая католических и всех узников концентрационных лагерей.

Главными жертвами должны были стать евреи, поляки и русские. Мы хотим здесь остановиться только на уничтожении евреев. Факты слишком хорошо известны, чтобы нужно было обсуждать их в частности. Однако следует подчеркнуть, что систематическая кровавая расправа над евреями началась лишь во время второй мировой войны. У нас нет свидетельств того, что до начала войны Гитлер собирался истребить евреев: политика нацистов была направлена на поддержку еврейской эмиграции из Германии, и правительство даже принимало специальные меры, облегчающие евреям выезд из страны. Но вот 30 января 1939 г. Гитлер вполне откровенно заявил министру иностранных дел Чехословакии

Хвалковскому: «Мы собираемся уничтожить евреев. Они не смогут избежать наказания за то, что они сделали 9 ноября 1918 г. День расплаты настал». В тот же день, выступая в рейхстаге, он сказал по сути то же самое, но в более завуалированной форме: «Если международным банкирам-евреям, находящимся в Европе или за ее пределами, удастся вовлечь народы в новую войну, ее результатом будет не всемирный большевизм, т. е. не победа иудаизма; это будет конец евреев в Европе»^[329].

Слова, сказанные Хвалковскому, особенно интересны с психологической точки зрения. Гитлер выступает здесь без всякого камуфляжа, без попыток к рационализации или оправданию своих намерений (например, тем, что евреи представляют опасность для Германии). Он выдает истинный мотив – желание отомстить за «преступление», которое несколько евреев-революционеров совершили двадцать лет тому назад. Садистский характер его ненависти к евреям сквозит в словах, сказанных в кругу ближайших сотрудников по партии после партийного собрания: «Гнать их с работы, в гетто, за решетку, пусть подохнут, они того заслуживают, и немецкий народ будет смотреть на них, как разглядывают диких зверей».

Гитлеру казалось, что евреи отравляют арийскую кровь и арийскую душу. Чтобы понять, как это чувство связано со всем его некрофильским комплексом, обратимся к другой, казалось бы, совершенно не связанной с этим заботе Гитлера – к сифилису. В «Майн кампф» он говорит о сифилисе как об одной из «жизненно важных проблем нации». Он пишет:

Наряду с политическим, нравственным и моральным заражением, которому люди подвергаются уже много лет, существуют не менее ужасные бедствия, подрывающие здоровье нации. Сифилис, особенно в больших городах, распространяется все шире и шире, в то время как туберкулез снимает жатву смерти уже по всей стране.

В действительности это было не так. Ни туберкулез, ни сифилис не представляли угрозы в таких масштабах, которые пытается приписать им Гитлер. Но это типичная фантазия некрофила: боязнь грязи, отравы и любой инфекции. Перед нами – выражение некрофильской установки, заставляющей рассматривать внешний мир как источник грязи и заразы. Скорее всего, ненависть Гитлера к евреям имела ту же природу. Иногородцы ядовиты и заразны, как сифилис. Следовательно, их надо искоренять. Дальнейшее развитие этого представления ведет к идее, что они отравляют не только кровь, но и душу.

Чем более сомнительной становилась для Гитлера победа в войне, тем сильнее в нем проявлялись собственные разрушительные тенденции. Каждый шаг на пути к поражению сопровождался все новыми и новыми кровавыми жертвами. В конце концов настало время истреблять самих немцев. Уже 27 января 1942 г., т. е. более чем за год до Сталинграда, Гитлер сказал: «Если немецкий народ не готов сражаться для своего выживания, что ж, тогда он должен исчезнуть». Когда поражение стало неизбежным, он отдал приказ, приводивший в исполнение эту угрозу, – приказ о разрушении Германии: ее почвы, зданий, заводов и фабрик, произведений искусства. А когда русские были уже на подступах к бункеру Гитлера, настал момент великого финала разрушения. С ним вместе должна была умереть его собака. Его возлюбленная, Ева Браун, которая приехала в Берлин, нарушив его приказ, чтобы разделить с ним смерть, тоже должна была умереть. Растроганный преданностью фрейлейн Браун, Гитлер вознаградил ее, вступив с ней здесь же в законный брак. Готовность умереть за него была, пожалуй, единственным действием, которым женщина могла доказать ему свою любовь. Геббельс тоже остался верен человеку, которому он продал душу. Он приказал своей жене и шестерым малолетним детям принять смерть вместе с ним. Как всякая нормальная мать, жена Геббельса никогда бы не убила своих детей, тем более под действием дешевых пропагандистских аргументов, с помощью которых Геббельс пытался ее убедить. Но у нее не было выбора. Когда ее в последний раз пришел навестить Шпеер, Геббельс ни на минуту не оставил их вдвоем. Она только смогла сказать, что счастлива, поскольку там с

ними нет ее старшего сына (от предыдущего брака)[³³⁰]. Поражение и смерть Гитлера должны были сопровождаться смертью всех, кто его окружал, смертью всех немцев, а если бы это было в его власти, то и разрушением всего мира. Фоном для его гибели могло быть только всеобщее разрушение.

Но вернемся к вопросу, можно ли оправдать действия Гитлера традиционно понимаемыми «государственными интересами», т. е. отличался ли он как человек от множества других государственных мужей и военачальников, которые объявляли войны и тем самым посылали на смерть миллионы людей. В некоторых отношениях Гитлер был совершенно таким же, как и руководители многих других государств, я было бы ханжеством считать его военную политику чем-то из ряда вон выходящим в сравнении с тем, что, как свидетельствует история, делали другие лидеры других сильных держав. Но в Гитлере поражает несоответствие между теми разрушениями, которые производились по его прямому приказу, и оправдывавшими их реалистическими целями. Многие его действия, начиная с уничтожения миллионов и миллионов евреев, русских и поляков и кончая распоряжениями, обрекавшими на уничтожение немцев, нельзя объяснить стратегической целесообразностью. Это, без сомнения, результаты страсти к разрушению, с недавней некрофилии. Этот факт часто затемняется тем, что при обсуждении действий Гитлера речь идет главным образом об истреблении евреев. Но евреи были не единственным объектом, на который он направлял свою страсть к разрушению. Гитлер, несомненно, ненавидел евреев, но мы бы не погрешили против истины, сказав, что одновременно он ненавидел и немцев. Он ненавидел человечество, ненавидел саму жизнь. Чтобы это стало яснее, попробуем взглянуть на другие проявления его некрофилии.

Давайте прежде всего посмотрим на некоторые спонтанные проявления некрофильской ориентации Гитлера. Вот Шпеер рассказывает о его реакции на финальные кадры кинохроники, посвященной бомбардировкам Варшавы: Ханфштедт рассказывает о разговоре, состоявшемся в середине 20-х гг., в котором он пытался убедить Гитлера посетить Англию. Перечисляя достопримечательности, он упомянул Генриха VIII. Гитлер оживился: «Шесть жен – гм, шесть жен – неплохо, и двух из них он отправил на эшафот. Нам действительно стоит поехать в Англию, чтобы пойти в Тауэр и посмотреть на место, где их казнили. Это стоит посмотреть». И действительно, это место казни интересовало его больше, чем вся остальная Англия.

Весьма характерной была его реакция в 1923 г. на фильм «Fridericus Rex» («Король Фридрих»). По сюжету фильма отец Фридриха хочет казнить своего сына и его друга за попытку бежать из страны. Еще в кинотеатре и потом, по пути домой, Гитлер повторял: «Его (сына) тоже надо убить – великолепно. Это значит: долой голову с каждого, кто погрешит против государства, даже если это твой собственный сын!» Затем он развил эту тему, сказав, что такой метод надо применить и к французам (которые в это время оккупировали Рурскую область), и заключил: «Ну так что же, придется сжечь десяток наших городов на Рейне и в Руре и потерять несколько десятков тысяч человек!»

Не менее характерными были шутки, которые Гитлер любил повторять. Он придерживался вегетарианской диеты, но гостям подавали обычную еду. «Если на столе появлялся мясной бульон, – вспоминает Шпеер, – я мог быть уверен, что он заведет речь о „трупном чае“; по поводу раков он всегда рассказывал историю об умершей старушке, тело которой родственники бросили в речку в качестве приманки для этих существ; увидев угря, он объяснял, что они лучше всего ловятся на дохлых кошек». На лице у Гитлера постоянно было выражение брезгливости, словно он принюхивался к неприятному запаху. Эта мина хорошо различима на многих его фотографиях. Смех его был неестественным. На фотографиях видна принужденная, самодовольная ухмылка. Особенно ярко запечатлелась она в кадрах кинохроники, снятых, когда он был на гребне удачи, сразу после капитуляции Франции, в железнодорожном вагоне в Компьене. Выйдя из купе, он пляшет некий «танец»,

похлопывая себя руками по ляжкам и по животу, а затем гнусно улыбается, будто только что проглотил Францию^[331].

Еще одной чертой, выдающей в нем некрофила, является скука. Ярким проявлением этой характерной формы безжизненности были его застольные беседы. В Оберзальцберге Гитлер и окружавшие его люди, пообедав, шли в павильон, где им подавали чай, кофе, пирожные и другие лакомства. «Здесь, за чашкой кофе, Гитлер пускался в длиннейшие монологи. То, о чем он говорил, было в основном известно собравшимся, поэтому они почти не слушали его, а лишь изображали внимание. Иногда Гитлер сам засыпал посреди своих разглагольствований. Тогда компания продолжала беседовать шепотом в надежде, что он своевременно проснется к ужину». Потом все шли обратно в дом, и два часа спустя подавали ужин. После ужина показывали два кинофильма. Затем какое-то время все обменивались впечатлениями от фильмов, обычно довольно банальными. Примерно к часу ночи некоторые уже не могли сдерживать зевоту, хотя делали над собой усилие, чтобы казаться бодрыми. Но все продолжали общаться. В унылой беседе проходил еще час или больше, оставляя ощущение пустоты. Наконец Ева Браун, обменявшись с Гитлером несколькими словами, получила разрешение уйти к себе наверх^[332]. Через четверть часа, пожелав собравшимся доброй ночи, удалялся и Гитлер. Теперь оставшиеся могли расслабиться, и нередко за этими часами общего оцепенения следовала веселая вечеринка с шампанским и коньяком^[333].

Во всех этих чертах отчетливо проявлялась страсть Гитлера к разрушению. Однако ни миллионы немцев, ни политики всего мира не смогли этого увидеть. Наоборот, они считали его патриотом, который действует из любви к родине; немцы видели в нем спасителя, который избавит страну от унижений Версальского договора и от экономической катастрофы, великого зодчего новой, процветающей Германии. Как же могло случиться, что немцы и другие народы мира не распознали под маской создателя этого величайшего из разрушителей?

На это было много причин. Гитлер был законченным лжецом и прекрасным актером. Он заявлял о своих миролюбивых намерениях и после каждой победы утверждал, что в конечном счете все делает во имя мира. Он умел убеждать – не только словами, но и интонацией, ибо в совершенстве владел своим голосом. Но таким образом он лишь, вводил в заблуждение своих будущих врагов. Как-то, беседуя с генералами, он заявил: «У человека есть чувство прекрасного. Каким богатым становится мир для того, кто умеет использовать это чувство... Красота должна властвовать над людьми... Когда закончится война, я хочу посвятить пять или десять лет размышлениям и литературной работе. Войны приходят и уходят. Остаются только ценности культуры...» Он заявлял о своем желании положить начало новой эре терпимости и одновременно обвинял евреев в том, что с помощью христианства они посеяли нетерпимость.

Вытеснение деструктивности

Рассуждая таким образом, Гитлер, пожалуй, на сознательном уровне и не лгал. Он просто входил в свои прежние роли «художника» и «писателя», ибо так никогда и не признал своей несостоятельности в этих областях. Однако такого рода высказывания имели еще одну, более важную функцию, имевшую прямое отношение к «стержневым» свойствам его характера. Функция эта заключалась в вытеснении мысли о собственной деструктивности. Прежде всего в форме рационализации. Всякое разрушение, которое производилось по его приказу, имело рациональное объяснение: все это делалось во имя спасения, процветания и триумфа немецкого народа и с целью защиты от врагов – евреев, русских, а затем англичан и американцев. Он просто повиновался биологическому закону выживания. («Если я и верю в какую-нибудь божественную необходимость, то это необходимость сохранения видов».

331

332

333